

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

*Собирание  
книжки  
к работе*

1957

7

---

1957

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIII

№ 7

Июль, 1957 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>НА СОРОКОВОМ ГОДУ. ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН — Совнархоз приступил к работе...	3
—	
<i>В канун VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве</i>	
<b>СЛОВО К МОЛОДЕЖИ</b>	19
Г. КРЖИЖАНОВСКИЙ — Мечты и борьба	
Н. СЕМЕНОВ — Дерзание в творчестве	
ГАЛИНА УЛАНОВА — Мир, добро, красота	
К. ЮОН — Жизнь «на людях»!	
ШОН О'КЕЙСИ — Роза Юности	
ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ — Сознание своей силы	
ДЖОН Д. БЕРНАЛ — Пробуждение мира.	
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ — Молодость, стихи	28
АЛЕКСИС ПАРНИС — В Москву, на фестиваль (Из поэмы). Перевел с греческого Д. Давыдов	29
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ — Рассказы о Бетале Калмыкове	31
АЛЕКСАНДР БЫЛИНОВ — Рота уходит с песней, повесть	56
ГЕОРГЕ МАЙОРЕСКУ — Возвращение (Из поэмы). Перевел с румынского Д. Самойлов	105
СЕРГЕЙ СНЕГОВ — В полярной ночи, роман. Окончание	114
БОРИС СЛУЦКИЙ — Как меня принимали в партию. Говорит политрук. Агитация среди войск противника. Осенний лес, стихи	162
<b>СОРОК ЛЕТ НАЗАД. ИЮЛЬ, 1917 год...</b>	166
П. ЗАЙЦЕВ — В Кронштадте	
Н. ТАНХИЛЕВИЧ-БОГОСЛОВСКАЯ — Знамя	
М. ЛАЦИС — В Петрограде	
Р. БОРИСОВА — Донбасское лето	
Н. РАСТОПЧИН — На шестом съезде	
ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕХ ДНЕЙ	
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ</b>	
<b>ПЕРВЫЕ КОМИССАРЫ</b>	
Из истории Военно-революционного комитета	194
	(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Ф. АРИЕ — Записки лектора	200
<b>Трибуна писателя</b>	
Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ — <i>Серго</i>	211
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
В. ДНЕПРОВ — Идеальный образ и образ типический (О формах художественного обобщения)	218
ЕВГЕНИЙ ВОЛОШКО — «Искры свободного искусства...»	237
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Н. Бабин. Китайские записи Б. Полевого. — А. Дирингерова. Две повести о Фрунзе. — М. Прилежаева. Пришмантасы из Чикаго. — И. Зыков. Земля и хлеб. — В. Разумный. Эстетическая теория и практика искусства. — В. Петров. Книга о современной китайской литературе.	244
<i>Политика и наука</i>	
Г. Петровский. Путь большевика. — А. Литвак. Документы прошлого, обращенные в будущее — Член-корреспондент Академии наук СССР А. Ефимов. Новые книги о Великой французской революции. — Вал. Зорин. Бремя американских трудящихся. — Кандидат философских наук Ю. Семенов, М. Тульчинский. Фундаментальный труд по истории науки. — Кандидаты географических наук В. Преображенский, Л. Сетунская. Туристские карты.	258
<b>ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО</b>	
Игорь Грабарь. Новооткрытый русский художник.	272
<b>РЕПЛИКИ</b>	
Вл. Масс, Мих. Червинский. О театре, которого нет... — Сильва Капутикян. С домах культуры республик.	277
<b>МЕЖДУ ПРОЧИМ...</b>	
Л. Исарова. Злые мачехи из издательства. — А. М. Ювенал, обвиненный в напвности... — А. Храбровицкий. Важнее всего истина — Я. Колыминский. Феноменальный случай	279
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

# НА Сороковом году

## Очерки наших дней

АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН

★

### СОВНАРХОЗ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ...

#### 1. Горьковский промышленный

**С**высокого откоса, по которому тянутся старинные стены Нижегородского кремля, раскрывается необозримый вид на Волгу и Заволжье. С горы видно, как Волга принимает в себя один из крупнейших своих притоков, Оку, и едва ли не удваивает свои силы. Во всех направлениях снуют по реке юркие речные трамваи и рыбацьи лодки. Проплывают мимо кремля красивые белые дизель-электроходы, спешащие из Москвы в Ростов, застыли на рейде баржи, ожидающие очереди на разгрузку. А по берегам, в том месте, где сливаются две реки, тянутся промышленные строения — склады и причалы порта, подернутые дымкой заводские корпуса.

По реке бежит сухогрузный теплоход, вмещающий в своих трюмах два железнодорожных эшелона. Он сделан на стапелях завода «Красное Сормово», трубы которого дымят вдалеке на берегу. Судостроительные заводы Горьковской области производят более четверти всех речных судов в стране. Буксир тянет баржу с грузовиками. Они тоже сделаны здесь. Более половины производимых в стране автомашин изготавливается в Горьковской области.

Старый нижегородский промышленный район превращен в одну из мощных индустриальных баз Советского Союза. Взять хотя бы такие цифры. Если в целом по стране уровень промышленного производства по сравнению с 1913 годом увеличился в 30 раз, то промышленность области выросла за это же время в 105 раз, а по городу Горькому даже в 185 раз. Это значит, что темпы развития Горьковского промышленного района были в три с половиной раза выше, чем по стране в целом.

Что представляют эти цифры, перенесенные в действительность, убеждаешься еще в поезде.

Московский скорый подходит к Горькому утром. Проведя безмятежную ночь в поезде, пассажиры просыпаются и видят из окон вагонов корпуса огромных заводов, жилые дома. Красный вагон трамвая спешит вдогонку за поездом, силясь обогнать его.

— Горький! — невольно восклицает кто-то.

Нет, это не Горький.

Не замедляя своего хода, поезд идет час, другой, а вдоль дороги нескончаемой чередой мелькают заводские корпуса, чернеют здания теплоэлектростанций, дымящихся всеми трубами, высятся гигантские башни градирен, тянутся между корпусами сплетенные трубы, ажурные мачты высоковольтных линий. А по другую сторону, там, где бежит за поездом трамвай, встали многоэтажные жилые дома, дворцы культуры, уни-

вермаги, стадионы. И всюду стрелы, стрелы строительных машин — экскаваторов, подъемных кранов, — они копают котлованы, воздвигают стены новых зданий.

Поезд словно бежит по неширокой долине, прорубленной среди циклопического скопления камня, бетона, железа.

А ведь это только один из новых промышленных районов, возникших в области, — Дзержинский. Кроме него, в Горьковской области выросли и другие промышленные центры: Городецкий, Балахнинский, Павловский, Котовский.

Все эти новые индустриальные центры встретились на первой областной промышленной выставке, которая открылась в Горьком в первую среду июня.

Тут демонстрируются и новые методы сборки и сварки кузовов «Победы» и «Волги», и сама новая, сверкающая лаком «Волга», которая, кажется, чудом попала в небольшой зал старинного здания краеведческого музея. Тут и изящная голубая модель машины Павловского автобусного завода и приборы электроавтомшины.

Судостроение представлено моделями толкачей-буксиров, самоходными паромами, плавучими грейферными кранами, речными танкерами, новыми дизель-электроходами озерного типа.

Тут и новые фрезерные станки Горьковского станкозавода и макет агрегата для непрерывной разливки стали, который был установлен впервые в стране на Сормовском заводе.

В зале радиотехнической промышленности молодой инженер, в куртке с молнией, демонстрирует новые магнитофоны, радиоприемники. В другом зале инженер станкозавода приводит в действие модель шагающего конвейера, на котором ведется сборка станков.

Тут и различные образцы многослойных сталей металлургического завода и хрустящая, тоньше газетной бумаги, стальная лента, которая до самого последнего времени ввозилась из-за границы, а теперь производится на заводе «Красная Этна».

А зал химической промышленности? Тут есть все, начиная от детских сосок и кончая искусственными рубинами. А другие залы? Дамские сумки и мощные дизель-моторы, изделия из капрона и макет Горьковской гидростанции — всего не перечесать.

И все это сделано и построено в Горьковском промышленном районе.

И все это принимает в свои руки только что созданный Горьковский совнархоз.

## 2. День первый

В пустынном коридоре гулко хлопают двери. С верхних этажей доносится резкий стук, размеренные, приглушенные удары по дереву. Воздух в здании пропитан острым запахом масляной краски — ею покрывают стены, двери, перила лестничных маршей. Рабочие передвигают на новое место высокие шаткие козлы, тащат ведра с краской, промывают кисти.

Ремонт в разгаре. Но в здании уже работают люди. Они освободили два длинных коридора, расставили в комнатах письменные столы, провели телефоны.

В одной из комнат дробно стучит новая пишущая машинка.

«Распоряжение № 1 от 6 июня 1957 года.

В соответствии с законом Верховного Совета...»

Машинистка бьет по клавишам быстро и ловко, привычными движениями передвигая рычаги, но и ей не безразлично то, что она печатает: она тоже работает в этом здании первый день.

За вводной частью распоряжения следует констатирующая его часть:

«Совет Министров РСФСР назначил тов. Смелякова Николая Николаевича председателем Совета народного хозяйства Горьковского экономического административного района.

В связи с этим с сего числа вступил в исполнение своих служебных обязанностей».

Мне действительно повезло: только сегодня утром я приехал из Москвы в Горький, всего полчаса назад пришел в это здание — и вот уже являюсь, как говорится, свидетелем первых шагов совнархоза.

Заглядывая через плечо машинистки, я переписываю в свою тетрадь текст распоряжения. Машинистка резко выдергивает листы бумаги из машинки.

— Это нельзя, товарищ, — говорит она строго. — Документ служебный.

В комнату входит высокий красивый мужчина в коричневом костюме. Он слышит строгие слова машинистки и весело отвечает ей:

— Почему же нельзя? Пусть все знают, что новый совнархоз создан.

Машинистка молча протягивает мне листок бумаги. Высокий мужчина скрывается в соседней комнате.

— Это председатель совнархоза? — спрашиваю я.

— Его заместитель. Товарищ Смеляков в другой комнате.

Через некоторое время я знакомлюсь с председателем Горьковского совнархоза.

Оказывается, Николай Николаевич Смеляков пятнадцать лет работал в Горьком. Начинал он трудовую деятельность технологом на Коломенском паровозостроительном заводе, а в годы войны был переведен на «Красное Сормово», где прошел путь от начальника цеха до директора завода. В 1955 году партийная конференция избрала его секретарем Горьковского горкома партии, вскоре после этого его назначили министром общего машиностроения.

Смеляков рассказывает о себе отрывисто, скупо.

— Словом, вернулся обратно в Горький.

Он смотрит на часы и вдруг встает, извиняясь, — надо ехать на завод.

— Посмотрите, как мы работаем. Если увидите что-либо интересное, расскажете об этом другим.

Спустя две-три минуты я вижу в окно, как машина председателя совнархоза отъезжает от подъезда, стремительно набирая скорость на широкой площади. Я отправляюсь в путешествие по коридорам, читая вывески на дверях. Впрочем, вывесок нет, вместо них к дверям приколоты бумажные четвертушки: «Отдел труда и заработной платы», «Технический отдел».

В комнатах, в коридорах сиротливо стоят голые письменные столы, у стен — пустые шкафы. Очень непривычно видеть в учреждении пустые шкафы. И, как видно, здесь ни у кого нет охоты набивать эти шкафы архивными документами. Люди деловито, сосредоточенно проходят мимо пустых шкафов, и в руках их, странное дело, нет ни толстых папок, ни стопок с бумагами. Пожалуй, с папкой я здесь один — московский человек.

В конце коридора дверь с листком бумаги: «Управление судостроительной промышленности». Все управление разместилось в одной комнате не больше двадцати квадратных метров. Закрываю дверь и замечаю на ней еще одну бумажку: «Совещание судпром». Жирная чернильная стрела указывает вправо. За плохо прикрытой дверью соседней комнаты слышится сердитый голос:

— Сколько есть у нас в области судостроительных предприятий, каждое делает для себя гребные винты своими силами. Разница в себестоимости порой пятикратная. Предлагаю сконцентрировать выпуск всех гребных винтов на тех заводах, где самая передовая технология...

Кто-то изнутри плотно закрывает дверь, и я больше ничего не слышу. ...В длинной узкой комнате сидит за столом управделами совнархоза. Входит девушка.

— Товарищ Варшавский, письмо с «Красной Этны». Кому его направить?

— Отнесите Боровикову. Он сидит... Где же он сидит? Кажется, в семьдесят шестой комнате. Поищите его там, наверху.

— А какой у него телефон? — спрашивает девушка.

— Список телефонов на машинке. Будет у вас через полчаса.

Звонит телефон, установленный прямо на подоконнике. Варшавский берет трубку.

— Мебели пока нет, товарищи. Получим мебель из Москвы, из министерств. — Видимо, собеседник усомнился в реальности такой перспективы, и Варшавский сражает его простым доводом: — Зачем же тогда их ликвидировали? Министерства ликвидировали, а мебель-то осталась. Вот ее и привезут к нам.

Снова раскрывается дверь. В комнате появляется заместитель председателя совнархоза, тот самый мужчина в коричневом костюме, который сделал замечание машинистке. За ним с нерешительным видом входит, оглядываясь по сторонам, молодой человек в светлой рубашке, в белых парусиновых брюках.

— Скажите, совнархоз работает? — спрашивает вошедший.

— Вы по какому вопросу?

— Шел по улице, смотрю, вывеска висит, значит, думаю, должен работать...

Заместитель председателя вопросительно смотрит на Варшавского. Тот утвердительно кивает головой: да, час тому назад повесили у подъезда вывеску.

— Конечно, работает, — говорит заместитель, вставая. — Что у вас?

— Я с завода. Изобретение принес. В Москву писал, писал — никакого ответа. А кто в совнархозе занимается изобретениями?

Видимо, даже заместитель еще не знает, кто должен принимать изобретателей. А вернее всего, такого человека еще нет в совнархозе — ведь штаты пока укрупнены далеко не полностью. Тем не менее он решительно отвечает:

— Пойдемте ко мне. Расскажите, что у вас за изобретение.

Следом за ним выхожу из канцелярии и я. По обе стороны широкого подъезда, прорубленного в серой гранитной стене здания, укреплена новая, сверкающая на солнце вывеска, которой не было утром, когда я впервые входил сюда.

Совет народного хозяйства Горьковского экономического административного района начал свою работу.

### 3. История одной научной работы

Прочитайте внимательно эти строки:

«Основные причины недостатков кооперирования промышленности Горького скрываются в ведомственном подходе министерств к разрешению данного вопроса и в отсутствии обоснованного планирования производственных связей между экономическими районами страны...

Пришло время, когда нужно по-настоящему разрешить проблему кооперирования в союзном масштабе по организации производственных связей между экономическими районами».

Что это? Похоже на отрывок из статьи, которая, по-видимому, была опубликована во время всенародного обсуждения тезисов доклада товарища Н. С. Хрущева. Но нет. Это цитаты из кандидатской диссертации аспиранта Степана Прохорова, и опубликованы они были в 1946 году —

одиннадцать лет тому назад. После того как я случайно обнаружил диссертацию в областном архиве, мне, естественно, захотелось познакомиться с ее автором.

Мы созвонились по телефону, и вскоре я захожу в один из домов на улице Пискунова. Прохоров совсем не такой, каким я представлял его, поднимаясь по лестнице. Да, на лице его темные роговые очки, но это скорее простое лицо крестьянина, чем ученого. Движения его несуетливы, почти незаметны, голос тихий, спокойный. Мы проходим в его кабинет, заставленный книжными шкафами.

Прохоров неторопливо вспоминает свою жизнь. Он ровесник своего века. В 1919 году, окончив сельскую школу, вступил в комсомол, ушел добровольцем на гражданскую войну. В Ленинский призыв вступил в партию. Работал электромонтером, кончил вечернюю школу. Мечтал учиться дальше, но вместо этого пришлось учить других — по путевке райкома партии он стал преподавателем обществоведения в средней школе.

Только к тридцатипятилетнему возрасту удалось ему получить высшее образование экономиста. Несколько лет преподавательской работы — и снова пришлось надевать военную шинель.

Сразу же после войны Прохоров начал писать кандидатскую диссертацию о Горьковском промышленном районе. Эта диссертация в 1947 году была успешно защищена в Государственном экономическом институте. Как видите, уже тогда писал Прохоров и о территориальных экономических районах. Разумеется, не он один думал об этом. Такие же мысли зрели у многих инженеров, экономистов, хозяйственников. И вот смелое решение о перестройке промышленности, принятое партией и правительством, внесло ясность в проблемы, поставленные самой жизнью.

Территориальный принцип управления промышленностью по экономическим районам пробуждает новые творческие силы на местах, вовлекает самые широкие народные массы в управление хозяйством. Так получает свое дальнейшее развитие ленинский принцип демократического централизма.

Продолжая читать курс лекций по экономике промышленности, Прохоров не бросал своей темы, углублял ее. Он задумал докторскую диссертацию, но вдруг почувствовал, что ему не хватает инженерного образования. И вот кандидат наук, заведующий кафедрой экономики, доцент садится вместе со студентами за ученический стол, в течение четырех семестров не пропускает ни одной лекции по курсу технологии машиностроения, вместе со студентами сдает зачеты по этому курсу.

Выводы ученого становятся более глубокими, обоснованными. Десятки тысяч данных обрабатывает он, проводит исследования и эксперименты на сорока крупнейших горьковских заводах.

Докторская диссертация Прохорова находится сейчас в Москве, в институте экономики Академии наук. Не будем предрешать ее судьбу, но она уже работает, эта докторская диссертация, приносит конкретную пользу. Практические предложения, разработанные в ней, получили одобрение на совещании директоров, главных инженеров, созванном при обкоме партии еще в прошлом году. Одно лишь предложение по кооперированию между металлургическим и автомобильным заводами дало пять миллионов рублей экономии в год, высвободило около двух с половиной тысяч железнодорожных вагонов, возивших прежде колесную сталь издалека.

Теперь заглядывающие далеко вперед научные выводы и предложения Прохорова будут работать на совнархоз.



#### 4. По вертикали и по горизонтали

На следующее утро я снова в здании совнархоза. Все двери открыты, люди без доклада входят в кабинеты, а когда кто-либо из заводских людей, приехавших в совнархоз, просит доложить о нем, девушки-секретари отвечают:

— Идите так...

Начальники сами приходят к машинисткам и просят их перепечатать страничку-другую, сами звонят на заводы.

И мне от всей души хочется, чтобы и в будущем начальники не отгораживались от мира строгими приемными, где для посетителей услужливо расставлены диваны и кресла — сиди и жди, здесь позаботились, чтоб ты мог с удобствами просиживать часы в ожидании приема...

В канцелярии я помогаю разбирать утреннюю почту. Многие заводы начинают присылать в Совет народного хозяйства свои многотиражные газеты.

— Мы их еще не просили, сами догадались, — с одобрением говорит делопроизводитель Ирина Александровна.

С Кулебаковского завода пришло письмо рабочих, предлагающих упростить структуру заводоуправления.

С Павловского автобусного завода прибыл объемистый пакет. «Проект плана на 1958 год» — так озаглавлена пачка бумаг. Павловцы проявляют инициативу, не ждут команды сверху к такому-то числу представить проект плана.

Горьковский совнархоз молод, но у него уже есть своя история. Еще весной, когда в стране начиналось обсуждение тезисов доклада товарища Хрущева, Горьковский областной комитет партии создал специальный оргкомитет.

И я вспоминаю рассказ Степана Ивановича Прохорова об этом времени.

— Наш комитет мы назвали «комитетом шестнадцати», по количеству его членов. Тут был и первый секретарь обкома Игнатов, и Сазанов, директор автозавода, и директора других заводов, партийные работники. Часто наезжал из Москвы Николай Николаевич Смеляков, которого уже тогда простили в наши председатели. Соберемся мы вместе и думаем-гадаем: каким должен быть наш совнархоз? Какую структуру разработать?

Во многом членам «комитета шестнадцати» приходилось идти на ощупь. Одно было ясно всем: в новом государственном учреждении должен быть новый стиль работы.

Все это хорошо, но разве стиль работы зависит от структуры аппарата? Оказывается, зависит.

Так решено было создать минимальный аппарат, освободить его от канцелярских функций, сделать так, чтобы связь с заводами осуществлялась прямо, а не через бухгалтерские и прочие отчеты, не через различные обследования и комиссии, как это обычно бывает при громоздком, раздутым аппарате.

Второе — четкое и ясное разделение прав и обязанностей каждого работника, каждого отдела. Чтобы каждый человек знал, за что он отвечает, что он может и должен решать сам, и не прятался за спину другого. Поэтому как можно меньше всяческих «замов» и «помов», меньше секторов и отделов, никаких подотделов, подсекторов.

Третье — наиболее продуктивная структура самого совнархоза.

Каждый, наверное, видел в газетах примерную схему совнархоза — кружки и квадраты, соединенные линиями. Эта схема — типовая, для всех экономических районов. Судя по стенографическим отчетам «комитета шестнадцати», я склонен сделать вывод, что горьковчане первыми

разработали эту схему, хотя не исключено, что одновременно с ними такую же схему создали и в других местах.

В чем же сущность этой схемы? Главный принцип ее в совмещении работы функциональных отделов с работой отраслевых управлений. Чтобы лучше понять этот принцип, представим себе лист бумаги, разграфленный горизонтальными и вертикальными линиями.

Функциональные подразделения — отделы производства и кооперирования, труда и зарплаты, планово-экономический, технический отделы, центральная бухгалтерия — работают как бы по горизонтали. Технический отдел, скажем, руководит всеми техническими отделами заводов независимо от того, какую отрасль промышленности этот завод представляет.

Отраслевые управления работают как бы по вертикали. Каждый из них руководит или только машиностроительными или только судостроительными заводами — предприятиями данной отрасли.

Таким образом, все предприятия экономического района как бы пронизываются в двух направлениях: по горизонтали и вертикали.

Этого не было в старых министерствах, которые, грубо говоря, руководили предприятиями только по вертикалям. Работу по горизонталям, решая вопросы кооперирования, нормирования, заработной платы и так далее, вели центральные органы — Госплан, Комитет по делам труда и заработной платы и пр. А из центра, разумеется, трудно уследить за всем.

Когда же, скажем для примера, вопросы кооперирования пытались разрешить по вертикальной линии в пределах одного министерства, возникали те самые уродливые явления встречных перевозок, ведомственных барьеров, о которых так много говорилось и писалось в последнее время.

Совнархозы — принципиально новое явление в нашей действительности. Невиданные (да и невозможные) ни в одной стране мира темпы роста нашей социалистической промышленности, путь, пройденный нами за сорок лет — от Волховской ГЭС до атомной электростанции, от первых маломощных «фордзонов» до реактивных самолетов, — весь ход истории нашего государства подсказывает ныне новые формы управления промышленностью.

Новые совнархозы во всеоружии принимают от министерств эстафету нашего бурного движения вперед.

Создание совнархозов вносит стимул в руководство промышленностью, устраняет недостатки старой организации — ведомственность, параллелизм. Функциональные отделы будут работать в самом тесном контакте с отраслевыми управлениями: выискивать резервы, обобщать опыт лучших заводов и повторять его на всех предприятиях, координировать работу разных отраслей.

Трудно, почти невозможно переоценить значение совнархозов. Последствия их работы будут огромными, они поразят даже самых завязлых скептиков.

## 5. Заседает совет

Николай Николаевич Смеляков ведет заседание совета предельно сжато во времени. Речь его кратка.

— О передаче заводов в ведение совнархоза. Некоторые ждут списков и актов о передаче. Ждать их нечего. Все предприятия, которые есть в области, так и останутся на месте — они все наши предприятия. Берите их в свои руки. Никаких актов: одно государственное учреждение передает свои заводы другому учреждению, что же тут писать...

Следующий вопрос — распределение обязанностей. Каждый член совета получает краткий список с четким определением своих обязанностей. Один отвечает за работу отраслевого управления, другой — за технико-экономический совет.

В совете собрались специалисты самых различных областей. Георгий Александрович Веденяпин был когда-то директором автозавода, в последние годы он руководил в Москве работой Научного автомобильного института. Веденяпин только вчера приехал из Москвы.

Напротив него сидит человек в коричневом костюме, с которым я столкнулся еще в день приезда. Теперь я знаю, что это один из заместителей председателя, Георгий Аркадьевич Воробьев, бывший главный инженер завода. Директорами заводов были и другие члены совета — Валентин Михайлович Сузов, Ефим Эммануилович Рубинчик.

Вдруг заседание неожиданным образом прерывается — это прибыли из Москвы работники министерств: Городецкий, Советов. Прямо с поезда они приехали в совнархоз, где будут теперь работать начальниками отраслевых управлений.

Слушается вопрос о штатном расписании. В Горьковском совнархозе, вместе с машинистками, уборщицами, будет работать 720 человек. Это совсем немного, если учесть масштабы промышленного района (около тысячи предприятий, 22 миллиарда рублей годовой продукции).

Разыгрывается знакомая картина. Руководители управлений, отделов под разными предлогами просят увеличить им штат: «Ну дайте хотя бы два-три человека», «В самом крайнем случае — хоть одну единицу».

Председатель Смеляков внимательно выслушивает всех. Потом резко встает. Слова его просты и убедительны.

— Тут кто-то сказал, что на предприятиях его управления пятьдесят тысяч человек и поэтому необходимо увеличить отдел кадров. Правильно, кадры — великое дело, но неужели вы собираетесь сами принимать на работу каждого рабочего? Неужели вы собираетесь работать за все заводы, за конструкторские бюро, за НИИ? Даже если бы мы еще одно такое здание наполнили письменными столами и штатными единицами, нас не хватило бы, чтобы за всех работать. И все равно лучше, чем они сами — на заводе, в конструкторском бюро, — нам не сработать. Нам нужны не штатные единицы, а люди с головой. Больше доверяйте предприятиям. Не дублировать их работу, но координировать ее, направлять. И учиться у них. Не забудьте также, что у вас есть хороший, большой помощник — технико-экономический совет. Это совещательный орган, внештатный, и размеры его мы ограничивать не будем.

Вскоре мне довелось присутствовать и на первом заседании технико-экономического совета.

Технико-экономический совет — главный совещательный орган при СНХ. Это коллективный мозг промышленного района. В него входят двести двадцать шесть человек — сталевары и технологи, кузнецы и главные инженеры заводов, инструментальщики и ученые, конструкторы и партработники, — все отрасли знания представлены здесь.

Одна за другой к подъезду здания подъезжают машины. Приехавшие с интересом разглядывают новую вывеску у подъезда, оживленно переговариваются, собираются в группы. Почти все они знакомы друг с другом по долгой совместной работе в одной области. Но прежде они чаще всего собирались вместе лишь для того, чтобы отстаивать и защищать от нападков соседей свои частные, так называемые ведомственные, интересы. Сейчас они впервые собрались вместе, чтобы обсудить интересы Горьковского промышленного района в связи с общими интересами народного хозяйства страны.

Первое заседание посвящено организационным вопросам. Технико-экономический совет разделяется на пятнадцать секций, в которых главным образом и будет сосредоточена вся его работа.

С кратким напутственным словом выступает первый секретарь областного комитета партии Н. Игнатов. Он говорит о том, что технико-

экономический совет должен стать активным двигателем промышленного прогресса, а для этого членам его надо больше смелости и дерзания. О проделанной работе они будут отчитываться материальными ценностями — новыми машинами и станками, приборами автоматики и новой технологией.

С каждым днем все шире разворачивается работа совнархоза. Об этом можно написать немало, но лучше всего, пожалуй, рассказать об одной характерной встрече, которая хотя и не имеет прямого отношения к работе совнархоза, но говорит о многом.

В кабинете Георгия Александровича Веденяпина сидит пожилой посетитель. Он задает странные вопросы: «Как у вас организованы отделы? Как будет проходить работа технико-экономического совета? Что делают руководители секций?»

— Руководителям секций поручено составить планы работы и представить их на утверждение,— отвечает Веденяпин.

Его собеседник надевает очки, торопливо записывает все в блокнот. Веденяпин протягивает ему листки бумаги.

— Вот тут Положение о технико-экономическом совете, которое мы разработали.

Посетитель хватает листки и быстро пробегает их глазами.

— Нельзя ли экземплярчик? — умоляюще просит он.

— Мы сами, видите, бедно живем. Но вам я подарю один экземпляр, так и быть. И еще я вам дам структуру всего нашего совнархоза.

Я уже готов предположить, что в Горьковском совнархозе появился еще один наш брат — корреспондент, и с завистью смотрю на листки, которые бесследно исчезают в его кармане, но в это время Веденяпин спрашивает:

— А у вас, товарищ Баран, совнархоз уже работает?

Оказывается, Григорий Васильевич Баран, конструктор ХЭМЗа, прилетел сегодня ночью из Харькова со специальным поручением: узнать, как идет работа в Горьковском совнархозе. Он горячо благодарит за материалы, которые дал ему Веденяпин.

— Приходите завтра. У нас будет интересный разговор по электродам,— приглашает Веденяпин.

— Премного благодарен. Сегодня же лечу обратно. Вы не представляете, как меня там ждут. Ведь мы только-только начинаем.

— Тогда счастливого пути.

Все совершающееся сейчас в Горьковском совнархозе лишь маленькая частица той большой работы, которая кипит сейчас по всей стране,— боевой работы по дальнейшему совершенствованию организации управления промышленностью и строительством.

## 6. Тетрадь в коленкоровом переплете

Передо мной лежит толстая общая тетрадь в коленкоровом переплете. Торопливым, беглым почерком в ней записаны раздумья, мысли, предложения, и я не могу удержаться, чтобы почти целиком не привести их здесь, опустив лишь сугубо специальные вопросы, сделанные от руки наброски схем, чертежей.

Итак, раскроем тетрадь.

«6 апреля. Сегодня узнал о том, что меня собираются рекомендовать председателем Совета народного хозяйства Горьковского экономического района. Заказать горьковские газеты. Как там проходит обсуждение тезисов доклада Н. С. Хрущева.

Объединить заводы Вторчермета и Вторцветмета.

Базы Главметаллосбыта используются только на 25—30 процентов. Объединить базы — судпром, химвпром и пр.

Организация отраслевых технологических институтов.

Конкурсы по снижению веса машин. Премияльная система за экономию веса.

Технико-экономический совет. Устроить показательный технический суд проекта машины на секциях с приглашением оппонентов.

4 мая. Взять из министерства:

- а) план работы на месяц,
- б) план работы на день,
- в) личную техническую библиотеку,
- г) списки институтов,
- д) технические журналы».

Все это зачеркнуто, очевидно после того, как было сделано. Больше ничего не потребовалось Николаю Николаевичу Смелякову, чтобы переехать на место новой работы.

«6 мая. Сделать анализ всех предложений в газетах центральных, местных, выступлений на собраниях, активах.

10 мая. Анализ: чем занимаются проектные организации, их оснащенность. Удельный вес чисто технических работ по оформлению чертежей. Упрощение оформления.

Послать в Ленинград человека ознакомиться с практикой централизованных перевозок материалов.

Борьба с количеством распоряжений, с многоступенчатостью в письмах, телеграммах.

Анализ — через полгода — первых результатов работы по новой структуре.

Электрифицировать все колхозы и населенные пункты области (горэнерго и сельэнерго).

Газ, газ и еще раз Газ с большой буквы. Трубы сделать за счет собственных ресурсов.

Литейное производство. Поднять.

Ведущая задача — поднять производство без капитальных вложений в полтора-два раза.

Вода, нужна вода. Строительство водопроводов.

Проектирование автомашин на будущее — 1958, 1959, 1960 и т. д. Начинать теперь.

Специализация проектно-технических институтов по основным технологическим процессам: литье, поковки, сварка и пр.

К распоряжению СНХ пришивается контрольный листок для проверки исполнения.

Суточный рапорт — сталь (выплавка). Особое внимание — автомобили, прокат, лес.

11 мая. Сами формы автомобиля должны создавать впечатление стремительности, легкости, а не украшения, которые не достигают цели и ухудшают технологичность конструкций.

Дать предложения в Госплан об увеличении производства электрооборудования.

Коренные позиции снабжения: лес, тонкий лист и пр.

Связаться с Труновым (ж.-д.) по вопросам нерациональных перевозок. Использовать работы С. И. Прохорова.

Строительство дорог — экономические обоснования. Ознакомиться, проверить.

Как проехать на предприятия Горьковского экономического района? Самолет, поезд, автомашина, пароход.

13 мая. Издание «Бюллетень Горьковского экономического района» — информация, обсуждение проблем, дискуссии.

14 мая. Открыть выступление в промышленности и строительстве по аналогии с последними выступлениями сельского хозяйства за съем со 100 га пашни мяса, молока. Сколько мы снимаем с 1000 рублей основных средств?

18 мая. Как сократить количество письменных распоряжений и постановлений совнархоза:

- а) телефонные разговоры с фиксацией, кому что передано,
- б) объединение распоряжений, особенно по кадрам,
- в) писать меньше, короче,
- г) личные посещения завода с «проверкой глазами»,
- д) план мероприятий вместо приказов,
- е) борьба с мелочной опекой».

Далее, в нижней части страницы, идут не заполненные пока пункты «ж», «з», «и» вплоть до буквы «т». Нет причин сомневаться, что они будут заполнены и претворены в жизнь.

«20 мая. Инструментальные цехи кооперировать между заводами. Это очень важно. Поручить Веденяпину провести совещание.

23 мая. Безобразие с электродами.

Не дать совнархозу увязнуть в текущих делах. Перспектива — ближняя и дальняя.

1 июня. Какие институты нужно для пользы дела перевести из Москвы, Ленинграда? Дать предложения.

4 июня. Политехнизация школ. Оборудование выделить, дать места на заводах для практики школам, близко расположенным. Договориться со школами на последующее трудоустройство.

С вековой отсталостью, варварством действительно покончено. Расстояние пройдено огромное, если сравнивать с 1913 годом. Это сравнение, однако, не дает права успокаиваться и говорить, что мы много сделали. Сравнить надо с тем, что нужно было сделать и что сделано. Как программа-минимум. Составить эту программу для нашего СНХ.

Организовать соревнование между совнархозами.

6 июня. Специальное станкостроение: на базе завода фрезерных станков — фрезерные головки, обработка плоскостей, а не только отверстий.

Почему мы долго готовим производство автомобилей или других машин. Одна из причин — приспособления, оснастка. Организовать два-три цехозавода по изготовлению приспособлений. Создать цехи оснастки для всех нужд экономического района. Ударно изготовить оснастку. В США размещают оснастку на сотни фирм, а наши заводы — все сами. Любую программу можно осуществить, если оснастка будет размещена по группе заводов для одного завода, осваивающего новую машину.

Инструмент + цехи = 30% всего оборудования на заводе. Здесь огромные резервы.

Только разговоры о специализации.

Что выгоднее, капитальный ремонт станка или новый станок?

Главная цель — сокращение срока производства новых машин.

8 июня. Теперь задано вести более интенсивное хозяйство. Раньше мы много строили. Теперь надо лучше использовать мощности, расти прежде всего за счет технологии, оборудования.

11 июня. Вначале после реорганизации будет легче достигнуть ощутимых результатов — так сказать, снять первые сливки; ведь сейчас все видно невооруженным глазом. Затем пойдет более глубокая работа, мы должны вооружиться знанием экономики, технологии, увидеть резервы и реализовать их. Это не простая задача, и она может быть решена при

активном участии всех. Недостатки длительное время накапливались и вылились теперь наружу — эта сторона не должна ослабить наши усилия.

Надо посеять добрые семена, подготовить почву, вырастить и убрать урожай без потерь. Первый сбор урожая можно сделать уже в этом году.

12 июня. Конкурс по строительным материалам. Изыскать средства».

На этом пока кончаются записи в тетради, обыкновенной общей тетради в колленкоровом переплете.

Таковы некоторые мысли, с которыми председатель совнархоза начал свою работу.

## 7. Совнархоз принимает заводы

В кабинете первого заместителя председателя совнархоза Георгия Александровича Веденяпина все время толпится народ. Один пришел решать вопросы нормирования, другой принес свои соображения по электродам. Все сидят тут же, в кабинете, и, когда приходит их очередь, пересаживаются к столу.

Веденяпин не задерживает посетителей; кажется, что на любой вопрос он подготовил ответ заранее. Его стол «работает» с предельной нагрузкой.

Приходят руководители секций с планами работы. Некоторые секции уже провели первые заседания, избрали бюро, распределили обязанности.

Звонит телефон. Трубка кричит так громко, что Веденяпин вынужден отставить ее далеко от уха. Рассерженный голос жалуется на отсутствие леса. Веденяпин обещает принять меры.

— Кстати,— говорит он,— пришлите завтра к десяти часам форму сводки, по которой вы ежедневно отчитывались в министерстве.

— Зачем вам эта многотонная форма? — Голос в трубке преисполнен иронии: ага, вот и форма вам уже потребовалась.

Веденяпин невозмутимо отвечает:

— Не волнуйтесь за нее. Мы произведем над ней небольшую хирургическую операцию по уменьшению веса и возвратим вам для исполнения. С завтрашнего дня вы отчитываетесь перед нами.

Это уже первые практические шаги — сокращение форм отчетности. Например, в управлении металлургической и металлообрабатывающей промышленности, где главным инженером работает Александр Александрович Боровиков, мне рассказывают, как одним росчерком пера они зачеркнули семьдесят пунктов ежедневного отчета по всем запасным частям. Для ежедневного отчета оставлены два главных показателя — сталь и прокат. Хорошая «операция по уменьшению веса» бумаг!

Александр Александрович Боровиков составляет план работы для своей металлургической секции.

«Внедрение непрерывной разливки стали», — записано в одном из пунктов плана. Это заседание секции будет проведено непосредственно на «Красном Сормове».

Совнархоз уверенно берет на себя всю ответственность по управлению заводами. Вот одна из телеграмм:

«Председателю Московского совнархоза тов. Петухову И. Д.

Московский завод «Серп и молот» должен поставить Горьковскому металлургическому заводу в июне месяце слитки в количестве 1 900 тонн и недогруз прошлых месяцев 1 000 тонн.

Завод обещает поставку слитков начать с 15 июня. В связи с этим возможен срыв работы Горьковского завода. Прошу вашего указания заводу «Серп и молот» о немедленной отгрузке до 15 июня 1 000 тонн слитков в счет недопоставки прошлых месяцев, а июньский план поставки

закончить к 1 июня. Председатель Горьковского совнархоза Н. Смеляков».

Аналогичная телеграмма с просьбой срочно отгрузить лес для автозавода отправляется в Архангельский совнархоз.

...Проходит два дня. Из Архангельска прибывает быстрый ответ: принимаем меры выполнения плана поставок. В ближайшее время сообщим вам график отгрузки леса.

Другая телеграмма — менее приятная:

«Срыв задания своевременной поставки 15 крупногабаритных штампов, изготавливаемых Горьковским автозаводом, делает невозможным своевременное выполнение постановления правительства, ЦК КПСС по выпуску трелевочного трактора Алтайским тракторным заводом. Прошу вас обязать ускорить поставку этих штампов июне. Ваше решение сроках поставки прошу уведомить. Председатель Алтайского совнархоза Назаров».

Горьковчане принимают срочные меры, чтобы не подвести алтайцев.

Так день ото дня все шире разветвляются деловые связи между совнархозами.

Каждый день приносит реальные, ощутимые плоды — и немалые. Вот одно из решений совнархоза. До сих пор в Горьковской области действовало более восьмидесяти различных контор и агентств по снабжению и сбыту. В них работало две тысячи восемьсот человек. Теперь в Горьковском экономическом районе станет только четырнадцать крупных организаций по снабжению и сбыту и занято в них будет всего девятьсот человек.

Готовятся проекты решений по объединению многочисленных строительных организаций, карликовых автохозяйств. Значит, еще тысячи людей будут высвобождены из сферы управления. А ведь это только в одном экономическом районе из ста пяти, создаваемых в стране.

Реализуются и многие мысли из тетради председателя совнархоза Николая Николаевича Смелякова. Тогда в тетрадке против соответствующего пункта появляется красный кружок.

«Выбрать 5—7 заводов с небольшим количеством рабочих и ввести на них для опыта бесцеховую структуру. Срок две недели» — такое поручение дано Георгию Александровичу Веденяпину.

«Для проверки действий наших конструкторов и проектных организаций подберите одну деталь или узел и поручите разным конструкторским бюро одну и ту же работу: проверить расчетами толщину металла, марки стали, веса, сортамента. Опыт показывает, что у всех подход разный, — в результате лишние затраты материала. Дать предложения к 15 июня. Работу нужно провести так, чтобы конструкторские бюро не могли по этому вопросу консультироваться друг с другом», — это задание выполняет Георгий Аркадьевич Воробьев.

Горьковский совнархоз набирает темпы, у него четкий деловой ритм работы.

## 8. Невидимая стена

Многие процессы совершаются пока подспудно. Это понятно, горьковчане не хотят принимать поверхностные, скороспелые решения.

Хотя подавляющее большинство работников совнархоза — люди с заводов, все же им надо время, чтобы изучить предприятия района. Ведь в прошлом это изучение часто бывало затруднено. Начальник отдела труда и зарплаты Сергей Александрович Нельзин с горечью рассказывал мне:

— Заводы были разобщены. Иногда даже нельзя было попасть на завод. Скажем, надо было до зарезу получить сведения по нормам на «Двигателе революции». Добиваешься, добиваешься — напрасно. Иной



раз махнешь рукой — не хочется лишний раз нарываться на отказ. А работа стоит.

Теперь все предприятия, разделенные раньше невидимой стеной ведомственности, дают сведения в одно место — в совнархоз.

Раскрываются поразительные вещи: ничем не объяснимый разницей в нормативах, заработной плате, кустарщина в технологии. В совнархозе собрали сведения и ахиули: около двадцати предприятий области изготавливают у себя электроды. Одни изготавливают их сотнями тонн — у них есть хорошо налаженное производство электродов, другие делают их в небольшом количестве чуть ли не мануфактурным способом. И обходился такой электрод в десятки раз дороже.

Тут же, без задержки, готовится решение. Отныне два-три завода будут производить электроды для всех нужд промышленного района.

Два завода — «Двигатель революции» и «Станкозавод» — расположены по соседству, у них один общий забор. Но крепче этого забора была невидимая стена ведомственности. Токарь со «Станкозавода» и токарь с «Двигателя революции» работают на одних и тех же станках, живут рядом, покупают продукты в одном магазине, а нормы и зарплата у них разные. Один токарь получает на двадцать пять процентов меньше другого.

Из окон завода, расположенного неподалеку от ГАЗа, видны огромные корпуса автомобильного гиганта, но ведомственная стена разделяла эти предприятия. Сосед не знал, что делается у соседа. Теперь начальник отдела труда и зарплаты встретился в одной из комнат совнархоза со своим коллегой и с удивлением и радостью узнал, что у автозаводцев имеются давным-давно разработанные расчеты технических норм времени, которые так нужны были ему.

Стена ведомственности рухнула. И сразу раскрылись все нелепости, которые были незаметны прежде.

В совнархозе могут рассказать вам о том, как с Уралмаша везут на «Двигатель революции» десятитонные поковки для коленчатых валов. А с «Красного Сормова» везут такие же поковки на восток, за Урал, в Сибирь. Впрочем, об этом одном из многих курьезных случаев не стоило бы говорить, если бы не одно обстоятельство. Десятитонную поковку привозят на «Двигатель революции», и здесь из нее делают коленчатый вал весом в две тонны. Восемь тонн металла уходят в стружку. И эти лишние восемь тонн почему-то надо было непременно везти из Свердловска в Горький. А из Горького в таких же поковках везут будущую стружку на Дальний Восток.

Секции технико-экономического совета заняты сейчас одним — предложить наиболее рациональные варианты кооперирования, избежать всех нелепых встречных перевозок — ведь перевозка стружки так же невыгодна тем, кто ее отправляет, как и тем, кто ее получает. Обе стороны заинтересованы, чтобы не было встречных перевозок.

Задачи, казавшиеся неразрешимыми прежде, когда существовала невидимая стена, решаются теперь удивительно просто. Один небольшой, но примечательный эпизод. На автозаводе долгое время бездействовали два молота, нужные в Павлове. Раньше и подумать было страшно о том, чтобы перевезти два этих молота за сто километров — на их пути стояла все та же невидимая стена. Теперь задача решается просто: павловцы присылают вагоны и увозят молоты к себе. Ничто теперь не задерживает творческой инициативы людей; воодушевленные этим, они работают задорно, с огоньком, не тратя ни минуты на бумажную волокиту, на бессмысленное производство никому не нужных бумаг.

Но тем не менее...

### 9. Возникают новые проблемы

Мы прогуливаемся со Степаном Ивановичем Прохоровым по набережной имени Жданова, протянувшейся широким проспектом по высокому волжскому берегу. Навстречу нам идут молодые юноши и девушки, прогуливаются парочками матросы в голубых костюмах, в белых бескозырках, лихо заломленных на голове. Перекликаются на реке пароходы, доносится далекая музыка.

Степан Иванович говорит:

— Управление децентрализовано, совнархозы наделены правами министерств, а права директоров пока что остались куцыми. Конечно, совнархозы, во всяком случае наш, не станут заниматься мелочной опекой, но все-таки права директоров должны быть официально расширены — к этому выводу неуклонно приводит весь ход развития последних лет.

— Или такой вопрос.— Прохоров подходит к ограде набережной и смотрит на реку. — Привели в движение такую великую силу, а одно все-таки забыли. Реорганизуем мы промышленность, а транспорт? Неужели здесь останется без изменений? У нас, в Горьком, особенно остро стоит проблема реки и железной дороги. Здесь тоже своя ведомственность. Железнодорожники гонятся за грузами и гонят металл из Горького в Павлово-на-Оке через Ковров — Арзамас — Кудьму на расстояние до шестисот километров, в то время как прямой путь по Оке до Павлова всего сто шесть километров. Таких примеров я мог бы привести сотни. Речной флот незагружен, у судов больше простоя, чем ходового времени. От такого ведомственного подхода на предприятиях скапливается огромное количество готовой продукции. Заводы, железная дорога, река платят друг другу миллионы рублей штрафов. В совнархозах должны быть общие транспортные управления. Заработаем на этом сотни миллионов рублей.

Я слушаю и невольно вспоминаю одно примечательное место из его докторской диссертации, где он, исходя из принципа работы новых совнархозов, пишет:

«Предварительные подсчеты показывают, что экономическая эффективность от решения назревших проблем комплексного развития районов только по Горьковской области составит 8—10 миллиардов рублей в год».

Будущее покажет, были ли эти расчеты чересчур смелыми или, наоборот, излишне скромными.

А пока, чтобы обратить эти предполагаемые миллиарды в материальные ценности, работают люди в совнархозе и на заводах. Разрабатываются планы работы секций технико-экономического совета; обдумывают свои решения руководители совнархоза; изучаются предложения сталеваров и мастеров, конструкторов и технологов, высказанные ими во время всенародного обсуждения.

Люди работают. Они сходятся группами для кратких деловых бесед, ездят по заводам, сидят за расчетами и графиками, готовят предложения по улучшению работы. Эти люди — деловой, сосредоточенный народ. Они не привыкли к громким сердечным излияниям, не восклицают в упоительном восторге: «Ах, как хорошо и легко теперь стало работать!»

Они понимают, что работать и теперь будет совсем не легко и не просто. Уйма нерешенных вопросов ждет своего разрешения, сотни инженерных и технических проблем, больших и малых, каждодневно возникают на их пути. Но они, эти люди, полны решимости работать, преодолеть все трудности, которые стоят перед ними.

\* \* \*

Понедельник, 17 июня 1957 года. Я уезжаю из Горького. Захожу последний раз в совнархоз.

Кабинет Николая Николаевича Смелякова пуст — председатель совнархоза уехал на заводы.

Георгий Александрович Веденяпин громко кричит что-то в телефон. Не отнимая трубки от уха, не прерывая разговора, он протягивает мне руку на прощание, кивает головой.

Георгий Аркадьевич Воробьев сосредоточенно пишет, зажав во рту набухшую папиросу, и я не решаюсь его беспокоить.

В управлении материально-технического снабжения и сбыта Ефим Эммануилович Рубинчик ведет многолюдное совещание.

Все заняты своими делами.

Я бреду по коридорам. Ремонт в здании заканчивается, чистятся и натираются до блеска полы. Сотрудники перебираются в комнаты второго этажа, тащат туда пишущие машинки, телефонные аппараты. Навстречу мне идет женщина, обеими руками она держит высоченную кипу новых папок, лишь голова виднеется над ними. В конце коридора висит вывеска «буфет». Он уже работает. Сотрудники совнархоза торопливо глотают сосиски, пьют кефир, пиво и спешат по коридору по своим делам.

На лестничных площадках, в коридорах, в приемных я вдруг замечаю тут и там большие квадратные коробки часов. Еще позавчера, в субботу, их не было, а сегодня часы всюду висят на стенах, тонкие линии проводов тянутся к ним. Стрелки их сошлись вертикально, показывая двенадцать часов. Все часы показывают одно и то же время — двенадцать ноль-ноль. И все часы стоят. Я перехожу из коридора в коридор, открываю двери приемных, надеясь увидеть хоть одни работающие часы.

Все часы стоят. Стрелки их неподвижны.

Издали доносится тонкий, едва слышимый писк: проверка времени по радио. Что-то коротко щелкает над моей головой. Я смотрю вверх, на часы, висящие над дверью. Большая стрелка часов чуть заметно дрожит и вдруг прыгает с места.

Я спешу в другой конец длинного коридора. Стрелки показывают двенадцать часов и две минуты. Я стою перед ними, еще не веря своим глазам, и едва не вздрагиваю, когда стрелка с легким щелком перепрыгивает на одно деление вперед. Все часы в здании пошли в ход, принялись дружно, минута за минутой, отсчитывать время. Они показывают точное время.

Хорошее, радостное время больших перемен!

Июнь, 1957.

г. Горький.



---

*В канун VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов  
в Москве*

## СЛОВО К МОЛОДЕЖИ

---

Г. КРЖИЖАНОВСКИЙ,  
*Герой Социалистического Труда, академик*

★

### МЕЧТЫ И БОРЬБА

**Н**ас была небольшая кучка революционеров-ленинцев, посвятивших всю свою жизнь делу освобождения человечества от капиталистического рабства. Мы были молоды, полны энергии и веры в торжество наших идей — идей коммунизма. Во главе нашей партии стоял величайший из людей — Владимир Ильич Ленин, чье имя навеки стало знаменем всего прогрессивного человечества. Мы не могли помышлять ни о фестивалях, ни о свободной и счастливой молодости. Нашим уделом в царской России были тюрьмы, каторга и ссылки. Но мы боролись за освобождение людей, за социальную революцию.

Сорок лет тому назад великие идеи ленинизма восторжествовали в нашей стране. Оценивая огромный труд советского народа, понимаешь, что всемирно-историческое значение его не только в расцвете производительных сил, развитии могучего хозяйственного строительства, но в первую очередь в принципиально новом подъеме энергии народа, в новых отношениях между людьми и народами.

Скоро в столице Советского государства, в знаменательный год его сорокалетия, начнется всемирный праздник дружбы и молодости, праздник молодежи всей нашей планеты.

В наш век, когда уже ясно, что мы вступили в новую эру технического развития — в атомную эру, эта встреча молодежи приобретает особый, я бы сказал — символический смысл. Сама жизнь толкает нас к мирному единению. Мир трудящегося человечества сейчас с каждым днем все более и более становится нераздельным.

Огромные расстояния, которые раньше разделяли материки, перекрываются сейчас уже не в сутки, а в часы. Невиданный прогресс техники, и в первую очередь техники электричества и атома, сближает между собой все человечество.

Все, что создано разумом людей, может и должно стать достоянием всего человечества. Все это принадлежит молодежи, ибо за нею будущее.

Но расцвет техники имеет и обратную, теневую сторону. Колоссальные силы атома, которые способны сказочно обогатить нашу жизнь, злые силы мира могут использовать и как страшное оружие разрушения.

Что же делать молодежи?

Она должна помочь своим старшим братьям и отцам — необходимо отвести от мира угрозу атомной войны.

Может ли молодежь поставить перед собой такую задачу и решить ее? Да, конечно.

Мечты нашей молодости — я говорю о людях моего поколения — во многом и решающем осуществились. Наш опыт должен подбадривать вас, юные друзья мои. Объединяйтесь в борьбе за мир, и вы сохраните его для себя, для всего человечества.

---

**Н. СЕМЕНОВ,**

*лауреат Нобелевской премии, академик*

★

## ДЕРЗАНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ

Понятие молодости для меня, как ученого, совпадает с понятием творчества.

История научных открытий показывает, сколь большое их количество принадлежит совсем еще молодым людям.

Чего мне хотелось бы пожелать молодежи всех стран и народов — это дерзания в творчестве.

Обращаясь с этим призывом, я имею в виду, что творчество — привилегия отнюдь не только профессиональных ученых или работников искусства. Творцом может быть каждый трудящийся человек в любой отрасли полезной деятельности.

Второе, чего мне хотелось бы пожелать специально молодым ученым всего мира, — это чувства ответственности, ибо никогда еще научные исследования не были связаны столь непосредственно с практической жизнью, с судьбой народов, как в наше время. Это чувство ответственности должно с неизбежностью приводить молодого ученого в лагерь сторонников мира, активных борцов за мир.

И, наконец, третье. Условием успешной борьбы за мир является единение, единение всех сторонников мира, и в том числе молодежи.

Итак, творчество, ответственность и единение — вот мои пожелания молодежи.

---

**ГАЛИНА УЛАНОВА,**

*лауреат Ленинской премии, народная артистка СССР*

★

## МИР, ДОБРО, КРАСОТА

Думая о фестивале, я, актриса, естественно испытываю живой интерес к тому искусству, которое можно будет узнать за эти дни и недели. Думая о фестивале, я представляю себе, какой замечательной школой воспитания нового, быть может во многом вовсе не известного нам искусства будут все эти художественные конкурсы, выставки, вечера музыки, пения, танца. Думая о фестивале, я верю и надеюсь, что знакомство с духовными сокровищами разных народов принесет нам бесценную пользу и радость не только потому, что мы соприкоснемся с дотоле неизвестным нам творчеством, но и потому, что мы узнаем людей искусства разных стран.

Бесчисленное множество раз повторенные слова об интернациональности языка искусства, наверное, обретут сейчас особенно большой смысл: человеческое творчество, обращенное непосредственно от сердца к сердцу, способно раскрыть такую глубину, содержательность, силу людских дум и характеров, что мы еще и еще раз сможем убедиться в том, сколько добра таится в каждой душе, как жадно тянутся люди к дружескому общению, как необходимы им тепло рукопожатия, свет мысли, широта взглядов на мир.

Человеческое творчество безгранично. Искусство не знает рубежей — всегда глубоко национальное, оно принадлежит всем, ибо оно всем необходимо, всем несет счастье познания Красоты. Красота эта многолика и разнообразна. Она бывает простой, как полевой цветок, и сложной, как живопись импрессионистов. Красоту не всегда легко познать, и, для того чтобы воспринять, скажем, мысль великой симфонии, проникнуть в ее глубину, ритмическое и мелодическое построение, надо слышать это произведение не раз и не два, надо развить и подготовить свой интеллект к восприятию подобных произведений, а уже потом, поняв, судить о них.

Не случайно говорю я об этом сейчас, думая о фестивале. Молодежи свойственна безапелляционность суждений, завидная уверенность в том, что «я все могу, все понимаю, а если чего и не понимаю — значит это плохо...». Но даже самые великие творения художников всех времен и народов по-разному действуют на человеческую душу в зависимости от возраста, жизненного опыта, миропонимания. Поэтому мне очень хочется сказать молодежи: не торопитесь с окончательными суждениями о тех или иных произведениях мирового искусства. Не всякое искусство так просто, что его сразу можно понять. Духовное развитие, рост интеллекта, совершенствование вкуса помогут вам в этом. Но это не может прийти сразу, иногда вам понадобятся для этого долгие годы.

Повторность восприятия — незаменимая школа для понимания искусства. Каждый раз по-иному реагирует человек на прекрасное, каждый раз прекрасное возбуждает мысль, делает восприимчивее, гибче, более развитыми вкус, ум и сердце. В молодости легко воспитать, подготовить себя для того, чтобы научиться впитывать в себя прекрасное. Так пользуйтесь же общением друг с другом, чтобы поделиться этим драгоценным умением слушать и видеть, чтобы научить друг друга пониманию того неповторимо своеобразного, что создает каждый народ.

Может быть, театр воспринимается легче, чем иные формы художественного творчества, потому что он нагляден и доступен, как ничто другое. Поэтому так важно, так интересно все то, что покажут на фестивале театры наших друзей, то, что они увидят в театрах у нас.

Мне никогда не забыть, как театр заставил меня поверить в чудо искусства, как, глядя на сцену МХАТа, я вдруг поймала себя на том, что чувствую себя частью той жизни, которая разворачивается передо мной на подмостках, что еще миг — и я заговорю с людьми по ту сторону рампы, начну с ними спорить, буду стараться их в чем-то убедить, буду дружить и ссориться с ними...

Это было двадцать лет назад, на представлении пьесы Булгакова «Дни Турбиных». И тогда же, в середине тридцатых годов, я впервые поняла, какая огромная сила заложена в театре, как много доброго может он сказать людям и как важно, необходимо важно, чтобы добро это вошло в твою жизнь. «Любовь Яровая», «Гроза», «У врат царства» с Еланской и Качаловым, спектакли с Добронравовым, Ливановым, Андровской были такими значительными событиями в моей жизни, что я до сих пор помню о них ярко и благодарно. Глядя на Еланскую в «Грозе», я неотступно думала о том, что дозволено и что запрещено для человека, в чем смысл понятий «хорошо» и «плохо» и как трансформировалась точка

зрения на них на протяжении веков и лет. Так я убедилась на опыте собственного восприятия в огромном этическом значении искусства вообще и театра в частности. И если бы надо было найти самую лаконичную формулу для выражения смысла подлинного искусства, то следовало бы говорить именно о его этической, нравственной силе воздействия на миллионы людей, которые могут стать добрее и лучше оттого, что они узнают десятки и сотни истинно художественных произведений.

От моей любви к природе шло мое юношеское увлечение Левитаном. Он наводил меня на мысли о вечной красоте, таящейся в самых обыкновенных деревьях, травах и водоемах.

Потом пришло понимание Поленова, совсем недавно раскрылся предо мной Тернер с его тонким, очень сложным восприятием, раскрытием и передачей природы...

Далеко не сразу научилась я понимать музыку, еще позже полюбила ее так, как любят самое необходимое и дорогое в жизни. От Франчески да Римини Чайковского, Шехерезады Римского-Корсакова, Шопена в исполнении Горюхицы, без конца слушая полюбившиеся вещи, все расширяя их круг, глядя, как работают музыканты на репетициях симфонического оркестра, шла я к Музыке — всеобъемлющей и прекрасной, как жизнь. И все более сложная, все более глубокая музыка входила в меня, порождая все новые и новые мысли о человеке, о том, какой же он на самом деле, и я видела и понимала, что он разный, порой очень противоречивый, но всегда открытый для добра и красоты. Так старалась я узнать лучшие качества человека. Так узнавала его. Так убеждалась в том, что настоящее искусство учит человека думать и действовать, делает его сильнее и чище.

Вряд ли надо подробно объяснять, почему, думая о фестивале, я вспомнила и свою молодость и ту роль, которую сыграло — и по сей день играет — в формировании моего внутреннего «я» искусство. Мне хотелось рассказать участникам фестиваля о том, как важно пристально вглядываться в жизнь и стараться сделать ее лучше, как много может здесь помочь художественное творчество, если только оно действительно художественно.

Мне хотелось рассказать, каким я представляю себе критерий художественности, хотелось возбудить в молодежи пылливость, требовательность, желание научиться по-настоящему понимать искусство и, главное, суметь сделать так, чтобы искусство не только делало жизнь краше, но и помогало борьбе за ее справедливое устройство на всей земле, за людское счастье, немислимое вне самых благородных порывов человека, вне мира, добра и красоты.

---

**К. ЮОН,**

*народный художник СССР*

★

## **ЖИЗНЬ «НА ЛЮДЯХ»!**

Всю свою долгую жизнь я прожил рядом с молодостью.

Как художнику-педагогу мне пришлось с большим вниманием присматриваться к характеру дарования, к интеллектуальной и душевной жизни, к темпераменту юных живописцев.

Мне хорошо знакомы отличительные свойства темпа чувствований и размышлений, поисков и волнений, мечтаний и споров молодого поколе-

ния. Я хорошо знаю всю сложность «романтики» юных лет человеческой жизни.

Однако характер переживаний, содержание мыслей и чувств с течением лет меняются, прогрессируя в сторону все более сознательного и реалистического восприятия мира.

В годы юности, в годы созревания связь с прогрессивной общественной мыслью всегда отличала рвущуюся к знаниям молодежь.

В наше время великой борьбы двух противостоящих мировоззрений — социалистического и капиталистического, время перестройки на этой почве всех международных отношений, связь подрастающего поколения с мировой политической и общественной мыслью неминуема и неизбежна.

Сейчас переживания молодежи имеют мировой характер, будучи связанными с международной жизнью.

Сознание, что ты не одинок, что ты морально связан с большим коллективом товарищей не только своей родины, но и других народов, овладевает умом и сердцем.

Такое сознание является большим счастьем для юного поколения; оно направлено к прекрасной цели — цели общей борьбы за счастливую жизнь нашу и нашей смены. Пословица народной мудрости говорит о том, что «на людях и смерть красна». Что же говорить о прекрасной жизни и о труде «на людях»!

Я желаю нашей горячо любимой молодежи теснее связаться с творческими устремлениями нашей советской общественности к свету и разуму — за мирный труд и за общее счастье, к которым всегда была направлена деятельность всех лучших людей человечества. К этим целям нас ведут великие идеи коммунистического строительства.

Этот путь нам указал великий Ленин!

---

**ШОН О'КЕЙСИ,**  
ирландский писатель

★

## **РОЗА ЮНОСТИ**

*Знаменитый ирландский писатель Шон О'Кейси в письме, которым он сопровождал свою небольшую статью о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, присланную им для «Нового мира», пишет:*

*«Грядущий фестиваль имеет для меня особый интерес потому, что наш младший мальчик, которому был всего 21 год и который скоропостижно умер в канун Нового года, мечтал попасть на этот фестиваль в числе других студентов. Он готовился к нему, собирал деньги на дорогу и живо обсуждал свою поездку со мной, когда мы бывали вместе... Ну что ж, если дух после смерти хоть как-нибудь останется жить, тогда Найэл будет в шюле среди мужественной и веселой молодежи на фестивале в Москве...»*

Роза Юности будет огромной, куда больше той прославленной хризантемы, которая расцвела на крыше горящего замка в пьесе Стриндберга «Мечта», куда больше громадного чертополоха, растопырившего во все стороны свои колючки и достающего своим пышным багряным султаном облака, из великой поэмы Хью Макдиармида «Пьяница глядит на чертополох». Роза Юности будет больше них потому, что ее многоцветные лепестки покроют всю огромную Москву; юные голоса на множестве языков признают перед всем миром ее красоту и величие; их услышат и в тех частях света, где люди еще не отряхнули праха отживших идей, старых обычаев, сбветшалых верований.



Ах, как замечательно будет видеть и чувствовать этот деятельный, жизнерадостный дух Юности, серьезный и веселый, ритмично шествующий под трепещущими флагами почти всех наций, осененными в свою очередь обширным и благородным знаменем великого Союза Советских Социалистических Республик! Я не смогу там быть сам, но душой я буду с ними, буду петь вместе с молодыми, буду танцевать; мой старческий, слегка дрожащий голос добавит словечко-другое к тому, что произнесут их юные и жизнерадостные голоса; надежды же мои будут так же светлы, как их надежды, и так же крепка решимость работать и сражаться за новый, куда более разумный образ жизни, который коммунизм в конце концов принесет всему человечеству.

Конечно, нам не дано всегда только плясать, петь или играть в веселые игры — всякое удовольствие раздражает своим однообразием, если получать его без конца. Нам нужно и работать, ибо только трудом завоюем мы досуг, силу и здоровье, нужные для того, чтобы играть в эти приятные, а порой и занимательные игры. Не тот труд, конечно, от которого дичаешь, работая от зари до зари, для того чтобы кучка избранных могла пользоваться досугом, удовольствиями и властью, те немногие, кто думает, что их отметил сам господь бог, ибо они родились в сорочке и поэтому подкупают людей куда более светлого ума из печати, радио, театра и телевидения, чтобы те не мешали им покоить пухлые зады в пушистых плюшевых креслах...

В каждом труде есть свое искусство: и в том, как плавить сталь, и в том, как торгуешь за прилавком и как подаешь пищу в ресторане, и в том, как водишь поезда, управляешь кораблем, всюду, в любом производстве и даже в бухгалтерском учете, — во всем этом есть искусство, так же как и в писании книг, рисовании картин, валянии скульптур, создании музыкальной партитуры. Поэтому мы приветствуем и почитаем все, что делает человек — хирург и сиделка, солдат и моряк, жестянщик и портной, ткач у своей машины и тот или та, кто такает башмаки, в которых мы бродим по свету.

И всех, всех этих молодых работников примет в свои великие объятия Москва этим июлем. Они придут со знаменами и музыкой; они пройдут танцующим шагом, и молодость всех наций, юноши и девушки, дорогие мои юноши и девушки всех цветов кожи, множества наречий и самых разных убеждений, обнимут, поцелуют друг друга и воскликнут:

— Товарищ! Дорогой товарищ, привет! Спой со мной, станцуй со мной, раздели со мной пищу, выпей со мной глоток доброго вина за ту мирную и счастливую жизнь, которую мы хотим дать миру. А этим миром будет управлять радостный и разумный человек!

Сначала молодежь омочит свои алые губы в вине, чтобы выпить за здоровье своего гостеприимного хозяина — великого жизнерадостного Советского Союза, вздымающего свое Красное Знамя с эмблемой серпа и молота, величественного символа своей страны; потом юные губы прикоснутся к вину, чтобы выпить за Красную Звезду — сияющий символ коммунизма во всем мире. Тут я вспомню строку из песни в пьесе, написанной восемнадцать лет назад:

Взойди, о Красная Звезда, взойди над целым миром!

Я, старый ирландец, шлю горячий привет всем юным, кто соберется на Фестиваль молодости 1957 года и неизбежно привнесет в него радость и кипучее оживление, я шлю им свое благословение именем всех тех, кто, борясь с давним-давно ушедших времен, сознательно или бессознательно добился того, что такая великая ассамблея молодежи всего мира стала возможной.

Ваш до глубины души  
Шон О'Кейси.

Торки.

**ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ,***болгарский писатель, академик***СОЗНАНИЕ СВОЕЙ СИЛЫ**

Два мира... А речь идет о молодежи — о молодежи моего времени и молодежи нынешней. Это действительно два различных мира. Первые пять молодежных фестивалей были для меня чем-то таким новым и головокругительно прекрасным, что я от души позавидовал моим юным современникам, тем изумительным возможностям, которые открываются перед ними.

Мои годы подходят к концу седьмого десятка, и я могу сказать предельно искренне, что, когда порой я встречаю своего сверстника, согбенного бременем испытаний, я чувствую себя человеком, который мог бы владеть несметными сокровищами, но которого ограбили зловещие властители жизни — несправедливость, насилие, алчность.

Я и люди моего поколения пережили четыре войны — две балканские и две мировые. Во время второй балканской войны, раненый, больной холерой, я был брошен на поле битвы в Македонии, как и сотни других солдат. Запуганные холерой, два санитары за десять шагов от меня утащили мою смерть и ушли прочь. Уходя, один из них сказал:

— Как бы он не очнулся...

Другой ответил:

— Как же, очнется на том свете...

Что произошло потом?

Через два года началась первая мировая война. Меня опять мобилизовали, верно затем, чтобы я испытал, что значит «пустить на ветер» еще четыре года жизни, и стал свидетелем ужасов, один лишь вид которых старит и превращает человека в бессильную тень.

Зато великой наградой за четыре года страданий было для меня Влaдайское солдатское восстание в Болгарии, которое фактически положило конец участию моей страны в первой мировой войне. Под воздействием Великой Октябрьской революции, ее идей мира и дружбы между народами измученные солдатские массы повернули оружие против узурпаторов и эксплуататоров, против тех, кто организовал империалистическую бойню, и вынудили их заключить мир. В 1923 году в Болгарии был совершен военно-фашистский переворот. На другой же день у народа отняли все права и свободы. Но наш народ и его интеллигенция не были сломлены, они вели непримиримую борьбу против фашизма и его зверского режима.

Вот так — в войнах, борьбе, нужде — и проходила молодость моего поколения. Мы были оторваны от благородного творчества, от созидания культуры, от великих стремлений века, от всего того, чем вы, дорогие юноши и девушки моей свободной страны, пользуетесь сегодня так щедро, в таких ослепительно широких масштабах!

Молодежь социалистических стран имеет все возможности проявить себя и в искусстве, и в литературе, и в музыке, и в спорте. Вы, мои молодые друзья, можете соревноваться друг с другом и раскрывать свои таланты каждый в своей области. Вы можете путешествовать по свету, радоваться жизни — она не похожа на ту, какой знали ее мы. Ваша жизнь исполнена глубокого смысла, радости, благородных стремлений, великих порывов. Верить в будущее и творить его своим трудом и дарованием — вот ваше назначение!

Эту новую жизнь создали ваши отцы и братья, принеся колоссальные жертвы. Ее создали и ваши собственные усилия. Объединившись после

второй мировой войны в новые молодежные организации, вы укрепили вашу дружбу и взаимопонимание и осознали их историческую необходимость. Благодаря этому молодежь всех континентов и всех рас почувствовала себя слитой воедино с идеалами эпохи.

Жизнь на нашей планете еще далеко не совершенна. Еще бушуют на ней противоборствующие силы. На одной стороне выступают добрая воля и здравый разум, любовь к жизни и к человеку, бережное отношение к человеческой культуре; на другой стороне — первобытные инстинкты, неутолимая жажда обогащения и завоеваний, пренебрежение к людям, стигматизация духовных ценностей человечества.

Не так много времени прошло с тех пор, как вооруженные флоты двух великих держав напали на молодую Египетскую республику, бомбили Порт-Саид, Каир и другие города. Это — свидетельство того, что опасность третьей мировой войны далеко не химера. Нельзя забывать и войны в Корее, во Вьетнаме и, наконец, того, что ныне происходит в Алжире. Кто спровоцировал эти кровопролития? Надо ли вам, молодежи, об этом думать и говорить?

Надо!

Ваше счастье под угрозой!

Ваша благородная дружба, юноши и девушки с Черного материка, из Индии и Америки, из Китая и Европы и всех других стран, жизнь ваших отцов и матерей, братьев и сестер ничего не значат для современных тамерланов, для людей с пещерным сознанием.

Перед вами стоит задача огромной важности. Надо во что бы то ни стало достигнуть светлой цели, к которой упорно пробивается нынешнее поколение людей труда во всех странах. Не только широкие горизонты творчества и новой жизни открываются для молодежи — на ней лежит и забота оберечь, сохранить эту новую жизнь от ядовитых скорпионов нашего века.

Давайте же сокрушим общими усилиями идеологию человеконенавистничества и положим начало эпохе мира и благоденствия, чтобы человек жил без страха и угроз, без ненависти. Это будет эпоха бурного расцвета искусства и науки, великой радости бытия! Это будет жизнь, исполненная смысла, свободная от всякого варварства!

«Молодежь — великая сила!» — говорил наш национальный герой Георгий Димитров. Эта сила, если она монолитна, может сдвинуть горы. Такова она в национальном масштабе. Молодежь в мировых колоннах — сила еще бо́льшая. Сознание собственной силы должно придать вам, дорогие юноши и девушки, смелости, чтобы вы еще бесстрашнее боролись за эту жизнь, такую богатую, почти фантастическую, полную дерзких мечтаний и осуществляемых замыслов, смеха и радости. Она уже завоевана в некоторых странах, но ей угрожают поклонники атома-разрушителя!

Однажды, беседуя с Гегелем о диалектике, Гёте сказал, что надо лишь не злоупотреблять этим одухотворенным искусством и методом мышления и не использовать их с целью сделать ложное истинным, а истинное — ложным. В моих мыслях, мне кажется, есть известная диалектика, однако она имеет отношение к вещам, очевидным для всех, совсем не отвлеченным, а близким, почти осязаемым; имеет отношение к тому, что все еще испытывают на себе миллионы молодых людей, живущих в обществе, где властвуют имущественное неравенство и эксплуатация... Истина сияет, как солнце, и в ее свете видно издали, кто друг и кто заклятый враг.

О мире моей молодости, о тяжелом прошлом написано много хороших и правдивых книг. В наши дни я встречал много любознательных молодых людей, которые, помимо спорта, страстно привязаны также и к литературе, к духовным ценностям. Однако большая часть молодежи, увле-

каясь спортом, пренебрегает еще этими ценностями, и это для нее очевидная потеря...

Встреча молодежи на Московском фестивале — событие исключительной важности для времени, которое переживает человечество, для чувств, которые испытывает молодежь мира. Итак, да здравствует фестиваль молодежи в столице страны, ставшей стражем мирного труда, дружбы между людьми и международного братства.

София.

---

**ДЖОН Д. БЕРНАЛ,**  
*профессор, английский ученый*



## **ПРОБУЖДЕНИЕ МИРА**

В каждом столетии бывают свои критические периоды, когда необходимо принять важные решения, которые могут определить все будущее человечества. В нашем столетии было чрезвычайно много таких периодов, ибо оно отмечено войнами и революциями; но, быть может, самое важное значение для всех нас имели последние годы.

Народы мира должны поднять свой голос, чтобы раз и навсегда предотвратить катастрофу ядерной войны. Такая война не только представляет угрозу сама по себе, но порожденные ею страх, подозрительность и бесполезное растрачивание материальных ценностей задерживают претворение в жизнь огромных возможностей, которые открывает перед человечеством наука. Все это имеет наибольшее значение для молодежи, ибо во всех странах мира именно она может больше всего потерять; ей предстоит больше всего страдать, и для нее жизненные перспективы и возможности созидательного труда должны быть особенно велики.

Но народы мира пробуждаются. Целые континенты угнетенных и отсталых народов требуют, чтобы плоды человеческих знаний стали достоянием всех. И если эти народы объединятся, к их голосу должны будут прислушаться.

Фестиваль молодежи открывает возможность перед молодыми людьми всех стран и народов дать клятву построить мир дружбы, знания и изобилия и навсегда покончить с миром ненависти, невежества и страданий.

Лондон.



---

АЛЕКСЕЙ МАРКОВ

★

## МОЛОДОСТЬ

Двери настежь у Москвы раскрыты  
Для гостей всех наций и племен,  
Хлынула в мой город знаменитый  
Нынче молодость со всех сторон.

И невольно вспоминаешь юность,  
Что прошла в железном блиндаже.  
Ждали нас ровесницы, волнуясь,  
В двадцать овдовевшие уже.

И не фейерверк летел над нами —  
Вспышки орудийные во мгле,  
Раскалялся под ногами камень  
На огнем бушующей земле.

Но не потому ль со всей планеты  
Нынче юность собралась в Москве?  
Веселятся в честь гостей с рассвета  
Жаворонки в звонкой синеве.

Потрудилось наше поколение  
Не напрасно — слышишь, старина, —  
Раз такое на земле веселье  
И цветет по-прежнему весна.



---

АЛЕКСИС ПАРНИС

★

## В МОСКВУ, НА ФЕСТИВАЛЬ

(Из поэмы)

Мой корабль, давай сигнал отплытия!  
Ждет нас праздник, ждет нас новый день!  
Мама, ради этого события  
Шаль свою воскресную надень!

Знаю, мать, что ты боишься пристани,  
Провожавшей двух твоих сынов  
На войну, в Макронисос, под выстрелы.  
Дом стал пуст, и нрав твой стал суров.

Порт душил твои простые радости  
Серыми руками дамб своих.  
Это море угасило в ярости  
Два огня — двух сыновей твоих.

Но сегодня мы уйдем по-мирному  
И придем обратно без потерь.  
Мать, прости обиды морю синему,  
Кораблю высокому поверь!

Будь со всеми на морском вокзале ты,  
Улыбайся возгласам в ответ.  
И пускай, морским иодом залиты,  
Исцелятся раны прежних лет!

---

Встань, Гиперборея! Утро молодо!  
Принимай посланцев всех краев!  
И пределы праздничного города  
Песнями заполни до краев!

Дружбы мост мы здесь сегодня выстроим,  
Из камней разных мост один.  
Этот мрамор, что столетья выстоял,  
Я, строитель, вывез из Афин.

Он извечен, этот мрамор памятный,  
Как стремление к миру у людей.  
Пусть сплотится с плитами фундамента  
Стойкий мрамор родины моей.

---

<sup>1</sup> Древнегреческое название нынешней Европейской части Советского Союза.  
(Примеч. перев.)

Приходите, юные, поющие!  
Этот мост надежен и высок.  
Чтоб на нынешнее и грядущее  
Посягнуть никто уже не мог!

Приходите, юные и светлые,  
Песни пусть расплещутся, звеня,  
На пороге праздника всесветного,  
На заре безоблачного дня!

*Перевел с греческого Д. Давыдов.*



---

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

✠

## РАССКАЗЫ О БЕТАЛЕ КАЛМЫКОВЕ

### 1. Первая встреча

**М**ы шли горами. Была весна. Гремели веселые ливни. Нам они казались голубыми, потому что после них все начинало светиться голубым светом. Грозы непрерывно сопровождали нас. Раскаты грома слышались всюду. Если мы проходили по высотам, то даже под нами могли играть длинные молнии и слышаться пушечные раскаты, за которыми следовали грохоты обвалов, и эхо без конца повторяло их.

Тропы превращались в ручьи, ручьи сбрасывали камни в речки, на которых поперек, наискось висели еще не сорванные мосты. По таким мостам, смотря в пенистую, густую, тяжелую и летящую с неслыханной скоростью воду, мы проходили в день не раз, и горцы говорили про такие мосты: идешь пополам со смертью. Но о смерти здесь, даже в узком ущелье, зажато высокими, отшлифованными ветром скалами, ничто не напоминало. Наоборот, вокруг нас буйствовала, сходила с ума весенняя горная жизнь.

Широкий ветер качал на обрывах сосны, ели, лиственницы, дубы. Эти старые жители гор протягивали ветру свои длинные, большие мозолистые ветви, как бы обнимая простор. Море молодой листвы шумело по всем оврагам и склонам.

Мы взбирались по отвесным каменным уступам; мы шли по колено в густой ржавой грязи, среди мокрых трав, переполненных всеми запахами лугов; переходили по длинным карнизам, цепляясь за выступы, трудные места; спускались к реке или подымались на кручи по каменным лестницам, таким узким, что двое не могли бы там стоять рядом.

Мы шли пешком, мы садились на горных лошадей, привычных ко всему. В цирке можно было бы делать с ними не простой номер: соорудив высокую пирамиду, уходящую под купол цирка, с чуть заметными выступами, величиной с копыто лошади, пустить этих горных скакунов взбираться на вершину этой пирамиды и с узкой площадки наверху спускаться вниз без остановки. Такие трюки они могут проделывать на каждом шагу.

Под ногами наших лошадей, далеко внизу, парили орлы, и что-то орлиное, с клетотом и взмахом орлиных крыльев, присутствовало в природе вокруг нас. Мы погружались с каждым днем все глубже не только в тайны весеннего горного Кавказа, но, казалось, ветер истории дует нам навстречу, и мы погружаемся в далекие героические времена гражданской войны.

Мы сидели у очагов в селениях, чьи саки походили на разрушенные землетрясением дома: они были сложены из обломков самых разных камней, неровных, почернелых от копоти костров. Старая ингушка с лицом сивиллы говорила хриплым шепотом: «Здесь спал Серго, когда



жил у нас». На обрыве над бешёной Ассой наш друг и проводник, участник боев тех давних дней, показывал на зеленую лужайку: «Здесь Серго любил отдыхать». Как из древней саги, выходили имена, любимые в этих краях. Их запомнили поколения, потому что эти имена были рождены горскими народами и принадлежали их сыновьям.

То в дыму очага, то на открытом воздухе мы слушали песни и рассказы партизан про геройские дела красных джигитов, про начало великой дружбы народов, про братство, завоеванное и закалившееся в огне гражданской войны.

Чем глубже заходили мы в горы, тем шире распаивалась перед нами эпопея гражданской войны. Прекрасные образы могучих большевиков — Серго Орджоникидзе и Сергея Мироновича Кирова снова и снова вставали перед нами в этих простых, безыскусственных рассказах.

Мы как бы жили в тех временах. Мы слышали имена тех, что были соратниками, друзьями, боевыми братьями. Из Дагестана приходили к нам рассказы о славных героях: Махаче Дахадаеве и Уллубии Буйнакском. В Ингушетии все знали имена Хизыра Орцханова и Асланбека Шерипова. В горах Дигории, ущельях Иронии и Туалетии, в Осетии нам рассказывали о Георгии Цаголове, двадцатитрехлетнем вожде осетинских революционеров, о Симоне Такоеве. Мы узнали о неистовом, огненном Буачидзе, упорном, смелом Бутырине. Тогда же мы в глубине ингушского ущелья много услышали и о кабардинском народном герое Бетале Калмыкове.

Его хорошо помнили люди этих мест, потому что в страшную зиму девятнадцатого года он был среди тех, кто в глубине этих ущелий боролся за Советскую власть, его знали как борца за свободу горцев, с самой молодости посвятившего себя борьбе с силами реакции и контрреволюции.

Я и мой спутник — режиссер Лев Оскарович Арнштам — собирали материалы для того, чтобы написать сценарий о дружбе народов Кавказа и о том, как происходило становление Советской власти на Северном Кавказе.

Мы не жалели усилий и не заботились об удобствах путешествия. Мы сидели в пещерах, где были когда-то партизанские штабы, мы ночевали в самых глухих селениях, где многое напоминало еще о старых временах, мы мерзли под ледяными ветрами и жарились на горячем весеннем солнце в солнечных долинах, мы вброд одолевали обезумевшие от таяния снегов ручьи и потоки, мы дышали воздухом высот и диких старых лесов.

Нас окружали друзья, которые делили с нами кров и еду. Наш путь лежал сначала по плоскости от Пятигорска до Орджоникидзе (Владикавказ), потом по ингушским селениям, по Ассинской долине со всеми ее боковыми ущельями до Хевсуретии, потом по Джераховскому ущелью, на Военно-Грузинскую дорогу, дальше в Осетию, в Дигорию по Ардону и по Уруху, по Цейдону и Фиагдону, потом мы возвратились в Орджоникидзе и после некоторого отдыха направились в Кабардино-Балкарию, в Нальчик.

Мы ехали в Нальчик, чтобы встретиться с Беталом Калмыковым, имя которого было уже широко известно советским людям. Что мы знали о нем? Мы знали, что Бетал Калмыков с юности был в рядах народных повстанцев, в горах под Эльбрусом, что он прошел долгий революционный путь и был соратником Кирова и Орджоникидзе, принимал участие в гражданской войне и ныне состоял секретарем областного комитета Кабардино-Балкарии.

Мы знали, что про него ходят легенды, как про талантливого, яркого, живописного человека, удивительного по разносторонности своих талантов, «мудрого кабардинца», как назвал его Максим Горький.

Мы слышали, что он руководил преобразованием бедного края маза-нок и деревянных сох, жалких троп и нищих горцев и что теперь никто не может узнать в богатой, красивой Кабардино-Балкарии ту страну, где лю-ди были обречены на вымирание.

Мы знали, что он печется и об образовании и о том, чтобы вся совре-менная культура была поставлена на службу горцам, что он требователен и даже сузов, что он честный большевик, скромный в собственных жела-ниях, и вместе с тем человек огромного размаха в отношении будущего своего маленького горного края.

Когда мы переехали пыльную длинную плоскость, отделяющую сады цветущего Орджоникидзе от зеленых роц Кабардино-Балкарии, на окрестности уже спускался очаровательный вечер. Наша машина мча-лась среди прекрасно возделанных полей, среди фруктовых садов, ве-ликолепных роц, перебегала по новым мостам многочисленные потоки, проходила по новым большим селениям. Мы воочию видели, что это дей-ствительно культурные края, где на всем лежит рука большого, хорошего хозяина. Даже дорога была в отличном состоянии.

По пути мы много говорили о Бетале Калмыкове и о том, как он нас примет. При его постоянной занятости у него может не найтись времени, а при его скромности от него мало чего можно будет добиться, тем бо-лее, что мы неизбежно должны будем говорить о нем самом.

Мы приехали в Нальчик. Машина прошла по улицам чистенького го-родка. На улицах росли розы, было много гуляющих, чистота городка бросалась в глаза. Оставив наши вещи в номере гостиницы, мы поспешно направились в обком. Мы думали, что нас будет очень расспрашивать и заставят долго ждать. В большой приемной сидели всего два человека. Секретарь поговорил с нами и сказал, что сейчас доложит о нас. Он ушел и, вернувшись, сказал, что через десять минут Бетал Калмыков нас примет.

В большом волнении мы ждали свидания с героем гражданской вой-ны, с человеком, который своими глазами видел всю историю возникно-вения Советской власти на Северном Кавказе, знал лично Орджоникидзе и Кирова, побывал в стольких боях и опасностях. Секретарь попросил нас пройти в кабинет Бетала.

Мы вошли. Это была небольшая комната. Стоял письменный стол, ди-ван, несколько стульев у стены. На стене большая панорама Кавказского хребта. В комнате никого не было.

— Он сейчас придет, — сказал секретарь.

Я стал рассматривать панораму. Не успел я как следует погрузиться в рассмотрение гор и перевалов, как за моей спиной раздался спокойный, уверенный, чуть глухой голос:

— Вас интересуют горы? Вы скоро их увидите по-настоящему, вблизи увидите...

Я обернулся и увидел Бетала. Он был не очень высок, но хорошегс, атлетического сложения, с широкими, могучими плечами, большими силь-ными руками. Он стоял в этом маленьком кабинете, как на каменных ска-лах, что-то было в нем от горца и охотника, и это сразу бросалось в глаза. Сразу комната стала мала. На меня смотрели большие, чуть с ко-синкой внимательные глаза, и казалось, что в них может сейчас забе-гать лукавый огонек, и в то же время легко представить себе, как эти глаза станут гневными и холодно-зеленоватыми, как вода ледяного Бак-сана.

Большой нос, широкие щеки, чуть-чуть монгольского склада большой властный рот, маленькая черная щеточка усов. Кожа обветренная, выду-бленная на солнце, хороший постав головы. Фигура пропорциональна. Да, конечно, охотник, наездник, джигит. Привычка много говорить с раз-ными людьми. Себя в обиду не даст ни за что. И сердить его не стоит.

Он стоял, выжидающе смотря на нас. Я ответил на его слова:

— Я уже много раз видел их вблизи, эти горы мне все знакомы.

Огонек удивления пробежал в его глазах. «Ах, сколько я видел в жизни хвастунов», — казалось, блеснуло в этом огоньке. Он спросил лукаво:

— И в наших горах бывали?

— Да, — сказал я, подходя к панораме. Я стал перечислять все вершины по порядку и перевалы между ними.

Он вышел из-за стола, встал рядом и спросил:

— Вы видели Малку?

— Не только видел, но сколько раз ее переходил вброд. Я раз даже прошел из Кисловодска через Харбас и Бечасын в Сванетию, через Шаукам и Донгузорун и обратно через Бечо-Юсенги.

Лукавость сбежала с его губ. Он стал вдруг другой. Он сам тепло заговорил о горах, он говорил об Эльбрусе, о долине горячих нарзанов, о перевалах.

— Вы много ходили по горам? И на ту сторону — на юг?

— Я прошел на Кавказе тридцать шесть перевалов, — сказал я, — от травяных до ледниковых.

Он вдруг широко улыбнулся и сказал:

— Вы что-нибудь искали?

— Да, — ответил я. — Я искал красоту гор и всюду находил ее. Она очень разная.

Он улыбнулся еще шире и пристально уставился на меня. Тогда мы с Арнштамом поняли, что наше свидание не пропадет даром. Мы заговорили разом о цели нашего прихода. Мы рассказывали ему о том, что видели и слышали в Ингушетии и в Осетии и что мы хотели бы от него. Мы не давали ему сказать слова. Если он так охотно слушал мои рассуждения о горах, пусть послушает теперь наши рассуждения о гражданской войне. Он слушал внимательно — казалось, он о чем-то сразу начал думать.

— Хорошо, — сказал он, когда мы прервали каскад нашего красноречия. — Где вы остановились?

— Мы остановились в гостинице «Интурист».

— Завтра, в десять часов утра, я заеду за вами. Мы поедем тут недалеко, в Нальчике. Там позавтракаем, и я вам попробую что-нибудь рассказать, может быть, вам это пригодится... Сегодня вечером я, к сожалению, не могу. У меня дела...

Мы распрощались, как старые знакомые. Мы чувствовали, что наши взволнованные речи произвели на него некоторое впечатление. Мы ждали утра с нетерпением. Едва в окна засветились красные вершины Безингийской стены, чьи молочные льды окрасило солнце, как я уже был на ногах.

Ровно в десять часов к нам в номер постучался человек от Бетала. Сам он уже ходил по кругу перед гостиницей, у круглой клумбы. Мы сели в машину. Ехать пришлось очень недолго. Мы приехали на небольшую дачу, всю утопавшую в цветах. В прохладной широкой комнате мы позавтракали и перешли в соседнюю.

— С чего вы хотите, чтобы я начал вспоминать? — спросил Бетал.

— Начните с Сергея Мироновича, — попросили мы. Мы вытащили блокноты и начали записывать рассказ Бетала.

Бетал не сидел на месте. Он ходил большими шагами по комнате. Он был в голубоватом кителе и такого же цвета брюках, заправленных в высокие сапоги. Он стал очень серьезным, временами какие-то маленькие

морщины набегали на его широкий лоб. Он вспоминал всерьез. Он, я понял, старается говорить красочно, так ему легче представить себе события далекого прошлого. Они окрашены для него в разные цвета, и он это хорошо помнит.

Для того чтобы мы не походили на стенографисток, я условился с Арштамом, что он будет поддерживать разговор, чтобы у Бетала не было представления, что он диктует. Нам важен был непосредственный рассказ, с подробностями и даже с обрывистыми фразами, типичными для беталовской речи.

Бетал говорил спокойно, потом спокойствие изменяло ему, он походил на трибуна, которого разъярил противник, потом он начинал стихать, доходя до лирического полуголоса, снова раздражался громовыми раскатами, и, по-видимому, ему было самому интересно и странно вспоминать давно прошедшие времена.

Мы жадно слушали его. Наконец он устал, сказал, что мы прервем немного рассказ и для освежения погуляем по саду. Потом мы обедали, и он продолжал рассказ. Потом мы снова гуляли по вечернему саду. Нам подали ужин. Мы поужинали, и он продолжал говорить.

Когда он кончил, на небе были первые нити рассвета.

Этот день пролетел с такой быстротой, что я с удивлением смотрел на свой блокнот, исписанный вдоль и поперек. Он лежал, этот блокнот, двадцать лет без публикации.

Сегодня исторический день Кабардино-Балкарии, ее 400-летний юбилей, и в такой день уместны воспоминания, тем более касающиеся наших дней.

Я начал свои записи с первой фразы Бетала: «Так вот о Кирове...»

Но прежде чем рассказать о своей первой встрече с Сергеем Мироновичем, он сильно и живописно изобразил нам, что произошло в те годы на так называемых Золкинских пастбищах. Перед нами открылись высокогорные луга, общественные пастбищные земли. Из года в год по весне шли сюда бесчисленные стада селений с далеких берегов нижнего Терека, из степей, после зимнего кочевья.

Полковник Клембиев, начальник округа, собрал съезд коннозаводчиков и помещиков. Он задумал заговор против прав народа на эти пастбища. На этом съезде было принято решение «от имени кабардинского народа» ходатайствовать о передаче земель коннозаводчикам. Наместник Кавказа Воронцов-Дашков акт утвердил. Петербург утвердил тоже. Земли поделили богачи и поставили заставу, чтобы никого на эти земли не пропускать.

А скот по весне двинулся по знакомым дорогам на старые, привычные пастбища. Ходили темные слухи, что с пастбищами неблагополучно, что земли отобраны. Но никто ничего не знал, как следует. Никто не хотел верить такому злему делу.

У границ пастбищных земель застава преградила путь пастухам. Стада, остановленные на узкой дороге, растянулись на протяжении ста километров. Они стояли в ущельях, на мостиках, среди селений, в поле, между садов, на горных тропах. Шестьсот тысяч голов скота не могли сделать ни шагу. Стада давили барашков. Набежавшие волки выхватывали из рядов добычу и уносились в горы. Стада не ели, не пили. Горестное мычание коров и сумасшедшее блеяние овец, дикое ржание лошадей разносились далеко вокруг. Начались ссоры и столкновения из-за невольных потрав. Овцы и козы валялись в речки, и жадная горная вода уносила размолотые о камни тела животных.

Тогда послали гонцов во все стороны. Пешком и верхом спешили к заставе кабардинцы. Те, что добрались до стражников, вступили с ними сначала в жаркий спор, потом раздался клич: «Вперед!»

Тринадцать тысяч горцев, полных отчаяния, смели стражников и провалились на пастбища. Скот хлынул живым потоком на благословенные луга. Но горцы торжествовали свою победу недолго.

Появились войска, и начались бои. Загремели орудия, горцы имели только охотничьи ружья. Борьба была неравной. Но горцы сражались с мужеством людей, положение которых безвыходно.

Их оттеснили с пастбищ. Телами погибших животных были усеяны горные склоны. В селения поставили большую охрану, которую жители должны были содержать на свой счет.

Самые упрямые и храбрые ушли в горы, под Эльбрус. Среди них был и молодой Бетал.

Он рассказывал нам, как в один вечер, когда они спустились к пастушьему кошу, они увидели, что рядом с пастухом сидит русский человек. Проводник, который был с ним, начал плакать и рассказывать о той беде, которую переживает народ. Кабардинец посылал проклятия, по адресу начальников, феодалов, мулл. И в самом деле, страдания народа были жестокие. Русский сидел у огня и сушил портянки. Он не обращал никакого внимания на пришедших.

Он ничего у них не спросил, и они у него ничего не спросили, но проводник его сказал, что он ходит как турист. Уже семнадцатый день идет. Хочет на Эльбрус взойти.

«Он удивительный человек, — говорил кабардинец, — нашу пищу ест, как горец, ничего не боится, детей очень любит».

В один из дней пошел дождь. Кабардинцы-партизаны скрывались в пещере. Вдруг вместе с пастухом в пещеру вошел Киров. С этого мгновения, с первых его слов, обращенных к горцам, они поняли, что это не простой человек. Он звал их идти с ним на Эльбрус. Они сидели и долго говорили о жизни и о том гнете, который владеет кабардинским народом. Потом Бетал сидел с Кировым на скале под деревьями и показывал ему, сколько орлов летает над падалью, над погибшим скотом.

Бетал говорил Кирову обо всем, что случилось на Золге, обо всем, что переполняло его сердце. И Киров поселился с горцами. Он ходил за водой, за дровами, как равный. Разжигал костры, помогал готовить пищу и говорил такие слова, от которых кровь бросалась горцам в голову, его зажигательные речи они запомнили на всю жизнь.

Так завязалась дружба, большая дружба Бетала с Кировым.

— Я приду еще раз в конце лета сюда, — сказал Киров, и он пришел, как обещал. Он хотел быть сам на Золкинских пастбищах. Они с Беталом отправились на места недавней драмы. Пастбища были усеяны костями погибшего скота.

Бетал сделал паузу. Казалось, перед его глазами проходят давно забытые картины так ярко, что он сказал, как будто сам стоял снова там: — Трава зеленая, кости белые, люди злые, скот худой!

Время шло. Наступил семнадцатый год. Партизаны за время до Февральской революции стали бельмом на глазу у князей и помещиков, стали любимцами народа. Молодые и старые кабардинки собирали им продукты, обшивали их, встречали, обнимая и плача от радости, как своих защитников. С каждого кабардинца брали тогда клятву на коране, что если увидит кого из партизан, чтобы немедленно выдал. А с женщин присяги не брали.

Когда наступил февраль семнадцатого, в двадцать четыре часа поднялась вся Кабарда. Люди верхом и пешком стремились с криком: «На Золку! На Золку!» Исчезли все стражники, бежали феодалы, дома их сожгли и фундамент разбросали, чтобы помину их не было. Потом феодалы опомнились и бросились на восставших.

Закипели жаркие бои повсюду. Но народ победил. Феодалы отступили. И вот снова Бетал увиделся с Кировым. Было это уже во Владикавказе. Киров был не один. С ним был Буачидзе. Бетал рассказал ему обо всем, что делается в горах. Спрашивал, что делать дальше.

Киров дал ему много советов, сказал: надо организовать побольше отрядов, тех, кому верите, поставить комиссарами, взять власть в свои руки, на съезды выбирать простых людей, победнее.

Дни бежали быстро, но события опережали их. Весь Северный Кавказ клокотал, как кипящий котел.

Мы слушали, затаив дыхание, как Бетал погружался в свои воспоминания. Мы видели, как вспыхивает братоубийственная схватка между казаками и ингушами, ингушами и осетинами, между крестьянами и феодалами, между иногородними и казаками.

Всюду гремят выстрелы, зарево горящих селений стоит на горизонте. Киров берет белый флаг парламентаря и вместе с Каламбековым идет между сражающимися осетинами и ингушами. Каламбеков падает, убитый предательской пулей. Киров мирит враждующих.

Бетал организует кабардинцев. Открывается съезд в Пятигорске. Это исторический съезд, на котором была провозглашена власть Советов. Перед тем как выйти на трибуну съезда, Бетал обошел общежитие, где жили делегаты. А жили они по национальным фракциям. Комнаты распределял сам Киров и Буачидзе. Все было предусмотрено, чтобы ограничить возможность столкновений. Ингушские комнаты были отделены от казачьих кабардинскими. Бетал собрал кабардинцев, поговорил с ними, говорил словами Кирова, говорил горячо о власти, которую надо брать, о Совете Народных Комиссаров. Все, что он говорил, пришлось по сердцу горцам. «Как один человек, — сказали они, — мы должны стоять за мир, за свободу, за Совет Народных Комиссаров».

— Кто со мной, — сказал Бетал, — оставайся в этой комнате, кто против — уходи!

Все встали стеной и двинулись за Беталом.

Пришли толпой к иногородним.

— Раздвиньте кровати, — сказал Бетал.

Раздвинули, чтобы было больше места. Сели.

— Вот мы, кабардинцы, пришли, хотим с вами союза. Вы, иногородние, как жили? В лишениях жили. Кто хочет с царем и помещиком — уходите. Кто с нами — оставайтесь.

Все были за Советскую власть.

Пошли к ингушам. Поговорили с казаками. Потом Бетал пошел к Кирову.

Бетал начал немного волноваться, когда, рассказывая нам о пятигорском съезде, он подошел к тому решающему часу, когда кабардинская делегация вышла на авансцену, подошла к трибуне и потребовала, чтобы проголосовали признание Совета Народных Комиссаров. Весь съезд встал. Буря криков и восклицаний пронеслась по залу. В президиуме возник огромный переполох. Эсеры и меньшевики — Бетал хитро усмехнулся — посходили с ума. Поднялся шум и гам. Кабардинцы стояли как каменные. Киров похаживал в задних рядах. Но потом он появился на трибуне. «Как лев появился», — сказал Бетал.

— Вы за мир? — спрашивает Киров зал.

— За мир! — кричат.

— Если часть съезда вносит предложение, то надо проголосовать, — говорит Киров. — Они ведь только предлагают проголосовать, не проголосовать нельзя...

И признали так Советскую власть. И на улицах уже были демонстранты. Выделил съезд Кирова, Такоева, Бетала. Вышли они на балкон и объявили признание Советской власти. Ликующие крики демонстрантов на улице ворвались под своды зала.

Бетал говорил час за часом, и по мере того, как сменялись картины далекого прошлого, все шире развевалась эпическая борьба народов Северного Кавказа за Советскую власть.

Мы следовали за Беталом во Владикавказ, куда был перенесен из Пятигорска съезд, виделл его то в залах бывшего кадетского корпуса, то в селениях ингушей, то на Военно-Грузинской дороге, то в Нальчике, где он разоружал белых офицеров, в лесах Кабарды, на дорогах, на плоскости, в бесчисленных стычках с белыми, в борьбе за Владикавказ, в глушине Ингушетии и снова в предгорьях Кабарды.

Он рассказывал о временах, звучавших сегодня, как легенда, о том, как платили за патрон по пяти рублей, как можно было ночевать в одной комнате с человеком и не знать, враг он или друг, как можно было каждый день попадать в смертельную опасность и находить выход при всех обстоятельствах, как можно было иметь связь через беззаветно преданных революции горцев, связь гор с Красной Армией, с Кировым в Астрахани и, несмотря на все препятствия, бороться и наносить врагу постоянно удары, которых он не мог не чувствовать.

Бетал рассказывал, и перед нами вставали темные ночи в ущелье, где по обледенелой тропе двигался измученный отряд отступавших в гущь Ингушетии большевиков. Проводник держал высоко поднятую горящую головню и освещал узкую тропу над бездной, в которой редела река. Снег лежал большими пластами повсюду. Бетал держал на руке пятимесячного ребенка — закутанную в одеяло дочку терского предка Цинцадзе. Она была еще завернута в кусок, отрезанный от шубы, перевязанный башлыком. Лошадь Бетала сорвалась с тропы. Падая в глубокий снег, он успел бросить впереди себя на склон спящую девочку. Она даже не проснулась, когда лошадь пролетела мимо нее в пропасть, а Бетал, по пояс закопанный в снег, чудом спасшийся, снова взял ее на руки и выкарабкался из снежной пропасти.

Бетал рассказывал о людях тех славных лет, и они проходили перед нами гордые, могучие, непреклонные, смелые, уверенные в своей правоте. Мы видели Серго Орджоникидзе и Сергея Мироновича Кирова, известных среди всех народов Северного Кавказа, во главе бесстрашных патриотов, жертвовавших подчас жизнью за победу Советской власти. Перед нами проходили русские, ингушские, осетинские, кабардинские, балкарские коммунисты, партизаны, красноармейцы, вооруженные рабочие, железнодорожники.

Бетал рассказывал о Бутырине, Автономове, Цинцадзе, Ное Буачидзе, Филиппе Махарадзе, Дьякове, Андрее Гостинове, Темболате Гибизове, Николае Дзердзиеве, Асланбеке Шерипове, Хизыре Орханове, о многих других, чьи жизни могли служить примером для будущих поколений, достойны войти в историю тех неповторимых лет.

Не мог Бетал не сказать нам о той телеграмме, которую послал Орджоникидзе В. И. Ленину 24 января 1919 года, где говорил о том, что Одиннадцатой армии нет, но рабочие и горцы продолжают вести борьбу. «Владимир Ильич, — писал Орджоникидзе, — будьте уверены, что мы все погибнем в неравном бою, но честь своей партии не опозорим бегством».

И они не бежали. Грозная борьба завязалась по всему фронту гор, и казалось, что рассказ Бетала никогда не кончится, так одни битвы сменяли другие, гибли одни герои, на их место вставали другие. И белые чувствовали, что самые горы рождают мстителей и к этим горцам примы-

кают казаки с Сунжи и с Терека, и все крепнет эта сила, и все меньше становится сила белых.

Одно — читать обо всем этом в книгах, другое — слушать человека, закалившегося в этой борьбе, живого свидетеля, глаза которого видели все то, что мы от него слышали.

Мы потеряли представление о времени, и, когда он кончил рассказ, как я уже говорил, алая полоса зари стояла в окне.

...После этого нам неоднократно приходилось встречаться с Беталом и в его доме, в кругу его семьи, и в официальной обстановке, и в горах, и в городе, и в колхозах среди народа.

Бетал Калмыков был настоящим сыном своего народа. Как и народ, он вышел из первобытного мира в мир социализма. Та советская интеллигенция, которая выросла в Кабарде за годы Советской власти, была выращена Коммунистической партией, как и передовые колхозники-бедняки, в прошлом даже во сне не выдавшие, чтобы их жалкие поля давали им сто центнеров кукурузы и сорок — пшеницы с гектара.

Самый простой кабардинец понял, что знание необходимо для того, чтобы можно было подчинить себе горные жестокие реки, достичь замечательных урожаев, провести в диких ущельях электричество и построить автомобильные широкие дороги.

С внедрением в быт нового менялся самый порядок жизни отсталого горца. Поэтому бывший бедняк, сегодня колхозник, чувствующий рост своего достатка, понимал все значение коммунистического преобразования крестьянской жизни, все преимущество нового перед всеми пережитками, еще державшимися в сельском быту.

Этот новый кабардинец понимал и любил Бетала Калмыкова не только за то, что он народный герой, участник эпической борьбы за свободу и дружбу народов, а и за то, что видел в нем человека, коммуниста, друга, который знает по-настоящему жизнь маленького кабардинского народа и не является недоступным вельможей, управителем, живущим вдали от народа.

Бетал Калмыков всегда был среди народа, всегда шел в гущу крестьянской массы и того же требовал от всех советских работников. Он не терпел бюрократа или лентяя, отлынивающего от труда.

Он никогда не спрашивал у ответственного работника ответа на такие вопросы, которые могли выставить его на посмешище окружающим, но он строго проверял, чтобы колхозный работник, спрашивая с колхозников, сам точно знал все, что касается колхозного хозяйства. Он мог устроить экзамен при народе, чтобы проверить, знает ли секретарь райкома сельское хозяйство, знает ли колхозный инвентарь, технику так, чтобы ему не стыдно было говорить с мастерами урожая.

Он мог — это было, может быть, немного по-восточному — потребовать, чтобы иные недостатки исчезли в самый короткий срок.

Рассказывают, что однажды к нему на прием пришли девочка и мальчик с запиской, которую им написал добрый какой-нибудь турист, бывший в их глухом селении. В этой записке они жаловались Беталу, что председатель колхоза преследует нещадно больного их отца и больную мать, загнал их в такую нищету, что они умирают с голоду. Бетал Калмыков вызвал врача, посадил детей в свою машину и поехал в это ущелье. Там он действительно нашел в холодной пустой каменной сакле с пробитым в потолке отверстием для дыма лежащих на старых, затасканных кошах, прикрытых рваными одеялами двух людей. Он велел врачу обследовать их. Врач признал их очень больными, нуждающимися в медицинском лечении и, кроме того, просто оголодавшими.

В гнев вызвал он председателя колхоза и спросил его, что случилось с этими людьми.



— Они лентяи, не хотят работать, — сказал председатель.

— Они не лентяи, они больные, так сказал врач, — ответил Бетал. — Я не имею времени долго говорить. С этими людьми поступили несправедливо. Советская власть не терпит несправедливости. Я уезжаю сейчас в Нальчик. Через три дня я приеду снова. Прошу, чтобы были приняты меры и чтобы эти люди были поставлены в другие условия.

Через три дня он нашел больных лежащими на новых кроватях в доме, который раньше был заброшен. В этом доме жил когда-то кулак, в свое время высланный. Дом был спешно отремонтирован. Дети ходили в школу. В доме было чисто и тепло. Больных навещал фельдшер.

— Вот видите, — сказал Бетал, — надо было только три дня, чтобы все изменить к лучшему в жизни этих колхозников. Почему вы не могли этого сделать раньше?

Он мог собрать пленум обкома и говорить о красоте зимних дорог.

— Почему летом хороши наши дороги? Потому, что по их краям растут деревья разных пород, даже фруктовые. А зимой эти деревья стоят голые и дороги имеют печальный вид. Если мы обсадим их соснами и елями, они и зимой будут красивыми, — говорил Бетал.

Он добился того, что колхозы разделили дорогу на зоны и каждый колхоз в своей зоне поставил у дороги ларек, где проходящий путник, главным образом турист или альпинист, мог выпить холодного айрану, изумительно утоляющего жажду, мог съесть кусок арбуза или дыни, сметану, творог, получить кусок хлеба. За все это не взималось никакой платы. Это был подарок колхозников.

— Колхоз от этого не разорится, — говорил Бетал, — а люди будут помнить наше гостеприимство. В самом деле, жарко, знойно, пыль, долгая дорога. Нет нигде у нас ни гостиниц у дороги, где можно было бы отдохнуть, ни лавочки, где можно было бы купить прохладительное. А здесь один айран — наша гордость — возвращает путнику силу, изгоняет усталость. А потом, мы живем при социализме. У нас дружба народов, и каждый гость нашей страны — наш дорогой друг!

Он любил детей, и всегда, когда он ехал куда-нибудь, он обязательно подвозил на своей машине детей, шедших по дороге, болтал с ними, шутил. Подвозил он также пожилых женщин. С ними он говорил почтительно, и они знали его в лицо. Иногда какая-нибудь из них обнимала его и, прослезившись, вспоминала то время, когда она знала его как скрывающегося в горах борца за свободу. И она тогда носила в горы партизанам еду и белье и его хорошо помнила.

Смеяться он мог, как ребенок. Так, в Нальчикском заповеднике, в зеленой чаще, на поляне, при луне, когда мы тшкетно ждали, что кабаны придут на водопой, он, слушая рассказ старого охотника, знатока лесов, валился от хохота на траву. В самом деле, рассказ охотника, который Бетал слышал не раз и даже сам был свидетелем этого случая, был исключителен... Охотник был в облаве на кабанов. Кабан выскочил неожиданно и испугался, сбил с ног и подбросил охотника в воздух, чтобы только удрать.

Охотник, перевернувшись в воздухе, упал на спину кабана и вцепился в него, чтобы не упасть. Он боялся, что кабан, сбросив его, разорвет его клыками на куски. Кабан, испугавшись еще больше, мчал его без разбору по чаще и сильно исколотил его о деревья. Потом сам споткнулся и сбросил охотника. Тот закричал страшным голосом. Кабан, не оглядываясь, помчался дальше. С тех пор этого охотника всегда, как увидят, все просят еще раз рассказать эту историю, и все переживают ее заново.

Бетал не мог сдерживать какого-то первобытного смеха, слушая этот рассказ. Охотник, зная, что рассказ производит неотразимое впечатление, всякий раз добавлял новые подробности и вызывал новые взрывы хо-

хота у Бетала. Но так смеялся он редко. Чаще он был сосредоточен и серьезен.

Он любил мирить поссорившихся. И особо строго следил за случаями, когда могла возникнуть кровная месть. Раз группа сванов, перейдя Твиберский перевал, украла с поляны перед Тихтингенем несколько лошадей и хотела перегнать их в Сванетию. Но погода испортилась. Дзинальский ледник за перевалом закрыли снежные тучи. Балкарцы погнались за сванами, и у перевала была перестрелка. Они отбили лошадей и захватили двух не успевших ускользнуть сванов. По старым обычаям дело это было серьезное. Раненный, хотя и легко, сван становился на тропу кровной мести. Да кроме того, неизвестно, что сделали бы разъяренные балкарцы с пленными. Сейчас Бетал потребовал, чтобы сванов доставили в Нальчик, а пастухи-балкарцы тоже приехали бы к Беталу.

Бетал сначала рассказал балкарцам, как трудно жить в Сванетии людям. Там тогда не было даже дороги. Только тропы, которые зимой закрываются до весны. Их заваливает такой глубокий снег, что когда приходится идти из селения в селение, то даже запрещается окликать по имени спутника. От звука человеческого голоса падают лавины. Хлеба в Сванетии нет. Живут всегда на полугодном пайке. Поэтому народ бедный. Купить лошадь негде, заплатить за нее нет денег. Вот они от нужды такой, рискуя жизнью, идут на крайнее дело — похищают лошадей, подвергая свою жизнь опасности.

— Бетал, они плохие люди, — сказал пастух. — Пусть украдут, но ведь они вели их через такой перевал, где лошадь погибнет, не пройдет. Им лошади не жалко, они плохие люди.

Бетал остановил его:

— Ты не прав. Я же сказал, что они не только лошадей рисковали, они сами могли там погибнуть. Значит, такая у них нужда. Они не плохие люди, они бедные люди, но у нас Советская власть и дружба народов. Я очень рад, что помогли этому легкораненому свану и перевязали его руку. Но мы должны и в другом помочь им, как добрые соседи и друзья. Мы, что скрывать, богато живем, не так, как они за перевалом. И лошадей у нас много. Давайте, товарищи, подарим им этих лошадей и поможем им довести их благополучно домой. Мы не обеднеем оттого, что подарим несколько лошадей, а зато у нас будет дружба и покой, не будет ссоры и сердце будет спокойно. Подарим им лошадей.

— Раз ты так сказал, мы с тобой согласны, — ответили горцы. — Это правда, лошади у нас есть. Мы не бедные...

Но тут встал сван и, побледнев от волнения, сказал:

— Мы не бедные. И нам ваших коней не надо. Мы и без них можем прожить. Мы больше к вам за конями не придем. Не надо нам ваших коней.

Беталу понравился этот ответ свана.

— Тоже сказано верно. Они сами могут приобрести коней. И подарков не хотят. Тогда мы расстанемся, как друзья, которые не имеют друг против друга никакого зла. Накормите их и проводите через перевал, потому что сейчас весна и перевал трудный. Может быть буря, а гости не должны пострадать, должны благополучно домой вернуться. Их там ждут семьи и беспокоятся. Раз они говорят, что больше так делать не будут, — конец. Мы к ним претензий не имеем, правда?

— Правда, — сказали горцы, — ты хорошо рассудил, Бетал...

Много можно рассказывать разных историй, которые сегодня кажутся сказочными, но это правда, которую мы видели своими глазами. В разных условиях я встречался с Беталом и некоторые встречи записал. Я не думал тогда, что эта интересная, полная содержания жизнь закончится драмой. Сейчас эти записи, в которых отсутствует вымысел, я хочу при-

соединить к тем несомненно многочисленным материалам, которые постепенно соберутся в музее Кабардино-Балкарии, потому что жизнь и деятельность Бетала Калмыкова должны быть описаны подробно, чтобы они стали широко известны советским людям.

## 2. На Шит-Кетмаса

Седловина Шит-Кетмаса в обыкновенное время довольно пустынное, редко посещаемое даже туристами место. От нее расходятся далеко на горные луга, на которых пасутся стада и еще дальше к востоку ходят табуны кабардинских конных заводов.

Так вот в этой седловине, недалеко от недостроенной гостиницы на вершине Шит-Кетмаса, на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря, мы участвовали в празднике животноводства.

Вокруг нас паслись отличные бараны и овцы, коровы и быки. Множество больших, просторных, высоких шатров было воздвигнуто колхозниками, приехавшими сюда не только из ближних колхозов. На трибуне, построенной по всем правилам, стояли знатные люди колхозов — кабардинцы и балкарцы. Тут же был и Бетал Калмыков. В широкой бурке, накинутой на плечи, в высокой мерлушковой кабардинской шапке, с кинжалом у пояса, он шел по травам Шит-Кетмаса, как требовательный, всезнающий хозяин, все ему были знакомы, он говорил с каждым, кто его останавливал, и со стороны было видно, как весь он полон радости, что пустынный и скучный Шит-Кетмас, на диком Скалистом хребте, он превратил в сверкающий всеми красками народный праздник.

День был сероватый. Наползали облака, и их лохматые клочья закрывали подчас шатры, и всадников, и трибуну с флагами и плакатами, но ничто не могло помешать народному празднику. И когда мимо трибуны двинулись награжденные почетными грамотами животноводы, их встретили громкие аплодисменты зрителей.

Девушки в белых передниках, с красными лентами в косах вели огромных баранов с широкозагнутыми рогами. Глаза баранов походили на томные глаза восточных принцев. В их густую, чисто вымытую шерсть были вплетены конфеты, хлопушки, цветы. Бараны шли, как танцоры, перебирая тонкими сильными ногами и с чувством собственного достоинства оглядывая друг друга. Овцы проходили за ними, не торопясь, точно понимали, что они сейчас в центре внимания.

Большие черные быки с кольцами в ноздрях входили в облако, как будто были животными из мифологии, и сопровождавшие их кабардинцы были молодец к молодцу. Коровы — царицы высокогорных лугов — были такие упитанные, сильные, красивые, что им аплодировали, как артисткам.

Окружавшие животных колхозники, молодые и старые, были празднично разодеты, а те, что непосредственно опекали животных, носили, как доктора, белоснежные халаты. Все животные были украшены цветами и лентами.

В раскрытые двери шатров я видел ряды столов с белыми скатертями, уставленные всевозможными мисками, тарелками, блюдами, чашками и рюмками.

Я ходил по этому горному лугу и думал о том, что было тут двадцать лет назад. Разве пришло бы кому в голову украшать скот, собираться вместе? Да и не князья стали бы радоваться тому, что народ свободен и так выросли его богатства!

По этим пустынным просторам ходили стада, принадлежавшие феодалам, охраняемые наемной командой вооруженных сторожей. Пастухи отдыхали на земле в кошах, сложенных из камней, у костров, за которыми

толпилось серое облако отары и лежали огромные псы, всегда голодные и злые.

Скотоводы поднялись на седловину Шит-Кетмаса во всем блеске их богатства, поставили большие, вместительные шатры, сели за столы, ели из тарелок, около которых положены хрустящие салфетки, разукрасили животных, как картинки. Горы любовались невиданным зрелищем.

Пока я расхаживал между костров, на которых варили и жарили, между смеющихся дружков, собравшихся в кучки, между спешившихся всадников, кони которых бродили поодаль, я увидел, как появился Бетал Калмыков, в бурке, раскинутой по бокам коня. Он стал на коне громадным, чуть тяжелым, но воинственным, сросшимся с конем. Он надвигался тяжело, как кусок черного облака. За ним следовала целая кавалькада джигитов, один другого живописнее и разнообразнее. Разного возраста и роста, они все были в бурках, в черных шапках. У иных были видны из-под черкески белые шелковые бешметы. Газыри на груди блестели черным или серебряным блеском. Башлыки были закинута за спину. Кони под ними перебирали ногами, готовясь сорваться в скачку.

Эта сильная, суровая кавалькада, как бы раздвигая по дороге толпы людей и животных, приближалась к скату холма, довольно крутому. Люди при виде всадников, таких знакомых и таких красивых, шли рядом и приветствовали их поименно, так как это были люди их колхозов или хорошо знакомые работники из окрестных мест.

И тут Бетал Калмыков в толпе, окружавшей всадников, увидел меня. Он остановил коня и сказал, подняв руку:

— Почему вы не едете с нами?

Я не знал, куда они едут, зачем они едут, и никто со мной об этом не говорил. Но я знал Бетала и знал, что он любит, чтобы ему отвечали сразу на его вопрос. Поэтому я просто сказал:

— На чем я поеду? У меня нет коня...

— Нет коня! — закричал он, даже не удивляясь странности моего ответа. Он оглянулся, выбрал глазами одного всадника, ехавшего поодаль, и закричал ему по-кабардински. Я понял, что он просит уступить мне своего коня. Всадник, с темным лицом, низкоплечий кабардинец, что-то прокричал в ответ, сейчас же спрыгнул с коня, и у него взяли коня и подвели мне. Как только я вскочил в седло, я понял, что мне нет отступления. Владелец коня был хромой. Он хромал на левую ногу. Его нога была намного короче моей. Он приспособил свое левое стремя для своей ноги, навсегда укоротив его. Сидеть в таком седле, при укороченном стремени, не очень интересно. Но раздумывать мне не приходилось.

Бетал Калмыков с той минуты, как я вошел в состав его кавалькады, уже считал меня одним из джигитов, по отношению к которому нет исключений. Он поднял камчу над головой, крикнул, и кони, как ожившие птицы, прыгнули прямо в крутой провал и понеслись, как будто на нас насадала самая яростная погоня.

Мы мчались большой толпой по высоким травам, среди которых были острые, большие и малые камни. Трава эта не походила на исполинские травы долин Зесхо или Накры, где медвежьи дудники, шеламайники и борщевики закрывают всадника вместе с лошастью, но эта трава все же была по колено коням, и они рассекали ее так беззаботно, точно у них даже не было мысли, что они могут неожиданно споткнуться о предательский камень и свернуть всаднику шею.

Так мчались мы довольно долго, пока не увидели в стороне табун. Жеребец — настоящий саулох с блестящей полосой, падавшей через всю сильную спину, — вышел впереди своих кобылиц, столпившихся за ним, и бил землю ногой, фыркая и негодуя, вызывая на бой противника. Я смотрел на Бетала. Он подвел своего коня на такое близкое расстоя-

ние, что казалось неминуемым, что дикий жеребец бросится на него. Ему закричали: «Бетал, осторожней! Не надо ближе!»

Бетал смотрел на прекрасное животное, которое в гневе и в ярости не спускало больших огненных глаз с беталовского коня. И когда жеребец, изнемогая от ненависти, готов был совершить решительный прыжок под жалобные вскрики своих кобылиц, Бетал железной рукой отвернул своего коня и помчался дальше, вкладывая в бешеную скачку весь пыл несостоявшейся схватки. Я мчался среди всадников, проклиная хромого наездника. Я не мог держать ногу в левом стремях. Она затекала сразу при неестественности положения. Я не мог ступить на стремя. Я вынимал ногу из стремя и мчался, опираясь только на правое стремя. При скачке по ровной местности это не было бы заметно, но когда мы то срывались с холмов в провал, то резко бросались вверх по склону, надо было быть настороже, имея в стремях только одну ногу.

Мы мчались от табуна к табуна, и всюду нас встречали вспененные от ярости жеребцы; иные из них первыми выбегали сильно вперед и бросались сами в атаку, иные отступали и становились на дыбы, но нигде не доходило до настоящего боя. Беталу нравилось все: и эта бешеная скачка и эти дикие игры со злыми великолепными животными. Ни разу он не взглянул на меня, но у меня было странное ощущение, что он незаметно следит за мной и ждет, что я попрошу пощады, что выбор хромого был не случаен: не мог он не знать этого темнолицего кабардинца, раз он был в его кавалькаде.

Сколько мы объехали табунов и сколько мы промчались по скалистым полям Шит-Кетмаса, я не знаю. Мы возвращались шагом, так как лошади устали. И теперь я понял, что не только инстинкт переносил их легкие тела через камни, так щедро разбросанные в траве нагорья. Они были нацелены каждое мгновение, азарт скачки не давал им возможности выбираться, но они всем телом, всем чутьем определяли правильность прыжка, и теперь, уставшие, они приветствовали ржанием костры и палатки нашего лагеря.

Мы соскочили с коней. Моего коня сейчас же увели. Мне же пришлось растереть ногу, которая онемела от согнутого, неудобного положения.

Меня окликнули. Бетал просил зайти с ним вместе в шатер одного колхоза. Я увидел стол, уставленный всеми богатствами кабардинской земли. Мне не надо было особого приглашения. Я видел, что гости и хозяева не теряли времени даром. Добрые лица покраснелись, глаза выражали высшее довольство, руки наливали новые рюмки. Нас приветствовали дружно и от сердца. Бетал налил себе большой стакан нарзану и выпил его залпом. Я пил водку, закусывая хрустящими свежепросольными огурцами и шашлыком.

Насытившись и подняв несколько рюмок за здоровье хозяев — советских тружеников, мы отбыли в другой шатер, и там повторилось все сначала. Мне налили водки, Бетал сам налил нарзану. Мы посидели, поговорили, нам пропели старую кабардинскую песню, и мы вышли на уже темный простор.

— Где же они будут спать? — спросил я. — Столы на Шит-Кетмасе — это сильное зрелище, я даже две салфетки нашел у своего прибора, а спать на земле будут?

— Почему на земле? — сказал Бетал. — Вот я вам сейчас покажу, где они будут спать.

Он прошел немного в сторону и остановился у темной большой палатки. Какая-то фигура вскочила с земли, когда мы приблизились. Человек подошел вплотную и узнал Бетала. Пробормотав от неожиданности приветствие, он ждал вопроса, но Бетал сказал ему:

— Покажите палатку.

Сторож распахнул вход, и мы вошли. Передо мной, тускло освещенная фонарем, была спальня, такая, как в любом общежитии. Разница только в том, что здесь стояли ряды высоких кроватей с матрацами, с простынями, с подушками и ночными столиками.

— Вопросов больше не имею, — сказал я, пораженный виденным.

Мы вышли из палатки, простились со сторожем и зашагали через опустевшие пространства к огонькам гостиницы, светившей далеко в тумане.

Воспользовавшись тем, что мы вдвоем, я сказал:

— У меня есть несколько вопросов к вам, Бетал.

— Пожалуйста, я люблю вопросы, — сказал он, постегивая нагайкой по сапогу.

— Вот там, в шатрах, кабардинцы-колхозники пили за ваше здоровье водку, а вы за них пили нарзан. И я заметил, что вы никогда не пьете ни вина, ни водки, ничего... Почему?

Бетал ответил не сразу. Потом он остановился и начал медленно, как будто повторял старый рассказ:

— В юности раз я шел домой, это было еще тогда, когда Нальчик был маленькой слободкой. Домишки были мазаные, унылые. Кругом нищета, скука кругом. И вижу: лежит пьяный, раскинул руки, уткнул лицо в грязную лужу, хлюпает в ней губами, на бороде, на щеках остатки пищи, и эти остатки большущая свинья — вот такая, — он развел руками широко, — вот такая свинья его облизывает. И оба они хрюкают. Он в луже, набрав в рот помоев, а она от удовольствия, его облизывая. Я стоял долго и не мог оторвать глаз. А потом я побежал, как в страхе. Я бежал и давал клятву: «Бетал, ты никогда, никогда не будешь пить. И никогда никто не увидит тебя, как этого человека, чтобы все свиньи радовались». И я никогда не пил ни капли.

— Я вас понимаю, — ответил я, — и благодарю, что вы так глубоко ответили на мой вопрос. Теперь скажите мне: так ли было необходимо, чтобы с такими трудами доставить сюда, в пустыню Шит-Кетмаса, все эти шатры, кровати, столы, тарелки, стулья и скамейки? Ведь это стоило большого труда колхозникам. Не проще ли было им посидеть у костров и спать под бурками на траве?..

— Нет, — решительно и сразу отвечал Бетал. Мы были уже почти у гостиницы. — Нет, — еще раз повторил он, — столько веков их предки сидели у костров и ели руками и спали, где ели. Мы сделали революцию, чтобы Кабарда и Балкария были передовыми краями. Вы знаете, что за весь прошлый век, за все время до революции на Эльбрусе были единицы, главным образом европейцы. И они гордились этим. Они смеялись, что наши кабардинцы и балкарцы — дикари. Живут под горой и горы не видят. Они даже не признавали, что первым взшел на гору кабардинец — Киллар Хоширов. Так вы знаете, что на этой горе, на Эльбрусе, прошлый год было шестьсот тридцать восемь колхозников со всех селений, простые люди были, любовались с вершины Эльбруса своими достижениями. Вы думаете, им легко было туда подняться? Но теперь им иностранные восходители — не что-то особенное. Это они сами умеют. А то, что они на Шит-Кетмас приехали на грузовиках, на машинах привезли все свое: матрацы, одеяла, простыни, столы, тарелки, — так и нужно. Довольно есть на земле, спать у костра. А если ты уважаешь себя, будь — хоть на вершине, хоть у подножия — достойным того общества, в котором живешь. А мы живем в советском обществе. Надо красиво жить. Вот я вам ответил.

Мы подошли к дому. Гостиница возвышалась перед нами, как пирог, окруженный паром, точно ее только что вынули из духовки. Облако окружало ее, но какое-то рваное, все в кусочках. Открывая дверь и входя, он сказал:

— Идите отдохните. — И через секунду, прищулив глаза: — Неплохо ездите, неплохо. Я забыл, что он хромой, потом уже неудобно было ему возвращать коня. Он мог обидеться за коня — подумал бы, бракуем его коня. Вот так было дело.

Он еще раз усмехнулся в кусок своих тигриных усов и ушел в свою комнату.

...Гостиница на вершине Шит-Кетмаса строилась из расчета, что она станет приютом для высокогорных туристов, скорее всего даже для интуристов. В ней должны были быть десять хорошо обставленных номеров, столовая, веранда с неповторимым видом на окрестности, ванная комната и буфет. Никаких туристов мы в ней не застали. Она представляла полное запустение, и ее населяли в эти дни народного праздника главным образом мы с Арнштамом. Никаких особых удобств и никакого вида постоянно действующего отеля этот странный, брошенный на высоту 2 200 метров дом пока не имел.

Утро было сырое, прохладное, туманное. Я встал рано, умылся водой, которая жгла руки, и вышел на плоскогорье. Туман закрывал весь горизонт. Но стремительные порывы ветра разгоняли волны тумана, и тогда вдруг с ослепительной ясностью раскрывались пейзажи, из-за которых сюда приходили люди на эту вершину Скалистого хребта, чтобы встречать восход солнца.

Внизу, я знал, лежала долина нарзанов, и оттуда очень легко можно было дойти хорошим шагом до Кисловодска. В эту долину я мог спуститься прямо из гостиницы, здесь было не больше восьми — десяти километров. Я начал ходить перед домом, приближаясь к обрыву, который висит над глубоким каньоном. Сейчас в нем плавал молочный туман.

Я думал о Бетале, о нашей вчерашней скачке, о нашем вчерашнем разговоре. Я вспоминал всю его жизнь — от юности горца-мальчика через гражданскую войну к сегодняшнему дню. Какой путь прошел он и сколько положил сил, чтобы сделать из нищего края богатую, замечательную Кабардино-Балкарию! Он так жаждет, чтобы все стало новым в жизни этих людей. Но он не человек городской культуры. Он горец. Ему надо, чтобы вокруг него были горы. Без них он жить не сможет. В любом индустриальном центре он пропадет, — не пропадет, но не станет тем, что он сейчас. Порыв ветра, сильный и резкий, сорвал туман, как огромный занавес, и понес его куда-то за Харбас.

Я увидел Бетала. Он сидел у самого края обрыва и смотрел прямо перед собой. Перед ним лежала вся умытая утренней росой долина Хасаута, над которой подымалась сине-фиолетовая громада Харбаса, и над всем вставал светящийся белым фосфором гигантский конус Эльбруса. Где-то вдаль темнела скала Бермамыта. К северу, как темные корабли, плывущие по темно-синему морю, вставали все высоты Пятигорья. Бетал сидел, и взгляд его уходил в глубокие утренние горные просторы. Он сидел и думал. Я отошел. И когда я оглянулся, туман снова закрыл его.

### 3. Ночные дороги

Сняли большие колхозные шатры на Шит-Кетмаса, на грузовики погрузили кровати и столы, матрацы и стулья, разобрали трибуну, сложили флаги, свернули плакаты — кончился праздник животноводов. И колхозники с песнями под мелким дождем, тушившим остатки костров, поехали по домам.

Подходил вечер. С гор тянуло холодом. Все ходили в бурках и даже в башлыках. Все ждали сигнала Бетала тоже трогаться в путь. Длинная вереница машин выстраивалась, чтобы последовать за колхозными грузо-

виками и фургонами. Но Бетал сел в машину и отдал свой приказ. Мы поехали совсем в другую сторону.

— Куда он едет? — спрашивали вокруг.

— Он хочет посмотреть новые комсомольские коши в горах...

Через несколько километров мы уже ехали в темноте. Фары освещали бледным рассеянным светом скопления камней и травы, в которых шуршал ветер. Потом неожиданно вспыхнули большие фонари, и настезь открытые ворота приняли нас. Мы въехали в широкий двор и вылезли из машин. Теперь я увидел, как нас много. Тут были и рабстники из Нальчика, и товарищи из окрестных селений, и председатели колхозов, и наркомы маленькой республики. Бетал сразу пошел знакомиться с гаражами и складами.

Кто много бродил по горам, тот знает, что значит после утомительного пути по горным кручам набрести на кош. Это будет или пещера, где на связке травы можно прилечь отдохнуть, или каменная постройка и четырехугольный загон с костром посередине, или деревянный сарайчик, в котором вас угостят айраном и куском свежей лепешки. Весь быт пастухов в горах напоминал нечто древнее и неизменяемое. Казалось, что пастухи иначе жить не могут и ничто не изменит этого пастушеского быта. Все картины и зарисовки старых и новых художников говорят об этом. И еще одно: пастухи — всегда бедно одетые, тихие, неграмотные люди, разговаривающие главным образом с собаками и овцами.

Мы же в этом комсомольском коше увидели нечто настолько новое, что наша усталость сразу исчезла. Скот стоял в отличных помещениях, сооруженных по последнему слову техники. Сияли чистотой домики-павильоны, в которых размещались молодые пастухи. В домиках стояли новые кровати, в каждой комнате было радио, лежали книги, домино, шахматные доски. Иные из приехавших сразу стали расставлять шахматы, иные прилегли на кровати, иные стали налаживать радио. Хором восхваляли комсомольский кош и затею Бетала привести сюда на ночевку всю компанию. Тут было тепло, уютно, обещан был горячий чай. Может быть, могут дать и что-нибудь еще более существенное.

За окнами черная горная ночь. Порывы ветра стучали по новым крышам. Все разоблачились, и по-домашнему начались дружеские беседы и разговоры. В самый разгар этих разговоров, когда уже игроки в шахматы начали ходы, а любители радио поймали Нальчик, дверь распахнулась и вошел Бетал, внося с собой холод со двора. Он прошел по помещению, поглядел на царившие в нем мир и покой, помедлил немного и сказал негромко, но так, как он любил говорить, коротко и ясно:

— Поехали дальше!

Сначала к этим словам отнеслись, как к шутке. Кто-то даже засмеялся. Но когда взглянули на Бетала и прочли в его спокойных глазах, что он не шутит, начались возражения, которые шли из всех углов.

— Бетал, надо здесь ночевать. Куда мы поедим? Ничего не видать, такая тьма. Бетал, здесь шоферы ночью не знают дорогу. Надо оставаться. Бетал, здесь так хорошо, чудный кош. Надо вам отдохнуть, надо ночевать, правда. Не стоит ехать ночью. Дождь идет...

Бетал усмехнулся, посмотрел вокруг на обращенные к нему взгляды и жесты, и сказал:

— Хорошо, делайте, как вам нравится. Я поеду, кто со мной — прошу следовать, кто не хочет — пусть остается.

С этими словами он пошел к двери, и все стали подниматься.

Вся компания высыпала на двор. Дул холодный ветер. Какая-то изморось падала с черного неба. Нас окружала полная темнота. Начался спор о направлении.



— Мы поедем по шоссе к Малке,— сказал Бетал. Он стоял, как бы наслаждаясь внесенным им беспорядком и тревогой. Казалось, ему нравятся и тьма, и ветер, и бьющие в лицо холодные брызги.

— Бетал, туда вообще нет дороги...

— Я ездил,— сказал он, — и мой шофер проведет машину...

— Но ведь ничего не видно. Там всюду камни...

— А мы сделаем так,— сказал Бетал и с юношеской легкостью исчез в темноте.

Через несколько минут застучали копыта, и три всадника появились среди машин.

Начался наш удивительный ночной путь по горам без дороги. Впереди нашей машины, которая шла головной и в ней сидел Бетал, маячил в свете фар всадник. Два всадника скакали по краям машины. Когда путь суживался, всадники приближались к самой машине, когда он расширялся, они уходили вперед и вбок, показывая направление. За нашей машиной, хрипя, спотыкаясь, валясь с боку на бок, шли остальные машины нашего ночного каравана. Так длилось несколько часов. Несмотря на медленность такого рода передвижения, мы все же прошли какое-то количество километров. Иногда происходила остановка, прsverяли, все ли машины вместе, и, проверив, продолжали путь, который был, несомненно, вымощен безмолвными проклятиями шоферов.

Бетал, открыв дверь машины и поставив ногу на подножку, чутко прислушивался к каждому ночному звуку, весь уйдя в это занятие, как охотник, ожидающий неожиданного появления зверя. Мы увидели одновременно, как впереди внезапно оказался всадник, так близко, что хвост его лошади обмел радиатор, справа что-то взметнулось рядом с машиной, какая-то коричневая масса в свете соседних фар ринулась вверх, Бетал выскочил из машины, успев крикнуть шоферу: «Стой!» Машина остановилась. Мы тоже выскочили из машины.

Зрелище, которое мы увидели, не принадлежало нашему времени. Но зрелище было сильное. Мы видели в свете фар следующего за нами автомобиля, что Бетал прижал к скале лошадь и, вцепившись своими железными руками ей в ноздри, медленно наклоняет ее голову к земле. Лошадь, дрожа всем телом и напружинив шею, не хочет ему подчиниться. Пена идет из ее ноздрей, глаза ее стали красновато-фиолетовыми, ошалелыми от ужаса. Она бьется, как громадная рыба, но руки Бетала все сильнее прижимают ее голову к земле, и наконец лошадь, заскрипев зубами, бесильно поникла головой, и только ее тело содрогалось, прижатое к серому скалистому выступу. Люди столпились вокруг и смотрели, не зная, что нужно делать. Но когда первое наше ошеломление прошло, мы увидели, что два всадника что-то шарили около лошади, и наконец один закричал так пронзительно, что лошадь вздрогнула и выпрямилась. Бетал отпустил ее голову, лошадь сейчас же схватили два кабардинца, и она стояла, тяжело дыша, и даже при свете фар можно было видеть, что она вся покрыта липким тяжелым потом.

К Беталу подошел, хромая, высокий горец и сказал хриплым голосом, точно ему перехватило горло:

— Бетал, спасибо, второй раз ты спас мне жизнь...

— Почему второй?— спросил Бетал, стараясь разглядеть человека.

Горец так тихо сказал свое имя, что оно не долетело до нас.

— Помнишь, Бетал, еще в девятнадцатом году около Догужокова меня, а я был совсем маленький парнишка, хотели белые убить, думали, я разведчик. Конечно, я был разведчик, но спасения мне не было. Бетал, ты налетел на них, крикнул мне: «Беги!» Я перескочил через плетень и бежал, и ты даже не знал мое имя, но я помнил всю жизнь этот день. А сейчас она испугалась, лошадь, камня и того, что близко машина, света испу-

галась в глаза, прыгнула, меня сбросила. А нога моя осталась в стремях. Еще бы немного, она бы меня убила. Спасибо, Бетал, спас меня, второй раз в жизни спас. Спасибо!

Бетал сказал в темноту:

— Возьмите его в машину, надо его показать в больнице. Он ушибся, наверно. И поехали дальше...

Через минуту все происшедшее могло показаться сном. Опять в темноте тащились наши машины, вздрагивая на каждом шагу от камней, попадавших под колеса.

Но мы вновь и вновь переживали то, что видели. «Так рождаются легенды», — думал я. В самом деле, не каждый день увидишь, как человек, подобно античной статуе, прижимает голову взбесившегося коня к земле, не каждый день тебе запросто ночью вылезший из-под копыт коня человек рассказывает, как на сцене, что его второй раз в жизни спасает Бетал от смерти, не каждый день ты участвуешь в диком пробеге машин в горах без дороги кромешной ночью.

Бетал продолжал сидеть так же, как сидел, приоткрыв дверцу и спустив ногу на подножку. Мы решили поговорить с ним.

— Бетал, вы помните этого человека?

— Нет, не помню, — сказал он. — Когда он рассказывал о Догужокове, я что-то начал вспоминать, но таких случаев тогда было много — гражданская война была, драка на каждом шагу, как все упомянуть...

— Бетал, как вы увидели, что там несчастье с лошастью?

— Я все время следил за всеми тремя горцами. Я видел, что справа сейчас будут скалы, станет тесно, лошадь пойдет на машину и ее ослепит свет от соседней машины. Она не может не испугаться. Так и случилось, как я думал. Тогда я бросился вперед, потому что ей некуда было идти, она поднялась на дыбы и сбросила всадника. Я видел, что он не мог вынуть ногу из стремя. Я остановил машину, чтобы не дать ей простора. Если бы машина пропустила ее вперед, лошадь помчалась бы с ним вместе и о камни разбила бы ему голову. В таких случаях лучший выход — прижать за затылок ее голову к скале, к земле. Она от боли и страха потеряет силу. Так вот случилось. У меня бывали такие случаи...

Нашу машину вел закаленный во всех возможных приключениях опытейший и смелейший шофер Бетала. Вдруг этот шофер подпрыгнул на своем месте, мы покатались куда-то вбок, машина зазвенела, как ящик с жестянками, и встала. Мы вновь повалились друг на друга. Шофер сказал:

— Мы выехали на дорогу.

Приключения этой ночи не кончались. Дорога, на которую мы выехали, была размыта дождями, шедшими несколько дней подряд. Огромные лужи светились при жалкой луне, выглядывавшей между мокрых сизых облаков на холодном зеленом небе.

Колдобины и ямы окружали нас. Машины начали нырять из ямы в яму. Кругом летели тяжелые брызги и шуршали фонтаны грязи, мы тонули в этой грязи, захлебывались, выплывали на сухие бугорки и снова застревали. Кругом стоял грохот и лягз, жалобный вой моторов. Мы отвоевывали каждый шаг с таким трудом, что нам стало казаться, что мы не доедем ни до какого Нальчика, мы останемся навсегда в этой холодной ночной грязи, из которой не было выхода. Наконец мы застряли прочно. Тогда стали вылезать из машин, чтобы толкать их руками.

Мы залезли по колено в грязь, мы толкали сбоку, толкали сзади, мы превратились в бродяг, у которых даже лоб и шея были в грязи, и все-таки машины, хрипя, делали несколько шагов и тяжело брякались обратно в промоину. Бетал, конечно, был среди самых неутомимых, но и его энергия иссякла. Тогда он встал на подножку машины и закричал, как с трибуны:

— Кто ведаёт этой дорогой? Чья это дорога? Какого района?

Казалось, этот крик в ночи не может получить ответа, но мы плохо знали Бетала. На его крик возник человек, который бежал через колдобины, спеша как только можно. Он добежал до Бетала и сказал, задыхаясь от быстрого и тяжелого бега:

— Дожди, Бетал, все испортили — хорошая дорога была.. Вчера еще можно было проехать...

Бетал махнул рукой.

— Вот что. Дорога в твоём ведении. Значит, ты должен сделать так, чтобы мы проехали твою дорогу. Иди в аул, он рядом, ты знаешь, приведи нам буйволов. Иди и возвращайся скорей.

Наступила пауза. Бетал сидел в машине и отдыхал. Мы рассказывали ему старые анекдоты, чтобы скоротать время. Он вежливо посмеивался. Он был слишком серьезен для анекдотов, но он понимал, что в такую ночь не надо терять чувства юмора. Скоро — скорей, чем мы думали, — раздался шум, храп, сверкнул свет нескольких факелов и появились буйволы. Они шли прямо по грязи, наслаждаясь тем, как мягко уходят их ноги в толстую жидкую кашу. Их глаза светились от огня факелов. Грязный до плеч «хозяин дороги» сам начал запрягать их в нашу машину.

— Подожди, — сказал Бетал, тяжело вылезая из машины, — сначала освободи вон ту, впереди, она нам закрыла проход. Давай мы тебе поможем.

Снова все пассажиры ночного каравана вылезли, и начался новый аврал. Бетал осмотрелся. Луна стояла высоко. Дорога шла по обрыву. На ней, как мухи, попавшие в клей, беспомощно застыли машины; иные из них нырнули в ямы, иные стояли на бугорках перед ямами. Вот он увидел вдалеке машины в странной позиции: их передние колеса едва цеплялись за дорогу, а задние стояли на выступе над обрывом ниже дороги. Вокруг них никого не было, эти машины никуда не собирались двигаться. Они были на нейтральном участке.

— Что там происходит? — спросил Бетал. — Узнайте, что там думают, почему не едут?..

К машинам у обрыва добрался посланный Беталом горец и, вернувшись, сказал, что там все легли спать, чтобы до утра отдохнуть.

— Пойди к ним еще раз, — сказал Бетал, вытаскивая ногу из жидкого грязевого сугроба. — И пригрози, что, если они сейчас не вылезут и не помогут нам в работе, мы скинем их машины в обрыв. Пусть там ночуют. Так пойди и скажи им от моего имени...

Через десять минут мы увидели, как в том тихом месте началось усиленное движение. Буйволы вытаскивали одну за другой машины. Дело пошло веселее, когда луна начала бледнеть и явно повеяло утренним холодком.

Тут стал саботировать один буйвол. Он делал вид, что тащит, напрягался изо всех сил, пытался, и, когда его собратья двигались вперед, он только перебирал ногами на месте. Бетал это скоро заметил и сказал:

— Этот буйвол как хитрый человек, но мы хитрее его. Перепрягите его в середину и дайте ему кнутом, чтобы он знал, что тут надо работать, как все...

Мне казалось, что эта ночь никогда не кончится, жидкая грязь никогда не выпустит наши машины. Но вдруг пошли участки слежавшейся, почти крепкой грязи, потом что-то случилось с дорогой, на ней выступили камни, потом земля стала плотной, и машины, к нашему удивлению, покатились без задержки. Это было так неожиданно, что мы не верили нашему счастью. Мимо нас уже проходили на рассвете пустые, спящие еще сленная, и вдруг открылась широкая, полноводная река.

— Малка! — сказал шофер.

Мы увидели, что все машины едут не к мосту, а к реке. Из машины вылезали ни на что не похожие фигуры с такими узорами грязи, что удивительно было на них смотреть. Все эти фигуры шли в одежде просто в воду и начинали смывать с себя грязь.

— Пусть привькают, — говорил Бетал довольным голосом. — Они думали, что нашли хороший приют в комсомольском коше — «давайте спать на мягкой подушке». Они забыли, что у нас есть враги, забыли, что мы должны быть готовы к войне, что надо ничего не бояться. Пробриться, раз нужно, и через огонь, и через мрак, и через холод, и... — Он остановился и, глядя на моющихся в реке, добавил: — И через грязь.

Машины катились по великолепной дороге. Скоро Нальчик. Мы замечаем, что все больше клонится набок голова Бетала. Он засыпает. Он устал. И хотя он не хочет показать нам своей усталости, но мы знаем, что он перенес недавно грипп и прошлая ночь утомила его. Совсем близко Нальчик. И мы знаем другое: он не может показаться в машине утром всем жителям кабардино-балкарской столицы спящим. Они подумают, что он где-то кутил всю ночь за городом. Что делать?

Мы начинаем шуметь в машине, громко смеемся, громко говорим. Наш план удается. Он сначала хочет сказать что-то недовольное, но, открыв глаза и увидев, что мы въезжаем в Нальчик, сразу сбрасывает с себя сон и начинает намеренно громко говорить с нами о том, что мы будем делать в ближайшие дни. Машина идет по улицам города. Жители узнают Бетала и приветствуют его. Он улыбается и отвечает на приветствия. Он знает, что его любят и уважают.

#### 4. Обвал

Мы жили с Арнштамом в маленькой белой гостинице около аула Тегенекли, среди прибаксанских полян, где шумят большие сосны и с горы скатываются по камненным корытцам веселые ручьи, подпрыгивающие на поворотах. Перед нами день и ночь шумел и гудел Баксан, катя свои свирепые воды, принося нам постоянно привет со своих снежных верховьев.

Мы жили совершенно уединенно, посвящая свои дни работе над сценарием о становлении Советской власти на Северном Кавказе. Бетала видели редко, так как он не часто приезжал из Нальчика в Тегенекли, а шумные ватаги туристов и альпинистов проплывали мимо нас, как воды Баксана, такие же бесконечные и шумные.

Иногда мы проводили вечера в обществе очень дорогих нам людей, известных артистов — Бирман, Гиацинтовой, Берсенева. Тогда мы собирались в их номере, пили сухое виноградное вино и рассказывали друг другу разные истории или просто беседовали о жизни и об искусстве. Много говорили о горах. Горы нам всем безумно нравились.

За почтой мы по очереди ходили в соседнее селение Эльбрус, где было почтовое отделение. В один из вечеров очередь идти за почтой для всех выпала мне и Гиацинтовой. Мы с удовольствием шли вниз по Баксану, миновали пенистое вторжение в Баксан Адыл-су, прошли мимо живописной щели Ирикского ущелья, в развороте которого в ясный день сверкает сам Эльбрус, похожий здесь чем-то на Фузияму, и, обгоняя нагруженных дровами ишаков, бодро достигли ворот, за которыми лежал огромный пустырь. На конце его стоял обыкновенный балкарский горный дом, двухэтажный, с лестницей и висячей галереей; в нем помещалась почта. Обычно девушка на почте приветствовала нас и высыпала кучу корреспонденции, адресованной всей нашей компании. Мы с ней обменивались иногда шутками, и вся наша короткая беседа не носила серьезного характера.

Но сегодня девушка была явно встревожена и сразу же сказала, не дожидаясь нашего вопроса:

— А почта-то не была и не будет, и неизвестно, когда будет.

— Почему?— разом спросили мы.

— Да как вам сказать? Сначала ничего не знали, а вот к вечеру стало известно. Большой обвал где-то за Верхним Баксаном, за Урусбиевом, знаете, а то даже еще дальше — у Белыма... Но это не может быть, скорее у Урусбиева, по реке вниз...

— Серьезный обвал,— сказала Гиацинтова.— А телеграмму можно послать?

— Да ведь и телеграфные столбы повалены. Наверное, потому-то связи у меня нет. Боятся наводнения даже. Если обвал Баксан перекрыл, там наводнение.

— А что же будут делать теперь?— спросила Гиацинтова.

— Будут, наверное, завтра обвал разбирать. Людей мобилизуют. А как же? Ведь все сообщение прервалось. А тут сколько на Баксане людей?! И лагеря разные. Надо продукты доставлять. И связь должна действовать. А сегодня ничего не дошло из Нальчика. Где-то застряло...

Нам ничего не оставалось, как тихо идти обратно. Даже торопиться не стоило. Мы ничего не несли — шли с пустыми руками с почты. И мы шагом прогуливающихся людей начали подыматься к своему Тегенекли. К этому времени тучи в верхней части долины укутали горы, и только в одном месте был странный просвет. И в этом просвете между туч игра последних солнечных лучей создала такой эффект, что мы остановились, и Гиацинтова, человек, равнодушный к театральным потрясениям, воскликнула:

— Но ведь это врубелевский демон, он смотрит на Тамару через гору!

Действительно, если бы у нас был с собой такой фотоаппарат, который мог делать цветные снимки в этой погруженной уже в синий сумрак долине, он запечатлел бы облако, чрезвычайно напоминавшее гигантскую фигуру, задрапированную в широкий черный плащ или прикрытую сложенными крыльями, облокотившуюся на вершину Тегенекли-баши. Черный кусок облака, изображавший голову, был как бы прожжен в двух местах, и сквозь эти отверстия на нас взирали с высоты два раскаленных глаза, причем огонь этих глаз принимал разные оттенки по мере движения последних солнечных лучей. Было даже немного жутко наблюдать такое подражание человеческой фантазии со стороны бессознательной природы суровых гор, нас окружавших.

— Вы знаете, это действует,— сказала Гиацинтова.— Мне просто кажется, что дьявол облокотился на гору и наблюдает за дорогой.

— Он сделал злое дело, — сказал я, — обвалил гору в Баксан, натворил всяких бедствий и хочет видеть, как это отразится на людях. А может быть, это обыкновенный лермонтовский демон, и вы его заинтересовали?

— Бросьте,— сказала моя спутница.— Мне в самом деле как-то тревожно. В горах всегда есть что-то чуть угрожающее.

Я стал разубеждать ее, и мы тихо шли к нашему дому, иногда все-таки бросая взгляд в высоту, и там все еще горели пронзительные глаза горного духа, — правда, уже пламень явно потухал. Одежда уже смешалась с мраком, и сатанинские черты не были отчетливы. Когда мы подошли к гостинице и взглянули в последний раз, демон исчез.

Пужинав, мы собрались в комнате артистов и по порядку рассказывали про нашу дорогу, и про обвал, и про демона, вновь появившегося в наших местах, сменив Грузию на Кабардино-Балкарию.

— Он не хочет повторять себя,— сказал Берсенев.

Мы смеялись, и каждый хотел поведать что-нибудь из мира таинственного и необыкновенного. Я не успел досказать свою историю, как все смешалось. Я, сидевший спиной к двери, обернулся и увидел, что подняло с места наших друзей: в дверях стоял Бетал, закрывая своей атлетиче-

ской фигурой маленькую дверь, и тщетно делал знаки, чтобы не прерывали рассказчика.

Гиацинтова первая после взаимных приветствий сказала:

— А знаете, товарищ Калмыков, какой обвал на Баксане? Даже почта сегодня не пришла, и телеграмм не принимают. Вот какой большой обвал где-то, а где — я не помню.

По лицу Бетала я понял, что он ничего не знает об обвале, пока еще не знает. Возможно, что он позвонил в Нальчик, и линия была прервана. Я могу поклясться, что он за минуту до этого не знал про обвал. Но лицо его только секунду хранило непроницаемость. Потом он взглянул на нас, как на людей, которые не могут иметь никаких сомнений в том, что он это давно знал. Легким тоном, каким приглашают к чаю или на прогулку, он сказал:

— Я затем и зашел, чтобы пригласить вас сейчас же поехать посмотреть этот обвал.

Я не могу не отдать должное могучей воле этого человека. Он сделал это так непринужденно и с таким чувством артистичности, что можно было им любоваться.

Наши артисты замялись. Ехать ночью — темно, ничего не видно.

— Как — темно! — воскликнул Бетал. — Сейчас взойдет луна. Все будет видно, как днем.

Он понял, что если бы мы все отказались от его приглашения, то мы лишили бы его возможности поехать одному, а он во что бы то ни стало хотел видеть этот не известный еще ему обвал. Мы с Арнштамом согласились ехать. Мы — любители горных дорог во всякое время ночи и дня. Кроме того, посмотреть необычное — обвал. Мы сейчас же вышли, и я сразу спросил шофера:

— Где обвал?

Шофер посмотрел совершенно растерянно и сказал:

— Я не знаю никакого обвала.

Я постарался замять вопрос. Я пробормотал что-то о том, что вот тут говорят про обвал.

Появился Бетал с Арнштамом. Машина загудела и вывернулась на дорогу. Действительно, луна появилась, как только мы подъехали к Верхнему Баксану. Если бы не тревожная весть о неожиданном обвале, можно было бы вдоволь наслаждаться лунной ночью, которая в горах всегда полна разнообразного очарования. Долина Баксана лежала в сонном оцепенении, кое-где светились огоньки, еще больше делавшие ее мирной, отдыхающей, освобожденной от мелких дел каждого дня, атласные тени перекрещивались на дороге, сосны, такие строгие днем, сейчас были украшены мягкими шапками могучей зелени, а каменные выступы гор потеплели, порозовели и потеряли свою нелюдимость.

Мы не разговаривали. Встречный ветер, теплый и мягкий, несся по долине. Я сейчас не помню точно где, но действительно где-то за Верхним Баксаном, чуть ли не у Белыма, шофер затормозил.

Мы вышли на дорогу. Впереди перед нами вставала высокая темная стена, которая перегородила и дорогу и реку и уперлась в соседнюю гору на другом берегу. Баксан гудел, как медведь, роющий пещеру. По-видимому, поток не был окончательно прерван и сейчас находил себе путь, пробиваясь сквозь неожиданную преграду.

Мы подошли вплотную. Трудно было определить с того места, где мы стояли, размеры этого оползня. Он, по-видимому, был не высок, но широк. За ним по горе вставал другой гривастый оползень, он уже не имел силы первого. Он только доташился до дороги и уперся своими камнями и глиной в первый завал.

Бетал походил по пустой дороге, подошел к реке. Мы шли за ним.

— Наводнения не будет,— сказал он.— Баксан уже прорвался. К утру, если не будет дождя в горах, он унесет вниз достаточно. Худо, если будет дождь. Могут упасть новые обвалы.

Мы поехали обратно. Теперь мы ехали с большой быстротой, потому что Бетал хотел, чтобы уже с раннего утра пошли расчищать завал, а потому меры надо было принять уже ночью.

Довезя нас до гостиницы, он сказал, что утром заедет снова за нами.

Утром он был уже совсем другой. Он шутил, ему доставляло удовольствие видеть, как нас обгоняют грузовики с краснощекой молодежью, вооруженной лопатами, ломami, киркомотыгами. Это ехали со всех селений долины к завалу — убирать его. По-видимому, Бетал ночью развил необыкновенную деятельность, и теперь мы видели ее результаты. Бетал был очень разговорчив.

— Какие голые горы,— сказал я.— Если бы, как в старину, тут были леса, все было бы во сто раз живописнее и горы не ползли бы вниз.

— Леса будут,— сказал Бетал.— Нужно внушить, чтобы никто не смел рубить ни одного дерева, не посадив двадцати. Мы все эти горы делаем зелеными. Молодежь — она это делает. И тогда Эльбрус будет стоять в настоящей бурке зеленых лесов.

Мы приехали к завалу. Там уже работали и с той и с этой стороны сотни людей. Когда я недавно читал описание такого же завала, который произошел на глазах академика Щербакова, я поразился точности описания и схожести явления. Щербаков писал: «Это была вязкая масса, состоящая из огромного количества обломков горной породы, связанных между собой темно-серой грязью... По-видимому, эта масса спустилась с гор; своим концом она упиралась в реку Баксан, которая в этом месте бурлила особенно грозно».

Вероятно, за много лет перед нами такой же сель или силь имел место почти там же, где мы наблюдали его в 1936 году. Ночью он выглядел очень мрачно, и отвратительна была эта масса спрессовавшейся грязи, тянувшаяся бурными складками со склона к реке. А сейчас, при ярком солнечном свете, когда вокруг раздавались веселые молодые голоса и можно было перебираться через толщу обвала взад и вперед, настолько она окрепла, картина не имела никакой мрачности. Понаблюдав за тем, как летят в Баксан большие куски камней и грязи и как понемногу освобождается дорога, мы поехали в Тегенекли.

Горы сняли в это солнечное, теплое утро.

Я не мог удержаться. Я сказал Беталу:

— Горы кажутся мне вечно юными. Они всегда напоминают молодость — громкую, смелую, сильную молодость, которой принадлежит все: и лед ледников и высота, горящая в солнечном огне, и грохот реки и дороги, ведущие вперед и выше.

Бетал улыбнулся своими большими губами и ответил сразу:

— У меня в молодости были интересные вещи. Вот вы скажите мне, что это было таксе...

— Расскажите, Бетал, что с вами приключилось в молодости?..

— Даже в юности,— сказал он.— Я жил в Нальчике, учился в школе — маленький мальчик был, подросток. У меня были школьные друзья. Возились, играли. Раз сидели мы с одним моим дружкой на бульваре, на скамейке. Я положил руку вдоль спинки ладонью наружу. А с краю села женщина, немолодая, хорошо одетая, незнакомая. Она поглядела раз, другой на мою руку и вдруг говорит: «Мальчик, покажи свою руку...» Я, конечно, отдернул руку, не показываю. «Покажи, мальчик, руку», — она опять говорит. Я не показываю. Она замолчала, но все на меня смотрит. Мой приятель скоро ушел, а я остался. Она опять ко мне и так пристает, говорит: «Что ты боишься?» — «Я ничего не боюсь».—

«Ну, так покажи руку». Я показал. Она взяла руку и долго ее рассматривала. Потом говорит: «Слушай, скажи мне, кто тебе этот мальчик, что с тобой сидел?» — «Это мой дружок», — говорю. «Так вот слушай, мальчик. Этот дружок твой, запомни, будет в жизни, когда вырастет, самым твоим смертельным врагом. Много у тебя в жизни будет опасностей, много раз ты будешь на краю гибели, много раз будешь среди врагов, но ты не погибнешь. Только вот что еще тебе скажу, запомни. Будет у тебя такой день, когда надо будет выбирать тебе. И если ты выберешь юг — ты спасешься, если ты выберешь север — ты погибнешь. Вот запомни это, мальчик». И ушла. А я с годами все забыл. И про женщину забыл...

Но мы чувствовали, что это не конец рассказа. Помолчав, Бетал продолжал:

— Конечно, вы знаете мою биографию. Как мы в годы гражданской войны самые большие трудности должны были переносить. И раз пришел такой момент. Надо на что-то решаться. Белые со всех сторон наступают. Наша Одиннадцатая армия ослабла, тиф ее косит. Снарядов нет, патронов нет. Что делать? Собрались на совет на станции Прохладной. Я пошел по путям. А там эшелоны из Минеральных. Больные красноармейцы. В теплушках. Сыпняк. Я хожу от теплушки к теплушке, открываю — где открыто, мертвец на мертвце. Замерзли в дороге. Тифа не выдержали. В вагоне спорили, спорили — уже ночь кончается, все устали. Все-таки решили: Левандовский уходит в Астрахань с Одиннадцатой армией Серго, мы все с ним организуем горцев, в горах сопротивление, организуем партизан всюду — останемся в Осетии, в Чечне, Ингушетии, в Кабарде, в Балкарии, будем воевать, бить белых с тыла...

В Беслане стали прощаться. Поезд расцепили. Кто на Астрахань, на Кизляр, кто в горы, во Владикавказ. Обнялись, попрощались, пожелали всего хорошего, расстались. Наши поезда разъехались. Наш вагон прицепили к поезду на Владикавказ. Пошел наш поезд. А в вагоне после такой ночи настоящий кавардак: накурено, дым стоит, дышать нечем. Я вышел в тамбур, открыл дверь, стою, дышу, утренний, уже холодный, свежий воздух. Колеса стучат: на юг, на юг! От Беслана на юг едем. Как? Да, на юг! И знаешь, вдруг все вспомнил: и юность, и скамейку в Нальчике, и ту женщину, что сказала: «Будет такой у тебя день, если выберешь юг — спасешься, выберешь север — погибнешь». Мы сражались и на юге и на севере тогда. Мы в горах никогда не складывали оружия. И я — человек Кавказа — обязан был драться за Советскую власть на Кавказе. Конечно, я мог бы и пойти с отступающими частями Одиннадцатой армии через степи на север, в Астрахань, но я выбрал юг. А почему я вспомнил предсказание, не знаю. И еще вспомнил, что тот школьный дружок против нас сражается, у белых. И я выбрал юг. Что это такое, скажи мне? Да, впрочем, можешь не говорить. Жизнь как этот обвал: какой бы большой ни был, надо его преодолеть, убрать с дороги, правда? Я горец, зачем я пойду в Астрахань? Я горец — я пошел в горы. Ну, а если есть у тебя другое объяснение, подумайте, скажите — буду благодарить. Правда, интересный случай из юности?!

Разговор прервался. Мы подъезжали к мосту через Баксан, где Бетала уже ждали. Мы простились на мосту.





---

АЛЕКСАНДР БЫЛИНОВ

★

## РОТА УХОДИТ С ПЕСНЕЙ

*Повесть*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

**Ч**уть свет позвонили из штаба бригады, и дежурный по части старший лейтенант Аренский решил разбудить командира полка. Он осторожно постучал в дверь легкого домика, напоминавшего пахнущие клеем декорации.

Майор Мельник вышел заспанный, под глазами — отечные мешочки. Аренский почувствовал себя виноватым.

— Начштабриг приказал... прошу извинить. Хотел ночью поднимать по тревоге...

— Да-а... — Майор потянулся. — Спасибо ему, что утра дождался. Не имела баба хлопоту, тай купила поросю.

— Так точно, товарищ майор.

— Можете идти. Да заправьтесь вы наконец...

Аренский поспешно одернул гимнастерку, и майор, глядя вслед ему, с досадой подумал: «Как на грех, сегодня дежурит этот. Надо бы заметить его кем-нибудь из кадровых строевиков...»

Жена и дочь еще спали. Майор, усевшись на скрипучий топчан, кряхтя, намотал портянку и натянул начищенный до блеска сапог.

То, что сообщил Аренский, не было неожиданностью. Произошли какие-то перемещения в округе. Командира бригады отзывали уже с месяц назад.

Майор Мельник не проявлял любопытства к этим переменам. К тому же бесконечные хозяйственные заботы, связанные с недавней передислокацией, попросту не дают осмотреться. Полк есть полк. Люди, хозяйство, оружие, обмундирование, обувь, продовольствие, фураж, лошади, пушки, минометы, баяны, балалайки, пилы, книги, молотки, портреты, гвозди, бани и многое другое, соединенное, сведенное, сочлененное в отделения, взводы, роты, батальоны, собранное в склады, уложенное на машины и повозки, пронизанное субординацией, занесенное в акты, инвентарные книги и списки, готовое вмиг развернуться и свернуться, занять оборону или рвануться в бой, — все это и есть полк, во главе которого стоит командир майор Мельник Иван Кузьмич. Некогда задумываться над тем, что происходит в штабных кулуарах. Сняли и сняли. Командир соседнего полка, балагур Подчиняев, говорил: «Там виднее. Они газеты читают, чай пьют и радио слушают. Наше дело солдатское! Рась-два...»

Майор плескал на лицо воду из большой эмалированной миски. Удобств никаких — «степь да степь кругом...». Полковые певуны уже сочинили смешливую песенку на известный мотив. «Степь да степь кругом, оренбургская...» Аннушка, выдавшая и не такие виды, растерялась на

первых порах. Впрочем, солдатам не привыкать стать — обжились.. А нынче вся бригада играет «встречный марш».

За двадцать лет службы майору Мельнику не раз доводилось встречать начальство.

Старшиной встречал у дверей казармы командира роты, ротным — комбатов с рапортом, дежурным по части — командира полка по утрам. Что может быть торжественнее военной встречи старшего, когда все застыло и не шелохнется, пораженное громовым «смирно!», и только ты один живешь счастливым вдохновением минуты, произносишь чеканные слова рапорта, делаешь шаг в сторону, лихо щелкнув каблуками, и затем подхваченной из уст у командой начальника «вольно» снимаешь, как чародей, волшебное оцепенение тысяч!

Однако предстоящая встреча — не то. Тут «каблукчиками», пожалуй, не отделаешься. Это все слабости бывшего комбрига. Ах, как любил церемонии! По совести говоря, в дела не очень вникал, зато при виде паутинки под потолком или подсолнечной лузги приходил в ярость. Бывало, придет в полк, пройдет к завтраку. Заведующая столовой Военторга — расторопная баба! — знала службу. Выйдет генерал, отдуваясь, орлиным взором окинет плац — ни тебе семечка, ни окурка. Улыбнется: «Добро, майор».

Нынче ожидание тревожное. Откуда нагрянет новый — то ли через главные ворота, то ли с тылов, — неведомо. Глядишь, и щелкнуть каблукчиками не успеешь. Без фанфар, без церемониала пожалуйет: «Как изволите готовить боевые резервы, друзья?» И к паутине, может, не придерется и семечек не заметит, но по другим статьям даст жару..

Мельник не слишком часто появлялся в подразделениях на рассвете: подъем, туалет, уборка, утренний осмотр, завтрак — дело старшин, а не командира полка. Это они, старшины, как петухи, возвестившие рассвет, похаживают, горделиво осматриваясь, все замечая своим цепким взглядом и во все вникая. Но в это утро майора Мельника видели то там, то здесь; он побывал и у шалашей, временно укрывших красноармейцев от непогоды и ночной прохлады, и в жаркой кухне, готовящей завтрак, и на складах, и в штабе, учиняя одним своим присутствием большой аврал, — и всюду чистят, моют, скребут, как матросы на палубе.

Слабость майора — конюшня. В кавалерии он начинал службу и по сей день не расстается со шпорами.

А старшина хоззвода, безусый юнец с золотыми франтоватыми петлицами, грязь в кормушках прикрыл соломкой и думает, что командир полка побрезгает ручкой пошевелить да копнуть поглубже. Где знать ему, что испытывает майор, входя в конюшню? Нет, не в забайкальских степях, не у границы началась эта дружба с табунами. Навсегда запомнились ребячьи вылазки в ночное, скрип арбы, когда ездили с отцом в волость или в город на базар, и запахи сбруи, лошадиного пота, смешанного с полынным ароматом степей, и ночлег под возом: «Ложись, Ванюшка. Поедем чуть свет», и кони, что хрумкают рядом, в темноте..

— Что же ты думаешь? — не сдержался майор. — Думаешь, командир полка — пехтура и до хозяйства твоего не доберется? Очки втираешь?

— Никак нет, товарищ майор.

— Гляди у меня!

Командир полка пошел дальше, но смутная тревога не покидала его.

Через всю страну от севера к югу протянулся фронт. Одна за другой каждый день уходят маршевые роты. В тыловые госпитали прибывают раненые с фронта; они пополняют затем батальоны выздоравливающих либо, отвоевавшись, разъезжаются по домам; и все время на фронт

безостановочно движется поток эшелонов со свежими войсками — таково утвержденное опытом многих войн, испытанное круговращение армий.

Совсем недавно здесь, в глубоком тылу, в этих старинных военно-поселенческих местах, на берегах многоводной и быстрой речушки расположилась бригада. И кто знает, долго ли простоят. Может быть, не пройдет и месяца, как придет приказ грузиться. Переформированная из запасной в действующую, помчится бригада на фронт, оставив в деревянном, наскоро сколоченном клубе призывные плакаты.

Командир полка сидел в своем кабинете, когда за окном послышалось таракхтение мотоцикла. «Наконец-то», — вздохнул майор: Щербак всегда действовал на него успокаивающе.

Сошлись их военные дороги летом сорок первого, у Днепра.

Оставленный город горел вторые сутки. Пылала нефтебаза, вздымая к небу столб жирного черного дыма, горели элеватор, вокзал. Немцы в городе еще не появились, но с правого берега приходили вести одна тревожнее другой.

Говорят, в пригородах уже встречали вражескую разведку. Дальноточные орудия врага бьют по проспекту Карла Маркса. Застрелился, захваченный гитлеровцами, командир батальона связи...

В те дни майор Мельник, замученный и растерянный, неожиданно почувствовал поддержку Щербака — своего нового комиссара, присланного из фронтовой дивизии. Вместе шли они с запада на восток по российскому бездорожью, ночевали в избах курских, воронежских, саратовских, ведя за собой до двадцати тысяч красноармейцев. Полк в эти дни отступления разбух, разросся, скрипел и урчал сотнями повозок и автомашин. Батальоны растягивались на целые километры. Бойцы ночевали где и как придется: и в деревенских избах «пóкатом», подотстав под негнущиеся, отсыревшие плащ-палатки свежее сено, и просто в поле под звездным небом, полным надрывных гулов. И все это время безрадостного марша согревала Мельника теплота их первой встречи. Помнит майор, как усадил гостя за стол, накрытый затертой клеенкой в чернильных пятнах, и худой, угловатый, до черноты загорелый Щербак неторопливо прихлебывал чай и бубнил надорванным своим баском, рассказывая о сражении на реке Прут, «откуда румыны прут». Он был моложе Ивана Кузьмича и смотрел на вещи проще.

— Что ж, товарищ майор, — говорил он, — треба учиться и отступать... Кутузов и то отступал.

Вначале шли плодоносными землями Украины. Вокруг стояла нескошенная пшеница, переспелые колосья клонились к земле, роняя тяжелое зерно, подсолнухи свесили черные головки с облетающими желтыми лепестками. По обочинам пыльных дорог стояли женщины. Они провожали бойцов тоскливыми взглядами.

— Правда, що нмець близько? Невже до нас добереться? Невже спалювати це добро?

Колхозники поили бойцов молоком, потчевали паляницами. Но один затаенный вопрос светился в глазах: «Правда ли?»

— Не, мамо... Мы такая часть, запасная, — убеждали бойцы. — Наше дело — войско собирать, резервы готовить. А потом и сами на фронт пойдем. Без резерва победы не бывает. Вот нас и отводят в глубокий тыл.

— А уж больно глубоко вас отводят, — вздыхали женщины.

— Это уж куда надо. Верховный штаб решает.

Пошли осенние дожди. Машинны и повозки утопали в грязи. Российские деревни Никольские, Старые Чеглы, Муратовки и Поддубья ставили самовары для чужих усталых мужиков, заботливо расстилали солому. Переходы становились труднее. Начал падать мокрый снег. Интенданты

в пути получали новое обмундирование и снаряжение. На ходу формировались маршевые роты и отправлялись обратно на фронт.

Самолеты с черными крестами преследовали отступающих, бомбили Валуйки и Лнски, обстреливали колонны. По обочинам дороги выросли могилы.

Старший политрук Щербак носился в своем «пикапе» от головы до хвоста неохватной полковой колонны, беседовал с бойцами, шагал с ними бок о бок, и, вероятно, глаз его видел то, чего не замечал усталый и обескураженный командир: обреченность постепенно покидала идущих.

Но и Щербак однажды не выдержал, дрогнуло сердце. Враг прорвался к столице. Танки Гудериана охватывали Тулу. Бригада получила шифрованный приказ — двигаться на Курск и дальше к Москве. Щербак задумался.

«Неужто исчерпаны все резервы? Неужто нам защищать Москву?»

Тот же вопрос он читал на лицах бойцов и командиров. Когда же на другой день приказ был отменен, а путь прочерчен дальше на восток, Щербак облегченно вздохнул. Значит, Москва сильна! Значит, есть еще порох в пороховницах! Но самого потянуло туда, под Москву, где начиналась великая битва.

И здесь, год спустя, в Оренбургской степи, он оставался таким же верным и крепким плечом, на которое Мельник всегда мог опереться. С утра Щербак по просьбе майора умчался в батальон проверить готовность очередной маршевой роты, отбывавшей сегодня. Треск мотоцикла за окном возвещал, что комиссар вернулся.

— Хай ему грець, этому батальону,— загудел Щербак, входя в кабинет и вытирая платком обожженное солнцем лицо. — Побей его начальников лихая година. Собралась, извиняюсь, интеллигенция, все образованные, а роту скомплектовали... Есть которые не умеют снарядить магазин к «РПД». Мишеней не видели...

— Большая отправка нынче, — нерешительно заметил Мельник.

— Значит, здесь, в тылу, кое-кому поменьше спать надо. А Иранский принц до сих пор дрыхнет после рыбалки. Курортничает в данное время...

— Опять он! — Мельник нахмурился и забарабанил пальцами по столу.

«Иранским принцем» в полку называли начальника штаба капитана Борского. Побывав в свое время в Иране, Борский любил щегольнуть в разговоре не только иранским словечком, но и знакомством с придворным этикетом, который он будто бы изучил в совершенстве. На фронте он лишился глаза, но увольняться из армии не пожелал.

— Вместе с комбатом-трп подведут они полк, — продолжал раздраженно Щербак. — Есть все данные...

— Что же делать? — растерянно спросил Мельник.

Не раз комиссар поднимал свой голос против тех командиров, что с легким сердцем и напускной лихостью формировали маршевые роты. «В первом же бою научатся. Народ стреляный...» На частых совещаниях — «накачках» — он, сидя рядом с командиром полка, своей резкостью иногда приводил в смущение самого майора, опытного строевика, понимавшего всю трудность снаряжения и подготовки войск. Мельнику всегда казалось, что горячий, хоть и деятельный комиссар невольно сгущает краски. Начштаба фронтовик Борский снисходительно улыбался и заверял, что, право же, все в порядке. Навыки одиночного бойца? На фронте это быстро... И Мельник, не знавший по-настоящему фронта, был склонен соглашаться с боевым капитаном.

В глубине души он надеялся, что и на этот раз, в тревожный день встречи с новым комбригом, отправка роты сойдет благополучно: бойцы пойдут на станцию с песней, загремит железнодорожный состав, а там на

фронтowych перепутьях каждый найдет свое место. Вспомнятся ли тогда дни, проведенные, словно на полустанке, в полку запасной бригады?

И все-таки слова Щербака, прибывшего только что с поля, от них, уходящих на фронт, заставили горько задуматься.

— Что же делать, Щербак? Как быть?

— Свистать всех наверх. Вызовите Принца, будь он неладен. Одно он знает: рыбу глушить. Мабуть, уши ему позакладало...

## 2

Маршевая рота старшего лейтенанта Аренского в основном состояла из обученного пополнения — стрелков и пулеметчиков. Здесь были и уфимские колхозники, и сибирские стрелки, и уральцы из близлежащих сел, и немало эвакуированных с запада. Но можно было встретить в этой разноликой массе и бойцов нестрелковых специальностей. По приказу начштаба капитана Борского была, например, приписана к маршевикам и группа молодых мотористов, отчисленных из авиации за дисциплинарные проступки. В стрелковом запасном полку вели они себя независимо и нагло, требовали отправки на фронт, хотя строевой службы не знали и даже стрелять из винтовки не умели.

В батальоне аккуратно составлялись привычные списки. Ротный писарь переписал бисерным почерком фамилии. Они стояли в списке ровной шеренгой и успокаивали сердце командира роты Аренского. Люди куда суматошнее собственных имен и фамилий, разместившихся в строгом порядке на белом листе бумаги, как на учебном плацу.

Аренский — в прошлом актер, большеголовый, с рыжеватыми, уныло свисавшими усиками — недавно окончил курсы «Выстрел». Он происходил из старинной семьи русских актеров. Отец его в 1925 году поехал в Америку на гастроли и остался там навсегда. Сын тяжело переживал поступок отца, всю жизнь пытался заглядить его вину. Уже сорокалетним отпросился Аренский из театра на курсы строевых командиров. Он был исполнительен, старался изо всех сил, однако нередко оказывался позади других ротных. Неумелость, нерасторопность, интеллигентская расслабленность как-то странно сочетались в нем с сильным, тренированным голосом и отчетливой дикцией. Ему самому казалось, что ротой командуют два человека: один — по-актерски вдохновенный, умеющий иногда зажечь бойцов, другой — хлюпик, готовый расплакаться от бессилия.

Аренский знал, что в состав его маршевой роты начштаба капитан Борский включил и «неотстрелявшихся». Больше того, он взволнованно доложил комбату Папуше о своих сомнениях. Но Папуша только ухмыльнулся — он с явной иронией относился к этому исполнительному «актеришке».

— Хозяин знает, что кобыле робить. Ясно?

— Но я же совсем почти не обучал, товарищ капитан. Поймите, многие даже не отстрелялись, — настаивал старший лейтенант.

Папуша ответил грубо:

— Сиди, Аренский. Не рыпайся. Не выслуживайся. Хочешь быть святей римского папы?

Подавленный грубостью комбата, Аренский ушел тогда ни с чем. И вот сегодня его роте предстоит отправка.

На стенах деревянных строений лагеря черным выведены слова: «Боец, останови врага!», «Стои и бей! Бей и стои!», «Ни шагу назад. Выдержка — твоя жизнь!», «Смерть предателям, шкурникам и трусам!» Бойцы ежедневно ходили мимо этих гневных призывов на занятия в поле, в столовую, в деревянный, наспех сколоченный клуб. Гигантские буквы плакатов тщательно выписывал всюду, где только мог, полковой живописец,

бывший студент художественного училища Николай Савчук. Он рисовал также многокрасочные панно, картины и плакаты, обильно оснащая ими аллеи и дорожки лагеря и стены зданий, и называлось все это на языке Щербака «наглядная агитация». «Верно, — думалось Аренскому, — плакаты эти тоже помогают воспитать бойца. Но разве они могут научить стрелять?»

В полдень тучи песка поднялись к небу. Раскаленный ветер бился в стекла, срывал плакаты, любовно выписанные Савчуком.

Внезапно Аренского освободили от обязанностей дежурного по части. Ему следовало быть в своей роте, ведь она сегодня уходит на фронт.

В глубоком раздумье Аренский пошел к своей палатке, дрожавшей под горячими порывами ветра. И тут прискакал на коне майор, который на рассвете казался таким домашним и добродушным.

Маршевики со скатками и тугими вещмешками на спинах выстроились перед палаткой ротного, на площадке, обнесенной низким березовым палисадом. Майор молча обошел фронт, внимательно всматриваясь в лица.

— Кто не стрелял? — спросил наконец Мельник и тут же поправил себя: — Кто не отстрелялся, товарищи бойцы? Кто не выполнил упражнения? Говори смело. Кто не видел мишеней?

Рота молчала.

— Выходит, все стреляли? Отлично. Ты стрелял? — неожиданно спросил он молодцеватого крепыша с узкими щелочками глаз.

— Не стрелял, товарищ майор.

— Как так? Что случилось?

— Почему я знаю, ей-богу... — По лицу маршевика промелькнула улыбка.

— Значит, не боец еще!

Аренский стоял молча. Сказать, что докладывал Папуше? Что тот даже не пожелал слушать? Но в армии не принято оправдываться.

Молчала рота. Раздумье овладело майором Мельником. Сегодняшний день ознаменован чем-то необычным, словно окрашен в рыжий, пыльный и душный цвет — цвет Аренского. Кажется, была уже такая знаменитая фамилия. Кажется, композитор. Только вот избавился от этой фигуры как от дежурного, и все равно она тут как тут. Зачем они здесь, подобные служаки? Разве могут не знающие, не любящие строевой и походной жизни успешно готовить резервы фронту? На подмостках, на сцене еще куда ни шло...

Рота стояла, готовая к маршу. Бойцы выжидающе смотрели на командира полка, а он, давно привыкший к подобным церемониям — к поверкам маршевых рот, впервые почувствовал необъяснимую неловкость и смутное сознание своей вины перед этими людьми.

— Вольно! — ургюмо скомандовал он. — Можно курить.

Солнце давно перевалило зенит. Длинные тени протянулись по земле. Ветер улегся вместе с тучами пыли. Дрожащее марево струилось в холодном воздухе. Горизонт синел. Степь принесла терпкие запахи иссушенных трав. Ночью опять вспыхнут на горизонте бледные зарницы, напоминающие отсветы далеких боев и разрывы бомб, когда земля словно вздыхает от тяжелого недуга.

Где-то пиликала гармошка, приплывала и уплывала музыка радиолы.

Обычно роты уходили на погрузку к вечеру. И на этот раз перед штабом полка выстроилась маршевая рота, которая доставила сегодня немало тревог. Впрочем, все теперь улеглось, и беспокойство в душе командира полка мало-помалу сменилось знакомой уверенностью.

Состоялся короткий митинг. Выступал комиссар Щербак, маршевики клаясь выполнить свой долг на поле боя, и в заключение произнес речь майор. Он был не бог весть как красноречив. Но он умел дружить с солдатами, умел и спросить по всей строгости и научить, мать честная... А ну-ка, друзья, нечего равнять фронт, собирайтесь в кружок возле своего командира...

Майор подозвал солдат поближе, и они охотно окружили того, кто до этой минуты был отделен от них острой гранью субординации.

— Помните про лопатку, ребята,— деловито толковал майор.— Уедете вы отсюда далече, попадете в новые подразделения, новые части и, конечно, позабудете нас, тыловики. Но слова мои про лопатку не забывайте. Она вас в бою выручит и врага поможет уничтожить. Окапывайся, где только можно. Землица-мать убережет солдата от огня, от смерти. Это первое. Второе — смотрел я вас на тактических занятиях. Не очень-то вы ладны в перебежке. А ты помни, крепко помни: бросок вперед, камнем вниз, отползи в сторону. Мудреного ничего и нет. То же самое переползание. Двадцать метров хоть и не ползи. Ты проползи сто, двести — я скажу, что настоящий солдат. Я сам сибиряк, в гражданскую воевал, знаю, что солдату нужно...

Майора успокаивали собственные слова. Это было хорошее, милое дело — поучать солдата перед отправкой на фронт.

Он почему-то вспомнил заснеженные сопки, себя бойцом Забайкальской дивизии и своего эскадронного, старого бородача из скопов первой империалистической, с простреленной шеей, которая ныла к сырой погоде. А ведь это его слова о лопатке повторял нынче он, майор, перед маршевиками, и всю жизнь он повторял, оказывается, заповедь того полуграмотного бородача. Оказывается, бессмертна солдатская мудрость!

И вдруг он поймал на себе взгляд узких стальных глаз простоватого парня, с которым уже толковал сегодня. Это он беззаботно доложил командиру полка о том, что не выполнил стрелковых упражнений. Майору стало не по себе.

— Откуда ты?

— Из Алексеевского района, из Сибири, стало быть.

— Где работал?

— В колхозе, известно...

— Бригадиром?

— Да нет. На рядовке.

— Как же ты? Охотник, поди?

— Бывает, охотимся.

— Стрелять знаешь?

— А то не знаю?

Мельник улыбнулся.

— А здесь-то не стрелял?

— Не, тут не стрелял.

— Ну, и как же?

— А чего?

— Малость надо бы потренироваться... — Мельник смотрел на него с надеждой. •

— Оно, конечно, не мешало бы, да невелика беда. В немца-то не промажу...

— Не промажешь?

— Белку в глаз бью, товарищ майор, — с достоинством ответил узкоглазый боец.

— Ну, прощай...

— До свиданья, — ответил боец.

Рота уходила с песней:

Вставай, страна огромная,  
 Вставай на смертный бой  
 С фашистской силой темною,  
 С проклятою ордой...

Майору казалось, что запекает все тот же молодой сибиряк. Мысленно поблагодарил его за песню и за то, что облегчил душу. Он поверил в счастливую звезду, встающую над этой ротой.

## 4

Новый комбриг прибыл в сумерки.

Майор только что успел отужинать с Щербакком. Когда вышли из столовой, увидели где-то у штаба полка яркие вспышки ручных фонариков. Майор кинулся было предупредить заведующую столовой, чтобы не оплошала перед гостем, но махнул рукой и поспешил на огоньки. Через мгновение он и Щербак уже представлялись новому командиру бригады.

«Знакомый голос», — подумал майор, когда комбриг сказал:

— Вигвамы понастроили, сплошные индейцы из Фенимора Купера. Ротные небось плутают, никак своих подразделений не разыщут. Ваша фамилия Мельник? Не Иван ли Кузьмич? Он самый? А я по голосу-то признал, да не поверил. Вот это да...

— Алеша! Сынок! — Они обнялись, и у Мельника непроизвольно покатились слеза.

— Так точно, Иван Кузьмич, курсант первого учебного Беляев, — сказал комбриг. — Прибыл, как говорится, в распоряжение... И сейчас вот, как на духу, признаюсь при всех: на выпуске нашем по сто пятьдесят таки глотнули...

— Глотнули, злодеи!

— Глотнули, Иван Кузьмич. Под столом бутылку хоронили. Все засмеялись.

Мельник всматривался в лицо полковника, который в свою очередь сжимал его в объятиях так, словно затем и прибыл сюда, чтобы поглотить, память старого знакомого. Да чего, собственно, тут стесняться, когда встретились-то однополчане! Разве не связывает однополчан кровная ниточка, не подвластная ни времени, ни расстоянию?

Расстались они в тревожном тридцать шестом году. Японцы прощупывали границу; то там, то здесь вспыхивали очажки войны, вырастали могилы пограничников. Белореченский краснознаменный полк, словно перед прыжком, напряг мускулы, обострил слух и глаз — только ждал приказа. Незабываемы ночные тревоги, когда весь полк молча и гневно штурмовал дальние сопки, чтобы затем разгоряченным под утро шагать к родным бревенчатым строениям, оставив и гнев и злость в глубоких лесах и все заглушая бодрой солдатской песней. Неизменно впереди первой роты учебного батальона шагал лейтенант Беляев. Он был бесспорно красив в новой, только что введенной форме, в фуражке с красной околышем, всегда свежевыбритый, строгий, умудренный той солдатской мудростью и справедливостью, которые всегда находят глубокий отзвук и признание в сердцах подчиненных. Да только ли подчиненных? Не был ли Алексей Беляев любимцем всего батальона, да и всего полка?

А вырос-то он почти на глазах у Мельника. Прибыл в тридцать третьем с командой одногодичников совсем «зеленым», горячим, порывистым, только с университетской скамьи. Здесь его сразу овеяли суровые песчаные ветры, пришедшие от самых Каракумов, испытал он свои силеньки в единоборстве с морозом, усталостью, сном, жарким солнцем — и благословил руку безыменного военкоматского писаря, вписавшего его имя



в команду одногодичников, которых, оказывается, ждут не дождутся и заснеженная Сухая Падь, и еловое мелкоколесье, и крутой Шаманский хребет, и старшина роты, высокий, худой, картавый украинец Ногайник. Не прошло, однако, и двух недель, как и ротный командир, и комбат Мельник, и все политруки, и взводные, и отделенные оценили, поняли, кого занесло к ним с новым призывом. Беляев полюбил армейскую жизнь. Он жил в полку весело, красиво, быть может с излишней горячностью, и, казалось, не только полк любовался новым своим курсантом, но и курсант любовался сам собой. А без этого, черт побери, нет настоящего солдата! Коли сам не полюбишь, не оценишь военной «косточки», которую нащупал в себе,— грош цена тебе, вояка! Должен ты нравиться и себе и другим!

Но молодой курсант по существу не задумывался над этими простыми премудростями. Он был, каким был. Он дал простор своим мышцам — никогда не чувствовали они такой свободы, как сейчас. Комбат Мельник с удовольствием глядел на размашистую, ритмичную работу молодого курсанта на турнике, установленном тут же, в тесноватых бревенчатых казармах, на уверенные «склопки», «заножки», отличный «мах» и, наконец, «солнце», удававшееся, увы, немногим.

Быстрее других Беляев усвоил нормативы физической подготовки, чем заслужил уважение младших командиров-умельцев. Он был вынослив и терпелив, в трудных походах всегда помогал отстававшим, перехватывая на ходу то вещевой мешок, то винтовку.

Отлично прижился новичок! Он чувствовал себя прямым наследником всех доблестных сражений и боевых знамен полка, через три месяца стал комсоргом батальона, хорошо изучил операции на КВЖД, в которых некогда участвовал полк, и даже делал о них доклады, разбирая перед бойцами подробности давно отгремевших битв.

Комбат полюбил его. Анна Ивановна после первого же знакомства задумчиво определила:

— Интеллигентный парень, толк из него будет.

Год прошел в суровых учебных испытаниях. Выпускали одногодичников торжественно. Бывшие курсанты с новехонькими квадратиками в петличках сидели за праздничным столом, а под ним путешествовала строжайше запрещенная комбатом бутылка. Как было не выпить ради такого случая, когда сам заслуженный и любимый всеми отец батальона, комбат Мельник, деловито прокалывал шилом петлички и самолично вдевал в них красные квадратика — знаки различия?! А потом курсанты разъехались по домам. Среди них были агрономы, зоотехники, педагоги, инженеры, и все они, отслужив срок, возвращались к своей гражданской работе. А он остался. Никто не удивлялся этому: армия — истинное его призвание.

В тридцать шестом, в год новых аттестаций, командиру роты учебного батальона Беляеву присвоили звание старшего лейтенанта и послали на курсы при академии.

За время службы он полюбил краснознаменный полк, и Сухую Падь, и ельник, и Шаманский хребет, и снежные марши, и охоты на тетеревов, и ночные тревоги, и мороз, звонкий и режущий, как добрая шпора. Да, милое дело — славный краснознаменный полк Забайкальской дивизии, и вот оно, живое воспоминание прошлых лет...

Полчаса спустя оба сидели в незатейливом кабинете, и Мельник, разглядывая гостя при тусклом свете керосиновой лампы, говорил, говорил...

— А я-то, признаться, готовился к встрече, веничком подметал, полы швабрил, все уголки вылизывал... Думал, человек-то явится новый, может, толком и не разберется в наших тыловых делах, особенно если

фронтовик. Такие, между прочим, наезжают — комиссий всяких вдоволь у нас, — тыловой специфики не понимают, ну и рубят порой сплеча... А лес рубят, сам знаешь, того...

Полковник улыбался. Мельнику показалось, что думает он о чем-то своем.

— Да, здóрово повезло тебе, — продолжал Мельник. — Такой разгон! Поистине веришь, что война справедлива к храбрым, никого не обделит. Кому пулю, кому орден; кому полет героя, а кому тыловое прозябание. Вот ты — полковник. А ведь я-то хоть академий и не кончал, а в армии побольше твоего. И поработал, сам знаешь, немало. Ну, сижу в тылу, какмышь в углу. Просился дважды, приказали сидеть. Сижу. На груди, голубчик, пусто, и в петлице не густо. Ох-ох-хо... Да и с чего бы ей густеть, к примеру, коли работа наша, по совести скажу, ни начала, ни конца не имеет. Одни приходят, другие уходят. Сроки до того малы, скажу... Которые из бойцов и отстреляться не успевают, ей-богу. Да что говорить? Сам увидишь...

И вдруг он почувствовал на себе любопытный и будто бы чуть отчужденный взгляд полковника.

— Прошу прощения. — Майор встал. — Разболтался. — Он почти не услышал собственного голоса. Взял со стола фуражку, повертел в руках и опять положил перед собой.

На висках у гостя седина. У глаз незнакомые морщинки, худощавое лицо потемнело то ли от загара, то ли от пыли и утратило былую свежесть. Что-то горькое залегло возле губ и не проходило. Он пришел оттуда.

— Ну, что ж, Алексей, — сказал майор, с трудом преодолевая замешательство. — Ты сегодня, надо надеяться, наш гость. Жена и дочь — все в полном составе. Рады будут.

— С семьей, стало быть, вы? — спросил полковник, и майору опять почувдилось недовольство. — Только ведь я сегодня в полках. Знакомлюсь, стало быть. Жену и дочь приветствуйте. Наташа уже совсем взрослая, надо думать?

— Надо думать, сам повидаетшь.

Вышли из штаба. Яркие, спелые звезды высыпали над лагерем, где-то безмолвно вспыхивали зарницы. Ночь уже зачернила все вокруг, и видны были только лагерные дорожки — их освежили песочком по случаю прибытия начальства.

Издали приближалась походная песня. В ее торжественной мелодии слышалась ярость народа, вставшего на смертный бой. Прибоем вскипает она в сердцах. Идет великая священная война, не утихающая и в эту ночь. И, точно эхо великого сражения, звучала мерная поступь приближающейся роты.

— Научились ходить, как же, — самодовольно начал Мельник, но тут же осекся. Ему вдруг почувдилось что-то знакомое в облике проходившей роты. На бойцах были скатки, тугие вещевые мешки. — Постой, товарищ полковник. Разреши-ка остановить. Не иначе наша маршевая... Либо наваждение какое...

— Признал-таки... Видать хозяина — по песне признал, — отозвался полковник. — А я их, видишь ли, со станции вернул. Приехал, гляжу, солдаты собрались на фронт. Потолковали, стало быть, по душам. Завтра чуть свет разберемся!

Майор молчал, ошеломленный.

Отказавшись от ужина, все же приготовленного в столовой по традиции, полковник заглянул в красноармейскую кухню, обошел шалаши, побывал на складах и, поужинав с бойцами, уже полночь покинул с сопровождавшими его командирами полк.

После его ухода майор Мельник долго стоял в тихой ночи, понимая, что в его жизни произошло нечто значительное и важное, и не знал, повезло или не повезло, радоваться или печалпться по поводу такой разительной встречи со своим бывшим подчиненным, а нынче начальником — командиром бригады Алексеем Беляевым.

## 5

В эту ночь в маршевой роте долго не спали. Бойцы, потрескивая само-садом, судили-рядили о случившемся. Все понимали: ротой недовольны, она признана не готовой к боям, и причиной всему этот незнакомый мо-ложавый полковник, новый комбриг.

Оптимисты пришли к выводу, что на фронте стало полегче, можно и «роздыхнуть», осмотреться, а может, и срок обучения в запасных полках увеличили.

А дело на станции происходило так.

Сойдя с поезда и увидев маршевиков, расположившихся в ожидании теплушек, полковник через минуту уже вошел в солдатскую толпу, и по тому, как он вошел в нее и как завязал разговор, всем стало ясно, что этот человек с фронтовыми петлицами полковника неспроста так неожиданно оказался среди них. Следом за полковником, не отходя от него ни на шаг, продвигался молоденький старший сержант с черными петличка-ми связиста, с небольшим чемоданчиком в руках, с рюкзаком за плечами и пистолетом в новенькой кобуре. Сапожки его были до блеска начищены, и всем своим видом — затянутый «в рюмку», новенький с иголочки — он как бы предупреждал окружающих, что хотя полковник лицо, несомненно, важное, но без него, то есть без помощи старшего сержанта, он бы, разу-меется, не справился. В повадке щеголеватого ординарца сквозило плохо скрываемое мальчишеское превосходство бывалого фронтовика с двумя медалями над необстрелянными тыловиками. «Что же это вы, братцы, пороха-то и не нюхали», — можно было прочесть на его лице с девичьим вздернутым носиком и румянцем во всю щеку.

— На фронте был, танки видел? — спрашивал между тем полковник у смуглого красивого юноши с нерусскими чертами лица.

— На фронте не был. Танк не видел, товарищ полковник.

— А стрелять умеешь?

— Мало-мало.

— Как же мы немца побьем, если ты плохо стреляешь?

— Побьем, побьем, — рассеянно проговорил узбек и вдруг живо улыб-нулся, сверкнув глазами: — Ташкент далеко!

Полковник вздрогнул. Смуглое лицо бойца было невозмутимым.

— Все слышали? — спросил полковник. — Я только что с самого Дона, товарищи, — продолжал он, когда утихли голоса бойцов. — Дон тоже да-леко, а бои там идут за Москву. За Волгу, за Ташкент, молодой человек, за всю страну. Не готов ты еще к этим боям.

Полковник прошел дальше. Среди бойцов он чувствовал себя прочно. Знакомые запахи обжитой казармы — ремней, скипидара, пота, махорки— овеяли его на этой маленькой станции. Экипировка солдат, подогнанность и свежесть обмундирования порадовали наметанный глаз. Это, конечно, были солдаты, слитность с которыми он всегда отчетливо ощущал. Но в этот раз он ясно почувствовал несобранность роты. Его встречали отрешенными, тусклыми взглядами. Иные сторонились полковника, силы для них непонятной и загадочной. А он приглядывался и прислушивался к людям роты, стараясь постигнуть подробности ее обучения и комплек-тования. И острее становилась досада.

— Значит, не видели мишеней? — спрашивал он. — А противотанковое ружье видели? А в полный профиль окопы рыли? Огневую точку, взлет заблокировали?

Молодой боец в небрежно накинутой на плечи шинели выдвинулся вперед.

— Разрешите вопрос, товарищ полковник, — сказал он лениво. — Мы, конечно, едем на фронт и терять нам нечего, но должна же быть справедливость...

— Какого отделения? — спросил полковник.

— Точно так, моего, — вернул сержант-отделенный, очутившийся подле. — Никакого сладу с ними. Две недели всего у нас, а бузят...

— Вынь руки из карманов, — коротко приказал полковник бойцу.

— А вы кто такой?

— Я командир бригады. Вынь руки из карманов.

— Дело не в этом. — Боец в накинутой на плечи шинели уставился на полковника нагловатыми голубыми глазами. — Вы скажите лучше, почему нас, летчиков, загнали в пехоту, почему мы должны ползать на пузе, когда мы имеем летную специальность...

— Руки! — крикнул полковник так, что все вздрогнули.

Боец не спеша вынул руки из карманов.

— Разгильдяй ты, а не летчик! — произнес полковник, с трудом сдерживая закипевший гнев, и краска начала сходиться с его лица. — Как же ты, вот такой, собрался на фронт? Первая же пуля тебя положит. Похорошки матерям готовите? — снова закричал он. — За разгильдяйство, наверно, и списали в пехоту.

— Так точно, товарищ полковник, — поспешил объяснить все тот же сержант. — Как все равно вы там сами были.

— А ты кто — командир отделения? — обратил на него внимание полковник.

— Так точно, товарищ полковник.

— Как же ты с ними воевать-то собираешься?

— Фронт, говорят, научит, товарищ полковник.

— Нет уж, голубчик. Мы на фронте верим в вас, на вас надеемся. Вот, думаем, на Урале армия формируется! А вы тут... Пойдете все обратно!

— Как то есть обратно?

— А так. Доучиваться. Не готовы к боям, и точка.

...Проходя с песней мимо штаба, бойцы разглядели в темноте множество командиров, заприметили и майора Мельника, который несколько часов назад толковал с ними о лопатке, и поняли, что и здесь действует он, тот полковник, который отправил их домой. И только один из бойцов искренне недоумевал. Он не разговаривал с полковником и вовсе не запомнил его. Все это время на станции он дремал, примостившись у дерева. Когда бойцы окружили нового комбрига, он не поднялся; любопытство было чуждо ему, привыкшему интересоваться только тем, что входило в круг его непосредственных обязанностей. Он знал, что едет на фронт бить врагов России и что будет бить их умело, по-сибирски; знал, что может погибнуть, хотя и не очень этому верил. Глаз его был меток, рука тверда. И когда он стал в строй и пошел обратно в лагерь, он искренне удивился. И он шел и пел песню вместе с другими. Рядом с ним шагала высокая общительный солдат Яков Руденко, который сказал ему, что рота для фронта, видать, не готова и нужно еще доучиваться. Но хотя сибиряк не знал, чему еще придется доучиваться, все же он связывал это возвращение с тем пожилым майором, который нынче утром на плацу беспокоился насчет стрельбы.

«Ничего, командир, — как бы успокаивая майора, улыбочиво подумал он, — не подведем. В немца-то не промажу. Зверя без промаха бью. Зачем доучиваться, не понимаю».

## 6

Однако на другой день, когда роту после завтрака вывели, как обычно, в поле, знакомый плац и штурмовая полоса, к которой бойцы успели уже привыкнуть за несколько недель, казались новыми. Это новое сквозило решительно во всем: и в том, что необычно придиричвы и крикливы были взводные, и в том, что на поле против обыкновения присутствовали комбаты и командиры полков. И Яков Руденко, приметив среди командиров давешнего полковника с его чистеньким адъютантом в щегольских сапожках, подтолкнул своего соседа.

Аренский ломающимся от волнения голосом объявил бойцам, что новый комбриг хочет увидеть маршевую роту в действии, в наступлении, и поэтому он, командир роты, просит бойцов не подкачать, наступать лихо, умело, по-уставному.

Узкоглазый боец, которого звали Федор Порошин, с надеждой глянул на своего отделенного, коренастого сержанта с настороженным, хитроватым лицом. Отделение было недружным, в него входили все бывшие мотористы. И по лицу отделенного было видно, что тот не уверен в своих бойцах.

Роте предстояло атаковать высоту с вышкой, мимо которой часто ходили в поле на занятия и обратно.

На высотке уже чернели мишени — их было множество. И то, что за ночь тут выросли мишени, и то, что майор Мельник был тоже около роты, еще и еще раз напутствуя ее, придавало нынешним занятиям необычно важное значение.

Неподалеку стоял комбриг в окружении командиров полков и комбатов. Весть о том, что маршевая рота вернулась в лагерь, облетела бригаду, и все почувствовали: наступает нешуточный экзамен.

Выйдя на исходный рубеж, рота расчленилась по взводам и по отделениям и, приняв боевой порядок, начала скрытное сближение с «противником». За ротой молча следовали командиры батальонов и полков.

Но странное дело! Присутствие всех этих людей, не имевших прямого отношения к роте и не участвовавших в занятии, не нарушало иллюзии настоящего наступления. А вскоре боевые порядки роты оторвались от поверяющих и вышли к подножию сопки, охватив ее плотным полукольцом.

Отделение, в котором находился Порошин, получило задачу вместе с другим отделением атаковать дзот «противника». Это был настоящий, глубоко зарывшийся в землю дзот. Порошин быстрыми перебежками продвигался вперед, сжимая в руках винтовку. Рядом с ним двигался молодой моторист. Он тяжело дышал и был безразличен к происходящему.

В двухстах метрах от переднего края обороны «противника» рота залегла. Порошин оглянулся. Группа командиров осталась далеко позади. Заметил он и отстававших бойцов. Артист узбекской оперы лежал, положив возле себя винтовку. Отстал и моторист. Командир роты Аренский, запыхавшийся и потный, размахивая руками, что-то кричал бойцам, но Федор ничего уже не мог слышать.

Наступил последний этап. Порошин положил винтовку на сгиб локтя левой руки и с деревянной гранатой в правой пополз вперед. Он видел только один этот дзот и ничего другого. Сначала он полз, потом, когда ползти стало трудно, встал и пробежал несколько шагов, опять упал в траву и снова пополз. Пот заливал лицо. Он устал. На мгновение лег на

спину, посмотрел на солнце, зажмурил глаза и снова открыл их, как бывало в детстве, и радужные кольца поплыли перед ним. Он вдруг представил себе точно такой же жаркий день в далекой забайкальской деревне близ Ингоды, окаймленной цепью горных отрогов.

Безмятежный, медленный лёт облаков на бледном, точно измученном жарой небе рождал такое спокойствие души, так живо напоминал родные края, что Порошин едва не позабыл о происходящем.

Зеленая, местами уже выгоревшая трава. Справа уходящие к западу песчаные дюны, зыбучие пески. Внизу, в котловине, раскинулся военный лагерь, открытый пронзительным оренбургским ветрам, омываемый ливнями, заносимый снегом. И куда ни глянь — степь и степь, раскаленная, бескрайняя... Изредка перелески, негустые заросли. И снова степь. И если бы не чувство, толкавшее вперед к вершине сопки, Порошин не вспомнил бы ни о своих соседях бойцах, ни о войне, ни о деревянной гранате, которую должен бросить в дзот. Так ли будет в бою? Сможет ли он и там думать так же, как сейчас? Там свист пуль, грохот, кровь и смерть. А для того, чтобы скорее кончилось там, надо сегодня, здесь преодолеть эту игрушечную высоту и поразить условно сопротивляющийся, условно огнестойкий дзот. И какая-то сила рывком поднимает его с земли, толкает вперед. Сжимая винтовку в левой руке, он правой бросает деревянную гранату и, словно догоняя ее, бежит вперед с громким «ура».

Вот он уже на вершине высоты, и двести его товарищей взбегают наверх, возбужденные и довольные тем, что испытание кончилось. Но тут вдруг появляется ординарец комбрига в сапожках, уже тронутых пылью, и передает приказ: «Все сначала!»

Когда рота вернулась на исходный рубеж, к потным, усталым людям подошел полковник и, внимательно всматриваясь в их лица, сказал:

— Половина из вас погибла, товарищи, половина ранена. Искусство наступления в том, чтобы неуязвимым добраться до противника. Там, на высоте, — дзот. Довольно было одного пулеметчика, чтобы перестрелять половину роты, а из вас только один догадался бросить гранату и подавить его огонь. «Ура» лихо кричите, да на одном «ура» далеко не скачешь. К рукопашной нужно прийти свежим. Для этого экономь силы, берегись пули, блокируй дзот. Попробуем еще раз.

Так началась тренировка роты.

Командиры, собранные на плацу полка, были напряжены не меньше бойцов. Получилось так, что они, опытные воспитатели резервов, точно ученики, сдавали сегодня экзамен едва известному им полковнику, которого, словно штормовой волной, выбросило на их далекие берега. А он снова и снова возвращал роту и посылал атаковать проклятую высоту.

— Начинайте сначала, — говорил он отрывисто. — Дайте людям отдохнуть и попробуйте еще раз.

Он был заметно не в духе, нервно похлопывал прутиком по голенищу сапога.

Чувствовал, что не нашел еще общего языка с командирами, так же как и с маршевой ротой, которую тренировал сейчас на поле. Бойцы устали, смотрели на него исподлобья.

Вывравшись из пекла июльских битв на юге, черный от пыли и солнца, он прибыл по вызову в Ставку и не успел опомниться, как был направлен в глубокий тыл готовить резервы. О резервах ему прожужжали уши. Словно не там, не на фронте, а в тылу проходит главная линия обороны. Ему твердили, что резервы решат исход грядущих сражений, что от надежных резервов зависит победа в любой войне и что еще Грибоедов писал о кавалерийских резервах 1812 года, «сем мудром учреждении... служившем тому, что войско наше... как феникс восставало из пепла, дабы пожать новые, неувядаемые лавры на зарейных полях».

В вагоне поезда дальнего следования он играл в преферанс с директором Чкаловского совхоза и военврачом, думал о нелепом своем назначении, проигрывал и наконец оставил игру. Только неделю назад он похоронил своего комиссара Жукова, раздавленного танком, а нынче, извольте радоваться, режется в картишки. И едет подальше в тыл — тоже «играть в резервы».

Первую ночь по приезде он провел без сна и, едва дождавшись рассвета, снова был на ногах, но делал, кажется, не то, что наметил в пути. Ни обычных совещаний, ни «представлений» — ничего этого не было. «Нельзя терять ни минуты на совещания, на рассусоливания, — думал он. — Слишком часто мы совещаемся без особой пользы. Лучше самому возглавить какую-нибудь роту и показать людям воочию, чего от них требует дело победы». Но нынче в поле, перед фронтом командиров и бойцов, он понял, что делает явно не то, что надо. Загонял «резервы», а ничего не добился. Нужна кропотливая учеба, нужно испытанным армейским способом — показом — обучить командиров, а затем младших командиров, затем бойцов.

— Нам нужны танки, товарищи командиры, — заговорил полковник. — Учебные или настоящие, все равно, только надо обучить бойцов сопротивлению, стойкости. У меня на днях товарища задавило. Вот прямо так... — Полковник сделал неопределенный жест рукой. — Он пошел с гранатами под танк. Хороший друг, настоящий коммунист. Батальонный комиссар Жуков. Богатырь. Пошел — и задавили прямо на глазах...

— Высокий? Блондин, товарищ полковник? — спросил кто-то.

— Нет, черный он был, как жук. Вот именно — Жуков.

— Тогда, значит, не тот...

— Ну что ж, давайте, Иван Кузьмич, еще раз. Стройте роту, и вперед.

Мельник растерянно оглянулся, дал сигнал Аренскому, и рота снова пошла в наступление. На этот раз полковник шел в ее боевых порядках, давая на ходу «вводные». Наступление шло веселее.

И Федор Порошин опять увидал перед собой дзот, зиявший разверстой пастью, и отчетливо представил себе, как шквал пулеметного огня пригибает бойцов к земле. Он залег, не смея поднять головы и пошевелиться, потому что совсем явственно услышал пулеметную трескотню из черной амбразуры.

— Сильный пулеметный огонь! — услышал Порошин над собой голос полковника. — Хорошо лежишь, солдат, хорошо! — И он понял, что это относится к нему. — Голову спрятал, ждешь?

— Так точно, жду, — ответил Порошин. — Без головы что за солдат?

— Молодец. А ведь надо и вперед. Только умеючи.

Полковник оглядел роту. Она уже взбегала на высоту.

— Сильный пулеметный огонь! — снова загремел его голос. — Дзот задержал продвижение! Назад! Вас нет, нет, нет... Уже нет... — Он указал на «убитых». — Умереть нетрудно. Думать надо.

Рота залегла. Дзот имел широкий сектор обстрела и держал под огнем почти все подножие сопки.

Порошин чуть приподнял голову и посмотрел на соседей. Он понял, что люди не сдвинутся с места, пока не последует приказ. Они вели себя сейчас, как в настоящем сражении, и, казалось, уже не чувствовали усталости.

— Принимайте решение! — услышал Порошин, и хотя слова полковника относились к командиру роты Аренскому, Порошин понял, что принимать решение надо и ему самому. Он увидел вспотевшее страдающее лицо Аренского и почувствовал своему ротному. Порошин стиснул деревянную гранату-чурку и, подхватив винтовку за ремень, пополз вперед по-пластунски, как его выучили в полку, не отрываясь ни одной частью

тела от земли. Метрах в ста от себя он увидел дзот и уже ничего не видел вокруг. Он был один, один на всем белом свете, и еще — зияющая черная амбразура.

Задыхаясь от усталости, он прополз еще с полсотни метров. Дзот уже близехонько, его можно достать гранатой. Приподнявшись на мгновение, он метнул гранату и тут же припал лицом к земле. Голос полковника, прозвучавший над ним, заставил его вздрогнуть, точно от взрыва.

— Граната не разорвалась. Дзот живет. Огонь продолжается! Берегись, боец! Скосит!

В голосе полковника звучала тревога, и она словно подстегнула Порошина. Полковник, рассказывает, следил за ним.

Он лежал, не смея пошевелиться, лихорадочно соображая, что же сделать, как заткнуть эту проклятую глотку амбразур. Он уже видел дощатую ее внутренность и почти каждую в отдельности травинку, что так мирно росла подле самого дзота. Если бы под руками граната — да внутрь ее, через амбразуру. Вот было бы лихо!

И вдруг Порошин, словно решив для себя что-то важное, отвернул в сторону и пополз к лежавшему неподалеку «убитому» бойцу. Без слов он выхватил из его руки гранату-чурку и так же быстро, не теряя ни мгновения, пополз вперед, но уже не навстречу амбразуре, а куда-то в сторону от нее, словно пытаюсь скрыться, затеряться в блеклой траве, уйти от тяжелого испытания. Однако вскоре его потное, словно закопченное пороховым дымом лицо увидели на верхушке дзота — он незаметно для многих приполз с тыла. Неуязвимый теперь для врага, он приподнялся над амбразурой и, сжав губы, с отчаянной силой швырнул гранату внутрь.

— Вперед, ребята! Нету огня. Вперед!

Он поднял винтовку над головой, как сигнал к атаке, и, счастливый и обессиленный, опустил ее на землю.

А полковник уже бежал к дзоту и что-то — не разобрать было что — кричал. Рота хорошо поняла «маневр» Порошина и стремительно обтекала высоту, длинными перебежками просачиваясь в расположение обороны «противника». Полковник увидел и голубоглазого дерзкого моториста и узбека. Они бежали вперед, согнувшись. И это целеустремленное движение вперед рождало в нем чувство гордости — это он, его воля организовала движение вперед, сплотила всех этих, таких разных людей. Он, наконец, показал командирам, чего можно достигнуть, если сплотить и зажечь людей, организовать занятия, как настоящий бой, придать им черты подлинного сражения.

Порошина полковник нашел на высоте, когда тот, положив возле себя винтовку и скинув сапог, деловито перематывал портянку. Порошин вскочил, но полковник махнул рукой: «Делай, мол, свое дело», и сам опустился рядом.

— Молодец, — сказал он. — Как фамилия твоя?

— Порошин, товарищ полковник. — Портянка не наматывалась, руки плохо слушались бойца.

— Лучше всех сообразил. Герой!

Федор растерянно улыбался.

— Какой же герой? Невтерпез стало. Держит и держит всю роту. Я и решил его сзади...

Полковник обнял Порошина за плечи, выражая ничем не скрываемое восхищение его находчивостью.

— В этом-то и все дело. На войне смекай, а здесь делай, как на войне, — сказал полковник. — Спасибо! Все привыкли в лоб атаковать, видишь ли, а он с тыла... Дело вроде небольшое, а сколько жизней спас, брат! Ты, стало быть, настоящий, настоящий солдат!



И Порошин, как был — в одном сапоге, — вскочил и вытянулся перед полковником, радостно улыбаясь, но не совсем еще понимая, что же такое он совершил.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

События последних дней были примечательны, и, как все суеверные люди (а среди актеров немало таковых), Аренский склонен был воспринимать происшедшее как фатальное возмездие рока. Воистину, жизнь его была странной и неустроенной. Был молодым актером-пролеткультовцем, а затем режиссером Трама — Театра рабочей молодежи, женился, вопреки воле родителей, на работнице механического завода. Отец, сам вышедший из низов, превратился в сноба, безмерно кутил и играл в карты. Сын ушел из дома к жене, заслужил легкомысленное проклятие отца, который, однако, вскоре сам покинул Россию, вспоившую и вскормившую его самого и его талант. Анатолию казалось, что за грехи отца с него будут без конца взыскивать.

Сегодняшняя изнурительная тренировка на поле дала новую пищу для лихорадочной работы мозга.

Он вспомнил молодого полковника, преобразившего его роту, растерянного и жалкого Мельника, надменного великана Папушу, который, пожалуй, один не стусевался в присутствии нового комбрига и привычно посылал вдогонку Аренскому изощренные ругательства. Все эти люди были как бы вписаны в сюжет трагического утра, им были отведены строго продуманные мизансцены, и только он, Аренский, был лишним и ощущал в себе пустоту, словно играл чужую роль. То, что сделал сегодня полковник с его ротой, поразило и, как ни странно, подавило его. В этом было нечто от режиссерского волшебства. Такого искусства ему никогда не достичь.

Он рвался на фронт. Ему казалось: в бою он покажет, что такое Анатолий Аренский, бесталанный сын незадачливого родителя. Но на фронт его почему-то не послали, а заставили обучать солдат в глубоком тылу. Он и за это дело взялся с энтузиазмом. Но что-то преследовало его и здесь. Он тотчас навлек на себя ненависть комбата Папуши. Чудилось, что и командиры и бойцы подозрительно присматриваются к нему. Сегодняшнее мучение на плацу, где новый комбриг выставил напоказ полную его никчемность, словно подводило итог. «Надо кончать! На фронт! Пусть рядовым, но только туда, где кипит битва».

На заходе солнца он спустился к реке, искупался, смыл дневную пыль, и то ли от ощущения прохлады и свежести, то ли потому, что вопрос уже был внутренне окончательно «проработан», сразу успокоился, воодушевился и, придя к себе, написал рапорт командиру батальона.

К Папуше он пошел уже после отбоя, решив, что действовать «через голову» комбата нехорошо. Лучше всего было, конечно, обратиться к самому комбригу на поле, когда, багровый от стыда и злости, собирал роту после занятий. Ему казалось, что полковник легко отпустит его на все четыре стороны — уж слишком смешным выглядел Анатолий Аренский сегодня со своими обвислыми пшеничными усиками, вспотевший и растерявшийся в суতোлке учения. Жаль, тогда не хватило смелости. А теперь в неурочный час пришлось идти к Папуше.

Папуша был пьян.

И Аренский тотчас ушел от него с чувством страха и гадливости, ни о чем не договорившись с комбатом и унося на себе тяжелый взгляд его цыганских осоловевших глаз. Впервые Аренский увидел краешек непоказной, личной жизни комбата, начальника сотен людей, — и стало горь-

ко. Самому себе показался смешным. Что стоят бесконечные раздумья, угрызения совести, волнующие размышления, когда все решает стакан водки и полнейшая, безбрежная прострация! Не такие ли, как Папуша, губят на фронте целые роты, батальоны, полки! Что он такое бормотал сегодня? «Все перемелют в дым. У них организованность, танки... Наши бегут...»

Аренский пробирался по спящему лагерю в свою палатку. Словно замаскированные от неприятельских самолетов, прятались ряды палаток среди кустарника. То там, то тут возвышались белые лагерные «грибки», окликавшие его негромким: «Стой, кто идет?»

Как скоро этот клочок Оренбургской степи стал твоей судьбой! И вот тысячами незримых нитей ты связан с ним и с людьми, живущими здесь, с делами этих людей, с их слабостями и благородством, с пошлостью и страстным исполнением долга! Невдалеке спит сопка, знаменитая и постоянная «учебная» сопка, которую атакует уже не одно пополнение маршевиков. Прохладой веет оттуда, а давно ли она была словно грозный огнедышащий вулкан! Как можно спокойно спать в эту ночь? Сосать водку, туманя мозг, отрешая себя от той тревоги, которую сообщил всем новый комбриг?

На другой день комбат вызвал к себе Аренского.

— Чи то мне снилось, чи в самом деле ты приходил ночью?

— Так точно, приходил, — отчеканил Аренский, прямо глядя в глаза комбату.

— Бреешь, не приходил.

— Приходил, товарищ капитан.

— И что же ты видел? Что слышал?

— Ничего хорошего, товарищ капитан.

Странно, куда-то исчез обычный страх перед Папушей. Наоборот, Аренскому было весело, хотя ничего веселого не было в том, что он увидел и услышал вчерашней ночью. И, кажется, сам Папуша это понял, отвел глаза и попытался отшутиться.

— Ты не был у меня вчера, Аренский, — сказал он заискивающе.

— Был, товарищ капитан.

— Нет, не был, понятно тебе?

— Да как же я мог не быть, когда я именно был?

— Ни черта ты не понимаешь. Чего ты хотел?

— Вот.

Аренский протянул рапорт.

Папуша пробежал его, глянул исподлобья на Аренского и вдруг ухмыльнулся, точно не в силах скрыть своей радости.

— Хорошо, не возражаю, — сказал он и размашисто набросал на рапорте: «Не возражаю. Поддерживаю. Папуша». — Это будет даже лучше для вас, — ободряюще сказал он Аренскому. — Вы здесь не прижились. Рота у вас не получается. Подвели весь полк, всю бригаду. Думаете, весело было вчера майору нашему, когда гоняли роту туда и обратно? Там вы научитесь...

Аренскому показалось, что Папуша несказанно рад, что вот избавляется наконец от своего неловкого командира роты, а кстати, и от случайного свидетеля.

Он уходил от Папуши с тяжелым чувством. Что делать? Батальон в руках ненадежного, опасного человека. Доложить? Но это похоже на донос, а он никогда в жизни не доносил. Уехать немедленно да так стремительно, чтобы ветер зазвенел в ушах! Теперь он как будто уже имеет на это право.

Рота построилась в поле для тактических занятий. Опять глаз нового комбрига будет наблюдать за ее боевыми порядками. Ну, что ж, спасибо

за встряску! Хоть и потная предстоит работа, но, как говорится, на фронте пригодится. Уедет Аренский на фронт или не уедет, а докажет он этому Папуше, что верит в людей, в себя, в победу. Покуда рапорт путешествует по служебной лестнице, он исполнит свой долг. Бойцы как будто встречают его весело. Да, так оно и есть.

— Рота, слушай мою команду!

## 2

Полковника Беляева вызвал к прямому проводу командующий округом генерал-лейтенант Рогов. Между ними произошел такой разговор.

Рогов. Мне доложили о том, что маршевая рота номер полъ двадцать четыре четыреста семьдесят один задержана вами и не отправлена на фронт. Разнарядка округа не выполняется. С первых же дней вы начали куролесить. Чем объясняете?

Беляев. К сожалению, в ближайшие две недели роты от нас поступать не будут. Я сам только что с фронта, товарищ генерал, и неподготовленные войска отправлять не буду. Слишком хорошо знаю им цену.

Рогов. Я ценю самостоятельность действий и оправданную инициативу. Однако вам никто не давал права отменять приказы округа. Почему вы не испросили разрешения?

Беляев. Стало быть, виноват, товарищ генерал.

Рогов. Как устроились?

Беляев. По-солдатски, товарищ генерал.

Рогов. Неверно. Положено по-офицерски. То горячитесь, то скромничаете. Я вас, кажется, помню, полковник. Не вы ли капитаном служили в Архангельске, в дивизии Золотова?

Беляев. Как же, товарищ генерал! Я еще в Москве, когда узнал, что меня — к вам, обрадовался. Я хотел было представиться — вы в командировке на инспекции были... Вы из дивизии тогда на «Выстрел» поехали или в академию. Это я все хорошо помню. Все мы, военные, кажется, друг с другом знакомы.

Рогов. Имейте в виду, не посчитаюсь ни с чем. Со старого знакомого жестче спрошу. И вам советую держаться такой же линии. Примите замечание за невыполнение.

Беляев. Есть, замечание за невыполнение.

Полковник повесил трубку, сидел с минуту, глядя куда-то поверх настольной лампы, затем перевел взгляд на часы. Они показывали восемь.

— Хорошо, — сказал он вслух. — Слушаюсь, генерал.

Он вышел из кабинета и прошелся пустынными коридорами штаба. Сидевший в приемной ординарец последовал за ним. Беляев открывал двери комнат и в сердцах захлопывал их. В штабе никого не было.

«Нормальный тыловой шок, — подумал он и усмехнулся. — Не слишком ли спокойно живут люди в тылу?»

На месте оказался только начальник политотдела, малорослый чернявый украинец Дейнека с умным лобастым лицом.

Дейнека не знал еще как следует нового командира бригады, но, как и многие, не одобрял его действий. За три дня новый комбриг не нашел времени даже для того, чтобы поговорить с начальником политотдела, и все дни проводил на учебных полях и стрельбищах, почти не интересуясь делами штаба. Впрочем, Дейнека не торопился давать окончательную оценку новому комбригу. Молодость — на вид Беляеву было не более тридцати пяти — многое объясняла и даже оправдывала.

— Что подельывает начполитотдела? — обратился к нему полковник.

— Батальонный комиссар Дейнека, товарищ полковник! — представился начальник политотдела, вставая. — Готовлюсь к докладу. По философии. Завтра у нас семинар партторгов.

— Философствуете, — сказал командир бригады, с неприязнью глядя на Дейнеку. Тот покраснел. — А я прошу вас помочь мне мобилизовать коммунистов... — Он повысил голос. — Мобилизовать, чтобы они наконец прониклись чувством ответственности, чтобы помогли мне воспитать бойцов. Немедленно, стало быть... Понимаете? А вы тут... философствуете...

Начальник политотдела был сорокалетний человек, призванный из запаса, до войны он работал секретарем райкома партии.

— Вы не знаете наших коммунистов, товарищ полковник, а беретесь судить о партийной организации в целом. Несolidно...

— Не учите меня солидности, батальонный комиссар. А о дисциплине в полках могу судить по вашему ответу.

— На грубость отвечаю грубостью, — спокойно ответил Дейнека. — Вы без году неделя в бригаде, а судите о нашей партийной организации, коммунистах. У нас есть прекрасные люди, преданные делу. Но как же вы могли их узнать... если даже с начальником политотдела вот... познакомились только что. Да еще знакомство-то, бог с ним... — Дейнека вытащил плексиглазый портсигар, нервю задымил. — Конечно, новая метла чисто метет, это нам все известно. Но собака зарыта не только там, на учебном плацу, позволяю вам заметить. Сгоряча вы много дров наслмаете. Вот, например, задержали отправку роты...

— Знаете что!.. — вспыхнул Беляев. — Я — командир бригады! Впрочем, может быть, их здесь два...

— Нет, командир бригады здесь один, — не сдержав улыбки, сказал Дейнека. — А я ее комиссар.

«Какой ты комиссар? — с горечью подумал Беляев. Больше, чем дерзкие слова, его поразил спокойный тон Дейнеки. — Нет, это не Жуков. Это не тот настоящий парень, соратник, который может с гранатой под танк пойти, смерти не страшась. Дерзить командиру бригады он может. Это многие из них, политработников, любят. Приехал откуда-нибудь из глубинки, пороха не нюхал, а уже учит, уже Фурманов...»

Хотелось махнуть рукой и уйти, но сдержал себя и уже спокойно, хотя и не без иронии, спросил:

— На фронте-то были, товарищ батальонный комиссар?

— Месяц тому назад выписался из госпиталя, товарищ полковник. А лежал я шесть месяцев с переломом позвоночника. Под Ельней...

Полковник помолчал, искоса поглядывая на Дейнеку.

— Ты не обижайся на меня, — сказал он вдруг с грубоватым дружеским. — Срываюсь порой, твоя правда. Смолоду такое в характере, от отца, наверно, идет. — Он сел на стул, взял со стола книжку и повертел ее, перелистывая страницы. — Батя мой в Киргизии работал на конном заводе, объезжал диких коней. А я еще мальчишкой увлекался, присматривался к его занятиям. Вскочит, бывало, на необъезженного коня и кулачищем по голове давай глушить. Конь под ним как сумасшедший ходит, а он его, знай, глушит. Конь присмирет, а тогда уж полдела сделано...

— Не в кавалерии мы, а в пехоте, — вставил Дейнека, блеснув глазами.

— Сдался давно, — вздохнул Беляев. — Не казни меня, комиссар. Я потому растревожился, что встретился здесь с одним узбеком...

— Артист, что ли?

— Знаете?

— Как же, — хмыкнул Дейнека. — А мотористов из Куйбышева не встречали?

— Так вы, оказывается, полностью в курсе? Это хорошо... — И вдруг опять нахмурился, испытующе глянув на Дейнеку. — Только как же вы их отправляете? Ведь вовсе не пропагандированные бойцы. Негото-

вые, неиспеченные. Такие вещи там, знаете, даром не проходят. Фронт страдает.

— Да, это оправдать ничем нельзя, — согласился Дейнека. — Щербак промахнулся, хоть комиссар он толковый. Тоже горячий! — Он едва заметно улыбнулся, но Беляев, видимо, не расслышал его слов. — Как устроились? Давно собирался спросить, да вот никак не мог познакомиться.

— Спасибо. Чай пью вовремя, а квартиру мне зря такую приготовили. Я человек холостой.

— Квартира эта генерала, бывшего командира бригады.

— Слышал о нем. Большая у него семья?

— Двое.

— Жена?

— Молодая жена.

— Да... — Беляев помолчал, барабанив пальцами по столу, и неторопливо заметил: — Стало быть, вы всех знаете — и артистов и мотористов! Это хорошо, очень хорошо, скажу я вам. — И вдруг без всякой видимой связи с предыдущим добавил: — Я только что с командующим толковал. Так, в общем, ничего, подбодрил. Здорово, наверно, жмет на них Главпрофформ. Бой-то жестокие, и, надо полагать, убыль велика. Ну что же, батальонный комиссар, надумал я тревогу играть. Ты не сердись, ежели попрошу тебя отложить эту книжицу... — Он положил на стол книгу. — Есть у меня дружок в двести семьдесят четвертом... — Он выжидающе посмотрел в глаза Дейнеке.

Тот спокойно выдержал взгляд и сказал:

— Об этом нам все известно.

— Известно?

— Да уж так, — засмеялся Дейнека. — Только по совести скажу: подводит дружок ваш. Не справляется. Безошибочно оседлали вы именно этот полк, мы-то его давно тянем. Старик обижается, ну, что ж... — Он помолчал. — А комиссар там не плох, совсем не плох.

— Только вот роту прошляпил...

— Бывает.

— Вы положительно влюблены во всех политработников, батальонный комиссар. Этак выходит, что виноваты только строевики, а ваш брат всегда на высоте. — Слова полковника опять звучали раздраженно. — Хотелось бы поглядеть на вашего хваленого комиссара.

— И на старуху бывает проруха...

Полковник шумно встал.

— Ладно, посмотрим. Объявляю тревогу штабу бригады. Прошу со мной в двести семьдесят четвертый. Переход количества в качество проверять — тоже закон диалектики. А философию ночью проштудируете. Он вышел из кабинета так же стремительно, как и вошел.

Дейнека покачал головой, улыбнулся и, спрятав книгу и тетради в ящик стола, вышел вслед за ним.

### 3

В полночь горнист сыграл тревогу. Это был необычный для тревоги час — чаще всего ее устраивали перед подъемом, и поэтому капитан Борский, вскочив с постели и с трудом разыскав впотьмах спички, одевался, чертыхаясь и проклиная нового комбрига.

Верка сладко потянулась и сказала:

— Мне, наверно, тоже надо в санчасть?

— А черт его знает, надо или не надо! — пыхтя, ответил Борский. Он с трудом натягивал отсыревшие сапоги: накануне опять рыбачил.

— Я пойду, — сказала Верка. — Может, кому-нибудь сегодня потребуются валерианка.

Она опустила с постели босые ноги.

— Иди сюда!

Борский чертыхнулся, разыскивая что-то в темноте.

— Поди, поди, родной...

— Некогда. — Но он все-таки подошел.

— Возьми себя в руки, Принц. Слышишь?

Борский выбежал из комнаты.

Верка отлично все понимала. Она успокаивала его.

Вообще он ей благодарен. Она, как свежий ветерок, залетает в убогую его холостяцкую комнату, пройдет влажной тряпкой по скромной казенной мебели, вымоет пол. Он любит смотреть, как она моет пол. Подокнет юбку, обнажит икры: сильные, красивые ноги у нее с розовыми пухлыми девичьими пятками. Глаза татарские, лицо широкое, привлекательное, улыбочное, с ямочками. Она ни на что не претендует, ни на что, вероятно, не рассчитывает. Она любит. Вообще ему нельзя пожаловаться на одиночество в эту войну. Его многие любили. Любили, тосковали, плакали. Он часто удивлялся, почему женщины плачут при расставании. Правда, у него тоже щемило сердце, жалко было уходить, оставлять обжитые уголки, но жизнь сулила новые встречи. Медсестра Верка пришла к нему через неделю после его приезда. Он был болен, она пришла и осталась. Когда она приходила, он забывал о многих неприятностях, какие случались в полку. Она стряпала домашний обед, варила уху и жарила рыбу, которую он глушил на реке. А потом вдруг случился скандал: на партийном собрании штаба выступил начальник боепитания воентехник Зайдер, у которого Борский доставал взрывчатку.

Кое-кто улыбался, кое-кто промолчал. Шербак критиковал резко: «Разве пристойно в такие дни заниматься ребячеством на реке, тратить взрывчатку?» Верка снова приласкала, успокоила своего Принца. Он говорил: «Я этому толстогубому все равно не прощу». У Зайдера были толстые некрасивые губы и мясистый нос.

На речку Борский все-таки хаживал, тол где-то доставал Папуша, с которым Борский свел короткую дружбу. Однажды комбат пригласил к себе, поставил бутылку, тарань, консервы. Борский охотно пил с ним, слушал рассеянно, как в дремоте, его навязчивую болтовню: «Любой ценой выжить. Такая мясорубка... А ты думаешь, победим?»

Разобраться в Папуше помогла ему тоже Верка: «Разве ты не видишь, что он алкоголик? Не дружи с ним. Он до добра не доведет. И взрывчатку тебе достает не зря. Подхалимствует».

— Откуда ты все это знаешь? — спросил удивленный Борский.

— Знаю, дорогой. Я все знаю.

Он присмотрелся к Папуше. Пожалуй, права Верка.

Она знала все. Он не мог скрыть от нее ни военных, ни личных тайн. Она нужна была ему здесь, в этом пустынном лагере, в его неустроенной жизни.

Она умела тактично вмешиваться в его дела, и он почти не замечал этого вмешательства. Дома, в постели, она называла его «принц», «мой принц». Борский смеялся: он знал, что так окрестили его в полку. И не мог удержаться, чтобы не рассказать еще и еще о древних династиях сельджукидов, хулагидов и тимуридов, словно сам лично похлопал по плечу каждого из них. У него в запасе были десятки историй, случавшихся именно с ним и только с ним. Он был красив. Худошавое смуглое лицо, нос греческий без переносицы, у губ волевые складочки, лоб открытый, чистый, с прядкой завивающихся волос.

...Труба еще продолжала выводить будоражащий мотив пехотной тревоги, когда Борский добрался до расположения батальонов...

Там уже шла ночная возня. Полк собирался плохо. Особенно задерживалась служба тыла. Полковник потребовал вывезти по тревоге трехсуточный запас продовольствия, но лошадей не хватало, а машины оказались на ремонте. Невысокий, полнеющий помощник командира полка по хозяйственной части капитан Маслов вынырнул из темноты и хриловатым, простуженным голосом попросил разрешения не вывозить продовольствия. Красные кроличьи глазки его беспомощно помаргивали.

— Как так не вывозить? — спросил полковник, осветив псмпохоза фонариком.

— Транспорта нет. Никогда такой нагрузки не было.

— Вывезти все!

— Но как?

— Как угодно. На себе.

Это был перехлест, но волна гнева уже подкатывала к сердцу снова. И тут вдруг у самого уха послышалась отборная ругань, и вскоре смущенный Борский навтыяжку стоял перед Беляевым.

— Кто такой? — резко спросил полковник. — Что за матерщинник? Представьтесь.

Борский назвал себя.

— А, знаменитая личность! Все шумите?

— Так точно, товарищ полковник.

— Почему опаздываете по тревоге?

— Никак нет, товарищ полковник.

— Это вы подписали списки злополучной роты?

— Так точно.

— Фронтвик?

— Так точно.

— С трудом верится. Понимаете, что совершили преступление?

— Никак нет.

— «Так точно... Никак нет...», — вспылил полковник. — Вы что, попугай или командир?

— Командир, товарищ полковник.

— Будьте любезны разговаривать, как подобает офицеру.

— В системе запасных бригад, позволю доложить, комбаты отвечают...

— И этот учит меня, что и как в системе запасных бригад! Да неужели же вы все здесь сговорились и считаете, что, кроме вас, никто ничего не смыслит в системе запасных бригад?

— Никак нет, товарищ полковник.

— Спасибо и на этом. Вы, говорят, еще и рыболов... по совместительству?

— Так точно.

— Глушите?

— Так точно.

— Запрещаю! Удочкой — в свободное время.

— Есть, удочкой.

— Если уж одолевает страсть рыболова, организуйте из бойцов рыболовную бригаду, разнообразьте красноармейское меню и... получите пять суток на первый случай.

Мельник подумал: «Вот ведь как быстро вник он в жизнь полка, распознал этого Принца, так же как оценил и маршевую роту, которую вернул со станции в лагерь. И насчет рыбной ловли и насчет толовых шашечек успел узнать...»

А Борский подумал: «Проклятый Зайдер! Вожжа ему, что ли, под хвост попала. Уже накапал про взрывчатку!»

— За что пять суток, товарищ полковник? — наивно спросил он.

— За легкомыслие, товарищ капитан.

Кто-то хихикнул. Улыбнулся и полковник, которому, в общем, понравился молодой, строптивый и, пожалуй-таки, легкомысленный капитан.

— И перестаньте вы ругаться,— сказал он.— Красивы мы будем, если все начнем сквернословить, как дореволюционные извозчики.

— Старая фронтовая привычка...

— Неправда. На фронте много хороших, честных слов.

Тревога была в разгаре. Беляев старался постигнуть ночную жизнь полка во всех подробностях и поэтому появлялся с неотступным Сашей Агафоновым и командиром полка в самых неожиданных местах. Один за другим прибывали штабисты, комбаты, комиссары. Полковник приказал провести списочную проверку командного состава. Многие из командиров отсутствовали.

— Где же люди? — спросил полковник. — Где комбат-два? Где старшины? Пьянствуют или флиртуют в райцентре?

Борский стоял навытяжку, и его лицо в полутьме выражало растерянность. Ему казалось, что полковник продолжает обвинять его, проинкнув каким-то образом в тайну связи с Веркой. Отвечай, брат, за недозволенные радости, за счастливые минуты! А может статья, полковник проведаль и о дружбе его с Папушей, которого не оказалось на посту в час тревоги. Впрочем, почему он должен отвечать за этого пьяницу? Почему весь удар по нему, начальнику штаба? Ну, конечно, на него можно валить все шишки. Он всегда первый попадает в любые передряги. Вероятно, из-за характера своего страдает, открытого и прямого.

Но майор Мельник отлично знал, что слова Беляева косвенным образом адресованы ему, что полковник только деликатничает, выговаривая за непорядки начальнику штаба.

«Что ж это он, жалеет меня, что ли? Или при всех не хочет срамить?»

В темноте частой дробью протопала рота, тяжело дыша и откашливаясь.

Поверка полка не предвещала ничего хорошего. Полковник был явно не в духе, ничего не пропускал и, как на грех, за любой случайностью безошибочно угадывал нераспорядительность и отсутствие должного воинского порядка.

Выйдя на плац, где строились в темноте подразделения, полковник сразу нашел артиллеристов. Он относился к артиллерии с той особой симпатией пехотинца, какая бывает лишь у тех, кто хоть раз испытал спасительное вмешательство пушек и гаубиц.

Командир батареи лейтенант Воронков, успевший уже побывать на двух фронтах и рвавшийся на третий, заметив приближающегося комбрига, выступил вперед и доложил о готовности батареи.

— Сколько боекомплектов взяли? — спросил Беляев.

— Боеприпасов не брали, товарищ полковник. Вообще не берем боеприпасов,— бойко и даже весело ответил Воронков.

— Это кто же вам приказал снарядов не брать?

— Такого приказа не было. Ну, и обратно не было, чтобы брать...

— К чему же вы берете орудия?

— Матчасть, товарищ полковник.

— А матобеспечение? Не надеетесь ли вы на искусство Борского?

Воронков, не понявший намека на виртуозную брань начальника штаба, доверительным тоном сказал, понизив голос:

— Стрелять-то не придется... Тревога учебная.

— Тревога-то учебная, да время боевое, военное. Нужно, стало быть, боеприпасы брать полностью.



— Есть, брать полностью! — Воронков вытянулся. — Только... товарищ полковник, разрешите отбыть на фронт к своим. Осталось все мое хозяйство под Клетской, а меня сюда...

Полковник внимательно посмотрел на Воронкова. Он разглядел молодое смуглое лицо с задорным усом, плутоватые глаза, лихо, набекрень надетую пилотку.

— На фронт, что ли, хотите? — переспросил Беляев.

— Так что сил нет, верите? Тут я не артиллерист, а коновод, ей-богу.

— Вижу, что коновод. Поэтому и выезжаете без снарядов по тревоге. Фамилия?

— Лейтенант Воронков, товарищ полковник! — И вслед уходящему комбригу добавил сокрушенно: — Ну и влип! Знал же, знал досконально всю эту грамоту, а влип, как дошкольник!

— Разве ж можно прямой наводкой, товарищ лейтенант? — сочувственно смеялись артиллеристы. — Это дело надо бы с закрытых позиций щупать.

А полковник стоял уже возле оркестра, поблескивавшего в полутьме серебром труб.

— Прибыли из города Фрунзе в распоряжение шестнадцатой гвардейской дивизии, — докладывал капельмейстер. — Опоздали на три дня, дивизия уехала на фронт. Нас забрали сюда с пересыльного. Хотим на фронт.

— Э, да у вас, вижу, все на фронт собрались. Где же комиссар? Почему комиссар прячется?

Щербак вынырнул из темноты.

— Никак нет, товарищ полковник, не прячусь.

— Стыдно, комиссар. Не любите, оказывается, резервов. Не понимаете, зачем вы здесь. Одно у всех на уме: как бы выскочить на передовую, там, мол, больше пользы принесу. Плохо воспитываешь, Щербак, а начальотодела за тебя еще заступается. Сам тоже небось на фронт норовишь?

— Так точно, товарищ полковник, есть такой грех.

Суета и выкрики не утихали. Голоса командиров терялись в общей сумятице.

Полковник не спеша обходил ряды. Роту Аренского он опознал в темноте безошибочно. Разглядел он и куйбышевских мотористов, и артиста узбекской оперы, и самого Аренского со светлыми опущенными усиками. Рота стояла недвижимая и, как показалось полковнику, готовая выполнить любое приказание. Эти люди поняли его в часы нелегких занятий и теперь готовы поддержать все его усилия.

— Здравствуйте, товарищи бойцы!

— Здрась! — раздался дружный ответ.

— Рота, смирно! — запоздало скомандовал Аренский.

— Вольно, вольно, — поспешно сказал комбриг и махнул рукой. — Как дела, друзья? Не обижаются?

Рота молчала.

— Не обижаются за то, что не доверил вам фронтового оружия, за то, что помучил на плацу?

— Что вы, товарищ полковник!.. Нешто не понимаем? — раздался голос из темноты, и сразу вся рота загалдела наперебой.

Опять знакомое и доброе ощущение слитности с бойцами охватило Беляева. Он почувствовал в этой роте сознание собственной силы и веры в своего командира — качества, отличающие крепко сколоченную воинскую часть.

Подошел Аренский. Он решил именно сейчас, минуя все и всяческие инстанции, обратиться к полковнику со своей просьбой. К тому же полковник, видимо, в хорошем настроении. Он уважит, поймет.

— И вы на фронт? — нахмурился Беляев. — Что это случилось здесь? Не тот мотив исполняете, Аренский.

«Фамилию запомнил, — отметил про себя торопливо старший лейтенант. — Это хорошо. Композитора Аренского знает. Это еще лучше».

— Я виноват, товарищ полковник, перед народом, перед отечеством...

— И перед богом еще, видимо, — насмешливо добавил комбриг.

— В бога не верую! — истово сказал Аренский и поймал себя на произвольном желании побожиться. Стало весело, и он почувствовал себя тверже. — Я виноват в том, что рота ушла неподготовленной. Виноват в том, что учил ее плохо, неумело. Мне не стыдно говорить об этом перед всеми, я искуплю свою вину на поле боя, если надо — смертью. Прошуся хоть рядовым в составе этой маршевой роты!

— Разжаловать-то вас не за что, — словно с сожалением заметил полковник.

— Я виноват во всем...

— Неправда! — резко сказал полковник, которому, видимо, надоело все это. — Во всем виноваты не вы, а ваш бывший комбат Папуша, пьяница и пораженец.

— Как — бывший? — опешил Аренский.

— Так, — коротко отрезал полковник. — И не разыгрывайте вы интеллигентского хлюпика из сочинений Леонида Андреева. Время у нас суровое, серьезное. А вы... — Он помолчал и так и не закончил фразу.

Значит, Папуша — бывший. И то, что его нет сегодня на сборе по тревоге, дело не случайное. Значит, сняли. Но откуда командир бригады узнал о Папуше? Наверно, Шербак. Он знает все и обо всех. Ничто не ускользает от его глаза. Значит, какие-то силы не дремлют в армии, силы, способные распознать и смело отсечь все гнилое, разлагающее. «Бывший комбат...» Пока его, Аренского, мучили сомнения, докладывать или не докладывать, эти силы, оказывается, уже сработали беспощадно, и Папуши не стало. Аренский показался себе в этот миг таким жалким, а весь его пафос, с которым он только что обращался к полковнику, театрально-искусственным и наивным. Он готов был провалиться сквозь землю...

Комбриг смотрел на него то ли сочувственно, то ли насмешливо и неожиданно спросил:

— Вы актер и режиссер? Так?

— Так точно, товарищ полковник.

— Не Романа ли Аренского, народного артиста, сын? Невозвращенца?

— Откуда вы знаете, товарищ полковник? — спросил Аренский.

— Случайно.

— Теперь-то вы понимаете, как виноват. — Ему хотелось просить, возмущаться, доказывать, убеждать. Неужели они не понимают, что его место там, на фронте, где можно и за себя и за отца искупить все, все...

— Не много ли грехов берете на свою душу, старший лейтенант? — перебил вдруг Беляев и прошел дальше, нисколько, казалось, не тронутый происшедшим разговором.

Неподалеку деловито хлопотал начальник штаба бригады, высокий и тучный полковник Чернявский, обладавший хриплым, лающим голосом. Он настойчиво изгонял гражданские повадки призванных из запаса и еще не успевших проникнуться подлинным армейским духом. И хотя за его плечами было без малого тридцать лет службы и на войне он был ранен в рукопашном бою, многие не любили Чернявского, считая его службистом. Не понравился он с первого взгляда и Беляеву, прежде всего за отсутствие должной выправки — он ходил, неуклюже покачиваясь, выбрасывая по-гусиному ноги вперед. Однако уже на другой

день, когда Чернявский явился для доклада и заговорил с ним точным штабным языком, Беляев по-иному оценил своего начштаба.

В тот же день Чернявский окончательно завоевал расположение комбрига, когда на учебном плацу, взяв винтовку у бойца, стал показывать перед строем ружейные приемы. Мешковатый полковник преобразился. Винтовка в его могучих руках летала, как тростинка, со свистом вспарывающая воздух, движения, заученные, видимо, много лет назад, были четки и полны тяжеловесной грации. «На плечо!», «К ноге!», «Штыком коли — прикладом бей!», «От кавалерии закройсь!» — команды следовали одна за другой.

Чернявский был до того увлечен, что не заметил подошедшего комбрига. Когда же увидел его, смутился и, как бы оправдываясь, сказал:

— Вспомнил старину, товарищ комбриг. Не мешает иногда нам старину вспоминать.

— Да вы, как юноша, полковник, действуете! — воскликнул Беляев. — Давно не видел такого искусства. А ведь не штабное, а строевое это дело.

— Любить винтовку должны все, — сказал старый полковник.

Нынче в тягостной ночной неразберихе раздраженный голос Чернявского показался Беляеву зовом боевой трубы; надежный помощник не дремлет, он на посту.

Чернявский подошел к комбригу, оставив роту, которую поверял с присущей ему злой придирчивостью.

— Не знаю, полк это или цыганский табор? — проговорил он в сердцах. — Солдаты не знают командиров, командиры — солдат. Все верят друг другу на честное слово, требовательности никакой.

— Борский, слышишь? — спросил комбриг.

— Я командую полком, товарищ полковник, — с нескрываемой горечью сказал Мельник, видимо не выдержав пытки, устроенной ему Беляевым.

— Не замечаю я этого, Иван Кузьмич, — вполголоса произнес полковник. — Не замечаю, извини меня.

Кровь бросилась Мельнику в лицо. Наконец-то прорвало дружка! Вот оно как оборачивается дело... По старому знакомству, выходит, его одного для остротки выбрал, на него одного навалился! Но, пряча обиду, как умеет это делать истый военный, он, точно и тени не промелькнуло между ними, зычно доложил:

— Ожидаю боевой задачи, товарищ полковник!

На что комбриг лаконично и, как показалось майору, безнадежно ответил:

— Какая уж тут задача, Иван Кузьмич? Отбой!

Горнист сыграл «отбой» и вслед за тем «сбор командиров». Батальоны зашагали под оркестр, а комбаты и комиссары, ротные и взводные поспешили на зов трубы.

Разбор был жестоким, но майор слушал комбрига с чувством глубокой отрешенности. Миновали нахлынувшие было обида и горечь. Пришло холодное спокойствие и любопытство. Что произошло за эти годы с лейтенантом? А именно вчерашним лейтенантом, подчиненным, еще стоял перед глазами сегодняшний его судья. Мельник смотрел на него, и все более далеким казался ему этот в недавнем прошлом близкий человек. Что произошло с ним за эти годы?

А полковник между тем говорил:

— От самого Перемышля с боями иду... Белоруссия вся... Украина... Трижды дивизия полком становилась — штыков по триста оставалось, это еще хорошо. Пополнялись, стало быть, на ходу — и снова в бой. Опять откатывались... Иной раз такая чертовщина в голову лезла... Помню, на

реке Рось, под местечком Стеблево, прижали нас к реке немецкие танки, задушили дивизию, а дивизия была — цвет, красота, сейчас плакать хочется. Я, начальник штаба, вплавь ушел... И когда оглядел я черное наше поле, увидел и гибель друзей и смерть начподива, подумал о пистолете, о короткой минуте, снимающей все — и победу и поражение. Это, конечно, минутная слабость, товарищи. Но именно тогда я вспомнил о вас, о глубоких тылах, об Урале и Сибири, где наливаются силой, развертываются огромные армии победы по всем, знаете, правилам военного искусства. «Э, нет, парень, шалишь, — подумал, — еще повоюем. Рановато в тираж собрался». И все на фронте — да фронтовики это знают — смотрят на вас, дышат на вас, надеются. Спрашивают свежих маршевиков: «А много еще вас? Как там, в тылу, мужиков хватает? Есть кому винтовку держать? Хорошо ли обучают?» Знали: наступит час — все придет в движение, и тыл наш такие резервы двинет, что врагу капут. И воевать нам легче было от сознания всего этого. И впрямь, проехал я по Уралу, увидел своими глазами. Велика наша армия, необорима сила. А умножить ее, стало быть, следует повышением качества нашего труда, железной дисциплиной и порядком. Я прямо скажу: недоволен я вашей работой. Внешне, казалось бы, все в порядке. И «ура» кричат и в атаку бегут. А к боям не готовы. Нам не хватает культуры воинского труда, — уже спокойнее говорил полковник. — Культуры, знаний, глубины. Некоторые из нас привыкли внешней, показной стороной ублажать начальство. Дворик чистенький, паутинки нет, тут флажочек, там картинка — значит, все в порядке. Флажочки есть, а знамен, знамен-то и нет! А знамена в душе каждого суть честь и достоинство офицера, суровая ответственность за содержание работы и самодисциплина.

Полковник оглядел присутствующих и помолчал, словно обдумывая, какому же оценку дать трудам этого коллектива.

— Большая и дружная здесь собралась семья! — сказал он. — Одно-ко помните: без суровой требовательности нет и не бывает воинской дружбы. Страшный вред солдатскому делу — семейственность, беспринципность. Я тебя прощу, ты — меня, круговая порука вместо чувства локтя. Суворов говорил: служба и дружба — две параллельные линии, никогда не сходятся. Что касается меня, то я со старого знакомого вдвое жестче спрошу. И, чур, не обижаться.

— В ваш огород камешки, — наклонился к майору Борский. — Не забудьте после разбора пригласить в столовую. Я распорядился — все приготовлено.

— Идите к черту, — не поворачивая головы, пробормотал майор.

Но почему, в самом деле, Беляев избрал его полк своей мишенью? Разве так уж все плохо: полк всех полков хуже, маршевые хуже, стреляют хуже, ходят хуже, поют хуже... Почему хуже? Почему?

...В час встречи, когда вспомняли запретную бутылочку, почудилось Мельнику теплое, обнадеживающее дыхание дружбы. «Алешка не подведет, — думалось тогда, — уважит старика, не станет пачкаться в недоделках, неполадках, каких все равно не избежать в такие дни... Вытянем... Поладим...» Ведь в глухой уральской степи встретились однополчане. Память о прошлых днях осветила встречу, но только на миг, чтобы, словно искра на ветру, тут же погаснуть.

А ведь святое дело — солдатская дружба! Необъятна великая страна, и по всем дальним и ближним углам ее разбросаны полковые братства. И когда повстречаются однополчане, особенно сейчас, на больших и смертных дорогах войны, как родные братья, обнимутся и, глядишь, пойдут перебирать полковников и генералов, да что генералов — маршалов вспомнят, тех, под чьим началом приходилось выслуживать первые

треугольнички да квадратики в петлицу. И чудесной молодостью пахнет эта войсковая дружба!

Только ничего этого не будет. Показалось майору... И стойкая горечь вновь поселяется в сердце. Мало того, что поотстал в чинах и наградах, здесь, в тылу, выходит, не справился. И с чем? С запасным полком.

Постепенно, то успокаиваясь, то снова отдаваясь чувству обиды, размышляя то лихорадочно, то холодно, Мельник подошел к пониманию закономерности всего, что происходило в эти часы здесь.

Завтра, сейчас, немедленно должен он исчезнуть. Уйти, искать исцеления, начать новую жизнь. Остаться дольше невыносимо.

На фронте он освежит душу, наберется сил и веры в себя.

Мало-помалу лицо майора проясняется. Уходят обида и гнев. Он чувствует себя в силах улыбнуться ответной улыбкой Беляеву. Что же на него обижаться? Ведь и тогда, в комсомольские его годы, проглядывали в Беляеве незаурядные способности военного, стойкость, выносливость, умение и повиноваться и командовать. И разве в его теперешней командирской хватке нет частицы того, что он сам, Мельник, когда-то в нем воспитал? Мог ли иначе поступить лучший из забайкальских учеников майора, а тогда капитана Мельника?

Разбор кончается, и полковник подходит к майору. Тот поднимается ему навстречу. Беляев, наверное, впервые за все эти дни ощущает неловкость и не находит слов. Но Мельник сам спешит ему на выручку.

— Хватит, комбриг, наработался. Намял ты мне бока. Ну, видимо, поделом. Решил проситься в действующую.

Жесткие глаза Беляева смотрят пристально и, как кажется майору, одобрительно.

— Об этом потолкуем. Возражать, вероятно, не стану. А теперь... Теперь, стало быть, можно и в гости.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Который день неустанно трудится рота на учебном плацу. Люди похудели и загорели, но, странное дело, несмотря на тяжелый труд, в роте не чувствовалось уныния. Наоборот, бойцы приободрились и даже повеселели. Это хорошо замечал и Порошин, облеченный теперь большой властью. Вот если бы дед видел его в новом звании! Во-первых, сержант! Во-вторых, командир отделения. Теперь на него равняется чуть ли не весь полк. Живописец Савчук написал его портрет и повесил возле столовой, среди портретов отличников. Порошину показалось, что это даже уж слишком, о чем он не преминул заметить художнику, позирование которому измучило его больше, чем тактические занятия.

— Есть команда,— коротко ответил Савчук, тщательно выписывая ноздрю сержанта.

— Может, от самого главнокомандующего?— усмехнулся Порошин.

— Не от главнокомандующего, а от комиссара Щербака.

— К чему бы это?

— Наглядная агитация. Сиди давай.

Порошин понял, что раз его рисуют, значит так надо, и сидел, не шевелясь, чтобы художнику было сподручнее.

Вскоре он привык к своему портрету, который получился даже лучше оригинала. Так же быстро свыкся он и с новым своим положением и понемногу начал показывать характер. Право, он сам не ожидал, что так сумеет командовать. Однако и жить стало много труднее. Раньше Порошин отвечал только за одного себя, а теперь — за все отделение.

Раньше сам слушал команду и старательно ее выполнял, а теперь эти команды исходят от него, и десяток бойцов ему подчиняется.

Это было любопытное превращение. Порошину пришлось лицом к лицу столкнуться с мотористами Куйбышевского аэродрома и с оперным артистом из Ташкента.

Голубоглазый моторист, похудевший и подтянувшийся за эти дни, оказался ершистым. В первый же день, когда Порошин скомандовал отделению: «Становись!», моторист пошел в строй, нарочито переваливаясь, растягивая шаги.

— Отставить! — Порошин сузил и без того узкие глаза, они сделались ледяными. — Товарищ боец! Ко мне! Почему не выполняете?

— Выслужился... Не понукай, видали таких...

— Доложите командиру взвода, что нарушили дисциплину, вступили в пререкания. Отставить! Кру-угом! Повторите приказание. Громче! Выполнийте. Отставить! Как поворачиваетесь? Как старая баба на базаре. Слушай мою команду. Кру-угом! К командиру взвода бегом марш! Отставить! Была команда бегом!

На другой день Порошин подозвал моториста и спросил:

— Среднее образование?

— Среднее. А что?

— Почему же такой несознательный? И в воздухе, сдается, летал. А летчики — народ передовой.

— Моторист я, а не летчик.

— Все одно — авиация. И еще в авиацию вернешься, попомни мое слово. Если, конечно, дисциплинка...

— Не, теперь не вернусь. Из пехоты вообще редко кто возвращается.

— Думай, что говоришь!

Порошин долго возился с мотористом, однажды назначил даже его в наряд вне очереди, пока наконец не почувствовал, что тот понемногу поддается.

— Я-то верил в тебя, — внушал он мотористу. — Думал, просто ершит-ся парень: «Мол, вчерашний солдат, стану я ему подчиняться». А ты пойми, чудак, тебя назначат — я буду слушаться. Потому дисциплина.

Слегка замаявшись, моторист спросил:

— А что, сержант, и вправду думаешь, вернусь в авиацию?

— А ты думаешь, шучу? Еще как полетаешь!

— Ладно. Не буду барахлить. Слово даю.

— Ну, то-то!

Порошин очень серьезно относился к своему назначению. Много нового в людях открылось ему. Каждый любопытен по-своему. И люди стали понимать, что с новым отделенным не шути. Впрочем, он по молодости и сам охоч до шуток, но в свободное время. В строю, на занятиях — ша-лишь. Все выдай, покажи образец, тогда заслужишь хорошее слово.

Порошин не торопился использовать свою власть. Он не злой, не жестокий. Но забот привалило, среди бойцов разболтанных много, приходится больше строгостью брать. Кто винтовку не почистил, кто в пререкание вступает, на язык неводержан, думает, что «на гражданке», у кого котелок грязный, кто ленится — все отделенному забота, за все он в ответе. Тут не зевай да требуй. Порошин запомнил чьи-то слова: «Отделенный должен, как комар, жужжать над ухом бойца. Боец запомнил было, а ты снова тут как тут». Порошин, правда, не жужжал, как комар, но требовал строго. Поэтому, вероятно, и отделение его стало считаться лучшим во взводе.

— Станови-ись!

И ребята стремглав летят, становятся в шеренгу, ожидая дальнейших команд. А в отделении есть и постарше еще, чем Порошин, отцы семейств.

К ним у него особое отношение — уважительное. Хоть никому спуску не дает. Потому, по себе знает, стоит в малейшем попустить, тут же сомнут тебя, оседлают, на голову взберутся. Впрочем, в его отделении немало и сознательных, настоящих людей, которыми даже неудобно ему, молодому, командовать. Взять хотя бы бойца Руденко. Они подружились в тот памятный вечер, когда рота вернулась с марша.

Тогда он еще не понимал, зачем их вернули в лагерь. Долго ворочался на своих жестковатых нарах, обдумывая события необычного дня. Рядом лежал днепропетровский сталевар Яков Руденко, тоже, видимо, взволнованный происшедшим, потому что долго не мог уснуть и все рассказывал про горячий металл, про мартеновские печи и свою великую тоску по любимому делу. Федор сначала слушал рассеянно, а потом заинтересовался.

— Оставил я, брат, такую печку на юге, что нет ей равной на Урале. Был я, брат, на Кушве, был в Алапаевске, на Ревде работал. Не то чтобы я летун какой, искал местечко получше, а просто государственный сталевар: куда надо правительству, туда меня и ставят. Потому, сознаюсь тебе, имя-то у меня громкое было. Но, скажу, такой печки, как моя, нигде я не видел. Не думай, что я Урал не уважаю, нет! Просто не встречал такой печи, и все, — может, в Кузнецке или на Магнитке и есть такая красавица. Но там я не бывал. А вообще имечко у меня громкое было, это точно! Многие даже на Урале, на металлургических предприятиях слышали Якова Руденко. До войны, брат, я на нефти работал, форсунки ка-ак дуванут, все кругом в печке белым-бело, а я хожу, только на свод поглядываю, от пережога берегу. Тонкость нужна, брат, высокая музыкальность, поскольку я струю ту по слуху чувю, какая она в пламени. В Москву меня вызывали, советовались с нами, мастерами, как больше да лучше стране металла давать. И там я таки повидал тую семью металлургов, которая, думаю, в эту тяжелую годину возле мартенов горячих сталь варит для фронта. И ты, товарищ молодой, понять должен, что без нее, без стали нашей, прямо скажу, взяли бы они нас голой рукой да, как котят, передушили.

Так рассказывал всю ночь Яков Руденко, и молодой колхозник думал о знаменитом сталеваре, которого вызывали в Москву, а нынче вот он лежит рядом на нарах, как и Порошнин, со скаткой под головой, готовый умереть со своей всесоюзной славой металлурга. И эти слова — «металлург», «мартеновская печь», «бессемер» — украшали рождающуюся мечту о таинственном племени сильных из тех далеких краев, где в лязге и грохоте металла, озаряя небо огненными сполохами, непрерывно льется в ковши жидкая сталь.

— А жил я, браток, в пяти комнатах, — продолжал вспоминать Руденко, — построил на левобережье себе домик с палисадом да сад насадил, уже плодоносит. Виноград выписал, саженцы из Семипалатинска, разные сорта винограда высадил в этом году. Завод мне в премию машину мебели привез, все в достатке у меня было, дочка институт заканчивала, младшенькая в восьмой класс ходила. Имечко было, что говорить, почетное. Телефон в доме. Депутатом выбирался. Сам Серго нет-нет да и позвонит из Кремля: «Как, мол, дела, Руденко? Как здоровье?» А здоровье, чего грешить, завидное было у меня, а план, как часы, все в скоростных плавках, да не то что сверкало, а играло все, как музыка, ей-богу... Все оставил на левом берегу, печь оставил, у которой двадцать четыре года простоял. Никогда и в мыслях не было, что оторвет меня кто от любимой печи! А вот пришлось, брат. Ушел я на Урал вместе с нашим заводом, всякое оборудование везли, а мартен, конечно, куда там, поскольку очень трудоемкий агрегат, с места не сдвинешь, да и на Урале таких хватает, слава богу. И люди ехали на Урал, и семью я свою, ко-

нечно, тоже взял с собой. Кинули меня на один завод, потом на другой. Работал крепко, показал нашу сноровку, да только чую: жжет меня, покою не дает. Я и сталь варю, и все прочее, как полагается, а как услышу сводку, брат, так вроде за горло кто берет и сжимает, и бежал бы только вперед, туда, где все это делается, и стал бы, и лег бы, и крикнул бы: «Стой! Куда?» И бил бы по железу — не страшное оно, знаю, как оно делается. И пока на фронт не пойду, решил: не жить мне.— Руденко доверительно приглушает голос.— Мне бы только до левсго берега добраться. Одним бы оком только поглядеть, браток, что в Нижнеднепровске, как там наши заводы, как наши хаты стоят, так ли цветут наши яблони да вишенки при супостате, как нам, свободным людям, цвели? Потом бы до «мартына» пошел. Нет, тот, я знаю, мертвый, молчит, не горит, не кипит пламенем. Тот не выдаст, не может моя печка варить немцу...

Порошин глядел на него в темноте раскрытыми глазами, полными любопытства и сочувствия, и сердце его ширилось от небывалого восторга. В эту ночь он впервые заглянул в такую увлекательную книгу человеческого бытия, раскрыл такую страницу, какой никогда еще ему не встречалось. Рядом с ним лежал пожилой, много старше его человек, с необыкновенной профессиональной сталеваара, всю жизнь проведенной в труде у своей замечательной печи. Порошин думал, что вот он прожил уже немало годов, а до сих пор ни разу не слышал про такую жизнь, как у Якова Руденко, жизнь яркую, пламенную. Хорошо, что он встретил такого, и плохо, что не скоро придется ему повидать эти чудесные печи.

И Руденко, точно читая его мысли, говорил:

— А вот нынче нас завернули. Думаешь, так, здорово живешь, и завернули? Кто приехал? Комбриг приехал. Знаешь, какой у него глаз на нашего брата? Ему посмотреть — и он уже знает, будет человек воевать или побегит при первом пожарном случае. Все одно, что я к печке подойду, на пробу взгляну и скажу, много углерода или мало, по пузырькам крепость плавки определю, тепло потерял или яма предвидится. Так и он, брат. Так и этот полковник. А теперь, попомни мое слово, возьмется он за нас, как за своих собственных, в три пота гонять будет. Без этого нельзя. Я-то человек тертый, жилистый. Ты же молодой. Тебе крепко привыкать надо, рабочую косточку полировать.

Лежа на полигоне в ожидании сигнала для наступления, Порошин, уверенный в себе, в Якове, лежавшем неподалеку, и даже в голубоглазом мотористе, щурился под лучами солнца, расслабив мышцы, чтобы получше отдохнуть перед готовящимся испытанием.

Предстояло наступление с боевой стрельбой.

...Выстрел ракетницы и свист белой, почти невидимой в ослепительной яркости дня ракеты заставили Порошина встрепенуться. «Слушай мою команду! — закричал он. — Отделение, вперед!» Одновременно с выстрелом послышались знакомые звуки трубы: «попади, попади», и на вышке захлопало красное полотнище.

Отделение развернулось в цепь. Далеко впереди — мишени.

Порошин видел, как Руденко сделал короткую перебежку и камнем упал на землю.

«А отползти в сторону не успел. Года! — подумал Порошин. — Убьют же на фронте такого сталеваара!»

Вдруг он услышал орудийный выстрел, свист снаряда над самой головой и увидел далеко впереди себя, за мишенями, столб земли и дыма. Снаряд пролетел, как ему показалось, так низко, что он инстинктивно пригнулся и тут же с опаской посмотрел на товарищей по отделению. Лица у них были растерянные, бледные. Вслед за первым выстрелом раздался второй, третий, и вскоре немолчная канонада тяжким гулом вста-



ла над полигоном. Впереди, за мишенями, возникла сплошная стена фугасных разрывов.

«Неужто туда идти? — мелькнуло у Поршнина. — Ведь зацепить может...»

Вчера вечером командир взвода объяснял бойцам, что они будут наступать с боевой стрельбой за огневым валом, но Порошин тогда не представлял себе, как это будет выглядеть на деле. Сейчас он понял, что это орудийный огонь и есть, — вероятно, последнее и самое сильное испытание роты перед отъездом на фронт. Он оглянулся. Командиры спокойно стояли на вышке и наблюдали в бинокль за разрывами.

Страх прошел. Порошин понял, что артиллерия, посылающая снаряды через голову пехоты, не тронет своих, и снова повел отделение вперед.

Позже, когда стоял перед полковником, он уже не смог бы припомнить, что произошло с ним в последующие минуты. Он только помнил, как выругал кого-то за трусость под огнем, как Руденко вырвался вместе с ним вперед, все ближе и ближе к стихии огня, как почувал удушливый запах разрыва, почти приподнявшего его с земли, как потом поднялся и побежал дальше и как облегченный вздох вырвался из его груди, когда очередной разрыв лег уже в глубине обороны «противника» — огонь был вовремя перенесен мудрыми артиллеристами, и как потом стрелял по мишеням, метнул гранату в окоп и колот, точно в полусне, несуществующего противника и затем, обессиленный, упал на землю, счастливый, что все уже позади.

Полковник Беляев наблюдал за ним с вышки и после окончания занятий вызвал к себе.

— Рад, что не ошибся в тебе, — сказал полковник. — Времени нет, а то быть бы тебе старшиной. Ну, да на фронте это быстро. Отлично шел за огневым валом. Объявляю тебе и всему отделению благодарность. — Полковник пожал ему руку. — Прошу написать с фронта.

— Служу Советскому Союзу! — ответил Порошин. — Напишу, товарищ полковник.

— Хорошим тебе командиром быть. Парень хоть куда. На многое способен. После войны ты, стало быть, в кадрах останешься?

— Живой-то буду или нет... после войны, — чуть улыбнулся Порошин.

— Будешь живой. Такие, как ты, не гибнут. После войны тебе никуда из армии нельзя. Останешься?

— Никак нет, товарищ полковник, не останусь.

— Вот те раз. Я тебе такое прочу... Подучишься, окрепнешь. Жалко мне тебя отпускать.

— Я, товарищ полковник, на другое нацелился, — неожиданно для самого себя и в то же время с большой решимостью ответил Порошин.

— На что же — на другое?

— В сталевары пойду!

— В сталевары? — переспросил полковник и одобрительно улыбнулся. — Ну, как знаешь, сержант. Тоже горячая профессия.

## 2

И снова рота уходила на фронт.

Чисто выбритые маршевики с белыми подворотничками выстроились перед штабом бригады. Полковник Беляев, начальник политотдела Дейнека, начштаба Чернявский, начальники служб проходили меж рядов, тщательно проверяя подгонку обмундирования и снаряжения. Во всем чувствовалась приподнятость, словно бригада впервые отправляла на фронт маршевое подразделение. Полковник был весел, шутил с бойцами и, казалось, устранил все и всяческие барьеры, диктуемые строгими требованиями субординации. Он был полон тем чувством, каким, вероятно,

бывает полон учитель, расстающийся с выпускниками, — вот теперь-то они начнут самостоятельную жизнь. Рота уходила, но каждый из бойцов уносил частицу его души. Можно же себе позволить иногда немножко сентиментальности, черт возьми!..

Вчерашние показательные учения с боевой артиллерийской стрельбой произвели впечатление не только на бойцов, но и на весь командный состав, присутствовавший на стрельбище. Беляев видел это. Он видел, что в бригаде поняли его, поняли попытку силой примера повести людей вперед, встряхнуть бригаду, заставить ее посылать на фронт подготовленных воинов, умеющих воевать и сохранить свою жизнь — малой кровью добиваться победы.

Глядя на загорелые, обветренные лица завтрашних фронтовиков, комбриг не замечал в них той скованности и безразличия, той отрешенности, что так поразили его тогда на станции. Он проходил вдоль рядов, ловя на себе внимательные, исполненные спокойствия и доверия взгляды. Пришло безошибочное ощущение внутренней близости между командиром и бойцами, чувство, неизменно сопутствовавшее ему во всей его армейской службе.

И в эти последние минуты прощания ему захотелось повидать тех, кто досадил ему в первые минуты знакомства. Он отыскал глазами молодого узбека.

— Так точно, товарищ полковник, — говорил солдат. — Как ты мне сказал на станции тогда слова твои — не понял тебя. Пришел старшина — ничего не понял. Пришел политрук — не понял, все одно думал свое. Пришел Руденко наш — все он мне рассказал: «Не знаешь — подумай, не умеешь — научат, не хочешь — заставят». Очень терпеливый человек. Потом думал: «Эх ты, Тушанов... Тебя расстрелять надо, а терпеливый человек возится с тобой, рассказывает красивые такие картины». Он говорит, кончится война, построят в Узбекистане металлургический завод, который металл варит, очень нужный для человечества.

— Кто такой этот Руденко? — спросил полковник.

— Агитатор, парторг маршевой роты, — ответил Щербак. — Известный в стране сталевар. В Кремле был принят. Хотел я его в постоянный состав зачислить, — ни за что! На фронт, и баста. Вот он, высокий, черный.

Полковник глянул на Руденко, но не подошел к нему.

— Сталевар, — задумчиво проговорил он. — Неужто не нужны нам в тылу сталевары? Об этом думали?

— Военкоматом прислан, товарищ полковник. Добровольцем пошел. Патриот...

— Все мы здесь патриоты собрались. Только сигнал дай — пустое место останется, все на фронт уйдем. Не так ли? А военкоматы, брат, такое могут напутать, сам черт не разберет. Так мы, что же, и поправить не можем? Патриотизм тоже правильно понимать надо. Не так ли, товарищи политработники?

Щербак и самому думалось, что сталевару следовало бы в нынешние тревожные дни варить сталь. Но мобилизационный листок военкомата казался ему законом, который не следовало подвергать сомнению.

Проверка роты заканчивалась. Инструктор политотдела доложил о готовности бригадной сцены: для бойцов маршевой роты будет дан концерт.

Через несколько минут перед открытой эстрадой собрались бойцы и командиры. Вмиг задымили сигарки, густая пелена дыма стала над остриженными головами.

Старый бандурист в широких синих шароварах и расшитой свитке пел старинные украинские песни про хитрую и злую жинку, про чарку горил-

ки и веселый нрав казака, про то, каких бы чудес на свете натворил, если бы стал полтавским сотским.

А затем полилась новая, еще никому не знакомая песня.

У прибрежных лоз, у высоких круч  
И любили мы и росли, —

мягко выводил тенор, и женское контральто подхватывало:

Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч,  
Над тобой летят журавли.  
Ты увидел бой, Днепр, отец-река,  
Мы в атаку шли под горой,  
Кто погиб за Днепр, будет жить в веках,  
Коль сражался он, как герой.

Умолкли голоса в публике, и улыбки слетели с уст. Всех охватила та минута раздумья, за которую иной всю жизнь перелистает, а иной одно мгновение вспомнит, равное жизни.

У прибрежных лоз, у высоких круч  
И любили мы и росли.

Всегда строгий и неулыбчивый комиссар Щербак задумался, а глаза его застилает туманная пелена. Кажется ему, будто слова песни и мотив ее повторяют всю его жизнь. Да, он вырос на прибрежных лоз и высоких круч Днепра. Знакомы ему и густые днепровские плавни, и ранняя рыбалка, и детство, пахнущее душистым сеном, и первая любовь, когда приехал с курсов бухгалтеров в колхоз. Эта первая любовь стала единственной. Жена Ириша оказалась доброй, хозяйственной, настоящим другом. Вскоре после свадьбы пришлось расстаться — он пошел в армию, там и остался. Сначала служил рядовым, затем пошел по счетной части — по специальности. Потом остался в кадрах, вызвал к себе семью, стал начфинком. А потом вдруг избрали парторгом штаба, то ли за честность, то ли за прямоту и угловатую правду, которую не стеснялся говорить, за нрав, сдержанный, как его речь. Только с тех пор пошел расти и крепнуть «по партийной линии» и вот наконец стал комиссаром полка.

Война застала его на берегу Прута в прославленной Иркутской дивизии. Дивизия стояла насмерть. Политработники шли в атаку вместе с бойцами. Щербак слушал тяжелые военные сводки и недоумевал, почему до сих пор не окружают гитлеровцев, почему не развсрачиваются воздушные бои, почему не врываются армады советских танков в расположение противника. Вскоре понял: ничего этого сейчас не будет. Будут отступление, потери, пожары и разрушения. Но победа придет, он знал это. Каждое утро позывные стеклянными молоточками звучали в репродукторе полковой рации и каплями крови падали на траву. «Сдали Гродно. Сдали Ковель». Щербак твердо верил, что выправят положение, примут все меры для стабилизации фронта. Но вдруг чья-то властная рука выдернула его из самой гущи боев и еще горячего бросила в тыл на формирование запасного полка. Щербак раскричался, протестовал. В политотделе дивизии на него смотрели терпеливо и сочувственно. Но приказ — из штаба армии. Чего кричишь? Чего распалился? Приказ!

...Враг напал на нас, мы с Днепра ушли,  
Смертный бой гремел, как гроза.  
Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали,  
И вода твоя как слеза...

Нет, не может он больше сидеть в тылу. Вот уходит маршевая. Скоро уедет в распоряжение округа майор Мельник, с которым прожили вместе больше года. Он, вероятно, тоже на фронт попросится. Неплохой мужик, только нет данных (Щербак любил это слово): глаз притупился, рука ослабла.

А за ним и он, Щербак, подаст рапорт и уйдет в действующую. Оставит Ирину, двух старшеньких дочек и Игорька, сынишку, которого любит больше всего на свете. Чья-то могучая воля наводит порядок в тылах.

Песня зовет, будоражит душу, печалит и рождает гнев, горячая слеза застилает взор, и Щербак отворачивается, чтобы незаметно смахнуть слезу.

Из твоих стремнин ворог воду пьет...  
Захлебнется он той водой...

...Руденко высоко поднял голову, и слезы одна за другой катятся по его загорелому лицу.

Плакал по родной Украине, по Днепру, омывающему берега города, где вырос, где впервые услышал призывный заводской гудок. Пятнадцатилетним мальчишкой в год революции пошел на завод. Отца убили на войне, осталась мать и их двое — Яков и двенадцатилетний Санька. Якова взяли к печи, «Мальчиком» крышки открывал, вечером в саду смотрел, как обучаются красногвардейцы. Его не принимали — мал еще. Вспоминается бой между гайдамаками, засевшими на почте, и большевиками, укрепившимися в доме губернатора. Когда гайдамаков выбили и на почте взвился красный флаг, Яшка бегал на проспект и ощупывал пулевые воронки в стенах. Мать плакала, ей казалось, что Яшку обязательно убьют. Дома весело раскалялась «буржуйка», мать наварит борща, напечет оладий. Санька натаскает коксика из отвалов, — благодать! Корка хлеба да пахучий борщ из зеленой миски, — не забыть никогда юности, полуголодной, босой, но полной малых радостей.

На глазах вырастал город. Сам он стал видным человеком, окончил курсы соцмастеров, выбрали депутатом горсовета. Руденко да Руденко — только и слышишь везде и всюду. Любил с друзьями на рыбалку ездить. Завел моторную лодочку. По воскресным дням жену Екатерину Федоровну да ребятшек погрузит, соседей пригласит, харчишек прихватит, и за два рейса добрались до Любимовки, пониже Днепропетровска. Там водилась всяческая рыбешка — и красноперка, и подлещики, и головли. Окунь сверкали серебристыми спинками, солнце играло в мелких волнах. Река лениво изгибалась в излучине, водоросли пахли сыростью, морем. Что может быть краше днепровского плеса, утренней розовой дымки, объявшей горизонт, прибрежных кустов, окунувшихся в прохладную воду, четкого стука мотора и едва уловимого запаха бензина, тянущегося по бурному следу от винта?

Из твоих стремнин ворог воду пьет...

Явственно представлялся плененный Днепр, родные места, исхоженные и изъезженные, которые теперь топчет враг. Вспоминались опустевший родной город, сажа от сожженных бумаг на тротуарах, дома с разбитыми окнами. Город был похож на слепца, оставленного поводырем при дороге.

Точно залетевшая с Украины птица звенела в далеком уральском лагере песня о Днепре, была тревожно крылом, хлопотливой горлинкой облетала каждого, нашептывая свое, близкое, согревала душу и печалила ее.

— Чего плачешь? — спросил Порошин, подталкивая Руденко. — Смелей гляди. Хорошо поют, а плакать с чего бы?

И, словно в ответ, рядом откровенно зарыдал пронзительный женский голос. Это плакала полковая повариха, привезенная воинской частью с Украины. Ей нечего было сдерживать себя, и она, не стесняясь, дала волю своим чувствам. Руденко вдруг очнулся, вытащил платок, вытер глаза, приосанился и недовольно посмотрел в сторону поварихи. Но она уже уткнулась в платок и тоже приумолкла.

После концерта на сцену вышел начальник политотдела Дейнека и сказал бойцам краткое напутствие. Он просил их не забывать бригаду и с честью выполнить на поле боя свой солдатский долг.

В сумерках рота двинулась на станцию.

Перед самым уходом произошла заминка. По распоряжению командира бригады рядовой Руденко был исключен из списков маршевой роты. Приизошло это внезапно и для роты и для самого Руденко, так что он даже и не попрощался как следует с Порошиным, к которому успел прижаться.

— Федя, чепуха-то какая получилась, ей-богу. Выходит, тебе идти, а мне оставаться. Это опять же, как я понимаю, без полковника не обошлось, очень уж подозрительно на меня поглядывал на проверке. Чем не потрафил? Второй раз он, выходит, с фронтового пути меня завертает, ей-богу, стыдно даже перед людьми. Ну, Федя, не сомневайся, встретимся. Письма пиши. Думаю, недолго я тут проболтаюсь, на фронт все одно вырвусь.

Порошин, взволнованный расставанием, успел только сказать:

— Я имею расчет после войны на завод, Яков Захарович, к вам.

На что Руденко уже вслед крикнул:

— Порядок! Будешь у меня подручным стоять, Федя!

Теплый уральский вечер накрыл землю звездным пологом. Грозно звучала песня. И в ней слышалось: огромная страна встала на смертный бой с фашистскими ордами. Благородная ярость народа вскипает в сердцах, как прибой. А здесь, словно эхо великого сражения, звучит мерная поступь уходящей роты.

Яков Руденко слушал ее удаляющийся шаг, и ему казалось, что его сердце летит за ротой, что его шаг догоняет друзей.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Спустя несколько дней майор Мельник простился с полком.

Борский, принимая от него дела, был необычно подобран, деловит и даже смущен. Но иногда сквозь эту напускную деловитость проскакивали искорки радости: вот теперь-то я покажу, на что способен, какой я «Иранский принц». Он был приятно удивлен, что после всего случившегося ему доверяют полк. Право, полковник не такой уж солдафон. Он кое-что понимает в людях.

Мельник вздохнул, закончив тяжелую процедуру сдачи дел. Ему казалось, что он передает Борскому не только батальоны и роты вместе с оружием, вещами и продовольствием, лошадьми, автомашинами, землянками, помещенными, штабом, телефонами и портретами, но и эту степь, обожженную солнцем, и солнце, неяркое, оренбургское, и резкий ветер, досаждавший людям, и реку, и рыбу в реке, и все остальное. Это было многовато для Борского. Не по чину, не по уму...

Первое утро, когда Мельник проснулся уже не командиром полка, а обычным резервистом, встретило его ранним прохладным солнцем. По привычке он быстро поднялся, плеснул из миски на лицо, тщательно вычистил сапоги и, как всегда, осторожно, чтобы не разбудить своих, вышел, притянув дверь за собой.

Лагерь уже бодрствовал. Обычно суета подразделений не доносилась на окраину лагеря, к офицерским домишкам. Но Мельник как бы услышал всем существом и простуженные голоса старшин и молчаливую «работу» утреннего подъема, когда бойцы впопыхах наворачивают портянки, кашляют, сопят, торопятся к построению, зарядке и пробежке. Это солдатское утро было так знакомо майору, что захотелось по привычке вытащить старые, но верные часы-луковицу и засечь время для одной, наугад выбранной роты, как он делал это в ушедшие годы своей капитанской молодости. Но он только усмехнулся.

Лагерь заволочла розовая утренняя дымка. Неподвижно застыли деревья, начинавшие желтеть, кустарник, в котором, казалось, еще зябко гнезвился неразбуженный солнцем ночной холодок. Песчаная дорога, тронутая ночью дождем, хранила свежие следы колес: это на рассвете проезжали подводы с хлебом из бригадной пекарни. Капельки дождя отсвечивали на жухлых листьях, в них искрилось солнце, а влажная трава уже замутила блеск сапог майора.

День обещал быть погожим. Жизнь в полку и сегодня пойдет по давно утвержденному распорядку. Так же отправятся на занятия роты, затрепчат на стрельбищах выстрелы и горнист будет дуть в трубу «попади, попади». Так же вечером протрубят «отбой», и лошади по-прежнему будут пережевывать овес, разве что некому будет пропесочить нерадивого сержанта, который грязь в кормушках присыпал соломкой и решил, что командир полка побрезгает ручкой до дна копнуть.

Мельник шел гулким плацем. Здесь обычно происходили торжественные церемонии, гремели полковые митинги. С этой наспех сколоченной трибуны, обтянутой кумачом, нередко и сам он произносил речи, провожая на фронт маршевиков. Теперь здесь будет маячить Борский.

У распахнутых дверей продовольственного склада стоял заведующий — пожилой сержант Немец. Странная эта фамилия служила часто поводом для улыбок, но самого его не смущала нисколько. «Немец так немец, — говаривал он. — Абы не фашист».

Он приветствовал командира полка, неловко откозырнув, а Мельник протянул ему руку и вошел в помещение. Здесь пахло хлебом и мясом. Мешки и ящики громоздились до потолка, медно-желтые коробки тушенки — «второго фронта», как называли их бойцы, — стеной стояли в углу. Буханки свежего темного хлеба, сложенные в штабеля, возвышались у весов.

— Ну что, Немец? — спросил майор, рассеянно просматривая лежащие засаленные накладные. — Что скажешь? Кормишь?

— Кормлю, товарищ майор. Наше дело такое. С вечера до утра, с утра до вечера... Котлы кипят.

— Кипят?

— Так точно, товарищ майор.

Кто-то заглянул в дверь, но, увидев командира полка, тут же исчез.

— А я ведь уже ушел от вас, — вдруг сказал Мельник. — Уехал. — И он звонко щелкнул костяшкой счетов.

— Каждый поедет, товарищ майор, коли потребуется, когда команда будет. Что же с того? — подчеркнуто равнодушно проговорил Немец, и Мельник был благодарен ему за то, что тот не выражает сочувствия. Завкладом был, пожалуй, ровесник майора. Нестроевик, он с первых дней окопался в этом складе, вел дела аккуратно, все у него выходило в ажуре, остатков на складе не обнаруживалось. Немец, несомненно, знал о том, что произошло в полку, он все знал раньше других, но виду не подавал: «Ничего, мол, особенного. Как я вас уважал, так и уважаю. Каждого из

нас, даже меня, можно снять, если придраться. Пусть они не думают, что в этом «снять — назначить» весь смысл жизни.

«Нет, Немец! — думал Мельник, снова шагая по дороге. — Все зашаталось. Словно главную подпорку вышибли — и все затрещало, заныло. Не у дел...»

Черт возьми, какая-то пичужка и та на своем птичьем языке твердит: «Не у дел, не у дел...»

Лесок, синеватой тучкой набегавший на лагерь с востока, встретил прохладной дремой и как бы звал вглубь, подальше от людей. Он был полон тонких запахов перегноя, свежей хвои. Воздух был влажным и терпким. Иван Кузьмич шагал меж деревьев, прислушиваясь к шорохам, к щебетанию птиц. «Не у дел, не у дел...» Ветви опускались над ним, ласково трогали лицо, оставляя влажные следы. Все здесь было ново, незнакомо. И он подумал, что вот ведь ни разу за все время не был здесь. А жаль! Отличное место для раздумья!

Впрочем, неплохо бы этот лесок приспособить для боевой учебы подразделений. Отличный рельеф. Вон вдалеке небольшая ложбина, покрытая густым кустарником, левее — густой сосняк. Деревья затрудняют обзор местности, а если слева дать фланкирующий огонь пулемета, наступающим трудно придется, не один ляжет на пути к «вражеским» окопам.

Майор усмехнулся. Не слишком ли запоздал, стратег? Надо было раньше с протоптанной стежки шарахнуть в незнакомые леса и доли, от учебного плаца, от надоевшей высоты прочь, к неизведанным рельефам, к неожиданным, «заминированным», обработанным «вражеской» артиллерией местам.

Солнце пробивалось сквозь густую листву. В лесу стоял холодок, словно в сырой комнате. Опушка уже отливала желтизной. Казалось, что само солнце смелой кистью лучей мазнуло по деревьям да так и застыло на них надолго, до самого снега.

А ведь не замечал он природы, не замечал, хотя всегда был с ней и даже в ней. В молодости исходил тысячи верст, ступал по горячей земле, по луговым цветам и клеверу, по сгнившим прошлогодним листьям, падал камнем в пахучие травы, в разноцветье летних оврагов, переползал, вдыхая запахи чебреца, подорожника, мяты, взрыхленного чернозема, жевал щавель, заглушая жажду, применялся к местности, изучал земную красу как удобный или неудобный, выгодный или невыгодный рельеф местности, рубеж для атаки или обороны, а реки представлялись ему естественными преградами и водными рубежами. Он не увлекался ни рыболовством, ни охотой, как многие его сослуживцы. С возрастом полюбил покой, чай с вареньем, картишки — пусть другие поползают, мы, мол, отвоевались. В мирное время полк жил «благонадежно». Майор командовал без напряжения. Он отлично знал весь церемониал смотров и поверок. Всех этих наезжих краснобаев не терпел — «ты послужи с мое...» Как-то попал в числе других на зубок начальнику политуправления округа — «командир полка отстаёт от требований времени...» Грамотой, конечно, не больно балован, это правда. А в чем другом не обвинишь. Опыт в газетах и политграмотах не вычитаешь. Опыт собственным брюхом собирай на полях да на буераках. Ты повертись с мое день-деньской по казармам да конюшням, поставь по команде «смирно» с десяток старшин да взводных, втемяшь им понимание, что есть военная служба, — тогда заговоришь ли еще о новых требованиях и методах! Требования, может быть, новые, а служба старая. Вот генералов ввели, офицеров вводят, поговаривают, скоро погоны нацепят. Знай требуй, знай строй равняй, покажи начальству, как трудишься и результаты трудов твоих.

Прелесть раннего утра и осеннего леса не спасала, однако, от тяжелых мыслей. Хорошо бы не показываться больше! Превратиться в зве-

рушку и скрыться в густой траве, в потайных норах у мшистых пеньков. Ни тебе полка, ни роты, ушедшей на фронт, ни Борского, ни Беляева, никого, кто напоминал бы о прошлом, о путях и дорогах, пройденных не так и не там. За деревьями буйствует жаркий полковой день. Он уже не твой. Имя твое в новых военных списках, и где тебя ждут — неизвестно.

И вдруг он с тоской подумал, что ничего ему уже не жаль здесь. Вчерашнее близкое стало вдруг отчужденным и даже враждебным, насторожившимся и недоверчивым. «А ну-ка, поглядим, достоин ли ты? Что ты тут такое натворил? За что из полка — фьюить?..» Словно не его усилиями стаскивалось все в эти склады, конюшни, палатки, стеллажи, стрельбища по гвоздику, по дощечке. Только один островок в этом песчаном безбрежье звал трепетным голосом. Семья — Аннушка, Наташа... Их жаль. И боль и радости всегда вместе. Все простят, все грехи. Если бы Аннушка могла, закрыла бы его своим телом, защитила бы от всего. Наташка суровее. Вся в отца.

Вот ее-то и жаль более всего. Неудача этому поколению. Женихи все на фронте. Повыбьют молодежь. В другое время впору бы уже внучонка нянчить. Но обернулось по-другому. Погиб ее Алик. Наташа безутешно плакала, мать — вместе с ней.

Перед войной Алик заканчивал металлургический, Наташа — на третьем курсе пединститута. Где-то они повстречались, то ли на вечеринке, то ли на именинах.

Наташка чуть постарела, глаза затаили непроходящую печаль, слишком заметную близким. Дорога на восток да месяцы неустроенной жизни в новых местах; морозный Бугуруслан с розовыми столбиками дымков из труб, застывших в безветренном воздухе; татарская деревня Асекеево с чистотой горниц и смешными домашними козочками у хозяев; снежные просторы русской равнины, слепящей глаз; кое-какая полковая работенка, к которой приспособилась чужая беда, напоминавшая собственную; похоронки да невеселые сводки радио; и люди, люди, люди, приходившие и уезжавшие на далекий фронт, — все это как-то скрадывало, выветривало горе и уносило по капельке. Выветривается же и крепкий гранит!

Майору казалось, что дочь выздоравливает. Господи, да если вдуматься, разве она одна пережила горе в эти грозные дни? Придет еще ее праздник, дай только срок.

Он уже шел знакомой дорогой домой.

Командир взвода, попавшийся навстречу, малознакомый лейтенант, встрепенулся и скомандовал: «Взвод, смирно! Равнение направо!», а сам приосанился и, припечатывая шаг, приложил руку к пилотке. Взвод закачался, прекратив отмахку. Бойцы, гулко шагая, обратили загорелые лица к майору. Мельник отдал честь. Конечно же, комвзвода не знал, что Мельника уже прогнали.

А вот и художник Савчук. Идет с котелком в столовую.

— Ну что, Савчук, рисуем?

— Так точно, товарищ майор.

— Материал есть?

— Надо бы в округ съездить, товарищ майор. Обещали в округе по-мочь красками.

Кто-то говорил майору, что у Савчука в Чкалове зазноба. Слишком часто просится художник в округ: то краски, то масло, то холст.

Но теперь майор никакого отношения не имеет к командировкам.

— Всех рисуешь, Савчук, а командира полка на прощание позабыл запечатлеть. Уезжаю я от вас, — сказал майор.

— Слышал, товарищ майор. Я, между прочим, хотел предложить, только боязно было. Как бы не упрекнули в подхалимаже. А теперь, если разрешите...



— Теперь нового комбрига рисуй. Он тебя допустит. Фигура солидная.

— Так точно, — ответил Савчук. — Он нынче таких делов наделал. Папушу — под суд. Слыхали?

— Папушу? То есть как это... Под какой суд? — Майор с трудом подыскивал слова.

— Под суд Военного трибунала. Вы разве не слыхали? У нас уже все об этом говорят.

— Нет, не слыхал, — сказал Мельник, чувствуя, как испарина покрывает плечи и шею.

На недавнем собрании партактива комбриг выступал последним. Мельник с удовольствием слушал спокойную и не очень плавную речь Беляева.

«Стало быть... Стало быть...» — часто повторялось в ней, и Мельнику казалось, что это выражение, как прочная свая, крепит речь полковника. «Стало быть, ясно, что Папуша перерожденец...» Оратор он был неважный, но слушали его внимательно.

Речь его была посвящена требовательности, дисциплине, качеству обучения войск, но ни в тоне, ни в словах полковника Мельник не усмотрел и попытки применить ту суровую власть, которой был облечен. Самые тяжкие слова критики произносились спокойно и даже мягко. И только приметное «стало быть» придавало его речи некоторую жесткость.

— Мягко стелет, — сказал кто-то в перерыве.

И вот что вышло из этой мягкости: под суд Папушу!

...Савчук, попрощавшись, побежал дальше, размахивая котелком, а Мельник терпеливо зашагал, словно кто-то невидимый гнался за ним. И тут его неожиданно окликнул Папуша:

— Привет, майор.

Широкий и массивный, с лицом, иссеченным оспинами, Папуша насмешливо улыбался, а черные глаза его нестерпимо сверлили Мельника.

— Доработались, майор, — с наигранной веселостью сказал бывший комбат.

— Это про что вы, собственно?..

— А про то, что они придают всему этому большое значение. Маршевые роты, оказывается, уходили того... не всегда... Ну, как бы это вам сказать... Да, надеюсь, ясно. Захватывают уж слишком широко, интересуются системой подготовки резервов. Делают большие глаза. «Да что вы, — говорю следователям, — с неба свалились? Вы же в бригаде сто лет работаете». Нет, не с неба. А новый, оказывается, взгляд на вещи, новая точка зрения... А я тут при чем? В общем, пока что стстранение от должности и под наблюдение. А у вас не брали подписку?

— Нет, — сухо ответил Мельник.

— Повезло. — Папуша помолчал, нахохлился. — Только обо мне не беспокойтесь. Я, майор, из лесников. Видел, как лес валят, сам на трелевке работал. Со мной повозятся, потому корни глубоко здесь. Все зашатаются, застонут, как осинник в непогодь.

Никогда еще Папуша не был так развязан с командиром полка. Впрочем, нередко Мельник чувствовал себя неловко с этим насмешливым, самоуверенным человеком. Папуша не был кадровиком, но, побывав на фронте, быстро приобрел кое-какие армейские навыки, понаторел, научился носить форму и прибыл в запасный полк таким готовеньким фронтовичком. Батальон с первых же дней ощутил нелегкую и, нужно сказать, неумную руку нового командира. И хотя до майора доносились недобрые весточки из батальона, проходил мимо, не примечал.

— Этот наведет порядок. Конечно, попискивают некоторые. Привыкли к легкой жизни, — говаривали штабные. — Папуша покажет пример. Гляди, как батальон ходит. Фронтвик, ничего не скажешь.

Действительно, новый комбат прижился. Он любил плац-парады, жестко требовал выправки, хрипловато ругался, покрикивал. На штабных совещаниях в полку был немногословен. Зато в батальоне — груб и резок.

Это, пожалуй, еще можно было оправдать. В запасный полк приходили вести об отступлении на Дону. Папуша тоже, видать, натерпелся от слабых духом, ожесточился и по-своему готовит людей к предстоящим испытаниям. За требовательность не судят, не карают.

Но однажды комбат «сорвался» — ударил бойца. Событие взбудоражило батальон. Комиссар батальона Соболюков немедленно доложил Шербаку, тот — командиру.

Явился комбат — богатырь, бравая выправка, щелкнул каблуком.

— По вашему приказанию...

Рука так и ходит, как на шарнирах, от козырька до кармана. «Так точно. Никак нет. Слушаюсь».

Проступок свой объяснил фронтвиком психозом. «Вывел из себя, разгильдяй... Знаете, что «самострел» готовился? Ручным пулеметом собирался на стрельбище лодыжку себе раздробить. Что прикажете делать? На фронте таким браконьерам дают девять граммов...»

— Вы, говорят, до войны лесничим работали?

— Так точно. В глухих лесах по окончании техникума. В дикости. Не сдержался.

И Мельнику казалось, он понимает, чем страшен Папуша, почему его боялись. Не потому ли, что слишком знал всю подноготную каждого? Труса за километр почувствует. Был он, пожалуй, наделен той подспудной хитростью, разбойничьей пронизательностью, которая помогает безошибочно разгадывать тайные помыслы себе подобных. Откуда он узнал, что готовится «самострел»? «Долбжили», — как он выражается. Его черные цыганские глаза сверлили подчиненных и, казалось, высверливали душу.

Своего комиссара Соболюкова он ненавидел. Как-то пригласил его к себе, налил стакан, сверкнул глазами.

— Щоб дома не журылысь, комиссар. За дружбу и первое знакомство.

Соболюков молча вылил водку на пол и ушел из землянки. С тех пор они не уживались, хотя в глазах окружающих все выглядело благополучно.

Тогда, после случая рукоприкладства, помиловали Папушу, несмотря на настойчивость Соболюкова, замаяли неловкое происшествие, строго-настрого наказали комбату держать «рычаги» накоротке.

И вот теперь, глядя на ухмыляющееся лицо Папуши, Мельник с досадой подумал: «Жаль, пожалели, выручили тогда. Если бы тогда покруче, может, нынче по-другому бы все пошло». Бывший комбат явно старался нагнать страху на других и подбодрить себя. Но кто же прислал его в полк на должность комбата? И как мог он, комполка, упустить, не заметить?

И хотя рука уже потянулась было к козырьку, майор не ответил на прощальный жест Папуши, резко выказав свое презрение, чего никогда бы себе не позволил. А сейчас он уже не начальник — свобода отношений...

Странное нынче утро! Перестал быть хозяином полка, и вот уже в голову лезет всякая чертовщина.

«Нервы шалют, — сказал он себе, круто повернувшись и продолжая свой путь. — А что, собственно, случилось, что произошло? Ничего как будто особенного. Перемещение по службе. Не впервой...»

Его догонял Щербак. Майор вздрогнул. С добром ли?

— Здравия желаю, Иван Кузьмич.

— Здравствуй, Щербак. Ну, какие еще неприятности? Выкладывай.

— Да вроде бы нечего выкладывать, Иван Кузьмич.

— Слышал насчет Папуши?

Щербак усмехнулся.

— Слышал, конечно. По заслугам! Надо рубить... — Лицо Щербака совсем осунулось за последние дни. — Надо рубить, и беспощадно. Папуше дело не ограничится.

— Думаешь? — быстро спросил Мельник.

— Как же. Запахло трибуналом. Увяз коготок. А я волосы на себе рву.

— Да, немного их у тебя осталось, — усмехнулся Мельник.

Щербак подошел к майору вплотную и взял его за пуговицу кителя.

— Есть до тебя разговор, Иван Кузьмич. Тут такая думка есть, чтобы собраться, посидеть мало-мало... по дружбе. Проводы, так сказать, устроить. Комбриг тоже будет. Его это мысль. Все же потрудились мы. Как скажешь, Иван Кузьмич, соберемся?

— Да ты что? Шутишь, брат? — Комок подступил к горлу, и перехватило дыхание. — Какие уж теперь проводы!

## 2

История с Папушей подействовала на Щербака, как взрывная волна действует на детонатор. Он сам готов был взорваться и взорвать все вокруг. Он не казнил себя, как Мельник, но и не мог подавить в себе смятение. Не расслабленность и виноватость испытывал он в эти дни, а лихорадочную потребность активно действовать.

Узнав от Дейнеки, что дело Папуши передано следственным органам, он так крепко стиснул зубы, что на худых щеках выступили желваки, и пальцы его долго не могли открыть знакомый всему полку плексигласовый портсигар. Затем сказал:

— Полумера! Судить так судить...

Он считал, что надо судить и Борского, и командира роты Аренского, и еще кое-кого из офицеров.

Но Борский преспокойно принимал полк, а этот актер Аренский, к которому Щербак до сих пор не испытывал особой неприязни, но и не питал симпатий, заладил одно: на фронт, на фронт. Щербак не верил в искренность Аренского. Щербак негодовал на всех и в том числе на себя. Как мог он проглядеть батальон? Почему остался глух к настойчивым сигналам Соболюкова? Он не любил нескладного, слабогрудого комиссара, бывшего доцента литературы, поэтому не очень прислушивался к нему. А вот ведь напрасно, совершенно напрасно.

Однажды Соболюков нерешительно вошел к нему в кабинет.

— Считаю своим долгом доложить, товарищ комиссар, что мой комбат не соответствует... — И пошел выворачивать все нутро батальона.

Тогда зашевелилась неприязнь к Соболюкову. Вот он, капальщик!

Щербак недоверчиво относился ко всем, кто, как ему казалось, не любил армии и тяготился ею. Сам всегда четкий и исполнительный, выносливый и по-солдатски невзыскательный, он не терпел увальней, нерасторопных, хилых, к тому же еще «шибко грамотных». Соболюков показался ему именно таким, а Папуша так даже приглянулся — чем не армеец, не строевик?

— А ты поглубже изучи обстановку,— прогудел Щербак в ответ Соболюкову. — Коли данных нет, может, помочь надо. Рубать сплеча всякий может, это — дело легкое. Ты же с Папушей без году неделю служишь, а уже выводы делаешь. Это несерьезно, Соболюков. К тому же маловато у тебя опыта. Папуша хоть и чарку любит, как ты говоришь, зато на фронте побывал. А на фронте чарка, знаешь, не противопоказана. С чарки, может, людям умирать легче. А ты ведь умирать не пробовал, а? А он пробовал. Согласен?

— Нет, не согласен,— ответил Соболюков, наивно моргая белесыми ресницами.

Щербак оторопел. Не потому, что ответ был дерзок, а потому, что неуместен. Всегда, в любых случаях, подчиненные соглашались со Щербакком, так же как сам Щербак никогда не противоречил начальнику политотдела Дейнеке. В этом, как он понимал, было то, что цементировало армию, залог безотказности ее действий, пронизанных приказом, мнением, установкой сверху донизу, но никак не наоборот. А здесь как раз случилось наоборот, и от этого Щербак долгое время не мог прийти в себя.

— Почему же ты не согласен? — спросил он наконец.

— Потому что вы приучаете меня к равнодушию и безответственности,— спокойно ответил Соболюков, словно давно подготовил этот ответ и наконец выложил его комиссару полка.— Если с моим мнением не считаются, значит я могу не думать. Значит, вы все сами отлично знаете и всему оценку можете дать сами. Зачем же я? Затем, чтобы слепо исполнять ваши приказы? Но я не робот, а думающий человек.

— Что за «робот»? — спросил Щербак. Он не стеснялся спрашивать то, чего не знал, даже порой демонстрировал свою неосведомленность.

— Робот — это механический человек, кукла, автомат.

— Хорошо.— Щербак внимательно разглядывал Соболюкова, словно только что познакомился с ним.— Хорошо, комиссар. Согласен, что ты не робот. Но что же будет, если в армии все начнут рассуждать? И спрашивать согласия у подчиненного? Согласен — выполняй приказ. Не согласен — пожалуйста. А?

— Я думаю, что командир не должен спрашивать согласия подчиненного,— твердо ответил Соболюков.

— Какого же ты черта противоречишь? — взорвался Щербак.— Почему возражаешь, если сам разумеешь, что командир не должен считаться...

Соболюков кратко ответил:

— Товарищ комиссар, вы же сами меня спросили, согласен ли я. Я и сказал вам то, что думал. Если бы вы не спросили меня сами, я бы молчал. Только и всего.

Щербак снова опешил, потому что Соболюков и на этот раз был прав.

— Виноват,— нашелся он не сразу.— Больше не буду спрашивать твоего согласия. Можешь идти. А насчет Папуши подумай. Ты должен воспитывать его, а не отсекаать...

Соболюков повернулся кругом и вышел.

...Как же все-таки случилось, что мнение комиссара Соболюкова и мнение комбрига Беляева сошлись за спиной Щербака, минуя его, как стремительный поток минует песчаную зыбину, высунувшуюся из воды дерзким островком? Как случилось, что эти два самых разных человека, не сговариваясь, даже не встретившись друг с другом, решили одинаково твердо и одинаково против мнения его, Щербака?

В землянке, добротно отделанной для штаба, сидел батальонный писарь, понаторевший в политдонесениях. Писарь встал и зачем-то спрятал сигарку.

— Садись,— сказал Щербак, усаживаясь за простой деревянный стол с ножками, обитыми накрест.— Все, значит, твоя работа, писарчук? Ты беды наделал?

— В чем, товарищ комиссар?

— Комплектованием в данном разе ты занимаешься?

— Что вы, товарищ комиссар? — Писарь вежливо улыбнулся. — Я только предварительные наметки, так сказать...

— Я эти наметки хорошо знаю,— загудел Щербак.— Полками и батальонами командуете вы, писарчуки, это точно. Есть начальнички среди нас, которые целиком доверяются красивому почерку. Где Соболюков?

— В подразделениях, товарищ комиссар.— Писарь с готовностью вскочил.— Разрешите позвать?

— Постой-ка... — Щербак внимательно рассматривал стоявшего перед ним разбитного парня лет тридцати, здоровяка на вид, полного, розовощекого, с бородавкой над бровью.— Ограниченно годный, конечно?

— Так точно. Вторая степень, по сердцу.

— Добро. Ты мне скажи, сержант, кто виноват? Говори, не бойся.

— Комбат Папуша, товарищ комиссар,— бодро ответил писарь.— Мне от него жизни не было.

— По какой статье?

Писарь замялся.

— Говори, не бойся.

— По самогонной, товарищ комиссар,— выпалил писарь.

— То есть как?

— Заставлял искать. Приходилось... Дело прошлое... Язва, товарищ комиссар, трудно такого сыскать...

— Почему же ты молчал?

— Никак нет. Мы писали.

— Кто это мы?

— Мы с комиссаром.

— Соболюковым?

— Так точно.

— Кому писали?

— Вам.

— Та-а-ак...

Щербак не читал последних донесений Соболюкова. Не любил этого доцента и презирал его писанину. А Соболюков писал. Докладывал. Методически, настойчиво писал правду, мимо которой, как слепой, прошел Щербак. Что-то все-таки есть в этом Соболюкове.

В дверь землянки осторожно вдвинулся Соболюков. Он вообще — Щербак это давно заметил — не входил, а вдвигался в комнату всем своим длинным корпусом. Щербак, точно впервые, разглядывал его сутуловатую фигуру со слегка перекошенной шеей — он всегда держал голову немножко набок, влево.

— Садись, Соболюков! — сказал Щербак и коротко бросил писарю: — А ты выйди, погуляй.

Щербак неожиданно перестал ощущать привычную неприязнь к Соболюкову. Наоборот, хотелось сказать что-то доброе этому человеку, принявшему на свои узкие плечи всю тяжесть жизни батальона после Папуши. Повиниться перед ним за недружелюбие. Пожать руку, наконец...

Но вместо этого Щербак с угрюмым видом спросил:

— Так ты, оказывается, писал обо всем?

— Писал, товарищ комиссар.

— А я не читал твоих донесений, знаешь?

— Знаю.

— Откуда знаешь?

— Догадывался.

Щербак не выдержал, придвинулся к Соболевку, притронулся к его руке.

— Послушай-ка... Я вот пришел специально... Никогда ни перед кем не винулся. А до тебя пришел. Виноват. Урок ты мне преподал... знаешь...

— Хорошо, что так получилось, — просто сказал Соболевку. — Надо думать, что правда всегда одержит верх. Только иногда слишком долго ее ожидаешь.

— Да, — сказал Щербак. — Я виноват. То, что я сказал тебе сейчас, это точно. Ты меня знаешь. Я редко так говорю.

— Я вас знаю, — согласился Соболевку. — Поэтому вы не должны быть таким самонадеянным.

— Как ты сказал?

— Самонадеянным, я сказал.

Этот доцент так до сих пор ничего и не усвоил в субординации!

Между тем Соболевку, ободренный молчанием Щербака, продолжал:

— До войны у меня был отличный кабинет с библиотекой во всю стену, но никогда не передумывал я столько всякой всячины, сколько здесь, в этой полутемной землянке. Тем более, что обстановка способствует. Рядом — этот комбат. С другой стороны — молчание, равнодушие командования полка. Вот я и писал. Напишу политдонесение — успокоюсь на денек-другой. Потому что как будто совершил акт борьбы, кому-то душу излил, с кем-то поделился. Сначала ведь не знал, что вы под сукно, так сказать... Ну вот, опять поднакопится горечи — опять за бумагу. Не очень, сказать по совести, верю я в бумагу, но все же писал. А когда лично пришел к вам, тогда понял: не читаются мои сочинения. Подумал с обиды: может, бросить все, примириться? Неужели мне больше надо? Но потом решил: нет, это нужно до конца. Потому что ведь это не только мое личное дело. Был у меня в жизни случай, когда я за собственное равнодушие поплатился... Вы, может быть, торопитесь, товарищ комиссар?

— Давай, давай... — ободряюще кивнул Щербак.

— До войны заведовал я кафедрой западной литературы в университете. Знаете, что это такое? Флобер, Бальзак, Мопассан, Ибсен. Гениальные немцы — Манн, Шиллер, Гейне... Что? Они были, есть и будут, могу вас заверить, товарищ комиссар. Что? Некоторое свободомыслие у меня, вольнодумство? Не спорю. Оно живет только в этой землянке. Вместе со мной. Во мне. Но это не худо. Да, так вот, значит, в каком мире я жил, кто окружал меня ежедневно...

— Я понимаю, — сказал Щербак. — Это тебе не портянки, которые висят, сохнут и распространяют...

— Пожалуй, — мягко согласился Соболевку, не заметив его иронии. — Однако портянки тоже фактор. Так вот, экзаменовался в аспиранты один молодой человек, какой-то знакомый моего коллеги, заведующего кафедрой языка. Молодой человек, скажу вам, безнадежен, бездарность. Знаний за семь классов и то с натяжкой. Но в научные работники лезет, поскольку имеет все объективные данные — происхождения, как говорят, пролетарского. А на самом деле папаша его какой-то ответственный работник где-то, друг-приятель моего коллеги. Экзаменуем, значит, буду-

шего кандидата по литературе — ни в зуб ногой. Я вопросов не задаю, боюсь, как бы коллеге не напортить. Кроме нас, в аудитории декан факультета да еще несколько человек. Однако для приличия все же задаю несколько элементарнейших вопросов. Не ответил. Я еще постарался прощупать легопышко. Не знает. Я заявляю комиссии: «Как хотите, а удовлетворительной оценки не подпишу». «Ка-ак?! Мы рассчитываем тянуть на пятерку. В крайнем случае, на четверку». Что вам сказать? Насели на меня ученые мужи. Протривился я, как мог. Но что поделаешь, если начальство заинтересовано? «Хорошо,— говорю,— я соглашусь завысить оценку только в том случае, если вы, декан, дадите мне подписку, что этот аспирант будет работать где угодно, только не на моей кафедре». «Подписку не дам. Это несерьезно. А слово дам». И я все-таки подписал завышенную оценку. Смалодушничал. Преступление совершил, если хотите, подлость. Потому что какой же из него научный работник? Я это понимал. Но согласился. Проклятое равнодушие: лишь бы мне было спокойно да хорошо. А то, что науку в целом подводишь, государству сбманываешь, об этом не подумал. Но я же за это и попалился. Обманул меня коллега, обманул деканат, подсунули неуча на мою кафедру. И еще посмеиваются. Мучился я с ним полтора года, а потом, к счастью, война...

— «К счастью»... Думай, что говоришь,— вставил Щербак, внимательно слушавший Соболюкова.

— Прошу извинить, действительно получилось не совсем складно. В общем, избавился я от него, да, кстати, и от всей кафедры избавился. Но с тех пор страшусь равнодушия, примиренчества. Боюсь, как огня, беспринципности.

— Да-а,— протянул задумчиво Щербак.— Занятная история. А может, этот аспирант воюет сейчас отменно?

— Очень может быть,— согласился Соболюков.— Одно дело — воевать, а другое — обучать студентов.

— Добро. Пока что будем воевать, а обучать студентов — потом. Ясно? — Щербак поднялся. В нем опять вскипала подспудная неприязнь к Соболюкову.

— Так точно,— ответил Соболюков и тоже поднялся с места.

— Я тебе вот что скажу, комиссар. Кое-что ты правильно формулируешь. Но только не нравится мне — много философствуешь. Немцев вот хвалишь. Увлекаешься. Ясно?

— Ясно, товарищ комиссар.

Щербак закурил и, глядя на Соболюкова, незлобиво усмехнулся.

— Вы читали «Фауста»? — спросил вдруг Соболюков.

— Какого «Фауста»?

— Гёте. Великого немецкого писателя.

— Наметил. Но не успел. Руки не дошли.

Соболюков, задумчиво улыбаясь, процитировал:

— «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой...» Это сказал Гёте.

— Сильно! — заметил Щербак.— Это можно даже на кумаче написать. Между прочим, насчет Аренского я хотел... Как он на твою думку?

— Аренский честный человек, — без колебания заявил комиссар.

— Какой же, к черту, честный, коли подводит всех нас?

— Аренский внутренне честный человек, — убежденно повторил Соболюков.— То, что случилось, — стечение обстоятельств. Вина не он один.

— Стечение обстоятельств? — рассеянно спросил Щербак.— Судить его надо, этого внутренне честного... вместе с Папушей и Борским, вот что я тебе скажу, Соболюков. А то рассуждать, вижу, ты мастер, про

Фауста, про Гёте понимаешь, а вот разобраться в людях как следует...— Тут он осекся и прикусил язык, не решаясь взглянуть Соболькову в глаза. Ему вспомнились собольковские рапорты, которые он складывал, не читая.

Выходя из землянки, Щербак пожал Соболькову руку, даже улыбнулся на прощание, но смятение в душе не проходило, и разговор с Собольковым не принес успокоения.

День давно начался. Ночью прошел осенний дождь, и лужи сияли выцветшей голубизной неба, время от времени отражая мелкие хлопья облаков или подергиваясь холодной рябью.

В поле с песнями уходили роты. Не так ли уходила рота Аренского, а что получилось?

Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна.. —

слышалось из одного конца лагеря и, перебивая ритм и мотив, несло с другого конца:

По курганам горбатым,  
По речным перекатам...

Щербак никогда не чувствовал себя в полку одиноким. А сейчас взял бы, пожалуй, свой старенький мотоцикл да махнул в золотистую степь, едва пригретую неверным солнцем!

Только сейчас не до того. В полку, как в живом теле, сидит заноза, и надо ее вытаскивать.

Он свернул к политотделу.

Слушая Щербака, Дейнека щурил свои умные глаза. Казалось, он не прочь разделить мнение Щербака. Маленькие черные усики, лицо смуглое, юношеское, вид у Дейнеки веселый и даже легкомысленный. Он часто еще морщится от боли, ранение было серьезное, полгода в госпитале пролежал обрубком. Но временами почему-то кажется, что морщится он вовсе не от боли, а от того, что недоволен словами или делами собеседника.

Поморщился и на этот раз, хотя в глазах явно играла смешинка. Нахмуренные брови, морщинки на переносице, смешинка в глазах — к этому можно было уже привыкнуть. Но Щербаку трудно привыкать к игре в молчанку. Он прям, как струна, резок, как выстрел, и ожидает такой же прямоты от других. Он говорит, как думает, и с ним должны говорить так же.

Но Дейнека долго молчит.

— Мне кажется, что ты шарахаешься, Щербак, — говорит он наконец. — Вообще есть такой недостаток у нас: привыкли шарахаться из одной крайности в другую. Откуда это у нас? То ли от излишка служебного рвения...

— Товарищ начальник политотдела! — вскипел Щербак.

— Постой, постой! Ты поспокойнее. Ты вот мечешься, хочешь исправить ошибку. И собственную и несобственную. Все это по-человечески понятно. И, конечно же, перехлестываешь. Вот Аренский. Вот Борский. Ты требуешь расправы над ними. А ведь не всегда нужно отсекавать. Нужно и воспитывать.

— Это же я и говорил! — вырвалось у Щербака, и краска залила лицо.

— О ком ты говорил? Отсекать надо гнилое, порченное, неисправимое. Но разве этот артист Аренский гнилой? Он попросту не умеет. Ты можешь возразить: «Должен уметь. Защищать Родину должны уметь все. Этак воевать нельзя — один умеет, другой не умеет». Согласен. Но мы же как раз и бьемся над тем, чтобы все умели. А с Аренским случай, скажу тебе, исключительный. Это своеобразная фигура, и подход к нему



должен быть особый. Я присмотрелся к нему, вижу — не командир он. — Дейнека помолчал, испытующе глядя на Щербака. — То, что «Выстрел» аттестовал его, это одно дело. А по существу не командир он. Но он наш, честный, искренний, понимаешь? Помогли ему найти место в этой войне. Великое дело — расстановка сил. Прав комбриг: сталевар Руденко, например, должен стоять у печи и варить сталь. — Дейнека приподнялся, поморщился от боли и тут же опустил в кресло.

Щербак потупился. Второй раз в этот день ему говорили о честности Аренского.

Ведь и сам он иногда задумывался о том же, о чем ему толковал Дейнека, но ни с кем не смел поделиться своими мыслями.

— А об Аренском подумай, — слушал он, обескураженный, злой на себя в эту минуту. — Ты вот говоришь: «Прокурор настроен». Это его дело. Ты знай свое. Ты поставлен о людях думать. Беречь каждого в отдельности. Бороться за него. Вот и подумай об Аренском, потом доложишь.

Щербак понял, что разговор окончен.

Не зная, куда направить шаги, кому рассказать о странной беседе с Дейнекой, с кем поделиться невыкорчеванными сомнениями, он медленно брел по широкому штабному коридору, недавно застеленному ковровой дорожкой. Навстречу из боковой двери стремительной походкой вышел комбриг, как всегда, в сопровождении Саши Агафонова. Щербак хотел пройти мимо, но комбриг неожиданно повернулся к нему, широким жестом протягивая руку.

— Добрый день, Щербак! Не ко мне ли?

— С начальником политотдела дискуссию вел, товарищ комбриг.

— Договорились?

— Почти. — Щербак кисло улыбнулся.

— Послушай-ка, Щербак... С дедом нашим проститься бы надобно по-людски... Я тебе говорил давеча. Как он, согласен?

— Хандрит. Но, думаю, чарку выпьет.

— Вот и ладно. Все же как-никак вместе шагали да в свое время одним брюхом сопки равняли.

Щербак скупно, скорее из вежливости, засмеялся. Он плохо верил в искренность командира бригады.

— Что провожать, товарищ полковник? — сказал он грубовато. — Не пойму я. Нас всех другой музыкой нынче провожать надо. И в другую сторону.

Полковник удивленно поднял брови.

— И тебя? — спросил он.

— А что я? Лучше других, что ли? Думаете, мне кусок в горло ползет на этих проводах? Вычищать так вычищать. Или, может, я пешка в этом полку? Тогда другое дело!

— Вот как? Ну и ну! — Беляев усмехнулся. — Я полагал, ты мужик с крепкими нервами, Щербак. А ты, оказывается, неврастеник.

Щербак замялся и не нашел, что ответить.

Домой он возвращался с чувством мучительной неопределенности. Встречи с Дейнекой и комбригом озадачили его. Покамест он понял одно: под крышей штаббрига к нему относятся миролюбиво.

*(Окончание следует)*



---

ГЕОРГЕ МАЙОРЕСКУ  
★  
ВОЗВРАЩЕНИЕ

*(Из поэмы)*

Из дальних мест  
Знакомыми путями  
Я возвращаюсь к близким и родным.  
Мне дорог здесь  
И придорожный камень,  
И каждый куст,  
И дом,  
и белый дым.  
Родимый край!  
Мы встретимся с тобой,  
Как с юностью,  
как с другом долгожданым.

Вновь слушать шум Бырзавы голубой.  
Задуматься перед седым курганом,  
Вновь обойти знакомые места —  
Ту улочку, тот переулок темный —  
И выйти наконец на Холм Креста,  
Чтоб повидаться с нашей старой домной!

Здесь пыль хранит следы моих подошв,  
Здесь каждый дом — ларец воспоминаний,  
И никуда на свете не уйдешь  
От тех тревог, раздумий и свиданий.  
Там мчались, сабли детские ломая,  
Тут вечерком сидели в тишине,  
А тут в сорок четвертом, перед Маем.  
Листовку я приклеил на стене.

Я помню стачку.  
Грозные органы  
Тогда над старой домной полыхали.  
— Спокойствие, товарищи! —  
В те дни  
Полицией захвачен был Михале.  
На кладбище, где скромная могила  
Покрыта не цветами, а травой,  
Я постою.  
Пускай передо мной

Возникнет все, что память сохранила, —  
И снова в путь!

Вокруг светло и ясно.

Пускай слеза смывает с глаз туман.  
Зачем тревожить память понапрасну!  
Печаль тех дней — она как океан.

### ОТЪЕЗД В МОСКВУ

Друзья, друзья! Вы все сегодня в сборе.  
— Здорово, Нягу! А тебя здесь ждут.  
— Ушел со смены?  
— Наверстаем вскоре.  
— И Янку — ишь прогульщик! — тоже тут.

— Бросать упреки — на тебя похоже,  
Совсем брюзгою станешь в сорок лет.  
Ты уезжаешь нынче, ну и что же?  
Я еду завтра. А куда — секрет!

— Мария, Йошка! Бедные овечки!  
С дождя бы их переодеть не грех.

— Пустое дело, высохнут у печки,  
Недаром же у нас горячий цех.

— А где же Нику?  
— Запоздал немножко.  
— Он заседал... он избран... он не мог...  
— Кто знает, братцы, что такое кошка?..  
— Тигр после самокритики, дружок.  
— Не подкачай!  
— А говорят, в России  
Красавицы такие, что беда!  
— Ну что ж, и мы ведь парни неплохие.  
Понравится — вези ее сюда!  
Пусть будет металлург или строитель,  
Найдешь такую — сразу под венец!  
— Не все ль равно!  
— Актрису не хотите ль?  
— Пусть поэтесса на худой конец...

А вот и он!

Пришел ко мне, как к сыну,  
Чтоб проводить

и дать мне свой наказ.

Года тюрьмы легли ему на спину,  
Но ясен блеск

чуть-чуть суровых глаз.

И тут

на миг

молчанье наступило,

И эту встречу память сохранит.

Нас навсегда прошедшее сроднило,  
Но будущее  
крепче нас роднит.

— Друзья, прощайте!  
— Счастья от души!  
— Счастливый путь!  
— Не забывай!  
— Пиши!

— До встречи, мама!  
— Милый, до свиданья!  
— Не плачь! Не плачь! Минуют быстро дни!  
— Я радуюсь. Не обращай вниманья  
На слезы... Лучше ворот застегни...

Свисток.

И поезд тронулся с рывка.  
— Прощай!  
Пиши!  
Не забывай!  
Пока!

...Уж скрылся поезд, смолк колесный гром.  
И встречный поезд мчится из тумана.  
А женщина стóит под проливным дождем  
На станции, у старого каштана.

### УЧУСЬ В МОСКВЕ

...В Москве учиться?  
Лучшей школы нет!

В ней радости глубокие истоки.  
И навсегда в душе оставят след  
Москвы неповторимые уроки.

Я знаю:

нету гор без крутизны,  
Без тучки не бывает небосвода,  
Что нет морей без штормовой волны  
И что наука не дается с хода.  
И все ж не раз брала меня досада:  
Сидишь весь день,  
с зари и до зари,  
Сидишь всю ночь —  
с наукой нету слада,  
Хоть брось тетради,  
книги,  
словари,

В научных дебрях  
не видать ни зги,  
И словно дверь перед тобой страница.  
К чему напрасно напрягать мозги,  
К чему стараться,  
если ты тупица!..

Я мог дойти до умопомраченья  
 В такие дни, в такие вечера.  
 Но каждый раз со словом ободренья  
 Ко мне входил мой друг Степан Гора.

Степан Гора!  
 Забыть ли нам с тобой  
 Те сизые  
                                 московские рассветы,  
 Те споры,  
 Те слова наперебой,  
 Экзамены  
 И добрые советы,  
 Поездки в Подмоскowie,  
 Красоту  
 Суровых сосен  
 И весенних пашен,  
 Студенческую дружбу  
 И мечту  
 Позхать на Амур  
                                 всем курсом нашим.

А сколько дум о родине,  
 О ней,  
                                 о возвращенье,  
   о далекой встрече...  
 Знать больше,  
 Быть упорней и сильней!  
 От этих мыслей  
                                 труд казался легче.  
 Казалось,  
                                 взор друзей я различал,  
 Вникая в трудные страницы тома.  
 И с новым жаром  
                                 я писал,  
   читал  
 И чувствовал:  
                                 нас ожидают дома.  
 Здесь крепи наши юные умы,  
 Здесь мы братались с правдою большою.  
 Здесь,  
                                 родина моя,  
   учились мы  
 Любить тебя  
                                 всем сердцем,  
   всей душою.

### РАЗГОВОР С ВРЕМЯМ

— В который раз тут листья опадали?  
 Каштаны расцветали сколько раз?  
 — Уж пятый год пошел, как на вокзале  
 Твой поезд прогудел и скрылся с глаз.



## ЛЮБОВЬ

Есть друг у нас. Он парень золотой.  
 Есть девушка. Она еще чудесней.  
 И что еще сказать о паре той:  
 Они под стать друг другу —  
словцо в песне.

На первом курсе встретились.  
Учеба

Сдружила их.  
 Дни, месяцы текли.  
 Чему здесь удивляться, если оба  
 Не полюбить друг друга не могли.

И все как у людей:  
то мир, то ссора.  
 (Такой уж у любви капризный нрав.)  
 Пришла любовь.  
Для сердца нет затвора,  
 Где для него закон, запрет, устав?

Сперва казалось, что закон мешал им.  
 Нет лучшей пары, но закон один:  
 Как им судьбу связать, двоим влюбленным,  
 Когда она из Польши,  
он — румын?

Но снят запрет. Чего еще желать бы!  
 Пойти бы в загс, навек судьбу связать!  
 Мы думали: недалеко до свадьбы,  
 Теперь-то уж придется погулять!

Связать судьбу! Навек соединиться!  
 Жить общим счастьем и мечтой одной!  
 Но кто из них обоих согласится  
 Для этого покинуть край родной?

Их ждут, их ждут  
с волненьем, с нетерпением,  
 До возвращенья их считают дни.  
 Нужны их знания, молодость, уменье.  
 Да.  
Решено.  
Расстанутся они.

А время мчится,  
мчится неустанно,  
 Какой угодно срок ему отмерь!  
 И час разлуки постучался в дверь —  
 Ожиданно и все-таки неожиданно.

— Вот визу получу... приеду..  
 — Слышишь?  
 Хоть на денек!  
 — Любимая, прошу,





Я здесь бывал тому немного лет,  
Но что ни день здесь снова перемена.  
И хочется узнать, поймать мгновенно  
Все то, что мне известно из газет.

Готов я крикнуть, у окошка стоя:  
«На тот ли поезд сел я, проводник?»  
Но тут передо мной рабочих двое.  
Ошибки нет. Понятен их язык.

— И он женился на одной бабенке.  
В квартиру въедет из своей избенки.  
(В одной руке ломоть свиного сала,  
В другой — цибуля и широкий нож.  
Он лезвие потрогал для начала  
И режет хлеб,  
а хлеб, видать, хорош.)

А тот, второй, везет с собой книжонки  
Бумажный лист исписан дочерна.  
Я слушаю их разговор в сторонке.

— Безграмотному нынче — грош цена.  
— Чай, грамота не к слеху. Мне бы — дом...  
— Эх ты, комар у телки под хвостом!  
— Домишко в Лунке мне бы, с огородом.  
— Земля землею, а завод заводом.  
— Я б там и тут, я до труда охочий...  
— Так кто же ты — мужик или рабочий?

Я слушаю в сторонке, у окна,  
Его слова и веские укоры.  
И радует их смысл и новизна.  
Бывали ль здесь такие разговоры?

Друзья, друзья!  
Веселая родня!  
Я снова с вами вместе, как бывало!  
Звените, песни! Лет прошло немало.

• • • • •

Лишь под каштаном мать не ждет меня.

\* \* \*

Ну, вот ты дома. Ты в семье своей.  
Ты встретился с отчизной трудовой.  
Берись за дело,  
ты ведь нужен ей!  
Так Партия учила нас с тобою.

Пусть ток струится.  
Пусть гремит прокат.  
Пусть провода в полях  
звонят, как струны,

Пусть расцветает, как весенний сад,  
Наш город,  
радостный и юный.

Вы, знания, что добыты трудом,  
Служите нам, светите, словно пламень,  
Чтоб полон счастья был  
наш общий дом...

Экзамен близок. Твой большой экзамен.

*Перевел с румынского Д. Самойлов.*



---

СЕРГЕЙ СНЕГОВ

★

## В ПОЛЯРНОЙ НОЧИ

*Роман\**

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

**С**едюк влетел к металлургам и взволнованно крикнул:

— Слышали, товарищи? Наши наступают под Сталинградом!

К нему кинулись проектанты и, перебивая друг друга, требовали подробных объяснений. Он видел сияющее, счастливое лицо Вари, она тоже спрашивала — взглядом, словами, — но в общем гуле голосов он ничего не слышал.

— Получена радиограмма из Москвы, наши прорвали немецкий фронт, фашисты окружены, больше ничего не знаю, честное слово! — Говоря все это, он пробирался к Варе, но его оттирали, хватили за пальто, теребили.

— Товарищи! — крикнул кто-то. — Айда к строителям, через пятнадцать минут вечерняя московская передача.

Все повалили в коридор, хватая по пути стулья. Седюк протянул обе руки Варе. Они вышли из комнаты последними. Он с упоением повторял:

— Наступаем, Варя, черт возьми, наступаем!

Проходя через проектный отдел, они увидели в пустой комнате Телехова, который что-то писал на обратной стороне ненужных синек, переплетенных в большую тетрадь, — в этой тетради он обычно делал свои расчеты. Седюк сказал ему с негодованием:

— Александр Алексеевич, неужели в такой час вы можете работать?

— Могу, — отозвался Телехов. Он встал, держа в руках исписанную тетрадь и глядя на Седюка блестящими молодыми глазами. — Только в этот час и можно писать то, что я пишу. Прочтите и скажите свое мнение.

Седюк вслух прочел исписанную Телеховым страницу. Это было заявление председателю ГКО с просьбой направить его на восстановление металлургического завода в Сталинграде.

— Послушайте, да ведь завод-то в руках немцев, — возразил Седюк, удивленный.

— Ну и что же? — строго ответил Телехов. — Я все рассчитал — пока мое заявление придет в Москву, пока его рассмотрят и разрешат мне вылететь, пройдет не меньше месяца. Я приеду в Сталинград как раз вовремя. Понимаете, во всем Советском Союзе есть, может быть, только десять человек, которые так знают этот завод, как я. Место мое там. Вы скажите одно: удалось мне все это убедительно изложить?

...На улице было морозно и ясно. В небе бушевало полярное сияние — гигантская многоцветная бахрома вспыхивала, кружилась и осыпалась над домами. Седюк прошел с Варей в конец поселка и вышел на холм. И если на людях ему не хотелось говорить, то сейчас слова полились са-

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5, 6 с. г.

ми, радостные и взволнованные. Он вспоминал первые дни войны, горечь поражения, но сейчас недавняя страшная боль вдруг стала иной, она смягчилась надеждой, словно отблеск наступающей победы ложился и на прошлое. Варя слушала его, изредка вставляя свое слово.

— Это же важно, это же страшно важно, что мы начали наше большое наступление до того, как союзники открыли второй фронт,— говорил он с увлечением. — Конечно, второй фронт сразу бы нам помог. Но что мы можем наступать и без него — как этим не гордиться!

Он взглянул на Варю и увидел, что волосы ее стали совсем белыми от инея.

— Послушайте, я просто свинья! — воскликнул он с раскаянием. — Я заболтался и совсем не заметил, что вы окоченели. Почему вы не оставили меня?

— Я и сама не заметила,— оправдывалась она со смехом.— Этот холод подобрался совсем незаметно, мне все время было хорошо и тепло.

Он видел, что она говорит правду. Ее покрасневшее от мороза, полное оживления лицо было повернуто к нему, глаза блестели. Он понимал, что каждое его слово, каждая мысль вызывают в ней ответное чувство. Он наклонился к ней, с восторгом и нежностью заглянул в ее глаза. Он мог бы поклясться, что в сумрачном свете полярного сияния и далекой лампы видит их так же ясно, как в солнечный полдень,— они были светло-серые, сияющие ярким глубоким светом.

— Что вы так смотрите? — весело спросила она и отодвинулась.— Я ведь не обморозилась, правда?

— Нет, нет,— сказал он поспешно.— Все в порядке, Варя.

— В самом деле холодно,— пожаловалась она.— Пойдемте обратно.

Но он еще помедлил. Сквозь меховую рукавицу он угадывал тепло ее руки. Он думал о том, что ничего ему не надо — только вот так быть с ней рядом. У него забилося сердце от сверкнувшей, как молния, все осветившей, все объяснившей мысли. Вслед за мыслью ринулись торопливые, горячие слова, они рвались наружу, но будто железный обруч перехватил ему горло. Он знал все, что хотел сказать. Он слышал свое невысказанное объяснение, лихорадочно проносились в нем бессвязные слова: «Варя, Варя, милая, единственная моя»,— по он молчал и только все крепче сжимал ее пальцы. Встревоженная, она тоже молча ждала его слов.

— Ну что же, надо идти,— сказал он наконец хрипло, чужим голосом.

Движение согрело ее, в поселке, между домами, было теплее. Потом стали встречаться знакомые — взбудораженный поселок не засыпал. С одним из встречных пришлось поговорить, другой тоже кинулся к Седюку и что-то кричал, делясь своими мыслями о нашем наступлении. У двери ее дома они остановились.

— Вот мы и пришли,— произнесла она с грустью.

— Давайте еще погуляем,— сказал он. Вынужденные разговоры со знакомыми отвлекли его, он успокоился.— Мне что-то совсем не хочется ложиться спать.

— Мне тоже,— призналась она.— Знаете, все это так радостно и необыкновенно, что мы сегодня слышали, что мне самой хочется сделать что-нибудь необыкновенное и важное.— Она рассмеялась.— Впрочем, этого мне хочется каждый день, как только сажусь за свой стол. Я каждый свой новый расчет начинаю с таким чувством, будто открываю великую, никому не известную истину. А к концу дня я либо обнаруживаю у себя ошибку, либо нахожу в книгах такие же расчеты, только лучше сделанные. Вот тогда и начинаешь понимать свою настоящую цену.

И ему было знакомо это чувство ожидания великих, но несвершенных открытий. Но он снова умолк. За линией центральных уличных огней, на окраине поселка, к нему возвратились волнение и немота. Он все крепче прижимал к себе ее руку и не видел того, что и молчание и волнение его

мгновенно передаются ей. В конце улицы, в освещенном подъезде его нового дома, он повернул к ней побледневшее лицо. Он обнял ее за плечи и притянул к себе.

— Пойдемте ко мне, Варя,— сказал он глухо.— Посмотрите мою новую квартиру.

— Не сейчас,— ответила она с испугом, уже зная, что пойдет, и защищаясь от самой себя.— Потом. Завтра.

— Нет, сейчас. Сейчас, Варя.

Она схватила руками его лицо, заглянула ему в глаза долгим взглядом. И ее вдруг охватил ужас, что он заговорит, скажет словами то, что она так ясно видела в его бледном, смятенном лице. Как и все женщины, она мечтала об этих еще не сказанных словах, ждала их. А сейчас она страшилась, что эти тысячу раз знакомые по книгам и рассказам слова погасят и спугнут то особое, захватывающе важное, что совершалось между ними.

— Зачем? — прошептала она почти с мучением.— Зачем, скажи?

— Пойдем,— ответил он, словно не слыша ее вопроса.— Пойдем, Варя!

Она поднималась по лестнице, подчиняясь его требовательной руке. На поворотах она останавливалась, и если бы он хоть единым словом, как бы оно нежно и важно ни было, разорвал это огромное молчание, она вырвалась бы и убежала. На втором этаже, перед дверью его квартиры, она еще раз заглянула ему в лицо, и снова он ничего не ответил на ее спрашивающий взгляд.

Тогда она рванула дверь и первая вошла в его комнату.

## 2

В Ленинске говорили только о Сталинграде. Все, что мучило и занимало людей, кроме войны,— трудный климат, нехватка продуктов, неудачи на работе — все словно стерлось и отдалилось. И сами люди вдруг стали иными — заря, поднимаясь в сталинградских степях, осветила все лица. Уже много месяцев неудачи на фронте давили и скрывали души, чаще встречались угрюмые лица, злые, недоверчивые глаза. А сейчас стоило людям собраться, как тотчас слышался смех и веселые восклицания. В людях ожила надежда, и это преобразило их.

И в этом праздничном возрождении лучшего, что хранил в себе каждый человек, никого не удивила перемена в Седюке, перемена, которую заметили все мало-мальски знавшие его. Он стал другим и неожиданным даже для Вари. Варя провела у него всю ночь. Утром, перед работой, он проводил ее домой и пошел к себе в опытный цех. А через час затосковал — ему захотелось увидеть Варю. Он изумился — желание было неразумным, он видел ее час назад, должен был увидеть в полдень, мог услышать ее голос по телефону. К двенадцати часам он почувствовал, что больше оставаться в цехе нет сил, и помчался через темный, заваленный снегом лес в проектный отдел. Варя вспыхнула, когда он вошел. Она тревожно спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Да,— признался он.— Почувствовал, что умру, если не увижу тебя сейчас же.

Он присел около нее, коснулся рукой ее колена. Она обернула к нему счастливое, похорошевшее лицо и отодвинулась.

— Глупый! Ведь могут заметить.

— Пусть! — ответил он.— Лишь бы не отобрали.

— Мы же встретимся вечером,— говорила она, не замечая, что кладет свою руку на его и гладит ее.— А здесь кругом люди, ну, как ты не понимаешь?

Ей в самом деле была непонятна его горячность. Она любила его давно, любовь была с ней постоянно — это было ровное глубокое течение. В иные минуты она видела, что все идет паперекор законам и обычаям. Она ждала, что любовь, как это всегда бывает, начнется с пустяков, с ухаживания, а дальше все станет серьезным и важным, недаром люди говорят о влюбленных: «Дело у них зашло далеко». А у них все началось с серьезного, у них сразу «дело зашло далеко», а потом вдруг стало чем-то легким, как игра: прежде серьезный даже в веселые минуты, Седюк с каждым днем молодедел, в нем появилось что-то мальчишеское.

— Нет, мы оба сходим с ума, — говорила Варя. — Ну, скажи, зачем это? Ты думаешь, Александр Алексеевич не видел, как ты поцеловал мне руку, когда поднимал упавший карандаш? Он все видел — он сразу же отвернулся.

— Нет, нет, ты ничего не понимаешь, — отвечал он. — Я читал в детстве в такой старинной, насквозь продранной книжке, что есть такие боги, им поручено охранять влюбленных. Они набрасывают невидимые покрывала на лица окружающих, и те перестают видеть всё, что делают влюбленные. И тогда ничего не страшно: я могу поцеловать тебя в присутствии самого Киреева, а ему будет казаться, что мы спорим о степени окисления сернистого газа. Вот давай попробуем завтра, сама увидишь.

Как-то Вале пужно было наведаться в опытный цех. На улице стоял мороз в сорок восемь градусов, но воздух был недвижим. Однако в дороге с горы ринулся, раскатываясь по твердому снегу, взъерошенный яростный ветер. Варя ввалилась в цех полуослепленная, измученная, потерявшая от усталости голос. Седюк гневно сказал:

— Бить тебя некому, Варя! Ты обо мне-то подумала? Ведь я просто извёлся от тревоги, когда узнал по телефону, что ты ушла к нам. Я уже хотел идти навстречу, да не знал, по какой дороге.

— Я подумала, — отвечала она виновато. — Оттого, что я подумала о тебе, мне и захотелось прийти. Ты не сердись. Хорошо?

Иногда Варю одолевали тревожные, горькие мысли. Прежде, когда она думала о своем будущем, она знала, что в ее жизни не будет легкой связи, легких отношений. Судьба Ирины была перед ней, Варя не раз предостерегала подругу. А что же сейчас? И что будет дальше?

Но Седюк не думал ни о чем. Прежде любовь была для него источником горя, тревоги. Впервые в жизни любовь утешала боль и тревогу, была источником покоя и радости. И Седюк ни о чем не думал. Он был счастлив.

## 3

Дебрев сам не понимал, как потрясло его, что он остался один в решительную минуту. У него же было времени копаться в своих переживаниях — приближалась партконференция. На ней должны были стоять все трудные вопросы строительства, приходилось вызывать людей со всего комбината, говорить с ними и выслушивать их.

Конференция продолжалась три дня, дела после нее стало не меньше, а больше — принимать хорошие решения оказалось не в пример легче, нежели выполнять их. Неожиданно для всех — и для самого Дебрева — партконференция прошла шумно, но мирно: Дебрев в своем докладе о ходе строительства неистово разпосил всех, но не пробовал на чьи-либо одни плечи взвалить всю ответственность за срывы и провалы и даже выразился так: «И то, что мы терпим все эти безобразия, показывает, что сами мы разучились по-настоящему руководить». Это было сказано хмуро, однако он все же сказал это.

Зато ответ Забелину составил намеренно резко — мнение экспертов отвергал, начальнику главка сообщал, что наука развивается не только

в центре, толковые инженеры есть и в Заполярье. Дебрев втайне был уверен, что Сильченко не подпишет этот доклад. «Чинопочитание разве-дешь,— презрительно думал он, входя в кабинет начальника комбината.— Тут-то я тебе и скажу...»

Сильченко в самом деле задумался над докладом, но потом взял карандаш и молча поставил свою фамилию над подписью Дебрева. Дебрев был раздосадован. Он уже жалел о тоне ответа. Можно было, конечно, и помягче написать, особенно Забелнну — человек уважаемый. Но самолюбие мешало ему попросить доклад обратно. «Один раз прощается и наругать, особенно в таком важном деле»,— утешал он себя. Случай этот оставил след в его взаимоотношениях с Сильченко. Дебрев часто ловил себя на том, что гораздо осторожнее разговаривает с начальником комбината, старается обуздать свое бешенство и не выкладывает сразу все, что приходит в голову. Раньше, когда Сильченко спорил и возражал, было время одуматься, отказаться от слишком рискованного предложения, сейчас все это становилось опасным — черт его знает, вдруг возьмет и без спору согласится, потом расхлебывай. Между ним и Сильченко складывались какие-то новые взаимоотношения, и они тяготили и смущали Дебрева больше, чем прежние, враждебные, — они были непонятны и потому стеснительны.

Многие уже замечали, что с Дебревым творится неладное. Янсон в столовой опубликовал во всеуслышание свое наблюдение: «Главный задумываться стал — минуту сопит и только потом ругается».

Внешне Дебрев не изменился — кричал, разносил, грозил выговорами, партийными взысканиями, судом. Но иногда в его грозной речи вместо презрительно названной фамилии появлялся какой-нибудь «Иван Степанович» или «Владимир Сергеевич», и речь неуловимо приобретала иной оттенок. Чувствуя это, он мрачнел и орал еще громче. Ему казалось, что он расклеивается. Раньше перед ним была стена одинаково боявшихся и недолюбливавших его людей — он толкал и крушил эту стену всю целиком. Теперь стены больше не было, были разные люди со своей манерой работать, со своими характерами и судьбами, приходилось вникать и в это. Все это было хлопотно и даже досадно — отрывало от прямого дела. Тогда, после истории с Седюком, после мучительного спора с самим собой, Дебрев сердито сказал себе: «Хватит с этим личным вздором, точка!» Но точки не получалось, скорее это было длинное и сложное многоточие.

Самым плохим было то, что он все более «разменивался на мелочи»: ему отовсюду звонили, требовали помощи. Его переставали бояться, и это оскорбляло его. Отказать в помощи он не мог, дело оставалось делом, но иногда, теряя терпение, он рывкал в трубку: «Что я вам — толкач? Сами справляйтесь!» Ему бесстрашно разъясняли: «Без вашего приказа ничего не сделают. Пожалуйте, заставьте!»

Строительство ТЭЦ по-прежнему было главной заботой Дебрева. Здесь он вмешивался в ход дела несдержанно и властно. И с каждым днем ему становилось труднее обвинять кого-либо другого в плохой работе — проваливались его собственные планы и распоряжения. Он часто со злостью вспоминал дерзкие слова Седюка о том, что энергоплощадке нужен не нажим, не окрик, а новое инженерное решение, — слова эти казались ему все более справедливыми. Он думал, искал инженерного решения. Но оно не находилось, оставались нажим и ругань.

После очередного шумного и бесплодного совещания на энергоплощадке в кабинет к Дебреву пришел Сильченко. Присев, он прямо спросил:

— Так что же получается, Валентин Павлович? Неужели ничего не придумаем?

Дебрев опустил голову. Он боялся встретиться глазами с начальником комбината. Он ненавидел в эту минуту всех — Зеленского, Симоняна, полярную зиму, проклятую скалу, Сильченко и более всего самого себя. Вопрос Сильченко поднял в нем все его муки, все невеселые мысли. Его охватывало отчаяние. Какой он, к чертовой матери, главный инженер, если по самому важному, самому сложному вопросу строительства у него нет даже отдаленного, даже приблизительного ответа!.. А Сильченко с волнением, с надеждой смотрел на его осунувшееся лицо.

— Ничего пока не получается, — проговорил Дебрев мрачно. — Нет настоящего решения, нет!

Однажды в ноябре он поехал в цех мехмонтажа.

Кабинет Лешковича — маленькая, почерневшая от пыли комната (единственное окно ее выходило прямо в цех) со стенами, увешанными светокопиями чертежей, — был всегда так наполнен посетителями, как, вероятно, ни один другой кабинет в Ленинске. К Лешковичу приходили выпрашивать всё, чем он был богат, — сварочные электроды, железный лист, болты, проволоку, готовые конструкции, рабочих и мастеров. В комнате стоял гул голосов и сумрак от застоявшегося дыма. Лешкович работал, стоя за обширным, обитым полосой нержавеющей стали столом, и не обращал внимания ни на этот гул, ни на дым, ни на множество устремленных на него глаз.

Как только в кабинете появился главный инженер, гул затих. Один за другим посетители покидали кабинет: лишний раз попадаться на глаза Дебреву никто не хотел.

— Хочу с вами посоветоваться, — сумрачно проговорил Дебрев. — Строительство ТЭЦ начисто срывается. Дело идет к провалу.

— Дайте мне сегодня подготовленные фундаменты, дайте колонны и коробку зданий, и я немедленно начну монтаж — у меня все готово! — запальчиво воскликнул Лешкович. Он решил, что Дебрев собирается устроить ему очередной разнос.

Дебрев тяжело вздохнул.

— Понимаете, Валериан Александрович, не могут вам сегодня строители дать фундаменты и колонны под монтаж конструкций и оборудования. Есть в конце концов объективные трудности, из которых не выдерешься.

— А не могут они мне предъявить объекты для монтажа, значит и монтировать я не могу, — немедленно отозвался Лешкович. — Все упирается в строителей, как видите.

Дебрев угрюмо молчал, о чем-то думая. Потом он заговорил с необычным для него спокойствием. Лешкович, изумленный странной формой беседы, с недоверием на него поглядывал.

— Есть у нас возможности, которые мы не используем. Вы уже сейчас готовы начать монтаж, и, в самом деле, у вас заготовлено все, что можно заготовить. А строители раньше чем через месяц не предъявят ни одного объекта под монтаж. Получается несоответствие — можем монтировать и не имеем условий для монтажа. Казалось бы, самое простое решение — подогнать строителей. Мы их подгоняем, спуску никому не даем. Но со всей нашей подгонкой месяц, а то и полтора отставания. И вот у меня явилась одна мысль, хочу вам предложить. Говорю прямо: может, во всем Союзе имеется только пяток монтажников, которые способны осуществить такой план, и вы, разумеется, среди них.

— Предварительно по головке гладите, чтоб очень не кипятился, — понимающе усмехнулся Лешкович.

— Начинайте монтаж не через месяц, а сейчас, — предложил Дебрев.

— Как — сейчас? — воскликнул Лешкович. — На голом поле монтировать? Под открытым небом? У котлованов, где еще фундаменты не возведены?



— Именно, — подтвердил Дебрев. — Начать сборку агрегатов, монтаж коммуникаций на скале, рядом с постоянными фундаментами, потом собранный агрегат передвигать на его постоянное место. Строители будут воздвигать колонны, а вы тут же собирать перекрытия и потом только устанавливать их на колоннах. То же и со всем остальным.

Вот уж несколько дней Дебрев мучился этой странной мыслью. Она явилась ему во время какого-то заседания и, сгорая, оказалась убедительной: он тотчас помчался на площадку ТЭЦ. Но здесь, на голой скале, под ветром, в ледяной черноте ночи, она быстро перегорела и стерлась. Дебрев молча бродил по площадке, ставил себя на место тех, кто будет претворять в жизнь его идею. Он вернулся в свой кабинет с тяжелым убеждением, что людей, способных вести тонкие монтажные работы на этом проклятом «открытом воздухе», не существует на свете. А идея упрямо возвратилась и потом уже не оставляла его.

Дебрев три дня не выезжал на площадку ТЭЦ — он боялся, что неприглядный вид ее снова опровергнет все доводы. На четвертый день он приехал советоваться с Лешковичем. Он смотрел на задумавшегося Лешковича и, сдерживая волнение, ждал его ответа. Еще месяц, две недели назад он, даже не приезжая, вызвал бы Лешковича к себе и властно распорядился: «Придется переходить на новые методы монтажа, подработайте это задание и через два дня доложите. Ясно?» И сейчас Дебрева подмывало встать, стукнуть кулаком по столу, рявкнуть: «Хватит раздумывать, как бы увильнуть. Разве вы не слышали моего приказа?» Вместо этого он тревожно следил за Лешковичем, пытаясь угадать его мысли.

А Лешкович, жадно потягивая потухшую папиросу, уставясь рассеянными глазами в обитый железной полосой стол, старался представить все «за» и «против» новой идеи. Лешкович не умел мыслить понятиями, закругленными до последней запятой предложениями. Он видел то, о чем думал. В этом, может быть, заключалось его преимущество перед многими инженерами. Там, где на чертежах его товарищи различали только линии и фигуры, перед ним простиралась реальная, хорошо знакомые механизмы. Он вглядывался в разрез мостового крана и слышал грохот и звонки. Кран, живой, оледеневший на морозе, рыча мотором главного подъема, двигался по рельсам в конец цеха, к распахнутым воротам. И Лешкович неожиданно говорил проектировщику: «Ни к чертовой матери не годится, срежьте эту балку или перенесите ворота цеха, вы представляете, сколько снегу нанесет пурга в кабину, если кран по ошибке загонят в этот край?» И сейчас перед ним во всех подробностях разворачивалась удивительная, никем не виданная до этого картина: туманная морозная ночь, в этой ночи прямо на воздухе или под парусиной люди поднимают на фундамент стену собранную тут же на земле, на снегу, гигантского котла. Налетает пурга, ревет осатапельный ветер, скрежешет мороз, прожектора ярко светят, и люди работают. Лешкович ощущал, как у него волосы на голове шевелятся от чувства, похожего на страх и на вдохновение. Он чувствовал себя пловцом, готовящимся прыгнуть с только что построенной гигантской вышки в воду и знаящим, что если он не разобьется, то поставит новый мировой рекорд.

Он постарался сдержаться и не выдать охватившего его волнения. Подняв голову и зажигая папиросу, он проговорил задумчиво:

— А знаете, Валентин Павлович, в принципе все это возможно. Не во всех случаях, конечно, котельный агрегат не смонтируешь отдельно от фундамента, большую турбину тоже. Но на воздухе, без стен, в палатке, монтаж на фундаменте можно попробовать — поднимать части будем лебедками и паровыми кранами. А значительную часть оборудования, паропроводы, другие коммуникации, транспортеры и всякое прочее — все

это можно, пожалуй, монтировать и до того, как поспеют фундаменты и опоры. Но трудно, трудно! Главное — необычно. Совсем новая система — тут и монтажники, и строители, и наладчики. Строителям нужно будет ломать свой график: строить не равномерно, как сейчас они строят, а наваливаться всеми силами на тот участок, где мы собрали агрегат, и гнать фундаменты для нас. Понимаете, о чем я говорю? Может получиться, что в цехе уже краны будут ходить, турбины монтироваться под навесом, а коробка здания еще не возведена, или котел смонтирован, а коробки еще нет и мостовые краны отсутствуют. С точки зрения теперешних норм все это абсурд, невысказанное усложнение.

— Я не говорю, что это просто. И не предлагаю готовых рецептов. Я советую: думайте над этим, потому что у нас нет другого выхода.

— Строительство совмещенными стадиями, — задумчиво говорил Лешкович, не слушая Дебрева. — В будущем, возможно, только так и будут строить. Но сейчас все это кажется фантастикой. Нужно будет подумать, посоветоваться со строителями. От технической возможности так работать до практического осуществления — дистанция огромная.

— Думайте. Советуйтесь со строителями. Вызывайте к себе нужных вам людей, самых высоких начальников...

Лешкович вдруг пронзительно взглянул на Дебрева из-под нахмуренных бровей.

— Хорошо, будем думать. А сейчас я задам вам отнюдь не технический вопрос, Валентин Павлович. Когда такие гигантские работы ведутся на живую нитку, все может быть — гибель людей от аварий и неосторожности, гибель машин. Что, если сорвемся и загубим котел, турбину или генератор? Тогда уже не на месяц затягивается пуск, а совсем срывается. Кто будет отвечать за это?

— Вместе ответим! — жестко сказал Дебрев. — Не бойтесь, в сторону не стану.

Лешкович опустил голову и забарабанил пальцами по столу. Лицо его снова стало рассеянным.

— Будем думать, — повторил он. — Дня через два дам окончательный ответ.

Дебрев встал. Уходя, он напомнил:

— Вызывайте всех, кто понадобится. Могу приказывать прямо, чтоб шли к вам.

На это Лешкович ответил с грубоватой прямоотой:

— А мой звонок почище ваших приказов, и так они все ко мне бегают.

#### 4

Уже через три дня по всему Ленинску пошел слух о том, что строители переходят на какие-то новые, неслыханные в прежней практике методы работы.

В столовой, все более превращавшейся в своеобразный клуб или место деловых свиданий, Седюк узнал подробности. У него уже давно определилось свое место — угловой стол, у окна. В дни, когда он обедал не с Варей, постоянными сотрапезниками его по-прежнему были Лешкович и Янсон. Сейчас к ним присоединился огромный флегматичный Федотов, которого Седюк уже встречал у Газарина, — шеф-инженер по монтажу турбин, недавно прилетевший в Ленинск. Торопливо проглатывая невкусный пшеничный суп с рыбьими головами — его именовали «суп с карими глазками», — Лешкович кричал на весь зал:

— Я вчера Зеленскому по телефону открыл, что он дундук. Ничего у него не поделано и еще месяц не будет.

— Если хочешь знать, — возражал Янсон, — эффективность его взрывных работ просто невероятная для таких трудных условий. А у тебя пока только идеи — слова и похвальба, ничего серьезного!

Седюк поинтересовался:

— Технический переворот устраиваете? Говорят, вы теперь не по очереди будете вести работы — сперва строители, потом монтажники и наладчики, — а все сразу. Верно?

Лешкович самодовольно улыбнулся.

— Переворот не переворот, а решили поставить на дыбы строительную технику. Положение безвыходное — нужно идти на дно или изобретать.

— Трудно вам будет согласовать одновременную работу землекопов и наладчиков, бетонировщиков и регулировщиков, — заметил Седюк. — Одни производят грязь, пыль, грохот, другим нужна чистота и тишина.

— Именно! — подхватил Лешкович. — Вы схватили суть дела. Самое трудное не в технике, а в организации работы. Да, наладчик тончайших механизмов будет работать возле землекопа, вместо простора — теснота. Если в этой тесноте не ввести строжайшего, четкого порядка, теснота превратится в толчею, и все сорвется. Люди должны ходить по строго определенным маршрутам, работать заранее продуманными движениями, каждый сантиметр и каждая минута должны быть взвешены и отрегулированы. А это зависит от Зеленского и его строителей. Вот почему Зеленский так сопротивляется. Он делает все, чтоб сорвать наш план.

— Разве Зеленский не понимает всех выгод вашего нового плана? — изумился Седюк.

— Я это говорю оттого, что разбираюсь в людях! — закричал Лешкович. — В случае удачи вся честь достанется монтажникам, это он понимает не хуже нас. А шишки посыплются на него — работать в чистоте и тесноте он не привык. По-моему, тут возможно только одно справедливое решение — подчинить его нам. Тогда хочешь не хочешь, а придется ему честно тянуть лямку.

— Я слышал, завтра у Сильченко будет совещание. Внесите там это предложение — подчинить вам Зеленского.

— И внесу! — крикнул Лешкович свирепо. — Думаете, побоюсь? Обязательно внесу! И прошу вас, поддержите меня, ей-богу, два хозяина на одной площадке хуже, чем две волчицы в одной берлоге!

Седюк слушал его и думал, что в Лешковиче странно совмещаются два человека — дельный, глубоко мыслящий инженер, страстно увлеченный своим делом, и самодовольный честолюбец, открыто хвастающий каждым своим крупным и мелким успехом. Вот и сейчас больше всего он тревожится о том, кому достанутся лавры, кто кому будет подчинен.

В разговор вступил Федотов. Он аккуратно вытер тарелку куском хлеба и недовольно заметил:

— Оба вы хороши — ты и Зеленский. Думаешь, твоя ржавчина, кувалды и сварщики лучше его пыли и лопат? Если я пошел на это ваше предложение, так потому, что у меня сознательность, — правильно, нельзя больше времени терять. А спуска ни тебе не дам, ни ему. — Он повернулся к Седюку. — Вы представляете, я монтирую турбину из десятков тысяч деталей, а они рядом скалу рвут взрывчаткой или швеллер на швеллер швыряют. Совместимо это? От инструкций своих я не отступлюсь, на это не надейтесь. Я тебе так скажу, Валериан, кто из вас сверху сядет, тому хуже придется.

За несколько часов до совещания Дебрев прошел к Сильченко и подал ему на подпись приказ, обязывающий строителей немедленно переходить на работу новыми методами.

— А как вам кажется, сработаются Зеленский и Лешкович? — спросил Сильченко.

— Обязаны сработать. Сейчас Зеленский сопротивляется, но он вынужден будет подчиниться.

— Мне не нравится это слово «вынужден», — сухо заметил Сильченко. — Было бы куда лучше, если б люди работали не по принуждению, а с воодушевлением. Надо, чтоб они не только работали, а страстно хотели выполнить новый график наилучшим образом. Надо, чтоб их труд стал творчеством, которое само, без принуждения извне, заполнит все их мысли, подчинит себе все их желания.

Дебрев, как всегда, слушал Сильченко с раздражением. Он не терпел общих слов.

— Я не совсем соображаю, чего вы хотите, Борис Викторович, — сказал он, стараясь подчеркнутой вежливостью показать, что рассуждения начальника комбината кажутся ему излишними.

— Я бы хотел, чтоб на площадке в условиях такой сложной и необычной работы был прежде всего один хозяин, а не два. Чтоб этот хозяин с воодушевлением работал и чтобы ему все охотно подчинялись. Сейчас монтажники и строители разъединены — нужно их соединить.

— Организуем единое строительно-монтажное управление, — предложил Дебрев, в котором сразу пробудился интерес, едва Сильченко перешел от общих вопросов к конкретным предложениям.

— Хорошо. А кого назначим начальником этого нового управления: Зеленского или Лешковича?

Дебрев нахмурился. Выбор между Зеленским и Лешковичем был ему неприятен. Лешкович относился к числу признанных его любимцев, с ним первым он обсуждал идею нового метода строительства. А Зеленский — недоброжелатель, открытый противник, упрямо старавшийся все делать по-своему и не всегда признававший дебревское вмешательство. Препрежней вражды между ними уже не было, приходилось терпеть друг друга, но дальше этого вынужденного сотрудничества не шло. Однако выше всего, выше личных привязанностей был интерес к делу, чувство ответственности. Интересы дела требовали назначения Зеленского.

Сильченко терпеливо ждал, понимая, что Дебрев борется с самим собой.

— Можно и Зеленского, — проговорил Дебрев нехотя.

— Пожалуй, Зеленского, — думал Сильченко вслух. — У Зеленского есть недостатки — он горяч, неуравновешен, легко сердится. Но те же недостатки, да еще побольше, есть и у Лешковича. Оба они по духу новаторы, а это важно в новом деле. Организационных способностей у Зеленского больше, чем у Лешковича, — тот блестящий инженер, но все стремится сделать сам и часто забывает о работе других. Стало быть, как начальник Зеленский выше, чем Лешкович. Дальше — новый план разработал Лешкович, при любых условиях он его будет осуществлять с энтузиазмом, для Зеленского, напротив, этот план в некотором роде обуза, вот он и сопротивляется. Да, Зеленский — подходящая фигура, — прервал себя Сильченко. — Итак, решил Зеленского? — обратился он к Дебреву.

— Зеленского, — повторил Дебрев уже спокойнее.

Приняв решение, он больше не раздумывал над ним. Он даже ожидал, представив, как Зеленский неожиданно для себя превратится из противника нового плана в его энтузиаста, — поневоле придется круто перестраиваться, раз будет отвечать за успех этого плана. И, встретив через минуту Зеленского на лестнице, Дебрев вдруг обратился к нему без обычной неприязни:

— Зайдите к Сильченко перед совещанием — есть для вас новость. Надо заранее ознакомиться.

Зеленский не проявил особого интереса. Новые планы раздражали его не так своей неисполнимостью, как тем, что грубо игнорировались все трудности строителей: вместо помощи наваливали им на плечи новые, еще большие тяготы. Зеленский вошел к Сильченко, готовясь к бою. Он сказал с горечью:

— Все понимаю, но как вы на это идете, не понимаю! Неужели вам не ясно, что все эти совмещенные стадии в нашем адском климате — балансирование на острие ножа? Одна крепкая пурга, одна серьезная ошибка в организации работ — и мы летим в пропасть!

— Верно, — согласился Сильченко. — Даже метко — балансирование на острие! Все дело в том, чтобы пробалансировать до конца. При новых методах работ техника ваша становится на грань искусства. Хороший мастер-строитель, как и хороший канатоходец, не оступится во время трудного перехода.

— Хороший мастер! — презрительно фыркнул Зеленский. — Строительство — не цирковое представление, оно не репетируется сто раз. Оно запускается сразу. Где вы найдете такого необыкновенного строителя?

— Я знаю одного такого строителя, — сказал начальник комбината, — и, наверное, у нас он единственный, кто сумеет начать это дело и довести его до конца. Это вы, Александр Аполлонович.

И Сильченко протянул Зеленскому заготовленный Дебевым проект приказа.

Через час новый метод строительства был официально принят совещанием строителей. Лешковича поздравляли, крепко жали ему руку. А он сидел взволнованный, уязвленный, сердито отмахивался от поздравлений и протянутых рук. Седюку он прошептал с негодованием:

— Как это вам нравится? Боретесь против нас не посмел, так решил подмять под себя! К моей идее примазывается... Ну, это дудки! Начальник я — еще так-сяк, а подчиненный — трудный, не обрадуется Зеленский!

На другой день Зеленский вызвал к себе Турчина.

Турчин не верил в то, о чем кругом болтали. Все это было бессмысленно, серьезные люди не должны были принимать такой план. Он, Турчин, не может работать рядом с наладчиками, он производит шум и пыль, сотрясает землю, все это губительно для наладчиков тонких механизмов. Кроме того, ему нужен простор. А Зеленский с увлечением расписывал, как рядом с Турчиным появятся сотни других людей, — он снимает скалу, а около него, тут же, в страшной тесноте монтируют турбину и конденсатор, тянут паропроводы и вакуумные линии, ставят насосы и фильтры, над ним ворочаются краны, свистят сигналисты. И эту очевидную каждому глупость Зеленский называет почему-то передовым методом строительства.

— Конечно, как только появятся наладчики, все взрывные работы на площадке надо будет прекратить, — говорил Зеленский. — Ваше звено было единственным, которое работало вручную на дибазе. А сейчас всех переведем на ручной труд, всем дадим в руки стбойные молотки.

Турчин заметил недоверчиво:

— Вот говорят: методы завтрашнего дня, методы завтрашнего дня... А люди, а инструменты, а условия — сегодняшние...

— Это пустяки! — уверенно сказал Зеленский. — Было бы желание работать по-новому, все остальное приложится. Так как ваше мнение, Иван Кузьмич?

Турчин думал, изредка взглядывая то на Зеленского, то на расхаживавшего по кабинету Симоняна. Мысли, медленные и тяжелые, истороп-

ливо ворочались у него в голове, и каждая оставляла свой отпечаток на замкнутом лице. В нем поднималось и нарастало возмущение. И раньше люди находили новые способы строительства, кирку заменяли отбойными молотками, носилки—вагонетками, вагонетки — транспортерами. Трудности встречались всюду. До войны, в первую пятилетку, разве они были меньше? И, как сейчас, его вызывали к себе инженеры, знаменитые строительные начальники, советовались с ним, просили помощи. Ему прямо говорили: «Трудно, Иван Кузьмич, дело новое, неосвоенное, крепко надеемся на твой передовой пример». Вот как с ним обращались! А эти орут: пустяки! Что они понимают в работе? Дать Зеленскому в руки отбойный молоток — и десять процентов нормы не паворочает. Что это за болтовня: «Преодолеем трудности!», «Методы завтрашнего дня!», «Давай жми!» А сказать ему начистоту, по правде, что чепуху несешь, нельзя так работать, еще накинется, вредителем объявит, на всех собраниях проработает.

— Ничего из этого дела не выйдет,— упрямо сказал Турчин, враждебно глядя прямо в лицо Зеленскому.— Невозможная штука.

Симонян вмешался в разговор и, положив руку на плечо старого мастера, сказал:

— Понимаем, Иван Кузьмич, все понимаем. Но вы посмотрите шире. Вы не только лучший землекоп Ленинска, вы один из самых опытных мастеров страны. Если вы не сможете — никто не сможет, и тогда наша попытка работать совмещенными стадиями пойдет прахом. Если же вы освоите новый метод, вы покажете пример другим, и мы уложимся в заданный срок. Дело не только в кубометрах. Три человека всегда заменят вас по общему кубометражу, но для нас важен ваш личный пример. Мы знаем, все это непривычно, страшно трудно именно своей непривычностью. Надо пойти на это. Найти в себе силы с самим собой побзраться.

Иван Кузьмич снова думал. Нужно было отчетливо представить себе скалу, вспомнить, какие он делает движения, сколько ему нужно пространства, и сообразить, как наладить работу без пыли. А вместо этого вспоминалось совсем другое — дымки над крышами соседних домов, что расходятся в разные стороны, темнота в полдень, яркая полдневная луна, снег, словно светящийся изнутри, сыпучий, как речной песок, ветер, похожий не на ветер, а на несущуюся грохочущую стену. Зеленский с Симоняном, не мешая ему думать, терпеливо ждали ответа.

— Сделаю, — сказал Турчин, вставая. — А что трудно — что же, не мне одному трудно.

Он шел от Зеленского угрюмый и сосредоточенный. Все, что только может мешать работе землекопа, навалилось на него: ночь, морозы, туманы, чертова крепость скалы. Начальники должны бы сказать: бросайте, товарищи, кирку, отставляйте в сторону пневматические клинки — чистый труд землекопа здесь мало пригоден, взрывайте, не скупясь на взрывчатку. Он, Турчин, давно видит, что его искусству здесь дороги нет. А его вызывают и говорят: «Нет, мы не перейдем на машины и динамит, мы не бросим клинка и лопаты». Да, правильно, все здесь мешает ручной работе землекопа, но обстоятельства такие, что только ручная работа нас выручает. И вот он, Иван Кузьмич Турчин, должен один отдуваться за всех, должен своей рукой сделать то, чего не могли сделать машины и взрывчатка. Мало этого, его лишают привычного простора. Его окружают неожиданностями, еще более страшными для землекопа, чем ночи, туман и пурга, — кругом должна быть тишина, чистота, строгий казарменный порядок. И, оправдываясь, они говорят ему: у нас нет другого выхода. А у него какой выход? Разве его хоть раз спросили по-серьезному: а в самом деле, есть ли у тебя выход, Иван Кузьмич?

Седюк получил привезенный самолетом ванадиевый катализатор для окисления сернистого газа в серный и запустил свою кислотную установку. По его команде Яков Бетту закрыл шибер на «свече» — высокой железной трубе, соединившей конвертер с наружным воздухом. Конвертерные газы, ранее свободно относившиеся наружу, теперь должны были проходить длинный путь через электрофилтры, подогреватель, контактный аппарат, поглотитель окисленного газа.

Сразу же обнаружилось, что на стыках и швах есть трещины, — сернистый газ быстро наполнял помещение, пришлось надевать противогазы. Разъяренный Седюк сорвал противогаз, приказал открыть шибер на «свече» и вызвал по телефону Лешковича.

Лешкович примчался через двадцать минут, облазил всю линию газоходов и включенных в их цепь агрегатов. Одуревший, расчихавшийся до слез, почти потерявший сознание, он просипел:

— К утру все залатаем.

— Смотрите! — пригрозил Седюк. — Если где-нибудь останется хоть щелочка, все грехи спихну на вас.

Сварщики работали всю ночь и заделали трещины. Утром установка снова была запущена. Ни один шов не пропускал газа. Воздух оставался чистым. Седюк с Киреевым стояли около Вари и молча следили, как она набирала пробы газа в прибор для анализа и быстро обрабатывала их. Анализы показывали, что процесс идет очень плохо — сернистый газ проносился через контактный аппарат, почти совсем не превращаясь в серный.

— Отравление контактной массы, — уверенно сказал Киреев. — Ни к черту не годится наш катализатор.

Седюк сердито посмотрел на Киреева, но промолчал. Ясно, что контактная масса отравлена, раз контактирование не идет. Но чем она отравлена? Два дня назад он сам рассматривал загруженную в аппарат ванадиевую контактную массу, это были мелкие белые колбаски-гранулы, очень чистые и аккуратно приготовленные. На контрольном испытании в лабораторных условиях они показали высокую активность — весь пропущенный через них сернистый газ немедленно превратился в серный и, растворившись в воде, дал отличную серную кислоту. Что же произошло сейчас? Седюк подошел к контактному аппарату. Это был большой металлический куб, футерованный внутри кислотоупорным кирпичом. Там лежали десятки килограммов той самой драгоценной ванадиевой массы, которая на столе показывала высокую активность, а в кубе веда себя, как обыкновенный битый кирпич или булыжник.

Седюк был взбешен неудачей.

— Гоните газ в свечу, будем разбирать контактный аппарат, — распорядился он.

Когда крышка с контактного аппарата была снята, в цех повалила густая масса едкого газа. Задыхающийся, сразу осипший Седюк отпрянул от аппарата и жестами приказал всем убираться из помещения. Яков Бетту и Най Тэниседо, из любопытства заглянувшие внутрь аппарата, выскочили наружу и повалились в снег. Якова мутило и рвало, Най громко стонал и кашлял, глотая твердый, как камень, снег. Два вентилятора мерно рокотали, отсасывая отравленный воздух и нагнетая свежий. Через двадцать минут в помещение можно было войти без противогаза. Киреев протяжно свистнул, бросив взгляд на контактную массу. Она была уже не белого, а серовато-бурого цвета. Он взял в руку горсть гранул и пересыпал их на ладони — все они переменили цвет.

— Структурное перерождение, — сказал он быстро. — Это просто, как блин.

Но Варя не согласилась с ним.

— Мне кажется, контактная масса просто загрязнена мелкой пылью, — заметила она, внимательно разглядывая гранулы.

— Сейчас решим ваш спор экспериментом, — предложил Седюк. — Дайте-ка сюда стакан и ведро чистой воды.

Он бросил в стакан горсть темной массы и, энергично помешивая, промывал ее водой. Вода становилась мутной, а вапациевые гранулы светлели.

— Грязные! — признал Киреев, с сожалением отказываясь от своей новой теории. — А что смотрел Владимир Леонардович? — закричал он гневно. — Это же чепуха, а не электрофильтры. Вот я его вызову, пусть объяснит, что он за шарашкину фабрику поставил нам вместо фильтров.

Явившийся на вызов Газарин внимательно осмотрел загрязненный катализатор и объяснил, что электрофильтры улавливают примерно девяносто восемь процентов пыли — аппарат самодельный, больше от него требовать нельзя.

— Могу посоветовать только одно — поставить еще один электрофильтр, — предложил Газарин. — Он уловит пыль, которая просочит через первую камеру фильтров, и даст вам достаточно чистый газ.

— По крайней мере на три дня оттяжки, — вздохнул Седюк. — Поиски материалов, изготовление, монтаж... Ну что ж, ничего не поделаешь...

Через три дня газ снова был подан в контактный аппарат. Варя сидела у газоанализатора, стараясь уловить первое появление серного газа. Уже через несколько минут она радостно закричала, что серный газ появился — окисление шло. В стеклянные сосуды газоанализатора засасывался уже не прозрачный газ, а густой белый туман. Он все густел, скапливался над поверхностью растворов, клубами извивался в стеклянных трубках: это и была долгожданная распыленная серная кислота. Варя каждые две-три минуты громко объявляла степень окисления сернистого газа в контактном аппарате. Голос ее, сперва неуверенный, крепнул, она уже не могла сдержать радости — процесс с каждой минутой шел все лучше.

— Пятнадцать... двадцать процентов! — говорила она, оглядываясь. — Тридцать... тридцать два... тридцать пять! Товарищи, уже больше трети всего поступающего газа окисляется! Через какой-нибудь час, если так будет продолжаться, наступит стопроцентное окисление.

Киреев в азарте хватил кулаком по столу.

— Процесс налачился! — сказал он, ликуя. — Теперь нет принципиальных проблем, остается отработать коэффициенты.

Через полчаса ему пришлось признать, что ликование было преждевременным. Процесс стал разлаживаться. Каждый новый анализ показывал, что контактирование идет все хуже. Скоро уже только десять процентов сернистого газа превращалось в серный, а остальное количество проносилось через контактный аппарат без всякого изменения и бесцельно выбрасывалось в атмосферу.

— Видимо, новое отравление контактной массы, — устало сказал Седюк.

— Вздор! Не может сейчас быть пыли. Не верю, — возразил Киреев.

— Пошли спать, — ответил Седюк. — Уж третий час ночи. Утром на свежую голову попробуем сначала.

Утром все повторилось. Контактное взаимодействие вначале пошло, потом приостановилось и поползло вниз. Седюк, несмотря на протесты Киреева, настоял на вскрытии контактного аппарата. Под снятой крышкой раскрывалась чистая беловатая масса без всяких внешних признаков отравления. Анализ пробы этой массы показал, что она сохранила всю свою активность, — сернистый газ, просасываемый струйкой из колбочки через про-



бу, полностью превращался в серный. Разозлённый Седюк швырнул на стол тетрадь анализов и с досадой посмотрел на Киреева. Киреев, забыв порадоваться, что он оказался прав, с ненавистью и отвращением вглядывался в гранулы.

— На этот раз вы угадали, — хмуро сказал ему Седюк. — Никаких отравлений, а окисление не идет. Какой же черт мешает процессу?

— Знаете что, — сказала Варя неуверенно, — может, все дело в температуре? Мы поставили новый электрофильтр, это же целая комната, газ, проходя через нее, дополнительно охлаждается. А подогреватель наш очень мал, он не рассчитан на такой высокий подогрев. Вот газ и поступает в контактный аппарат недостаточно нагретым. Нам требуется сорок пятьдесят градусов при контактировании, ручаюсь, что сейчас температура значительно ниже.

Варя была права — температура в контактном аппарате оказалась градусов на полтора ниже, чем нужно. В этих условиях превращение сернистого газа в серный действительно должно было идти очень плохо. Седюк был подавлен. Это был просчет, самый очевидный, самый возмутительный просчет. И в этом просчете в первую голову виноват он. Хороший инженер должен был это предвидеть, хороший инженер заранее принял бы меры против этого охлаждения. А он не сообразил и не принял мер — оправдывая таким образом ошибку!

— Придется капитально переоборудовать наш подогреватель, — сказал он, стараясь не глядеть на Варю и Киреева. — Тут мы, конечно, проглядели, следовало запастись солидным резервом мощности.

Он злился на себя, произнося эти слова. Перешительные и уклончивые, они не были похожи на те задорные, смелые, какие он произносил еще совсем недавно, убеждая принять этот новый процесс.

Переделка подогревателя заняла еще два дня. За это время по всему Ленинску успели распространиться слухи, что опыт окончился полной неудачей. Янсон при встрече прямо спросил Седюка, верно ли, что все дело лопнуло. Седюк в ответ выругался. Он ожидал нового пуска установки с мучительным волнением.

И снова первый час все шло отлично. Уже не только туман в сосудах газоанализатора — реальная, мутная, концентрированная кислота быстро прибывала в поглотительных баках. Киреев осторожно налил большой стакан этой кислоты. Он поворачивал его, высоко поднимал вверх, словно готовясь произнести тост. Несколько капель кислоты прожгло ему пиджак и брюки. Варя с испугом кинулась замывать их водой. Киреев только рукой махнул и счастливо засмеялся — кислота стояла погубленного костюма. Среди всеобщего веселья и торжества один Седюк был сдержан и невесел. Он постарался улыбнуться, чтобы другие не заметили его состояния, но Варю ему провести не удалось.

— Что с тобой? — шепнула она с огорчением. — Почему ты не радуешься?

— А чему радоваться? — ответил он с упреком. — Что кислота пойдет, мы все знали. А вот как она пойдет? Как концентрация газа скажется на окислении?

Он был прав. По мере того, как газ становился более концентрированным, температура в контактном аппарате поднималась. Она быстро перевалила за необходимые 450 градусов и унеслась к 600 градусам. Температура повышалась, окисление шло все хуже, и кислота больше не прибывала. Потом температура поползла вниз, и окисление восстановилось. Температура прыгала то вверх, то вниз, а газ, не превращаясь в кислоту, выносился наружу. Теперь не только Седюк, но и все сидели притихшие, огорченные... Это была уже не досадная неожиданность, не небрежность монтажа, а органические пороки нового метода.

Варя смотрела на измученного, усталого Седюка, и сердце ее ныло. Она понимала, что он должен испытывать. Всеми силами своей души она сейчас ненавидела и конвертер, и контактный аппарат, и новый метод. Никогда еще она не чувствовала себя такой беспомощной. И никогда еще ей так страстно не хотелось быть сильной, умной, необыкновенно знающей и проницательной. Найти бы сейчас желанный выход, открыть неизвестные секреты и показать их всем! Ей хотелось заплакать, она кусала губы, сдерживаясь. Как все глупо происходит в мире! Если бы ей сказали: отдай свою кровь, здоровье, молодость, она отдала бы сразу, не задумываясь. Но никто не требовал от нее ни жертв, ни здоровья — только простого технического предложения: как сделать так, чтобы газ поступал в контактный аппарат всегда с одной и той же концентрацией? И это, оказывается, было труднее, нежели отдать душу.

Седюк молчал. Он глядел воспаленными от сернистого газа глазами на контактный аппарат и не видел его. «Они были не дураки, нет, те, что до тебя пробовали этот процесс, — думал он мстительно. — Они знали, что делали. Они раньше нашли что-то особое, что-то такое, о чем ты даже не догадываешься, и только тогда решились. А ты поймал случайную мысль и развонил повсюду: нам-де море по колено! Так поделом же тебе!»

## 7

После окончания института Зеленского оставляли в Москве инженером по проектированию промышленных сооружений, но он поехал в тайгу. Он был одним из немногих строителей, кто попал на Крайний Север не случайно и не по приказу, а по внутреннему побуждению, — его привлекала совершенно тогда не изученная проблема: строительство крупных промышленных и гражданских сооружений на вечномёрзлых грунтах. В Ленинск Зеленский летел, зная, что его там ждут суровый климат, жесткие сроки и крутые начальники. Его ожидания оправдались. Но было в Ленинске и другое: нигде не встречал он столько блестящих инженеров, такого талантливого коллектива, умеющего изобретательно решать сложнейшие технические задачи и со страстной энергией преодолевать все неизбежные трудности.

Однако Зеленский был не только одаренным инженером, но и человеком с обычными человеческими недостатками. Властолюбивый и обидчивый, он часто бывал пристрастен и несправедлив. Недостатки и достоинства строительства совмещенными стадиями были ему ясны с самого начала, но это было трудное, а главное, чужое дело. План Сильченко блестяще удался. Зеленский к делу, которое он возглавлял, не мог относиться как к чужому. Оно немедленно превращалось в его мысль, в его приказ, действие. Он стал деятельно переучиваться и властно переучивал других. Монтажа сложных механизмов он никогда хорошо не знал. Приходилось на ходу, среди неотложных дел, знакомиться с конструкциями, вникать в чертежи котлов, турбин генераторов, трансформаторов, технологических схем — и не только знакомиться, но и принимать самостоятельные решения. В кабинете у него стало тесно и шумно — кругом звонили телефоны, вбегала и выбегала секретарша Елизавета Борисовна, шли прорабы, бригадиры, инженеры, вторгались с жалобами монтажники и наладчики, — Зеленский, сидя за своим столом, среди общего шума и гомона учился работать тоже «совмещенно»: говорил по телефону, одновременно подписывал бумаги и тут же одним глазом просматривал разбросанные по столу чертежи.

Зеленский понимал, что на первых порах столкновения между ним и Лешковичем и Федотовым неизбежны. Лешкович монтировал самые крупные металлургические заводы страны, за спиной Федотова стояли десятки

налаженных и пущенных в эксплуатацию турбин. Можно было, конечно, без рассуждения исполнять их планы, делать то, что ему подскажут. Таких начальников было много, и жизнь их была спокойной и беспечальной. Но Зеленский по самой своей натуре к ним не принадлежал.

Ссоры с Лешковичем начались сразу. Лешкович, взбешенный тем, что его отстранили от руководства, старательно исполнял свою угрозу — был трудным подчиненным. В Зеленском он видел только соперника. Даже то, что Зеленский быстро постигал секреты монтажного дела и не щадил ни времени, ни сил для того, чтобы ускорить работу, казалось ему подозрительным. Он не терпел, когда Зеленский вмешивался в его, Лешковича, дела. «Строительство — не поэма, которую поэт пишет один, — сухо сказал ему как-то Зеленский, — в одиночку вам свою идею все равно не осуществить. Славой мы как-нибудь сочтемся, а теперь давайте думать о деле».

Лешковичу было приятно, что Зеленский так открыто и безоговорочно признает его инициатором новых методов, — чем дальше, тем больше он забывал, что идею этого метода подсказал ему Дебрев. Он отступил, а после того, как в горячую пору монтажа они заночевали на одном столе в конторке, еще более смягчился, хотя о своих подозрениях забыл не сразу. После этой ночи они перешли на ты.

С Федотовым же не было никакого сладу. Упрямый шеф-инженер был недоволен всем на свете: сотрясение скалы мешало установке вала в подшипниках, сквозь щели проникал снег, от работы землекопов поднималась пыль, у самой турбины прогуливались, дьявол их знает зачем, строительные рабочие. Если так будет продолжаться, монтаж первой турбины сорвется.

Зеленский решил поступить с Федотовым так, как с ним самим поступил Сильченко. Он предложил шеф-инженеру новый план организации работ.

— Нужно, чтоб на вашем участке монтажа все было подчинено вам. Чтобы было так: что вы скажете, то закон. Вы должны не предъявлять строителям требования, а руководить ими.

— Это будет хорошо, — одобрил Федотов. — Пора наконец понять, что монтаж турбины — это не сборка трактора. Такие вещи в плохо оборудованном сарае не сделаешь.

— Вы правы, — согласился Зеленский. — Я сегодня доложу полковнику, пускай дает приказ о том, что на участке монтажа турбин все подчиняется вам. Конечно, на вас возлагается ответственность не только за монтажные, но и за строительные работы.

Федотов был ошеломлен таким оборотом дела. Он попробовал спорить: его дело — турбина и ее ввод в эксплуатацию. Если говорить начистоту, то ни строительство как таковое, ни сроки пуска комбината его совершенно не касаются. Ко всем этим вопросам он не имеет прямого отношения, и они могут интересовать его лишь со стороны, как наблюдателя чужой работы. Он не может превышать права, предоставленные ему его заводом, и не собирается брать на себя дополнительные обязанности.

— Кроме обязанностей, изложенных в вашем командировочном удостоверении, — жестко возразил Зеленский, — у вас есть обязанности советского человека. Пуск комбината повышает обороноспособность нашей Родины. Нужно ли так понимать вас, что вопросы изгнания фашистов из нашей страны вас интересуют как наблюдателя со стороны, лишь как чужая работа?

Федотов даже побледнел от негодования.

— Я никому не позволю так ставить вопрос, — отрезал он. — Я согласился проводить все эти рискованные эксперименты с турбиной, я иду,

может быть, на потерю своей репутации инженера, чтобы помочь вам. Но вашу работу делать не намерен!

Он встал, собираясь хлопнуть дверью. Но Зеленский задержал его. Зеленскому пришлось извиняться — шеф-инженер долго не мог успокоиться и не желал ничего слушать. Но понемногу доводы Зеленского убедили его. Будет все же лучше, если в создавшихся запутанных условиях он примет под свою властную руку строителей и монтажников, — резон в новом плане Зеленского есть.

— Ладно, выпускайте приказ, — сдался наконец Федотов. — Придется показать вашим неотесанным строителям, что такое настоящая культурная работа.

Зеленский с минуту остывал после нелегкого разговора, потом отправился в котельный цех. Он торопливо пробирался на монтажную площадку. Здесь, прямо на открытом воздухе, Лешкович монтировал первый котельный агрегат. План его был смел до дерзости, он сам определял его так: «Себя переплюну, больше такого не будет!» Сегодня проводилась одна из ответственных операций — установка на котле предварительно сваренной в стороне двадцатиметровой стальной трубы.

На котельной площадке не было ничего похожего на строгий порядок турбинного помещения. Всюду валялись материалы, лебедки, тросы, кирпич; тропки, проложенные в снегу, пересекали кабельные линии и трубопроводы, люди не ходили, а прыгали через препятствия. Площадка была залита светом прожекторов, в центре ее возвышался гигантский, весь покрытый снегом и льдом котел. Ветер свистел в конструкциях, но никто не обращал на него внимания, только временами кто-нибудь из сварщиков громко ругался, когда у него задувало плохо защищенную дугу.

Вокруг котла уже выросло помещение; голова котла еще смотрела в тучи, а с боков громоздились конструкции цеховых стен, на колонны укладывались рельсы мостового крана. Зеленский поднялся на стену, отделявшую машинный зал от котельного помещения. Далеко внизу виднелись шатры Федотова, в которых он монтировал свою турбину. Зеленский взглянул в провал и с волнением отвел глаза — даже отсюда, с тридцатиметровой высоты, лежавшая на земле подготовленная к монтажу труба казалась огромной.

— Алло, Саша! — громко крикнул откуда-то сверху из морозного тумана голос Лешковича. — Через полчаса поднимаем!

Лешкович, веселый и живой, прыгнул на балку. Зеленский невольно отшатнулся, страшась столкновения на такой высоте. Лешкович жадно затянулся толстой махорочной папиросой — бумага вспыхнула ярким пояском пламени.

Несколько мощных балок, протянутых по колоннам, образовали, скрещиваясь и переплетаясь, опору для трубы. Тросы, перекинутые через блоки, уходили вниз, к трубе и невидимым в котельном помещении лебедкам.

— Начинаю! — сказал Лешкович, сплюнув папиросу и хватаясь снова за кiset.

— Пятьдесят один градус, — тихо проговорил Зеленский. — Я не поверил, позвонил Диканскому.

— Чепуха! — бодро отозвался Лешкович, всматриваясь в машинный зал. — Сейчас поздно перерешать. Об одном прошу: смотри, но не мешайся.

Каждое слово Лешковича передавалось многими голосами вниз — на балках стены в несколько этажей стояли люди. Зеленский отошел в сторону, чтобы не мешать. Он слышал знакомое: «вира!», «вира помалу!», «майна!». Слова эти приобрели неожиданный и грозный смысл — десятки

тони металла пришли в движение, медленно поползли вверх. Покачиваясь в воздухе, труба, влекомая тросами, шла на свое постоянное место.

Зеленский знал, что ему предстоит невиданное зрелище. И хотя все расчеты показывали, что технического риска не избежать, только сейчас он всем своим существом ощутил ужас того, на что они решились. У него кружилась голова, тряслись руки, пересохло в горле. Внизу работали люди — десятки, нет, сотни людей — монтажники, наладчики, землекопы, машинисты, подсобные рабочие. В шатрах шла сборка турбины и генератора. Все могло быть. Проклятый мороз в пятьдесят один градус делает свое дело — сталь превращается в стекло, теряет прочность. Тросы старые, много раз бывавшие в работе. Если хоть один из них не вынесет соединенного усилия мороза и непомерной нагрузки и лопнет, всем этим людям, всем этим машинам, всему их делу придет конец: тяжкие тонны металла, сорвавшись с такой высоты, превратят все в брызги. И ему, Зеленскому, тогда останется одно — вслед за трубой вниз головой, на свою изуродованную турбину!

Он подавил рвавшийся из груди крик — труба, остановившись в воздухе, покачивалась над шатрами. Зеленскому слышался зловещий топот тросов. Но Лешкович невнятно прокричал какое-то ругательство, труба снова начала подниматься. «Людей-то мы ведь могли убрать! — отчаянно крикнул про себя Зеленский. — Зачем мы людей оставили?» Чуть не падая сам, он склонялся над провалом, глазами, стуком сердца торопя медленно двигающуюся трубу.

А затем, как показалось ему, спустя целую вечность, труба тихо проплыла мимо Зеленского и стала подвигаться к котлу. Около нее, подпрыгивая на небрежно брошенных на перекрытия досках, сповали люди. Зеленский сорвал с головы шапку и, мгновенно окутавшись густым паром, вытер мокрые волосы и лоб. «Так люди седеют в один час!» — подумал он с облегчением. Он пошел вслед за остальными. Самое страшное кончилось. Если бы труба сорвалась сейчас, она рухнула бы на голую скалу, прикрытую снегом, в крайнем случае, на груды монтажных материалов. Еще несколько тревожных минут прошло, когда трубу выворачивали из горизонтального положения в вертикальное. Потом к Зеленскому подошел сияющий, ликующий Лешкович.

— Ну, что скажешь? — крикнул он. — Лихо, никто не подкопается, лихо!

Зеленский с изумлением смотрел на Лешковича. Ему казалось, что он впервые видит это подвижное румяное лицо, — на нем было только удовлетворение, ничего, кроме удовлетворения и гордости.

— Неужели ты не боялся? — крикнул Зеленский. — Ведь внизу люди, машины, на таком морозе все возможно. Поверишь, я стоял в стороне и обливался потом от волнения.

— Нашел, на что тратить пот! — презрительно фыркнул Лешкович. — Я же тебе показывал предварительные расчеты — мы исходили из морозов в пятьдесят пять градусов, взяли тройной запас прочности. Этого было вполне достаточно. Математика, как всегда, торжествует.

Но Зеленский как будто забыл, что он такой же инженер, как и Лешкович, он был еще во власти испытанного им потрясения. Он снова посмотрел на машинный зал и, содрогнувшись от того, что могло произойти, если бы они ошиблись, настойчиво продолжал:

— Я понимаю, расчет правильный. Но вот если бы не было наших особых условий — ну, войны, сроков и прочего, — ты пошел бы на это? Только честно, Валериан, честно!

Лешкович неожиданно рассердился.

— Убирайся к чертовой бабушке! — заорал он. — Слышишь, немедленно проваливай! Чего пристаешь с глупостями?

С Непомнящим происходили важные перемены. Он открыл, что в нынешних трудных условиях работать много интереснее, чем отлынивать от работы. Больше всего в мире он боялся скуки, а сейчас выходило, что лениться попросту скучно. Самые остроумные его шутки часто вызывали не смех, а раздражение, — его, не стесняясь, называли трепачом. Если же он сообщал, какие ему удалось достать реактивы и материалы, его слушали почти с уважением. Непомнящий, раньше судивший о людях по их умению быстро сочетать слова и бойко их произносить и на этом основании относившийся к самому себе с любовью и восхищением, вдруг стал понимать, что играет мелкую и, пожалуй, жалкую роль среди других людей.

Было и еще одно обстоятельство. Пурга раскрыла ему глаза на самого себя. Теперь вся его жизнь распалась на две неравные части — до великой пурги и после нее. О чем бы он ни говорил, он сворачивал на пургу. Он не забыл, как валялся в снегу и погибал, но это казалось ему неважным по сравнению с тем, что было после.

— Все дело было в простой неожиданности, — утверждал он. — Я сразу перешагнул из уютной комнаты с водопроводом и электрическим освещением в девятый круг Дантова ада. И все-таки дьявол ничего не мог со мной поделать — я потом три раза выходил навстречу ветру и смеялся ему в рожу!

Это новое чувство уважения к себе сказывалось во всем. Раньше он ходил в учебный комбинат со скукой и, хотя быстро схватывал все объяснения лекторов, ничего не знал, так как еще быстрее все забывал. А сейчас ему обидно было плестись в хвосте, и он легко занял первое место в своей группе. Он познакомился со всеми электриками площадки, а главный энергетик завода, робкий, но знающий человек, читавший у них в группе курс электрических машин, очень привязался к нему. И никто — в том числе и сам Игорь — ничуть не удивился, когда приказом по медному заводу Непомнящий был назначен заведующим третьей аккумуляторной подстанцией.

Чистое, светлое помещение сразу пленило сердце Непомнящего.

— Мне здесь нравится, — сказал он Мартыну, восхищенно осматриваясь. — Я уже наметил ведущую точку для кипятильника. В вопросах эксплуатации электрооборудования хорошо приготовленный чай играет существенную роль. Но, по-моему, здесь все придумано однобоко. Вот целая панель уставлена лампочками, а сзади панели монтируются сирены. Дежурного на подстанции непрерывно атакуют световыми сигналами, звонками, воплями, ревом, и все это для того, чтоб сообщить ему, что делается с конвертерами в цехе. А о том, что делается с ним самим, никто не знает. У него, может быть, болит сердце, душа разрывается на части, в аккумуляторах взорвался газ, начался пожар на подстанции, и на все случаи жизни только одна телефонная трубка.

— А вы сделайте встречную сигнализацию в цех, Игорь Маркович, — посоветовал Мартын. — Хотя вряд ли проектный отдел согласится переделывать чертежи, — прибавил он с сомнением.

Непомнящему предложение Мартына понравилось.

— Чихал я на проектный отдел! — заявил он вдохновенно. — Сейчас мы с тобой пойдем к Газарину. Он набросает мне схему сигнализации. Мартын, какое сегодня число?

— Двадцать второе декабря.

— Я всегда замечал, что гениальные идеи приходят только по четным числам, — сказал Непомнящий.

— Этот день и так особенный. Сегодня самый короткий день и самая

длинная ночь в году. У нас в Сибири говорят: «Спиридон на повороте — солнце на лето, зима на мороз, медведь на левый бок».

Перед уходом Непомнящий и Мартын прошли по цеху. Сорокаметровые стены плавильного цеха были уже выведены, заканчивался монтаж перекрытий и сборка крыши. Огромное помещение казалось еще больше оттого, что было пустынно, — еще ни один агрегат не был смонтирован. Стены побелели от осевшего на них инея и льда. Несколько крупных ламп и два прожектора боролись с морозным туманом, густо заполнившим все помещение. Слышался тяжкий грохот — две бетономешалки смешивали цемент с гравием и щебнем.

В цехе было много рабочих. Строители устанавливали в котлованы арматуру, плотники шивали опалубку, сварщики варили конструкции.

— Здравствуйте, товарищ Бугров! — радостно сказал Непомнящий, подходя к Бугрову, которого еще не видел с той памятной ночи.

Бугров взглянул на него с недоверием — он плохо видел в морозном тумане, но потом лицо его посветлело, и он протянул руку, одетую в две варежки.

— Пришел нас проведать, Игорь? — спросил он. — А я уж думал, ты совсем пропал. Где работаешь?

— Здесь работаю, — сообщил Непомнящий, обрадованный, что встретил знакомого, который был свидетелем его мужественного поведения во время пурги. — Совсем перебрался сюда. Назначен к вам на подстанцию.

— Током заведовать будешь?

— Током. На днях принимаю подстанцию.

— Это хорошо, — одобрил Бугров. — С током у нас неважно. Нужно, чтоб бетон остывал постепенно, а ток никак не регулируется, дело идет без хозяйского глаза. Вот эти фундаменты для отражательной печи кончим уж без тебя, а на фундаментах конвертеров ты будешь у нас главным, станешь регулировать температуру по графику.

— Не подведу, — пообещал Непомнящий.

И, обернувшись к Мартыну, он сказал ему с гордостью:

— Знакомься, Мартын, с Иваном Сергеевичем Бугровым. Мы с ним старые знакомые — вместе людей спасали в ту бурю. Помнишь, я тебе рассказывал?

— Было дело, — пробормотал Бугров, пожимая рукавицей рукавицу Мартына.

## 9

Жуков давно понял, что за ним следят. Он перестал пьянствовать, играть в карты. Он не устраивал дебошей, старался по-настоящему, без приписок, перевыполнить производственные нормы, даже выступил на собрании с предложением улучшить качество сварочных электродов. Секретарь партийной организации строительства посоветовал отметить его в стенной газете, и портрет Жукова целый месяц висел на стене в конторе под крупным заголовком: «Стахановцы освоили сварку при низких температурах».

И все же он знал: его подозревают. Он не мог сказать, кто приставлен следить за ним, — может быть, такого человека и не было. Но у него было такое чувство, словно его, как медведя в берлоге, со всех сторон обложили охотники, и круг поисков сжимается все теснее. Командант, заходя в их комнату, прежде всего подозрительно поглядывал на Жукова. Петрович, сторож общежития, если Жукова не бывало вечером дома, осведомлялся, где он. Соседи по комнате с особым вниманием прислушивались к каждому его слову.

Однажды Жуков встретился с Парамоновым. Он варил арматуру для фундаментов конвертеров и, подняв голову, увидел проходившего мимо

Парамонова. Угрюмый, полный ненависти и озлобления взгляд столкнулся, как кулак с кулаком, со строгим пронизательным взглядом. И Парамонов и Жуков тотчас отвели свои глаза — один не хотел выдать, что следит, другой не хотел показать, что знает об этом.

Все это было нехорошо. Жуков поверил свои опасения Редько. Но Редько почтительно осмеял их.

— Пустое, Афанасий Петрович. Просто слава об нас такая, что на ноги наступать не следует, вот все и сторонятся. А комендант на всех смотрит нехорошим взглядом — знаешь, как сейчас подтянули? Петрович обо всех спрашивает, кого нет, не об нас одних. Самое главное — документы у нас исправные. Смотри, как с той машиной спокойно дело прошло — двоих завалили начистяк, и никто не рюхнулся. А если бы и взяли, так прямых доказательств давно нет, а по подозрению — для суда недостаточно.

— Если возьмут, для суда чего-нибудь подберут, — мрачно проговорил Жуков. — Надо, чтоб совсем не брали, понял? Я людей этих знаю, они ничего не забывают. Начнут копать — докопаются, сколько годков мы с тобой по лагерям таскались, думаешь, понравится? И вины прямой не найдут, а на волю таких побоятся выпустить. Нет, надо не попадаться. Боюсь я за тебя, Миша, станут к тебе ключи подбирать — расколешься!

— Не расколюсь — сам знаю, чего это потянет.

— Эх, не ко времени нам прятаться, — с досадой сказал Жуков. — Хочется мне главное дельце провернуть.

— Что ты, Афанасий Петрович! — с испугом зашептал Редько. — Засыпемся мы в таком деле, тут уж спрятаться не удастся. Ни в коем разе, говорю тебе!

Жуков злобно глянул на него, но промолчал.

Мысль о крупном деле не оставляла его. Жуков понимал, что подозрения, окружавшие его, сами по себе ничем ему не грозят. Он привык с пренебрежением относиться ко всякому розыску — хоть он не раз сидел в тюрьме по прямым уликам, а не по подозрению, все же то, что про него узнавали, было куда меньше того, что он в действительности совершал. Самые крупные его преступления так и не были раскрыты. А сейчас все благоприятствовало ему: полярная ночь, морозный туман.

И в день, когда кассир пришел выдавать зарплату, Жуков решился. Он сидел на металлической ферме, лежавшей среди кирпича, и делал вид, будто чинит отказавший сварочный аппарат. Жуков вызвал для этого Редько, работавшего дежурным слесарем.

План его был прост. Вечером в цех придет кассир выдавать зарплату ночным сменам. До одиннадцати он будет дремать в конторке мастеров над своим мешком, а в десять они это дельце провернут. Нужно будет посадить цех в темноту, люди, конечно, кинутся в кабинет начальства, на телефоны, а они втроем с Пашкой Поливановым — в конторку мастеров. Охранника, чтобы он стрельбу не поднял, возьмет на себя Пашка, а Жуков потолкует с кассиром. Того поганца на подстанции, что взялся завладеть светом, он тоже берет на себя — дело привычное, не ошибется!

Редько долго не соглашался. Его и жадность томила — в мешке кассира верных двести тысяч, ради такого куша стоит рисковать! — и мучил страх: ограбить кассу — дело нешуточное, за это возьмутся по-настоящему. Кроме того, и Парамонов в цехе, только что столкнулся с ним нос к носу, — что, если он к десяти не уберется?

Жуков потерял терпение. Грозно поблескивая глазами, он объявил, что пойдет с Пашкой без Редько. Но только после этого Редько живому не быть — Жуков предателей не милует, нет. И Редько сдался.

...Непомнящий переселился на подстанцию и разместился в ней, как дома. Он жил здесь в полное свое удовольствие — пил густой чай цвета



отработанного машинного масла, звонил по телефону Кате Дубининой, принимал гостей: приходили Лесип и Назаров, особенно часто бывали Мартын и Катя, прибежали Яков Бетту и Най Тэписедо, как-то заглянули даже Жуков и Редько, работавшие по соседству. Все интересовались аппаратурой, и Непомнящий так часто ее объяснял, что, в конце концов, сам прекрасно ознакомился со всеми схемами, механизмами и приборами.

Непомнящий не удивился, когда к нему зашел Жуков.

— Работаем, начальник? — спросил Жуков, одобрительно мотнув головой на литровую банку с чаем. — Работешка у тебя неплохая.

— Работа не пыльная, — согласился Непомнящий.

— Холодно на дворе, — сказал Жуков, расстегивая полушубок и садясь на стул. — У меня сварочный аппарат из строя вышел, теперь Редько его налаживает. А я вспомнил, что ты тут хозяйством командуешь, зашел погреться. Не выгонишь?

— Какой может быть разговор, сиди!

Непомнящий не любил и побаивался Жукова. Он при нем чувствовал какое-то стеснение. Жуков, развалившись на стуле, смотрел на Непомнящего взглядом, полным насмешливого любопытства, и, казалось, наслаждался тем, что смущал и связывал его. Чтобы не показать своего смущения и тревоги, Непомнящий подошел к столу, стал пить чай.

— Рассказал бы, что к чему тут у тебя, — предложил Жуков.

— Можно рассказать. — Непомнящий был готов на все, лишь бы прекратить это гнетущее молчание. — На этих щитах несколько панелей. Вот на этой дистанционная сигнализация от конвертеров и на конвертеры, тут же выключатели освещения в цехе. Это аварийный щит — в случае отключения станции электроэнергетики конвертеры переходят на аварийное питание от аккумуляторов. Это самые важные панели. — Он сжал губы и значительно посмотрел на Жукова. Лицо Жукова выражало спокойное любопытство. — Это аккумуляторное хозяйство, токи зарядки, разрядки. — Непомнящий переходил от панели к панели, дотрагиваясь до приборов рукой.

— Интересная штука, — сказал Жуков равнодушно. — Все предусмотрено, чего требуется. А работает ли все это в натуре?

— Можешь не сомневаться, — заверил его Непомнящий. — Работает, как часы.

— Проверить надо, — наставительно заметил Жуков. — Это мы сделаем так: выключи-ка мне все освещение в цехе, начальник!

Непомнящий с ужасом смотрел на Жукова. На лице у того проступала кривая жесткая усмешка. Непомнящий невольно глянул на телефон. Жуков, не торопясь, стал между ним и телефоном и выразительно подмигнул.

— Ты шутишь? — отступая на шаг, спросил Непомнящий.

Жуков сделал шаг к нему.

— Нужное дело, — пояснил Жуков со злобной усмешкой. — Свидание у меня с девицей в цехе, при свете она стесняется. Выключай, пока похорошему прощу. — Голос Жукова стал грозным, он сунул руку за пазуху и вытащил нож.

Поблуднев, Непомнящий, как зачарованный, смотрел на нож. Он знал все, что сейчас произойдет. Он вдруг увидел все в безмерно яркой картине — щит до конца не оборудован, выключив освещение, он отключит прогрев бетона, на дворе почти шестьдесят градусов, зима сейчас же начнет свое дело, недели работы, сотни тонн первоклассного цемента — все пойдет прахом. И что бы он ни сделал, в темноте или при свете, конец у него будет один — Жукову свидетели не нужны. У него остается, может быть, минута жизни — нужно успеть сделать все, что можно успеть.

Жуков, с грозным вниманием следивший за выражением лица Непомнящего, сразу все понял. Непомнящий рванул рукой рубильник ава-

рийной сигнализации, и в тот же миг Жуков с силой ударил его ножом в спину. Вспыхнули сигнальные лампы, завывли высокими голосами сирены, из цеха донеслось острое дребезжание звонков. Не помня себя от ярости, Жуков наклонился над рухнувшим на пол Непомнящим и еще ударил пожом в бок и в спину. Вой сирен и дребезжание звонков сводили с ума. Жуков метнулся к щиту и включил первый попавшийся отключенный рубильник. Теперь все мигало, грохотало и звенело на самой подстанции. Оглушенный этими звуками, ослепленный мигающим светом ламп, Жуков кинулся за дверь и столкнулся с бежавшим ему навстречу Парамоновым. Жуков выругался и нанес удар ножом. Парамонов успел ударить его револьвером сбоку по кулаку, и правая рука Жукова, не выпуская ножа, метнулась в сторону, как отраженный мяч. Но сам Парамонов качнулся, и его настиг удар левой руки Жукова — он рухнул в снег. Жуков бросился бежать. Когда Парамонов падал, Жуков снова замахнулся ножом, но времени уже не было — к подстанции со всех сторон бежали люди.

Преследуемый этими людьми и всем сирен, Жуков неся по какой-то подвернувшейся ему на глаза лестнице. Пробежав несколько ступенек, он понял, что взбирается на недавно смонтированные газоходы, и у него явилась надежда на спасение. Теперь все дело было в быстроте. Нужно было пробежать по газоходу, добраться до ходившего уже мостового крана и перебраться по нему на другую сторону цеха, где стена еще не была заделана, — в черной пустоте полярной ночи ему удастся исчезнуть. Что будет дальше, сможет ли он вообще скрыться в маленьком поселке, отрезанном от всей страны тысячами километров снежных пустынь, Жуков не думал, он бежал, как зверь.

Вверху, на высоте двадцати метров над землей, тянулись установленные на фермах перекрытый два газохода конвертеров, диаметром почти в три метра каждый. Жуков прыгнул на один, перебежал по дощечке на другой и ударом ноги сбросил дощечку вниз. Почти одновременно с ним на первый газоход прыгнул Парамонов. Они бежали по газоходам, разделенные провалом шириной в полтора метра и глубиной в двадцать. В этом провале, в тускло освещенном туманном пространстве, метались и кричали люди, с ужасом следя за их бегом по обледенелым стальным трубам.

Еще несколько человек взбежали наверх и прыгнули вслед за Парамоновым на первый газоход.

Жуков понял, что ему не уйти. Он мчался изо всех сил, скользя по льду, покрывавшему газоход, а рядом с ним, не отставая ни на шаг, бежал, сжимая револьвер, Парамонов. Жуков знал, что, если Парамонов остановится и выстрелит, наступит последняя минута его жизни, — на газоходе прятаться негде, цепляться не за что, а Парамонов промаха не даст. Но Парамонов, по-видимому, стрелять не собирался. Жуковым овладело отчаяние.

— Стреляй, сука! — крикнул он бешено, не останавливая бега. — Почему не стреляешь?

Слова Парамонова были полны ненависти:

— Живого надо! Живого тебя возьму!

— Врешь, не возьмешь! — прохрипел Жуков и, не думая, что делает, прыгнул на первый газоход, прямо на Парамонова. Его огромное тело пронеслось над провалом и секунду качалось на ногах, судорожно цеплявшихся за кривую поверхность газохода. Эта секунда спасла Парамонова, понимавшего, что любое столкновение на обледенелой трубе грозит гибелью им обоим — падение было неминуемо. Парамонов отбежал назад и вытянул руку с револьвером.

— Пулей встретишь? — криво усмехаясь, спросил Жуков.

Он готовился к прыжку — выгибал туловище, отбрасывал в сторону руки.

— Теперь пулей! — твердо сказал Парамонов, зорко наблюдая за его движениями. — Сдавайся, Жуков, спасения тебе нет.

Но Жуков повернулся и снова побежал по газоходу. Временный помост соединял газоход с подкрановыми путями. Жуков прыгнул на помост и помчался по балке, по которой ходил мостовой кран. Делая огромные прыжки, он оторвался на десяток метров от Парамонова. Машинист, увидев Жукова с ножом в руке и бегущего за ним Парамонова, в страхе погнался кран в конец цеха, а тележку с цепями и крюком, передвигавшуюся по мосту крана, на другую сторону цеха. На кране еще не уложили мостового настила, и просто перебежать по нему было невозможно. Жуков, уцепившись за трос рукой, прыгнул вперед на уходящую тележку. Ему удалось ухватиться за свисавшие цепи, и кабина медленно проплыла мимо него и осталась позади. Трясущийся от страха машинист забился в угол. Жуков видел уже приближающиеся спасительные пути второй стороны цеха. Но Парамонов кинулся к уходящему крану и крикнул что-то, чего Жуков не разобрал, — машинист быстрым движением подскока к пульту управления, перевел рычаг и снова забился в угол. Теперь кран стоял на месте, а тележка шла обратно, прямо на Парамонова и других людей, стоявших вместе с ним на подкрановых путях.

— Гони назад, сука! — хрипел Жуков, готовясь прыгнуть на кабину, когда тележка снова поравняется с нею.

Но бледный машинист смотрел на Жукова круглыми от ужаса глазами и не шевелился.

Когда тележка проходила над опалубками конвертеров и до Парамонова оставалось всего несколько метров, Жуков, озверев от отчаяния, оттолкнулся ногой от цепи, с силой рванулся в кабину. Машинист громко вскрикнул. Нож короткой вспышкой света блеснул у самого его лица, но не задел его, а Жуков, потеряв опору, упал вниз на железные прутья, сваренные им самим и теперь заливаемые горячим бетоном. Парамонов и другие смотрели, как быстро уменьшается, падая, огромное тело Жукова. Он падал с двадцатиметровой высоты без крика, и прошло почти три секунды, пока до слуха стоявших наверху донесся влажный звук удара.

— Начисто! — с ужасом проговорил кто-то, всматриваясь в распростертое внизу тело.

— Собаке собачья смерть! — ответил Парамонов. — Товарищи, идите вниз. Скорая помощь, наверное, уже вызвана, может быть удастся спасти Непомнящего. А я пойду брать всю шайку — Жуков был не один.

## 10

Зина Петрова выздоравливала медленно. Она и не знала, в какой опасности находится ее жизнь. Доктор Никаноров приходил к ней каждый день, и вид у него был такой, словно он не просто осматривал больную, а чего-то тщательно и настороженно искал. После осмотра он сердито отдавал распоряжения сиделкам, а уходя из палаты, снова взглядывал на Зину, и в этом взгляде была тревога. Зина ничего не замечала. Ей было плохо: она не могла без посторонней помощи повернуться на другой бок, а поворачиваться хотелось каждые пять минут — тело быстро уставало от лежания. Она видела во время перевязок, что на месте вздувшихся волдырей появились струпья и раны, и плакала от боли, когда ее смазывали марганцовкой. Костылину, часто приходившему к ней, она постоянно жаловалась на больницу, ей хотелось поскорее вернуться домой:

— Вот увидишь, как только смогу встать, сейчас же убегу из больницы и тогда сразу выздоровею.

Он молчал, не возражая. Он знал то, чего она не знала.

— Как вам приходится больная Петрова, молодой человек? — спросил как-то Никаноров, строго глядя на маленького веснушчатого Костылина.

— Так... Работаем вместе, ну, дружим,— неопределенно ответил Костылин и, испугавшись, что доктор неверно истолкует его слова, поспешно добавил: — Вроде невесты она мне...

Врач взглянул на Сеню осуждающе.

— Это разные понятия, молодой человек: невеста — одно, а «вроде невесты» — совсем другое.

— Люблю я ее,— признался Костылин.— Ну, а она... пока вроде не хочет.

— Понятно! — сказал врач и встал. Большая, жилистая — лопатой — рука его лежала на густо исписанной странице—истории Зининой болезни. Он говорил медленно, обдумывая каждое слово: — Мы уже беседовали с вами, молодой человек, и я предупреждал, что положение больной Петровой весьма опасное. Так вот, появились осложнения... Ей этого, конечно, не говорите. Вы, кажется, просили разрешения приходить каждый день? Я распорядился пускать вас в любое время. Можете сидеть, сколько хотите, ей лучше, когда вы тут. Будьте с ней осторожны: шутите, развлекайте ее, это все можно, но спорить с ней не нужно.

— Да разве я?.. Я ей всегда уступаю.

— Нужно ли уступать всегда, этого не знаю. А пока уступайте. Скоро ей станет совсем плохо, но вы не отчаивайтесь, а продолжайте спокойно ухаживать за ней. Идите, молодой человек.

Ухаживать за Зиной и развлекать ее было нелегко. Костылин вглядывался в похудевшее, странно неподвижное лицо девушки, и ему хотелось плакать оттого, что оно так изменилось. Потом началось предсказанное Никаноровым ухудшение. Казалось, что каждое обращенное к ней слово приносит ей новое страдание. В эти дни он молча сидел у ее кровати и держал за руку...

Его присутствие стесняло ее. Она твердо знала, что ей нужно куда-то идти, и от этого ей стало бы легче, а он мешал этому. Прикосновение его руки сразу останавливало ее. Ему нужно было прогнать, сказать ему: «уйди», запретить ему приходить. Вместе с тем при мысли, что он уйдет, все в ней дрожало от страха. И она тихо стонала, слезы выступали в ее широко открытых, мутных от жара глазах.

— Бредит? — озабоченно спрашивал Никаноров, наклоняясь над ней во время вечернего обхода.

— Бредит, куда-то хочет идти, клуб вспоминала,— говорил Костылин.

Если Зина засыпала, Костылин осторожно отходил от нее и помогал другим больным в палате. Далеко от нее он не отлучался — она часто просыпалась.

В середине декабря первый приступ болезни был отбит. Зина лежала, ослабевшая, измученная, но ясно различала вещи и людей. Больше всего ее мучила мысль, что у нее нет половины уха и двух пальцев на ноге. Она расставалась с Костылиным: он осмелился уверять, что она и без уха будет такой же красивой, как прежде.

В эти дни Зина в первый раз встала с постели. Оперированная нога болела, приходилось брать костыль или держаться за кровать, чтобы не упасть. Зина ходила по коридорам, заглядывала в палаты, знакомилась с другими больными.

А через несколько дней началось новое осложнение — снова у постели Зины все вечера сидел Костылин и склонялось озабоченное лицо Никанорова. Но этот приступ болезни был не так мучителен, как первый.

Когда Зина оправилась и снова встала с постели, в больницу привезли Непомнящего, он был без памяти. Санитарка рассказывала страшные подробности.

— Понимаешь, Зина, на него напало пятеро бандитов, он отбивался топором, одного зарубил, а остальные его доконали. У него девять ран, ты представляешь? Сегодня второе переливание крови делали, только поможет ли?

Зина с глубокой жалостью смотрела на Непомнящего. Она пересказала санитаркам и соседям по палате все, что знала о нем сама. Впрочем, знала она немного. Она помнила, что он хорошо рассказывает забавные истории и некоторое время ухаживал за Варей Кольцовой, но только из этого ничего не вышло. Как старой знакомой ей иногда разрешали навещать в палату, где он лежал. Непомнящий был все такой же — бледный, неподвижный. Он так ослабел, что не мог поднять руки, с трудом приоткрывал глаза.

— Наверное, умрет, — говорила санитарка.

В одно из воскресений Никаноров разрешил пустить к Зине посетитель. Это был большой день! Гости сменяли гостей. В палате сидели по два человека, а ввиду человек пять ожидали своей очереди. Пришли Ирина, Варя. Турчин похлопал Зину по плечу и, угостив пышками домашнего изготовления, приказал долго не залеживаться: без нее трудно на работе, другие нормировщики все пугают. Она даже прослезилась от его слов.

А потом настал день, когда Никаноров вызвал Зину к себе и объявил, что она может выписываться из больницы.

— Будете ходить на перевязки, Петрова. Следите за собой, обмороженные места держите в тепле. Конечно, физкультуру вашу придется на время отставить. А через месяц-другой вы и позабудете про свою болезнь.

— А ухо? — с горечью спросила Зина.

— Да, между прочим, мне нужно с вами поговорить, — сказал Никаноров, мельком взглянув на девушку. — Дело вообще ваше, меня оно, конечно, не касается, но как старший хотел бы дать вам совет. Этот ваш, как его, Костылин, что ли? По-моему, человек хороший.

— Очень хороший, — горячо отозвалась девушка. — Среди молодых рабочих он первый, его портрет не снимают с Доски почета.

— Ну, вот видите. Я хотел бы, чтобы вы поняли — он вас не только там, на урагане, спас, но и здесь помог вам выздороветь. Положение у вас было трудное, очень трудное, а он ходил за вами, как за ребенком. Вот помните это всегда.

— Помню я это, Роман Сергеевич, — тихо сказала девушка. Ее лицо пылало, на глазах выступили слезы. — Разве я неблагодарная? Я бы всем сердцем ему за это... Только как же я могу?

— То есть не знаете, как его благодарить? А вы относитесь к нему помягче, Петрова. Он парень крепкий, любое отношение вынесет, только не стоит очень уж на нем нрав показывать. Понимаете?

Румянец с лица Зины схлынул, она была бледна, голос ее дрожал. — Неужто я не понимаю? — говорила девушка. — Только он ко мне просто так, из старого отношения... Он добрый, ему жалко меня, а зачем я ему, такая? Он, конечно, молчит, а про себя думает, я вижу, как он смотрит на мое ухо...

— Да, ухо — вещь серьезная, — согласился доктор. — Возможно, что он любил вас именно из-за красивого уха — такой вариант, конечно, не исключается...

Зина вышла из больницы в два часа дня. Костылину она ничего не сказала, он ждал ее только через неделю. Она простилась со всеми и долго стояла в коридоре — ей хотелось проститься с Никаноровым, а он был в палатах. Доктор крепко пожал ей руку и велел одеться теплее — на дворе пятьдесят два градуса.

— И насчет вашего отношения кое к кому, Петрова, не забывайте.

— Ах, да помню я все это, Роман Сергеевич! — возразила девушка с грустью.

Она не узнала поселка. Костылин не раз говорил ей, что ночь стала гуще и дневной свет исчез. Но память сохранила ей сумрачное сияние дня, высокие красные тучки, стоявшие среди непотухающих звезд. Теперь все кругом было черно, и эту черноту наполнял густой, неподвижный туман. Зина боязливо отошла от фонарей, освещавших вход в больницу, и тотчас же перестала понимать, где она находится. Пересиливая страх, она сделала еще несколько шагов и натолкнулась на стену какого-то дома. Беспомощно, как слепая, расставив руки и прислушиваясь к странно преобразенному, тоже незнакомому скрипу валенок в снегу, она пошла к тускло светящейся в тумане линии лампочек, с удивлением понимая, что заблудилась днем на главной улице поселка, в ста метрах от больницы.

Мимо нее быстрым шагом прошел человек. Она отчаянно, торопливо позвала его. Человек возвратился и взял ее под руку.

— Да это Зина! — воскликнул он, и она узнала Седюка. — Поздравляю с выздоровлением! Ну как, все в порядке? Ни одной косточки не потеряли?

— Все в порядке, — ответила она, стыдась рассказывать об ухе и пальцах на ноге. — А у вас теперь так страшно, ничего не видно в тумане, — пожаловалась она.

Он рассмеялся.

— Это от непривычки, Зина. Скоро вы будете бегать в этом тумане, не обращая на него никакого внимания. Расскажите, как Непомнящий? Я два раза был у Никанорова, звонил ему, он говорит — положение тяжелое.

— Ой, его так страшно порезали! — воскликнула девушка, содрогаясь. — Ни одного живого места не оставили. Он целую неделю не двигался и не говорил, к нему и сейчас никого не пускают. А это правда, что он один отбивался топором от пятерых бандитов?

— Ну, не совсем так, — рассмеялся Седюк. — Но вообще он молодец.

Седюк довел Зину до дверей ее общежития и пошел дальше. Зина вбежала в свою комнату. Ни Ирины, ни Вари не было. Кровать ее стояла на месте, вещи были прибраны. Она побежала к соседкам и застала там подружку. Девушки бросились друг другу на шею и всплакнули от радости.

— Ты все такая же! — уверяла подруга.

— А это? — с укором спросила Зина, поднимая волосы и показывая ухо. — Я теперь совсем уродиной стала.

— Ну, вот ни капелечки! — воскликнула девушка. — Я даже удивляюсь тебе, Зинуша, как ты можешь так говорить! Теперь моды какие? Никаких кос — первое. Простая прическа локонами — два. И ухо твое совсем не видно — три. Вот как получается, Зина!

— Сегодня локонами, а завтра гладкая прическа или косы.

— И нисколечко! Такая прическа это уже надолго, потому что самая простая. Знаешь, твой Сеня говорит: «Ходите растрепаны, а называется модная прическа». Ой, через пятнадцать минут мне смену принимать, а я с тобой заболталась!

— Не заблудись в тумане! — крикнула ей вдогонку Зина. Отдохнув, она снова вышла на улицу и осторожно двигалась от фонаря к фонарю. Она не узнавала даже хорошо знакомых мест, так все переменялось. Она долго бродила вокруг законченного цеха углеподачи и котельного цеха, потом прошла на то место, где два месяца назад, изнемогая, ползла по голой вершине среди валунов. Места этого не было — стены котельного цеха протягивались дальше, захватывали вершину и образовывали новое

здание. Она догадалась, что это — сердце станции, машинный зал. Ворота — похоже, временные, монтажные — на минуту открылись, в здание прошел паровоз, из ворот брызнул широкий свет, послышался гул работающих машин, свистки сигнальщиков, звонки и тяжелый шум двигающегося мостового крана.

Зина прошла в отдел труда. Ее встретили радостными восклицаниями, крепкими рукопожатиями, смехом, поздравлениями. Ей в пять голосов объяснили, что дела идут великолепно. Скоро решающий день — задувка первого котла. Турбина уже собрана, заканчивается ее подключение. Генератор тоже установлен на своем постоянном месте.

— Вот вы, Зиночка, болели, а мы за это время все ваши нормы и прочую хронометрию начисто отставили, — сказал один из бригадиров. — Совсем по-другому работаем.

— Вот я скоро сама разберусь, — пообещала Зина и, сердитая, с силой толкнула дверь.

Она пришла на площадку для того, чтобы поразить Турчина и Костылина своим неожиданным появлением, но не удержалась и по дороге забежала еще в котельный цех. Один котел был уже смонтирован, второй монтировался. Она бродила по огромному помещению, осматривала мельницы, поднималась по железным лесенкам вверх, вышла к дымососам. Ей то и дело встречались знакомые — ее останавливали, забрасывали вопросами, поздравляли. Потом она спохватилась: время шло, и она могла опоздать к Костылину. Она поспешила к приземистому деревянному сараю, в котором работали землекопы, снимая остатки скалы и подготавливая неглубокие котлованы для второй турбины и генератора. Звена Турчина уже не было.

— Ушел твой Иван Кузьмич, — сообщили ей рабочие после приветствий. — Он часикам к пяти всегда шабашит, а сейчас смотри сколько, половина шестого.

Зина, не обращая внимания на туман, бегом кинулась к вахте. Знакомая табельщица сказала ей, что Костылин с Накцевым прошли недавно — если она поторопится, то догонит кого-либо из них.

Костылин шагал широко, и догнать его было трудно, но, услышав за собой торопливые шаги, он остановился, всматриваясь в туман. Она схватила его за плечи и, сразу потеряв все силы, прислонилась к нему головой. Ошеломленный, он сжимал ее руки, а она не могла говорить и только жадно глотала ледяной, обжигавший горло воздух.

— Зиночка, как же это? Тебе же еще неделю лежать, а ты здесь! Почему, Зиночка? — растерянно спрашивал Костылин.

— Сама вышла, — прошептала она сипло и тихо. — Ну и что, если еще неделя, не могла я больше...

Она знала, что он рассердится, и готовилась ответить на его упреки смехом или шуткой, но того, что произошло, она не ожидала.

— Дура ты, Зина, вот кто ты! — кричал Костылин, не слушая ее и не обращая внимания на то, что прохожие замедляют шаги и с любопытством прислушиваются к их ссоре. — С тобой как с хорошей, а ты знаешь только свои капризы! Правильно про тебя говорят, что нет у тебя совести! Ты никого не уважаешь, оттого все так и делаешь. Я про тебя только и думаю, а ты, как сумасшедшая, по морозу больная бегаешь. Не стоишь ты, чтоб тебя любили, ни черта не стоишь!

— Сенечка, милый, да не кричи же, люди оглядываются! — молила она, а он, бушуя, гневно кричал:

— Пусть все слушают, какая ты из себя, я не скрываюсь!

— Сенечка, пойдем, мне холодно, я замерзла! — со слезами попросила она.

Он замолчал и, отвернувшись от нее, пошел вперед. Она шла рядом, держась рукой за его руку, и вся дрожала от волнения — на нее разом хлынули испуг, обида, растерянность, смущение, стыд и сознание своей вины. Но рядом с этим поднималось новое чувство — огромное, все исключаящее, все подчиняющее себе чувство счастья. Она была счастлива без мыслей, без рассуждений.

Он прошел несколько шагов и остановился.

— Зина, ты не сердчай! — сказал он виновато. — Я ведь не со зла. Просто расстроила ты меня так, что я и сказать не могу.

Эти старые, хорошо знакомые ей слова раньше вызывали в ней только раздражение и досаду — теперь они сделали ее еще счастливее. Она прошептала, глядя на него полными слез глазами:

— Не надо, Сеня, милый, не надо!

Они медленно шли по улице, крепко прижимаясь друг к другу.

У дверей ее общежития они остановились.

— Зиночка! — сказал он тихо, и ему показалось, что еще ни разу он не был так красноречив, как сейчас.

— Сеня! — отозвалась она.

Они стояли, обнявшись. Он сказал, с трудом шевеля губами:

— Так как же, Зина? Билеты достать, что ли, в кино пойдем? Или отдохнешь, а я приду, посижу около тебя?

А она, счастливая оттого, что может сказать эти непохожие на нее и радостные слова, шептала, прижимаясь к нему:

— Как хочешь, Сеня, как хочешь, делай по-своему, мне все хорошо!

## 12

В конце декабря Забелин сообщил, что доклад о ходе строительства комбината был заслушан на заседании Государственного Комитета Обороны. Правительство подтверждало, что заводы комбината должны быть пущены в предписанный ранее срок. Правительство одобряет, что комбинат развернул свое производство цемента и серной кислоты, но предупреждает, что впредь затруднения в этой области не будут служить оправданием. Если нужно, правительство отпустит дополнительные фонды на цемент и серную кислоту и выделит эскадрилью военно-транспортных самолетов для переброски этих грузов в Ленинск. Согласие комбината на это предложение должно быть сообщено в Москву в течение двух дней.

Забелин не касался своих старых сомнений, но Сильченко понимал, что он не скрыл их в своем докладе, — именно поэтому правительство и выделяло самолеты для переброски недостающей кислоты. Вместе с тем и он и правительство не отвергали начатых в Ленинске экспериментов и предоставляли решать самому Ленинску. Только так следовало понимать новое постановление ГКО.

Сильченко вызвал к себе Караматина и Дебрева и протянул им телеграмму.

— Будем решать вместе, — сказал он. — И, очевидно, решение должно быть окончательным. Возвращаться к этому вопросу правительство больше не станет.

— С цементом дело ясное, — сказал Караматин. — Цемента мало, качество его неважное, но все же он поступает. Думаю, просить самолетов для цемента не следует. А вот кислоты пока нет.

Дебрев подозрительно переводил взгляд с Караматина на Сильченко. Его охватывало раздражение. Ему казалось, что начальник комбината и руководитель проекта уже сговорились между собой и собираются навязать ему свое мнение — мол, помощь со стороны необходима. Все в нем



возмущалось при мысли, что придется просить самолетов. В час, когда идет битва за Сталинград, они не имеют на это права! Кроме того, сам он горячее, чем когда-либо прежде, верил в успех начатого эксперимента. Эта вера не была основана на твердых фактах. Скорее наоборот — факты свидетельствовали, что процесс не ладится. Вчера Дебрев приехал в опытный цех, и Седюк сказал ему с отвращением:

— Снова все к чертовой матери проваливается. Не можем удержать температуру.

Слушая Седюка, Дебрев изучал его лицо. По поведению человека, попавшего в сложный переплет, Дебрев умел почти безошибочно определить, выпутается он или нет. Если человек бесится, неистовствует, ругает себя, это хороший знак, такой человек не помирится со своими неудачами и рано или поздно преодолеет их. Тот же, кто лавировал, защищался, закрывал глаза на неудачи, обычно проваливал порученное ему дело. Седюк с горечью и негодованием рассказывал о своих неудачах, кипел, вспоминая о них, а Дебрев понемногу успокаивался. На него произвел впечатление и размах проведенных исследований — казалось, все, что могло влиять на процесс, подвергалось тщательной проверке, темных мест становилось все меньше.

Дебрев понимал, однако, что доводы его, основанные на интуиции и внутренней вере, успеха иметь не будут. Еще Сильченко он сумел бы убедить в своей правоте, того иногда убеждали подобные доказательства. Но Караматин признает только расчеты и факты, эмоции для него — что дробь для слона.

И Дебрев, повернувшись к Караматину, сказал ему с вызовом:

— Отказываться от самолетов рискованно, но я предлагаю пойти на этот риск. Мы не в доме отдыха, сейчас война — риск в каждом серьезном деле неизбежен. Почему мы должны требовать для себя каких-то особых условий, которых другие лишены? Идет проверка, чего мы сами стоим, — так я расцениваю вопрос, заданный нам правительством.

— Все дело в степени риска, — заметил Караматин.

Дебрев ядовито усмехнулся:

— Если кислоту привезут с материка, риск будет поменьше, тут я тоже с вами согласен, Семен Ильич.

Караматин снял и протер свои роговые очки. Без очков глаза его не казались такими большими и странными — они были просто красные и усталые. Он надел очки и заговорил:

— Напомню, что я с самого начала был против нового метода производства кислоты.

— История вопроса здесь ни к чему, — перебил его Дебрев. — Сейчас надо решить: запрашивать или не запрашивать самолеты.

Караматин улыбнулся и неторопливо закончил:

— В первую минуту я расценил предложение Седюка как настоящую авантюру. Московские эксперты, как вы знаете, были такого же мнения. Должен признаться, что я ошибался. Кислоты, конечно, еще нет, но многие препятствия уже преодолены. На меня очень большое впечатление производят последние работы Седюка по автоматическому регулированию температуры в подогревателе и контактном аппарате — тут, по-видимому, лежит искомое решение вопроса. Немские секреты, вероятно, именно в этом — в высокой технической культуре режима окисления. При отказе от самолетов риск, разумеется, остается, но это обоснованный технический риск, а не авантюра. Присоединяюсь к мнению товарища Дебрева: мы не имеем права просить самолетов.

Дебрев с изумлением спросил:

— Значит, вы теперь за? Вот не догадывался!

Теперь слово оставалось за Сильченко. Сильченко тоже повел себя не

так, как ждал Дебрев. Он присоединился к мнению своих помощников. Тут же набросали ответ Москве. Комбинат сообщал, что справится собственными силами, и отказывался от предложенной помощи. Но, видимо, решение это далось Сильченко нелегко. Обычно сухой и сдержанный, он со вздохом признался, берясь за перо:

— Знаю, что правильно поступаем. Думаю даже, что именно этого от нас и ждут. Но рука трясется — страшно, страшно...

И Караматин и Дебрев хорошо понимали состояние начальника. Дебрев почти с сочувствием смотрел на побледневшее, взволнованное лицо человека, которого еще недавно так жестоко ненавидел. Сам он, несмотря на свой решительный тон, испытывал такое же чувство. Они разошлись угрюмые и подавленные взятой на себя ответственностью. Дебрев плохо спал в эту ночь и знал, что Караматин и Сильченко тоже не могут заснуть. Вместе с тем он был уверен, что и у них, как и у него, нет ни тени сомнения: Москве ответили правильно. И сознание того, что он не один, что его товарищи думают, мучатся и верят так же, как он, радовало и придавало твердости.

Утром он не удержался и сообщил Седюку о принятом ими решении.

— Смотри, ничем теперь не отвлекайся,— распорядился он.— Кислота, кислота, ничего другого!

Слова эти были излишни. Седюк и без них постоянно думал все о том же — во время еды, разговора, при чтении газеты. Он говорил, и слушал, и отвечал на вопросы, ни на секунду не отрываясь от своей внутренней работы. Внешне он жил и действовал, как все, а внутри кипели и перебивали друг друга мысли. Всякий раз, придумав что-нибудь новое, он готов был видеть в этом новом окончательное решение. Проходил день, другой. Оказывалось, что новое решение не годится. Отчаявшись, Седюк отбрасывал его, и ему снова казалось, будто ничего не сделано и все по-старому темно. Он был несправедлив к себе, не замечал в своих поисках того, что видели Караматин и Дебрев. Он помнил только о неудачах и промахах, он продирался сквозь колючие кусты неполадок и не понимал, что каждая отброшенная им мысль сокращала круг поисков, а каждая принятая, не давая полного решения, означала шаг вперед. Он не понимал самого главного — не существовало той особенной ослепительной мысли, того таинственного «секрета», какие он искал. Настоящее решение было в длинной цепи мыслей, и почти все звенья цепи были уже собраны и проверены. И последнее, завершающее звено, последняя, все связывающая воедино мысль уже росла, зрела и поднималась в нем.

Как одержимый, он думал все об одном и даже во сне то спорил с Киреевым, то открывал и закрывал контактный аппарат. Во сне ему явилась и последняя, необходимая мысль. Он увидел свой цех, но преображенный и нарядный: контактный аппарат блестел лаком, на полу лежали резиновые дорожки, стены были выложены кафельной плиткой. И самое главное: процесс шел ровно — сернистый газ полностью окислялся, температура держалась ровная, кислота в баках прибывала. «Черт возьми, да это же так просто, почему же я так долгу мучился!» — воскликнул он, удивленный и обрадованный, и проснулся. С минуту перед ним еще стояли тускнеющие картины сновидения, а потом он кинулся к пиджаку, висевшему на спинке стула, вытащил карандаш и, нащупав спичечный коробок, записал на нем название аппарата, который нужно будет поставить в линию, и тотчас спокойно и крепко уснул. Утром он проснулся, помня только, что была какая-то очень интересная мысль, и в отчаянии смотрел на спичечный коробок: на нем было нацарапано слово, которое он не мог разобрать. Он побежал не в опытный цех, а к Варе.

— Варенька, вот смотри, слово «газ»... видно отчетливо, а что дальше? Я увидел во сне, торопился, чтобы не забыть, мне очень хотелось

спать, а теперь ничего не пойму. О чем ты думаешь, Варя? Что ты молчишь?

— Не сердись, — кротко сказала Варя. — Дай мне коробок. — Она внимательно изучала его каракули. — Знаешь, две буквы я вижу отчетливо: сразу после «газ» буква «г», а дальше «д». Остальное непонятно.

— Просто забавно, — проговорил он с досадой. — Во сне все так четко и ясно, а наяву сразу запутывается. Ладно, Варя, давай коробок и лучше скажи, как ты себя чувствуешь?

Он спросил об этом, чтобы перевести разговор на другую тему, а ее больно уколол его равнодушный, торопливый вопрос.

— А разве тебя интересует это? — сказала она с упреком. — Ты даже не пришел проводить меня домой, а ведь я звонила тебе, что задержусь. Спасибо, я дошла благополучно.

Он покраснел. Упрек был справедлив. Вчера задула пурга и мела всю ночь. Еще не было случая, чтобы в непогоду он не провожал Варю домой, а вчера не сумел оторваться от работы, ему казалось, что он напал на след. Он пробормотал, что был очень занят, потом, взглянув ей прямо в глаза, сказал с раскаянием: «Прости, Варя, я просто свинья, и уже не в первый раз, сам замечаю». Но ей не надо было извинений. Оттого, что он покраснел и смеялся, она все готова была ему простить. Она тут же рассердилась на свою черствость: ведь он бесконечно измучен и занят, ему сейчас не до нее, это надо понимать, а она злится на пустяки.

— Все-таки странно, что бы тут могло быть? — проговорил Седюк, возвращаясь к своему коробку.

Его не оставляла мысль, что в непонятной записи кроется что-то важное. Киреев вначале заинтересовался, но, не расшифровав закорючек, гневно закричал: «Что вы лезете со своими дурацкими снами, технология — это не сонник по Мартину Задеке!» Седюк обещал себе больше не возвращаться к проклятому сну, но вечером, идя домой, снова стал думать о нем рассеянно и мельком. И вдруг сновидение встало перед ним, живое и ясное, — и баки, и трубопроводы, и слово «газгольдер», нацарапанное на коробке. Перед глазами возникали уже не туманные картины сна, а логичные, неотразимо убедительные схемы. Взволнованный, он снова кинулся к Варе.

— Смотри, как все это просто, — торжествующе сказал он. — Мы возьмем средний по крепости газ. Если газ пойдет крепче, мы его разбавим воздухом. А излишки крепкого газа в последней стадии конвертирования мы соберем и сожжем в газгольдерах. Варенька, ты понимаешь меня? Вначале конвертирования газ идет очень бедный, мы его будем усиливать запасами из газгольдеров и доводить этими добавками до средней концентрации. Конечно, колебания концентрации будут, но маленькие, много меньше, чем сейчас, а это значит, что автоматика справится и сумеет удержать температуру. Варенька моя, конец нашим мучениям!

Он готов был при всех обнять и поцеловать ее. Обрадованная и воодушевленная, как и он, Варя принялась за расчеты. Получилось, что для большого завода понадобится два-три бака общим объемом в триста кубометров. Это даст возможность держать нужное количество крепкого сернистого газа, сжатого до десяти атмосфер. И сернокислотный цех сможет работать около пяти часов.

— Этого вполне достаточно, — сказал Седюк. — Пока один газгольдер опорожняется, второй наполняется — конвертеры всегда работают вразнобой, один начинает продувку, а другой ее заканчивает. Немедленно нужен опытный газгольдер, надо скорее все проверить!

Работа на сернокислотной установке снова закипела, новая схема получилась довольно сложной, но вполне жизнеспособной. Седюк работал

с увлечением и страстью, каких еще не знал. Он сердился на неудачи, называл себя бездарным олухом, но самое главное было ясно: они шли по верному пути. И Седюка поражало, что все, ранее хаотично разбросанное и разобщенное, вдруг объединилось, вытянулось в линию, заняло определенное и четкое место в стройном процессе. За долгие недели наладки он и Киреев хватались то за одну мысль, то за другую, испытывали их, отбрасывали, забывали все, что не шло немедленно в дело, казалось ненужным хламом, пустой тратой времени. А сейчас все пригодилось. Они вспоминали старые неудачи и видели в них успех, это были важные вехи в поисках разумной схемы. «Черт возьми, кто мог бы думать, что все это так ловко выстроится!» — с уважением сказал Седюк о недавних провалах.

Караматин, приехавший вместе с Телеховым, более проникательно оценил проделанный труд. Он повторил, обобщив, уже высказанную на совещании у Сильченко мысль.

— Вы думаете, главное у вас газгольдер? — спокойно заметил Караматин. — Это — заблуждение! Главное в том, что вы уже нашли раньше, — автоматическое регулирование температуры. С той минуты, как вы заговорили об автоматическом регулировании температуры в контактном аппарате, я поверил в новый метод производства кислоты как проектировщик. Скажу вам больше: если мы по-прежнему будем плодить заводы без утилизации отбросных газов, нам это сейчас уже не простится, это будет уже отсталость, а не необходимость, вредная, недопустимая отсталость. Нельзя, чтобы сотни металлургических заводов отравляли землю, губили растения и людей отбросными газами.

## 13

Смятое, изорванное неловким военным цензором письмо ворвалось в жизнь Газарина и внесло в нее смятение: чувство неожиданного счастья и непоправимой беды. Газарин побледнел и затрясся, увидев на конверте почерк жены. Лиза писала, что с трудом отыскала его, все знакомые разъехались, переменили адреса, и ее письма к ним возвращались обратно. Она рассказывала, как умер Коля, как сама она, дотащив Сонечку до военного госпиталя, свалилась у ворот, как их, почти умирающих, эвакуировали самолетом из Ленинграда. Сейчас она работает в совхозе под Орском, приходится трудно, но ничего: главное — не голодно и девочка здорова. Вчера у нее была самая большая радость за весь этот страшный год — знакомый, которого она разыскала, прислал ей новый адрес Газарина. «Володенька! — писала она. — Я так счастлива, что ты отыскался и жив. Мне кажется, большего мне нечего желать в жизни».

Газарин обезумел от радости. Он кинулся с почты в опытный цех к Ирине. По дороге встречались знакомые, он каждому показывал письмо и мчался дальше. Ирина побледнела и широко открыла глаза, когда он влетел в лабораторию. Он кричал, шумно торжествовал, ничего не желая знать, кроме своего счастья. Ирина слишком любила его, чтобы в эту минуту думать о себе, — она обняла, поцеловала его, улыбалась ему.

— Ирочка! — твердил он, сжимая ее руки. — Нет, ты понимаешь, ведь я не мог даже подумать, что они живы, не смел, пойми, а они выжили, ждут меня, ждут! — И она отвечала, радостно и нежно глядя его по голове:

— Я понимаю, Володя, все понимаю, это такое удивительное счастье. — Она говорила правду: в эту минуту радость за его счастье была сильнее, много сильнее, чем глухо поднимавшееся горе.

А потом Газарина стали рвать на части — его вызывали со всего Ленинска к телефону, чтобы поздравить. В опытный цех примчались Федотов и Телехов, знакомые энергетики и строители. Газарин жал руки, отвечал на объятия. Обрадованный Федотов говорил ему с сокрушением:

— Володя, прости, что так тебя измучил. Все мог предвидеть, но не это. Карточки эти хлебные смутили меня — ведь на столе их оставила! Да и не я один, все в один голос твердили: «Семь дней не возвращалась домой? Умерла, сомнений быть не может!» Уверен был в гибели, только потому и сказал, прости...

— Неужели я не понимаю, Василий? — отвечал Газарин. — И я бы на твоём месте тоже ничего не скрыл.

Потом Газарин с тяжелым недоумением и тревогой вдруг подумал: «А как же Ирина? Что теперь будет с Ириной?» Ирины в комнате не было, она ушла, когда появились Федотов и Телехов, ей трудно было сидеть и принимать участие в общем торжестве. Она позвонила Варя, что хочет ее видеть, и убежала домой. Газарин сидел как на иголках, ему хотелось поскорее отыскать Ирину. Он торопливо накинул на себя пальто, но тут зазвонил телефон — начальник комбината срочно вызывал к себе, важная телеграмма из Москвы. Главк сообщал, что исследования Газарина по электрическому обогащению углей возбудили большой интерес в наркомате угольной промышленности — для продолжения этой работы под Москвой создается новая лаборатория, и Газарин назначается ее руководителем. В той же телеграмме говорилось, что просьба проектировщика, профессора Телехова, удовлетворена: он откомандирован в Сталинград на восстановление металлургического завода качественных сталей.

Веселый, помолодевший Телехов, пришедший вместе с Газариным в управление, не мог усидеть на месте. Он вскакивал с дивана, кидался навстречу входившим знакомым, с возмущением крикнул Газарину:

— Да что с вами, Владимир Леонардович? Столько радостей, а вас словно пришибло.

Газарин признался смущенно:

— Растерялся. Все так сразу изменилось... И радуюсь и тревожусь — как все теперь будет?

— Об одном надо тревожиться, будут или не будут на этой неделе самолеты, — сказал Телехов. — У меня одно желание: вон из этого полярного мрака, навстречу солнцу...

Но Газарин думал о другом. Втайне он хотел, чтобы самолетов не было подольше. Мысли его возвращались к Ирине. Он был виновен перед нею. Она сейчас где-то мучилась, а он не мог ей помочь. Зачем ему сидеть здесь, ждать каких-то самолетов, ему нужно идти к Ирине, говорить с ней.

А Ирина в это время горько рыдала на своей кровати. Возле нее сидела Варя и гладила ее волосы.

— Нет, Варенька, нет, не утешай меня! — говорила Ирина, отталкивая руку Вари. — Дай мне наплакаться!

Варя исчерпала уже все слова утешения. Слишком долго Ирина улыбалась и радовалась тому, что теперь разбивало ее жизнь. Ей надо было излить свое горе. И Варя сказала:

— Ирочка, два человека, о которых думали, что они умерли страшной смертью, оказались живы, — как можно плакать об этом?

Эти суровые слова заставили Ирину поднять заплаканное, распухшее лицо.

— Я не об этом, не об этом! — заговорила она торопливо. — Я от всей души поздравила его, я рада, что он нашел семью. Искренне, Варенька, искренне, он сам это понял, он так благодарно меня поцеловал. Помнишь, я тебе говорила — слова ему не скажу, если он уйдет к жене. Это правда, Варя, я его не упрекну, пусть уходит, пусть будет счастлив, я рада его счастью. И я ему скажу на прощание, только одно скажу: спасибо, Володя, что ты был в моей жизни, больше я ничего не сумею сказать!

Она помолчала, тщетно пытаюсь справиться с хлынувшими опять слезами.

— Я о себе плачу, Варя, — прошептала Ирина. — Знаешь, есть разные люди, я присматривалась и видела — все хотят счастья, но хотят по-разному: одни работают, пишут милым письма, терпеливо ждут их возвращения, и жизнь их наполнена. А я всегда мечтала о своем особом, спокойном счастье, о таком муже, как мой Володя, — умном, талантливым, о детях, хороших, похожих на отца... Я не жила — ждала жизни. Думала, вот завтра, завтра придет мое счастье. И ничего мне не помогло, вот взяла и отняла всё! Не будет у меня больше счастья, знаю, не будет. И еще, Варя, ведь я жду ребенка...

Варя, потрясенная, молчала. Ирина, наплакавшись, подняла голову. Варя спросила, страшась ответа:

— А он знает, Ирина?

Ирина, всхлиывая, долго не отвечала, потом проговорила:

— Нет, не знает, не успела сказать.

— Но ты скажешь? Все скажешь, конечно? — допытывалась Варя, даже не думая о том, что ее вопросы причиняют боль подруге.

— Ничего не скажу, — ответила Ирина. — Знаешь, я вот плакала и думала только об этом: сказать или не сказать. И решила — говорить нельзя. Ты понимаешь, Варя, он сейчас счастливый, семья отыскалась, зачем я буду отравлять ему счастье? Если бы ты видела, как он сегодня радовался... Я еще думала так: ничего я этим уже не исправлю, к семье он возвратится, я сама не хочу отнимать его у жены и ребенка. Они столько перенесли, я понимаю. А если я ему скажу, ведь он не сможет спокойно работать. На днях он получил письмо из Москвы, отзывы экспертов блестящие, Володя показывал их с такой гордостью. Он мечтает переехать в Москву, поставить там исследования на широкую ногу. Зачем я буду мешать ему? Если хочешь знать, так я больше всего горжусь, что помогла ему в работе, он в отчете называет мою фамилию. Я рассуждаю так — все мы должны сейчас чем-нибудь жертвовать... Вот это и будет моей жертвой. Я не хочу мешать ему работать... Ведь верно же, Варя?

Но Варя не была так рассудительна. Она с острой болью и недоумением чувствовала, что никогда не будет такой благородной. Тысячи мыслей подняли в ней слова Ирины — все смешалось и перепуталось, казалось неожиданным и незнакомым. Варя давно уже знала, что первое впечатление обмануло ее, Ирина была много лучше, чем думала Варя вначале. И любовь призвала к жизни все хорошее, великодушное, что было в ее характере. А у нее, у Вари, любовь рождала мелкие, самолюбивые чувства. У них обеих жизнь запутана и непонятна — завтра Варю ждет, наверно, такой же удар, что обрушился нынче на Ирину. И Варя не находила в себе ни ясного ума, ни доброты Ирины. Нет, она не сумеет отказать от любимого, она пойдет на все, ни перед чем не остановится, чтобы удержать его, если он станет уходить. И Варя проговорила с глубоким отчаянием:

— Правда, Ирина, все правда! Только я бы так не могла... Неужели ты будешь растить ребенка и не скажешь ему об отце? Неужели отец не узнает, что у него есть ребенок?

— Почему? — сказала Ирина. — Я много буду рассказывать ребенку об отце, пусть и он гордится им. Только я скажу ему, что отец погиб на фронте, сейчас у многих так. А Володе я все открою, только не сейчас, потом, когда кончится война, не скоро. И я покажу ему ребенка, чтоб он порадовался на него, только не говорил, что отец, а так... знакомый... И разве я одна такая? — говорила она горько. — Сколько еще будет одиноких матерей! Война, Варя... Почему я должна быть счастливее других? Только потому, что мне больше хотелось счастья? Ах, все, все хотят счастья... Война всех сделала несчастными — одних на короткий срок, дру-

гих на всю жизнь. От войны никто не выигрывает, я тоже не выиграла. Ты это понимаешь, Варя? Многие будут еще несчастнее, чем я, — у меня останется мой ребенок...

В комнату, не постучав, вошел встревоженный Газарин. Ирина поднялась ему навстречу, он крепко обнял ее, не обращая внимания на Варю и, видимо, даже не сознавая, что она тут. Ирина глухо зарыдала, обхватив руками его плечи.

— Не надо, не надо! — бормотал Газарин, чуть не плача сам и глядя ее волосы.

— Владимир Леонардович, я только недавно узнала о вашей семье, — проговорила Варя. — Поздравляю вас от всей души.

— Да, да, спасибо! — торопливо говорил Газарин, улыбаясь детски-счастливой улыбкой и тут же с тревогой обращая лицо к Ирине. — Много перенесли, очень много, нам такое и не снилось в нашем далеке.

— Главное, что остались живы, — сказала Ирина, вытирая слезы. — Живы и ждут тебя, Володя. Страдания забываются, а впереди будет только хорошее.

Варя кусала губы, чтобы не плакать. Она не могла смотреть на Газарина. Огромный, широкоплечий, он был жалок и растерян сейчас — в своем счастье и горе сразу. Он то улыбался, то хмурился. Смятение, растерянность, надежда пробегали по его лицу, как тени облаков в переменчивый день.

— Я уезжаю, Ирина, завтра или послезавтра лечу, — сказал он вдруг.

— Так скоро? — вскрикнула Ирина, побледнев. Она говорила с лихорадочной быстротой, умоляюще и горячо: — Я понимаю, Володя, поезжай, но почему так скоро? Ведь навсегда, пойми... Разве через неделю нельзя? Напиши пока письмо, пусть ждут, ведь ты приедешь, все равно приедешь, а я... Ведь я не увижу тебя больше, долго не увижу...

— Меня вызывают в Москву, — виновато ответил Газарин. — Новую лабораторию организовать, ту, о которой я писал в докладной записке. — Он помолчал и сказал мрачно: — Не поеду я. Не могу так уезжать... Потом как-нибудь, не сейчас.

Молчаливые горькие слезы полились из глаз Ирины, она вытирала их, глотала, стараясь скрыть. Варя встала и накинула пальто.

— Вы оставайтесь, — сказала она взволнованно. — Извините меня, очень срочное задание, я, вероятно, всю ночь буду работать.

Газарин удержал Варю и посадил на стул. Он положил руку на плечо плачущей Ирины.

— Пойдем ко мне, — попросил он. — Нам нужно поговорить, Ирина, пойдем, умоляю!

Она одевалась медленно и устало, он помогал, но руки его дрожали. Известие об отъезде совсем доконало Ирину. Выходя, она взглянула на Варю долгим, полным отчаяния взглядом, протянула ей руку, словно уходила надолго.

Варя закрыла за ними дверь, села у стола и зарыдала. Она плакала об Ирине, о себе, о жене Газарина — обо всех любящих и страдающих на земле.

Через три дня, в первую летнюю погоду, Газарин с Телеховым уезжали из Ленинска. К проектному отделу подошел старенький, давно отслуживший свой срок автобус. В нем разместились отъезжающие и друзья. Телехов был оживлен и весел, словно завод уже освободили.

— Я приеду как раз вовремя, — говорил он уверенно. Планы его были широко и серьезны. Завод нужно не только восстановить, но и модернизировать — многие агрегаты его устарели. Конечно, против этого восста-

нут, пустятся доказывать, что сейчас не время, война, — он готов спорить и драться со всеми, но свое отстоит.

А Варя тихо спрашивала Ирину:

— Ты и сегодня ничего не рассказала?

Та отвечала тоже тихо:

— Нет, Варенька. Зачем? Он просил прощения, а чем он виноват? Знаешь, что он мне сказал? «Половину сердца оставляю тут». — Она прибавила скорбно, еле сдерживая слезы: — Я ему верю, Варенька, он говорит правду.

На аэродроме — замерзшей, расчищенной реке — уже стоял готовый к отлету красный самолет. Газарин, сутулый и молчаливый, задержался на лестнице.

— Прощайте! — крикнул он, не отрывая глаз от Ирины. — Прощайте, друзья!

В автобусе, на обратном пути, Ирина прислонилась к Вариному плечу.

— Я посплю, Варя, — сказала она устало. — Замучилась...

Она тотчас же уснула. И хотя старенький автобус раскачивался и подпрыгивал, она не проснулась до самого Ленинска. Седюк молча сидел напротив них. Только в Ленинске, перед самой остановкой автобуса, он шепотом сказал:

— Крепко ее скрутило, Варя, даже не шелохнулась.

— Думаешь, это легко — простаться с любовью? — тихо ответила Варя и, не удержавшись, горько добавила: — Вот скоро и ты получишь письмо и оставишь меня одну. И я, как Ирина, ночь напролет буду думать и мучиться, а днем засыпать на часок где придется.

Он ничего не ответил. У него сжалось сердце. Он знал уже: что бы ни случилось, с Варей он не расстанется. Но как оно будет? Где Мария? Что с ней? Много, много еще предстоит решать, сжав зубы, чтобы не кричать от боли. Но он не думал, что все это — тяжелое и грозное — надвигается на него так скоро.

Выйдя из автобуса, Седюк направился к себе на промплощадку — Назаров просил приехать подписать кое-какие бумаги.

— Вам письмо, Михаил Тарасович, — сказала Катюша, протягивая грязный конверт.

Он тут же разорвал его. Письмо было от Бориса Бакланова, его прежнего сослуживца, сейчас воевавшего на юге. «Дорогой Миша! — писал Борис. — Строчу тебе прямо в степи, в кабине машины — наступаем на Сальск. Узнал кое-что о Марии, но только рука не поднимается писать. В Минеральных Водах я встретил Коровина — помнишь, наш ростовский приятель, бывший оперный артист. Из Ростова он бежал, но вырваться к нам не сумел. Так он говорит, что Мария стала любовницей подполковника танковых войск Эрнста Шлютта и всюду таскается с ним. Были они и в Минеральных Водах, танковая часть Шлютта стояла там недели две. Коровин встретил ее на улице и, конечно, высказал все, что о ней думал. Она спокойно ответила: «Вы затеваете свои войны, а я из-за вас страдать должна?» Старик спустя три месяца после этого разговора весь трясся, вспоминая. Одно тебе скажу, Миша: Мария твоя грязная сука, вот и все. Ты помнишь, я всегда удивлялся, что это вас свело вместе, слишком уж вы непохожие люди. Твое последнее письмо о пуске опытного завода я получил и читал своим товарищам, как ты описываешь пургу, и полярную ночь, и всякие свои заботы. Ну, пока всего, не сердись на меня за горькое сообщение. Пиши на ту же полевую почту. Борис».

Седюк положил письмо на колени и несколько минут думал, не входя в свой кабинет, потом снова перечитал его от начала до конца. Им вдруг овладели оцепенение и усталость. Он сидел, ничего не говоря и ни о чем не думая. Катюша со страхом и сочувствием смотрела на его каменные



лицо. Она знала, что семья Седюка затерялась где-то в эвакуации, и догадывалась, что в письме были нерадостные известия.

— Что с вами, Михаил Тарасович? — не выдержала она. — Не дай бог, не случилось ли чего с женой? Жива она?

Он ответил сухо и равнодушно:

— О жене, Катюша. Умерла.

Он понимал, что сидеть в приемной, уставясь глазами в пол, не годится. Он вошел в кабинет и сел за стол. На столе лежали бумаги, их нужно было прочесть и подписать. Он отодвинул их в сторону, две бумажки полетели на пол, он не поднял. Мысли его были усталы и спутанны. Он положил голову на руки, глядел в заплывшее льдом окошко, вспоминал.

— Вот все и кончилось, — сказал он вдруг громко и горько.

В кабинет вбежала встревоженная Катюша.

— Михаил Тарасович, звонит сам Сильченко, возьмите, пожалуйста, трубочку.

Он сказал, не поворачивая головы:

— Сообщите, что меня нет, Катя!

— Я уже сказала, что вы тут! — жалобно воскликнула она. — Мне очень неудобно, прошу вас, возьмите трубочку.

Она сама сняла трубку и поднесла к его руке. Он молча приложил ее к уху и только потом вспомнил, что нужно сказать «слушаю». Голос начальника комбината был необычен — тороплив и оживлен.

— Высылаю за вами машину, — сказал Сильченко. — Немедленно приезжайте. Прибыло интересное сообщение.

Машина пришла через десять минут, и за это время Седюк успел забыть, что его вызывают. Катюша, страдая за него, тихо потянула его за рукав.

— Михаил Тарасович, пожалуйста, одевайтесь, — шепнула она. — Вас ждут.

Он молча оделся, потом, не раздеваясь, прошел мимо изумленного Григорьева прямо к Сильченко. Тот встал ему навстречу, крепко схватил за руку и стал трясти. Седюк, едва заметив торжественность встречи, вяло опустился в предложенное ему кресло. Сильченко схватил со стола тошнющую папку и протянул ее Седюку.

— Вот, получайте! — воскликнул он. — Немецкая технология, та самая, которой мы допытывались.

Седюк перелистывал аккуратно прошитые и перенумерованные страницы — выдержки из статей, соображения специалистов, описания аппаратуры. Так вот он в чем заключался, этот таинственный немецкий секрет, — в том, что никаких секретов не было. Немцы, столкнувшись со всеми трудностями, над которыми бился и он, отказались от чистого процесса на бедных конвертерных газах как от неосуществимого. Они добавляют в конвертерные газы богатый сернистый газ, получаемый от сжигания кусковой серы, специально выстроили для этого сероплавильное отделение. Только две трети кислоты идут за счет использования конвертерных отходов, остальное — сера, та же сера, что и на старых сернокислотных заводах, ничего принципиально нового.

— Что с вами случилось, товарищ Седюк? — вдруг спросил Сильченко. — Мне кажется, вы чем-то расстроены.

Седюк поднял голову. Сильченко смотрел на него ласковым пронизательным взглядом. Седюк хотел сказать напрямик: «Да вот, получил письмо, жена изменила — и мне и Родине». Но горло его перехватило железное кольцо. Он не сознавал, сколько в его улыбке боли и отчаяния. Он вынул письмо и молча протянул его Сильченко. Тот читал, нахмурясь.

— Понимаю ваше состояние, — сказал Сильченко, помолчав. Он в волнении прошлся по кабинету и остановился на своем любимом месте, у окна. — Война раскрывает души. Только в трудную минуту познается,

каков человек. Мне кажется — судя по тому, как вы мне рассказали при первой встрече, — вас мало что связывало с женой. Лучше сразу рвать фальшивые связи, чем тянуть их всю жизнь.

— Теперь уж, конечно, придется рвать, — через силу усмехнулся Седюк. Потом встал. — Разрешите идти, товарищ полковник?

— Идите, — разрешил Сильченко. — Материалы для подробного ознакомления я пришлю вам завтра — их хотел посмотреть Дебрев.

Он проводил Седюка до двери и дружески повторил, положив руку на плечо:

— Возьмите себя в руки..

Дебрев явился к Сильченко через несколько минут и застал начальника комбината в глубоком раздумье. Дебрев схватил папку и жадно пробежал ее. Он захохотал и, ликуя, стукнул кулаком по столу.

— Знаете, что во всем этом самое удачное? — заявил он, шумно торжествуя. — То, что мы слишком поздно узнали обо всех этих немецких тайнах. Да, да, не смотрите на меня так удивленно! Представьте только, что папочка эта пришла бы к нам месяца два назад. Ведь мы сразу потребовали бы кусковую серу, а для серы нужны те же самолеты, целая эскадрилья самолетов. Мы искали несуществующие секреты и отработали процесс на одних конвертерных газах, без серы, совершили то, что немцам не удалось.

— Пожалуй, верно, — согласился Сильченко. — Если бы процесс был нам известен, конечно, было бы невозможно удержаться от его копирования.

Дебрев заинтересовался:

— Седюк ознакомился со всем этим?

— Ознакомился. Он недавно ушел от меня. Между прочим, он получил скверное известие: жена осталась у немцев. По своей воле осталась.

— Бить бы всех этих молодых шалопаев, палкой бить! — зло сказал Дебрев. — Зачем женился на такой?

— Сердцу не укажешь, оно у разума не всегда спрашивается, — заметил Сильченко.

— Бросьте! — презрительно скривился Дебрев. — Вздор, будто у сердца нет ума. В души нужно смотреть, а не в глазки. Я его жену не видел, но представляю — эгоистка, модница, свету только что в маленьком ее окошке, на все остальное ей наплевать. Разве это подруга такому человеку? А он ее выбрал и, наверно, любил, привязался душой. К чему, спрашиваю?

— Души тоже меняются, — возразил Сильченко. — Легко не предскажешь, куда человек метнется в тяжелую минуту. Да и мы не всегда одинаково с людьми требуем, не всегда одной меркой их мерим. Все мы меняемся. Сами вы уже не тот, что были полгода назад, и я иной.

Эти слова почему-то сильно обидели Дебрева. Он встал.

— Не понимаю, что общего между нами и той грязной вертихвосткой, — сказал он с достоинством. — О себе знаю одно: не менялся, не меняюсь и меняться не собираюсь. Не к чему!

Прежде всего Седюк стремился попасть домой незаметно, задами, чтобы не повстречать знакомых. Он торопился, словно мог опоздать. Он бегом взобрался по лестнице и только на площадке перевел дух. Войдя, он закрыл дверь на ключ и крючок, чтобы даже уборщица не могла помешать. Он кинулся к чемодану, лежавшему под кроватью, и выдвинул его. Здесь, среди книг и бумаг, лежала фотографическая карточка — красивая, молодая, надменная женщина в нарядном платье. Он рвал карточку на куски, рвал молча, ожесточенно, деловито и потом, сложив обрывки

в кучку, поднес к ним зажженную спичку — плотная бумага чадила и тлела. Вздохнув, он выпрямился — спина ныла от напряжения, словно после тяжелой физической работы.

— Все! — сказал он громко. — Теперь все!

Не сняв пальто, он сел на кровать. Руки его тряслись от ожесточения. Он смотрел на кучку пепла — все, что осталось от его прежней жизни. А жизнь эта вдруг нахлынула на него давно забытыми картинками. Он не узнавал себя в том человеке, которого с мстительной услужливостью рисовала ему память. Нет, он не мог так жить, не мог спокойно и равнодушно носить все это! То был другой человек, не он! И, однако, это был он, никуда не денешься, он! Он, он, от этого не уйдешь! И он сам виноват, глубоко, бесконечно виноват — он мог предвидеть все это, измена не свалилась неожиданно, это только естественный и закономерный конец того, что было известно и прежде. Почему же он никогда об этом не думал? Все, что угодно, он мог вообразить себе — все, кроме этого.

«Вот все и кончилось», — горько подумал он снова. Что ж, теперь можно прийти к Варе и сказать ей: поздравь и обними меня, я свободен. Я ни в чем не виноват, ведь я не мог знать, что она так низко падет.

Неправда! Он не смеет оправдываться. Он не смеет говорить, будто ничего не знал. Он знал ее всю, ее поступки, ее помыслы. Знал, что нет у нее за душой ничего, кроме эгоизма и самовлюбленности, знал ее холодную, безразличную ко всему душу. И разве, услышав, что она не хочет эвакуироваться, он не похолодел, не испугался, что она задумала подлость?

«Нет, этого я не мог предвидеть», — сказал он себе с отчаянием. Он знал, что дело кончится плохо. Но боялся, что ее, беззащитную, угонят в Германию, что ее, слабую, истерзают непосильной работой, замучат голодом, надругаются над нею. Но где-то в глубине души, неосознанное, жило опасение, что может случиться и другое...

Он вскочил. Больше оставаться в комнате он не мог — здесь не было спасения от беспощадных мыслей. Он подумал о Варе и внутренне содрогнулся. Нет, не сейчас. Он пока не может идти к ней. Потом! Он не имеет права взваливать на других свои ошибки, свое позднее раскаяние, свое бешенство. Этим надо перемучиться самому. Он перемучится сам — так, только так.

Он побрел в опытный цех, не различая дороги, наталкиваясь то на столбы, то на деревья. Ветер свалил его в сугроб, только тогда он вспомнил, что метеорологи предвещали к вечеру сильную пургу. Пурга гремела во всей тундре, кругом бешено неся мелкий снег. Седюк ввалился в помещение, лишившись голоса, обледеневший и измученный.

— Да вы с ума сошли! — гневно закричал, взглянув на него, Киреев. — Неужели вы не понимаете, что только сумасшедшие прогуливаются в такую погоду? Я даже в столовую не пошел, а ночевать буду на диване. И потом, у вас же сегодня занятия на курсах.

— Не до курсов! — отмахнулся Седюк. — Послушайте, Сидор Карпович, получено наконец описание немецкого способа.

Он торопливо изложил все, что прочитал у Сильченко. Киреев не дал ему договорить. Он уловил существо дела с первых же слов. Восхищенный, он хлопнул Седюка по плечу и кинулся в сернокислотное отделение. Седюк пошел за ним. Дремавшая аппаратчица испуганно вскочила при появлении начальства. Процесс шел ровно, записи в журнале показывали одни и те же цифры. Седюк с невольным волнением смотрел на поглочительные баки. Там сегодня, как и вчера, накапливалась черная, грязная, но свободная от вредных примесей кислота — та кислота, без которой задержался бы пуск завода, та кислота, что была в течение нескольких месяцев самой его заветной, самой мучительной, самой вдохновенной думой.

Да, конечно, за ним большая вина. Но есть же оправдание его жизни — плод его поисков, его труда и забот, всех его мыслей, то, чем полны были все его дни, каждый час.. Завтра они раскроют бак, скачают бочку кислоты, и он будет любоваться ею, будет наслаждаться ее видом, даже ее запахом, как Киреев.

— Черт знает что! — вспыхнул Киреев. — Смотрите записи, Романов не дал настоящей плавки, через час конвертер придется опораживать. Опять завтра не выдадим полной бочки кислоты!

Седюк постарался успокоить раздраженного Киреева. Их спор был прерван телефонным звонком. Недовольный голос Лидии Семеновны выговаривал Седюку за срыв занятий — нужно было хоть предупредить заранее, она заменила бы уроки. Кроме того, она надеялась, что он проводит ее домой, на дворе такой ветер, что она боится выходить одна. Седюк стал оправдываться — он неожиданно получил новые данные по процессу, прийти сегодня не сможет.

Киреев хмуро слушал их разговор.

— Неужели вы в самом деле не пойдете? — спросил он с осуждением. — Человек просит помочь добраться домой, а вы отказываете, куда это годится?

— Никуда не пойду, — с досадой сказал Седюк. — Буду, как вы, тут ночевать. А доведут ее курсанты, одна не уйдет.

— Слушайте, — горячо сказал Киреев. — Вы, конечно, оставайтесь, хлопот, правда, хватит на всю ночь. А я пойду вместо вас, провожу ее. — Он поспешно добавил: — У меня дома дела, я собирался заняться ими завтра, но лучше сегодня.

Седюк в изумлении смотрел на него. Киреев медленно краснел — покраснело лицо, шея. В замешательстве он отвел глаза и забарабанил пальцем по столу аппарата. Седюк улыбнулся, хотя ему было не до смеха.

— Конечно, идите, — сказал он. — Погода не такая страшная.

## 16

Непомнящий выздоравливал медленно, тяжело, но верно. Он был очень слаб, и к нему никого не пускали. Он жаловался в записке к Мартыну: «Меня со всех сторон сдавила блокада, никто пока сквозь нее не просочился».

Первый проник к нему Яков Бетту. Во второй половине января он с Наем Тэниседо и Семеном Гиндипте выпросил у Лидии Семеновны отпуск для охоты. Пропадали они целую неделю, но явились нагруженные богатой добычей — охота, точно, была великолепной.

Когда Никанорову доложили, что три закутанных в меха парня требуют свидания с Непомнящим, он коротко распорядился: «Не пускать!» — и даже сам спустился вниз, чтобы прогнать нахалов. Весь пол приемного покоя был завален трофеями: тут было штук двадцать куропаток, пудовая нельма, зайцы и меха — песцы, горностаи. Изумленный Никаноров смотрел только на куропаток.

— И это все в подарок Непомнящему? — осведомился врач.

— Все Иге, все Иге! — согласно закричали охотники.

— Слишком жирно для одного! — определил Никаноров. — У меня полтора месяца вся больница сидит на супе из консервов. Тут из одной только нельмы можно сварить уху на все палаты, а куропаток хватит на неделю. Василий Иванович, — обратился он к санитару, — тащите все это скорее на склад и скажите повару, что прежнее меню отменяется, сегодня бульон из потрохов.

— Доктор, пусти к Иге! — попросил Яков.

Никаноров сделал вид, что не заметил, как одетые в халаты гости потащили вверх свою добычу. Он ничего не сказал, услышав, как весь второй этаж наполнился шумом, визгом и хохотом.

— Неужели это все мне? — изумился Непомнящий, с восхищением поглаживая мех горносталя.

— Тебе, Ига! Бери, Ига! — кричали друзья.

А Най Тэниседо застенчиво вытащил из-под сакуя скатанный в трубку кусок ватмана. Это был карандашный рисунок — четыре великолепных оленя, бешено взметая копыта, мчались по снежной тундре. Высокий, закутанный в меха погонщик — сам Непомнящий (черты его лица были переданы с точностью и любовью) — умело правил неистовым бегом своей упряжки.

— Три дня рисовал, еще до охоты, бери, Ига! — с гордостью сказал Най.

Рисунок очаровал Непомнящего, и он попросил прибить его к стене над кроватью. Непомнящий часто поглядывал на свое мужественное лицо, и ему уже начинало казаться, что все это с ним и вправду было.

Заглянувший в палату Никаноров решил, что прежняя строгая изоляция теперь, пожалуй, ни к чему. И когда Седюк и Варя пришли в больницу, их пустили к Непомнящему.

Одетые в халаты, они сидели у кровати, стараясь говорить не очень громко. Седюк рассказал Игорю, что прорвана блокада Ленинграда. Варя старалась вспомнить все городские новости.

— Я знал, что Жуков умрет, — сказал Непомнящий, когда речь зашла о шайке бандитов. — Когда он вытащил нож, глаза его стали безумными. Я увидел мертвый череп смерти в его глазах. Человек с такими глазами не мог жить.

— Не знаю, как там насчет черепа. Думаю, что жизнь вам спас Парамонов, — заметил Седюк.

— Если хотите знать, Михаил Тарасович, меня спас не Парамонов. Меня спасло мое сознательное отношение к вопросам техники безопасности.

— Не дурите, Игорь, — засмеялся Седюк.

— Честное слово! Придя на подстанцию, я сразу обнаружил разные технические неполадки, в частности в области сигнализации. Вот спросите Мартына, он не даст соврать. Он предложил дополнить аварийную сигнализацию, а я все это провел в жизнь. В ту минуту, как кругом завывли сирены, я понял, что все в порядке, — среди этого шума, звона и света Жуков потерял уверенность. Это была психическая атака, и она блестяще удалась. Меня спас мой старый опыт работника по технике безопасности.

Варя со смехом полюбопытствовала:

— А вы и в эту область заглядывали, Игорь?

— Не только заглядывал, но и оставил печатные следы! — с охотой рассказывал Непомнящий. — Начальник отдела как-то предложил мне составить инструкцию по технике безопасности для котельного цеха. Я набросал ее в тот же день, и начальник, не читая, подмахнул. Через два дня она была расклеена по всему цеху и имела шумный успех. Люди заучивали ее, читали наизусть, как стихи! «Пункт первый. Не спи стоя». «Пункт второй. Уступи дорогу идущему паровозу». «Пункт третий. Разве звонок сигналиста вас не касается?» Начальник мой, бледный и восторженный, примчался в цех и жадно читал творение, под которым стояла его подпись. Он выгнал меня в тот же день. Мою инструкцию содрали и заменили другой — кустарной работой самого начальника. Все в ней было бледно и невыразительно. Например: «Приступая к работе в горячем цехе, надевая рукавицы!» Конечно, инструкцию его никто не запомнил, и она не сыграла никакой роли в борьбе с травматизмом.

Варя и Седюк смеялись, а Непомнящий, утомленный длинным рассказом, закрыл глаза. Гости поднялись и стали прощаться. В приемном покое, сдавая халат, Седюк увидел Катю Дубинину, державшую в руках банку консервированных абрикосов. Она покраснела, здороваясь со своим начальником.

— У вас тут кто, Катя? — поинтересовался Седюк.

— А я к Игорю Марковичу, сегодня к нему первый раз пускают, — ответила девушка. — У нас по январской карточке компот дают, а тут, наверно, плохо кормят, я и принесла. Я совсем не люблю компот, он мне не нужен, — прибавила она.

На улице Седюк взял Варю под руку.

— Погуляем? — сказал он. — Мы с тобой давно уже не гуляли, давай пойдем в тундру.

Они медленно проходили по улице поселка и, выйдя к обрыву, спустились в лесок. В снегу была протоптана неширокая тропинка, они сперва свернули на нее, потом шли прямо по снегу. Твердый, отполированный ветром, скованный морозом наст даже не прогибался под валенками — они шли, почти не оставляя следов. Невысоко над горами висела блестящая луна, но ее окружала уже не глубокая ночь и не серый, болезненно-тусклый рассвет, а широко распростертое голубеющее пространство. Где-то за краем земли невидимое солнце пробивалось наверх, озаряя своим светом тучи и горизонт, и, не пробившись, снова уходило вниз.

— День, день! — радостно говорил Седюк, вдыхая холодный свежий воздух. — Ясный, крепкий день, его уже не загнать назад. Мы даже не замечали темноты, правда, Варя? Мы работали, нам было не до тьмы и света. А сейчас я чувствую, как меня измучила тьма. Мне хочется распахнуть руки и кричать на всю тундру, на всю страну: «День! День!» Неправда ли, смешно и хорошо? Нужно три месяца не видеть солнца, чтоб стать солнцепоклонником!

Он все глядел на светлый юг. Новые широкие мысли поднимались в нем — мысли об их прошлой жизни, мысли об их будущем. Да, вот так они жили — черная ночь навалилась на них, отступление, потеря родных земель, гибель друзей. А сейчас наступает день, неотвратимый, торжествующий день. Они знали, что он придет. Они работали, чтобы он пришел. Пройдут года, об испытаниях, выпавших им на долю, люди будут узнавать только из книг. Он уверен, много хороших романов напишут об их времени. Но он не знает, сумеют ли передать будущие романисты то самое важное, что определяло их жизнь, их характер, их мысли в эти трудные годы. Да, конечно, люди влюблялись, ссорились, страдали и были счастливы, им приходилось голодать и холодать, они горевали над умершими и радовались рождению ребенка. Но труд, горький и вдохновенный труд, — вот что стало истинным содержанием их жизни. Труд занимал все их время, поглощая их мысли и чувства. Вот пусть обо всем этом расскажет тот будущий романист. А если он, повествуя о сегодняшней жизни, не расскажет о труде, об их отношении к труду, великую, непростительную неправду он скажет про это время.

— Ты, кажется, заранее ненавидишь этого бедного будущего романиста, — засмеялась Варя.

Он смеялся вместе с нею. Давно уже она не видела его таким оживленным и радостным, давно не слыхала от него таких хороших и бодрых слов. Она глядела на его посветлевшее лицо, потом подошла к нему и обняла, положив голову ему на плечо. Он крепко обнял ее.

Рассвет тускнел, появились звезды. Но широкое сияние еще свободно лилось в пространство. Лицо Седюка стало мягким и задумчивым. Варя, еще теснее прижавшись к нему, тихо сказала:

— Слушай, почему ты молчишь? Мне рассказали другие, а ты молчишь. Мне кажется, ты даже стал избегать меня.

На минуту в нем снова поднялись прежние муки и бешенство. Но он сказал:

— Все это прошло.— И, привлекая ее к себе, целуя ее заиндевевшие волосы, спросил: — Будешь моей женой, Варя?

Она прижалась к нему, не отвечая. Он пытался поднять ее голову, взглянуть в глаза. Она не давалась — он слышал, как стучало ее сердце.

— Конечно, я не берусь любить всю жизнь,— проговорил он, стараясь шуткой обмануть свое волнение.— Любовь до гроба бывает только в плохих романах. Но на первые полсотни лет моей любви хватит, это я обещаю.

— Не надо шутить,— сказала она с упреком.

И тогда он сказал торжественно и ласково:

— Всюду, всегда, Варя!

## 17

Заканчивался десятый день наладки первого котла, и только вчера удалось целую смену продержат нормальное давление. Даже Синий растерялся — никогда еще в его многоопытной жизни не было такого трудного пуска.

— Все летит к черту! — говорил он сердито на планерке.— Горелки тухнут, мельницы останавливаются, паропроводы парят, топки газят, теплоконтроль, конечно, не работает, как всегда, дымососы не тянут — ужас! И главное, все сразу: кидаетесь в одну сторону — авария в другой, нужно бежать туда!

Сильченко видел, что все это правда: люди метались от одного места аварии к другому, иногда не успевали ничего толком сделать, потому что старались сразу поспеть во все места. Он был, пожалуй, единственный человек, сохранивший спокойствие среди всего этого «технического смятения». И Сильченко, меньше других разбирающийся в специальных вопросах энергетики и монтажа, неожиданно для всех нашел самый короткий и правильный путь.

— Вы слишком суетитесь, товарищи! — сказал он сурово Лешковичу и Синему.— И именно поэтому нигде не доводите до конца начатое дело. Давайте составим график наладки котла по узлам — отдельно пылепитание и горелки, отдельно топки, дымососы и прочее. И пока не покончите с одним узлом, не переходите к следующему. Уверю вас, так получится и лучше и быстрее.

Дебрев тотчас стал осуществлять эту мысль. Он сам утвердил написанный по часам пусковой график и сам следил за его исполнением. И только с этой минуты дело двинулось к концу — люди успокоились и, не отвлекаясь ничем другим, быстро и толково испытывали узел за узлом и тут же исправляли неточности и неполадки. Котел достиг нормального давления пара, и Синий по телефону сообщал, что с сегодняшнего дня давление падать не будет.

Тем временем Федотов методически проводил все испытания на турбине. Все, казалось, было опробовано. Сначала турбина работала на холостом ходу, потом ее переключили на сушку генератора, шла долгая проверка его работы и защитных устройств. Пуск первого генератора назначили на десять часов вечера. Накауне Сильченко провел на станции почти всю ночь — в пять часов утра Синий с Федотовым, посоветовавшись и отказавшись дать какие-либо пояснения, отменили намеченный пуск. И все началось сначала.

Сильченко подошел к окну своего кабинета. Было уже совсем светло — виднелись стены ремонтно-механического завода, в сером далеком полу-

свете вставляли корпуса ТЭЦ. Там сейчас продолжается та же сумасшедшая, неистовая работа, что кипит уже две недели. Все работают, а он чувствует себя совершенно бессильным. Настала минута, когда он ничем не мог повлиять на ход операций. Наладку не подгоняешь, это ведь не просто раздел монтажных работ, это — искусство. Ему остается ждать. Он отлично знает, что всякое подстегивание будет только мешать сложной, ответственной работе людей. Он всегда был разумно терпелив. Он должен ждать, терпеливо ждать, как тогда, во время плавания на Каралаку...

Зазвонил телефон. Усталый, довольный голос Дебрева сказал:

— Выезжайте на ТЭЦ. Кажется, на этот раз дело серьезное — Федотов обещается пустить через два часа.

Сильченко раньше всего прошел в здание котельного цеха. В щитовой у стола сидел Зеленский, чисто выбритый, но усталый и осунувшийся. Он просматривал записи в журналах. При входе Сильченко он повернулся, но на его обычно подвижном лице ничего не изменилось — было видно, что его совершенно не интересовал приезд начальника комбината.

— Как дела? — спросил Сильченко, усаживаясь.

— Дела идут хорошо, — ответил Зеленский все тем же бесстрастным тоном. — По котлу кончаем монтаж дистанционного управления. — Он кивнул головой в сторону щита, перегородившего всю комнату. За его панелями стучали молотки и вспыхивала электросварка. — Генератор сушат, проверяют защиту, гопают на холостом ходу, но поставить под нагрузку не решаются. Федотов чего-то мудрит. Куда-то исчез Лешкович, минут двадцать назад его искали, но не нашли. Вероятно, завалился спать в каком-нибудь укромном местечке, он это любит. Только где он устроился? На станции нет ни одного спокойного угла.

— Как вы думаете, пуск сегодня состоится?

Зеленский зевнул.

— Состоится, конечно. И вчера можно было пускать. Просто Федотов не может сдать что-либо недоделанное. Подступиться к нему нельзя. У него в масляном насосе засорились фильтры, он оттолкнул мастера и сам нырнул в масло. Сегодня ночью, уже после вашего отъезда, опять потеряли вакуум на турбине, одновременно какой-то из насосов запел высоким голосом. Когда это началось, я ушел, на Федотова было жутко смотреть. Вы же сами, наверное, видели в машинном зале — там люди разучились ходить, все или замирают, когда Федотов выстукивает и выслушивает свою турбину, или мчатся, сшибая все на пути, когда он приказывает что-либо делать.

На тягомерах, установленных на крайней панели щита, внезапно запрыгали и покатались к нулю все стрелки. В раскрытую дверь из цеха стал проникать удушливый запах гари. Дежурный по щиту вскочил в цех. Остервенело зазвонил телефон. Зеленский снял трубку, даже со стороны было слышно, как кто-то ожесточенно ругается.

— Ничего не знаю! — крикнул Зеленский, раздражаясь. — Вот разберемся и выправим. — Он выглянул в окно, выходящее прямо в цех. Из пылеугольных горелок и топки выбивались пыль и дым. — Станный человек этот Федотов, — сказал Зеленский с досадой. — Думает, он один заботится о деле.

Из цеха возвратился растерянный дежурный и доложил:

— Вдруг упала тяга, кочегары прикрывают питание и дутье. Причины аварии неясны.

— Что-нибудь с дымососами? — отрывисто спросил Зеленский.

— Оба дымососа работают исправно.

За щитом послышалось кряхтение и шорох. Кто-то, наталкиваясь на боковины и ругаясь, выползал из-за крайней панели. Потом показалось заспанное, черное от угольной пыли и масла лицо Лешковича.



— Сашка! — непочтительно крикнул он сиплым голосом. — Чего, дура, смотришь? На втором шибере первого дымососа заслонка захлопнулась — пошли человека.

— На первый дымосос, живо! — распорядился Зеленский, даже не обратив внимания на грубый тон Лешковича.

Только сейчас Лешкович узнал Сильченко.

— Устал, как три сукиных сына, — пробормотал он, потягиваясь и зевая. — Придется принять еще порцию сна. Если что случится, будите меня немедленно — моя приемная тут.

Было слышно, как он кряхтел, устраиваясь на полу. Показания приборов быстро входили в норму. Вернувшийся дежурный сообщил, что авария ликвидирована. Зеленский слушал невнимательно.

— За шитом устроился, — сказал он одобрительно. — Молодец, спокойно и тепло.

Было видно, что сам он не прочь растянуться рядом с Лешковичем. Сильченко поднялся.

— Пойдемте в машинный зал. Может быть, пригласим и Лешковича?

— Попробуйте его разбудить, он вам такое покажет! — в первый раз улыбнулся Зеленский. — Эти парадные церемонии не для него.

По дороге их нагнали Дебрев с Симоняном. Оба были злы.

— Опять надувает этот импортный шеф... — взглянув на часы, сказал Дебрев со злостью. — С утра обещал — днем сдаю, а сейчас какие-то затруднения выдумывает. Если сегодня не пустит, придется поговорить с ним круче. Ведь мы все силы собрали на станцию. Лешкович отсюда не вылезит, а на других объектах монтаж срывается. Вот вам первый результат — Лесин январский план не выполняет. Вы его знаете, тихоня, скромница, вчера мне такой разнос по телефону устроил, что я и слова вставить не сумел. И прав, все квалифицированные монтажники тут, ему не с кем работать. Нужно скорее кончить с этим пуском и навалиться на медный, пока прорыв там не углубился.

Турбина и генератор были в ходу — ровное гудение наполняло помещение машинного зала. У щита управления стоял Синий со своими людьми. Федотов прохаживался возле турбины и вслушивался в ее шумы. Возле генератора сидел дежурный инженер. Сильченко подошел к нему — Федотов даже не повернул головы в сторону вошедших.

— Как с пуском? — спросил Сильченко, здороваясь с инженером.

— Пустим, — неопределенно ответил тот и вздохнул. — Вот даст Василий Васильевич команду — начнем сдавать машину. Не все, конечно, доделано до конца, в некоторых трубопроводах течь, но это уже не так существенно.

— А что же существенно? — сердито спросил Дебрев, с неприязнью глядя на дежурного инженера, выбиравшего самые осторожные выражения. Он повернулся к Сильченко. — Вот третий день ни у кого не могу добиться толку. Один кричит, что плохо с вакуумной системой, другой открывает катастрофическое положение в системе конденсатной, а третий грустит по поводу некачественного монтажа трубопроводов. А пока идут все эти споры, воз не двигается с места. — Дебрев повысил голос: — Я хотел бы знать, когда это кончится?

Федотов услышал раздраженный голос Дебрева и бросил наконец осмотр турбины. Он шел угрюмый, нагнув большую голову, вытирая тряпкой перепачканные маслом руки. Стоявшие перед ним люди торопливо расступились. Сильченко подал ему руку.

— В чем дело, Борис Викторович? — спросил Федотов, глядя сердитыми, красными от усталости глазами не на Сильченко, а на Дебрева. — Почему такой громкий разговор?

— Всех интересуется пуск, — сдержанно пояснил Сильченко.

— Ну, будет пуск,— ворчливо отозвался Федотов.— Нельзя же пускать такой сложный агрегат без самой тщательной проверки.

— Когда? — придиричиво допрашивал Дебрев. — Вы обещали машину пустить сегодня?

— День еще не прошел, — неожиданно весело возразил Федотов. И внезапно с ним произошла разительная перемена — лицо из хмурого и раздраженного стало добрым и радостным, даже голос, скрипучий и хриплый, стал торжествующим и веселым. — Знаете, как в песне — у нас товар, у вас купец, — сказал он этим новым, несжиданным голосом. — Принимайте первую машину в эксплуатацию!

Синий деловито нацепил на нос очки, помахал дежурному инженеру и начальнику машинного зала, чтобы они подошли поближе. Вместе с Федотовым они осмотрели показания приборов на щите турбины и сверили эти показания с записями в журнале. Федотов сделал в журнале новую запись и расписался. Синий и начальник машинного зала что-то приписали и тоже расписались. Синий отдал в трубку распоряжение, и снова все они наблюдали показания приборов.

Вся эта церемония продолжалась минут десять. Синий, сделав запись в журнале и передав ее дежурному машинисту, подошел к Сильченко и по-военному вытянулся перед ним. И хотя военной выправки у него не было и его худая, глубоко штатская, сутулая фигура стала только смешной в старательной одеревенелости, никто не заметил ни нелепости его позы, ни смешного в том, что ему захотелось принять ее, — все с волнением ждали его слов.

— Разрешите рапортовать, товарищ полковник! — сказал Синий. Ликующие нотки в его голосе не вязались с официальнойностью рапорта. — Генератор принял промышленную нагрузку. Таким образом, внеочередная часть самой крупной заполярной ТЭЦ мира уже пять минут находится в промышленной эксплуатации.

Сильченко протянул руку Синему и хотел ответить ему, но голос его прервался и из глаз покатались крупные слезы. Строгий, сухой начальник комбината, никогда не позывавший голоса, одной рукой вытирал глаза, другой сжимал и тряс руку Синему. Все это было так неожиданно, что люди в смущении отвернулись.

А потом молчание превратилось в нестройный шум радостных восклицаний, вскриков и смеха. Все пожимали друг другу руки и поздравляли один другого.

— Ты не сердись на меня, Василий Васильевич! — растроганно говорил Дебрев, ожесточенно тряс руку Федотова и любовно глядя на него. — За первый агрегат спасибо, а за все эти, знаешь, подтягивания не обижайся!

— Разве я не понимаю? — отвечал Федотов, вкладывая всю свою могучую силу в ответное пожатие. — Одно дело делаем, дураку ведь ясно, чего тут обижаться.

Сильченко понемногу принимал свой обычный вид, только руки его еще дрожали от волнения.

— Главное, — сказал он, — пуск ТЭЦ произошел точно в предписанный правительством срок.

— На два дня раньше срока, Борис Викторович! — поправил Дебрев, улыбаясь.



---

БОРИС СЛУЦКИЙ



## КАК МЕНЯ ПРИНИМАЛИ В ПАРТИЮ

Я засветло ушел в политотдел  
И за полночь добрался до развални,  
Где он располагался. Посидел,  
Газеты поглядел. Потом — позвали.

О нашей жизни и о смерти  
мыслящая,  
Все знающая о добре и зле,  
Бригадная партийная комиссия  
Сидела прямо на сырой земле.

Один спросил:  
— Не сдрейфишь? Не сбрешь?  
— Не струсит, не солжет, —  
другой сказал,  
А лунный свет, валивший через брешу,  
Светить свече усердно помогал.

И немцы пять снарядов перегнали,  
И кто-то крякнул про житье-бытье,  
И вся война лежала перед нами,  
И надо было выиграть ее.  
И понял я,  
что клятвы не нарушу,  
Что сбмануть друзей я не смогу,  
Что я вовеки  
не сбрешу,  
не струшу,  
Не сдрейфлю,  
не созру  
и не солгу.

Руку крепко жали мне друзья  
И говорили обо мне с симпатией,  
Так в этот вечер я был принят в партию,  
Где лгать — нельзя.  
И трусом быть — нельзя.

## ГОВОРIT ПОЛИТРУК

У меня по листку разобрали блокнот походный.  
 Не хватило... Тоску нагоняет солдат пехотный.  
 — Что ты хочешь? Что просишь?  
 — Запишите хоть имя, прошу я...

Эту просьбу о партии в сердце доньше ношу я.  
 И меня и его после боя снесли в санбаты.  
 Я не знаю того — он солдат или холм горбатый,  
 Человек или память, трава на бугре придорожном,  
 Только просьбу о партии не забуду — нельзя, невозможно.  
 Я с тех пор изменяю подсчетов порядок.  
 Я с тех пор причисляю к любому отряду  
 Фронтовых коммунистов, партийцев глубокого тыла.  
 Единицу.

Солдата.

Листка для него не хватило.

\* \*  
 \*

Я не любил стола и лампы  
 В квартире уютной, словно лодка,  
 И тишины, бесшумной лапой  
 Хватающей стихи за глотку.  
 Москва меня не отвлекала —  
 Мне даже нравилось, что гулки  
 Ее кривые, как лекало,  
 Изогнутые переулки.  
 Мне нравилось, что слоem шума  
 Ее покрыло, словно шубой,  
 Многоголосым гамом ГУМа,  
 Трамваев трескотнею грубой.  
 Я привыкал довольно скоро  
 К ушам,  
     немного оглушенным,  
 К повышенному тону спора  
 И глоткам,  
     словно бы луженым.  
 Мне громкость нравилась и резкость —  
 Не ломкость слышалась, а крепость  
 Заголосами молодыми,  
 Охрипшими в табачном дыме.  
 Гудков фабричных перегуды,  
 Звонков вокзальных перезвоны,  
 Громов июньских перегромы  
 В начале летнего сезона —  
 Все это надо слушать, слушать,  
 Рассматривать, не уставая.  
 И вот  
     развешиваю уши,  
 Глаза пошире раскрываю  
 И, любопытный,  
     словно в детстве,

Спешу  
 с горячей головою  
 Наслушаться и наглядеться,  
 Нарадоваться  
 Москвою.

## АГИТАЦИЯ СРЕДИ ВОЙСК ПРОТИВНИКА

Я выставил над бруствером трубу  
 И начал агитировать противника:  
 Сначала я поставил им пластинку,  
 Потом я им представил их судьбу.  
 Труба гремела метров на семьсот.  
 (До немцев было метров сто, положим.)  
 Я Штрауса завел им наперед.  
 Потом я долго Гитлера порочил.  
 И вот на синем от луны снегу  
 Забегали три ражих немца бодро.  
 И котелки им колотили бедра,  
 Усердно громыхая на бегу.  
 В ту же минуту две передовых  
 Прислушались и ясно разобрали,  
 Как трое немцев, трое рядовых,  
 По-русски слово «коммунизм» орали.  
 Передний оступился и поник:  
 То пули с тылу брызнули на них.  
 В ту же минуту две передовых  
 Прислушались и ясно разобрали,  
 Как двое немцев, двое рядовых,  
 По-русски слово «коммунизм» орали.

Я это слово много раз слышал.  
 Я под его планидою родился.  
 Но в эту полночь я им так гордился,  
 Как будто первый я его сказал.

## ОСЕННИЙ ЛЕС

Прекрасные, как цветы, грибы,  
 Тяжелые, как грибы, цветы,  
 Затерянные в березняке столбы  
 Стыдятся своей нагой простоты.

На что походит осенний лес?  
 Больше всего — на тихий пожар.  
 Молча лижут чашку небес  
 Пламени желтые языки,  
 И падает в пламя солнечный шар —  
 Капля дождя — в пойму реки.

Так шаль цыганская не пестра,  
 Как лес, еще зеленый на треть.  
 У каждого дерева, как у костра,  
 Можно не ноги, а душу греть.

Мне объясняют: это клен.  
Верно — клен! Я читал о нем,  
Но там говорилась, что зелен он,  
А он пылает багровым огнем.  
А теплота, а красота  
Каждого маленького куста?  
А мягкость бурой лесной земли,  
А бескорыстие птиц лесных?  
Поют, как будто их завели,  
И хочется долго глядеть на них  
И не копировать, не подражать —  
Просто песню ту продолжать.



# СОЮЖАЕТ НАЗАД

## Июль, 1917 год...

Растущая революционность масс, дальнейшее усиление недовольства трудящихся политикой коалиционного Временного правительства, с одной стороны, попытки ликвидировать завоевания революции и мобилизация сил контрреволюции, с другой,—такова обстановка, сложившаяся в России к началу июля 1917 года.

Ни одна коренная задача революции решена не была. Затянувшаяся война требовала все новых и новых жертв, способствовала усилению экономической разрухи, расстройству транспорта. В стране не хватало топлива, сырья для промышленности, хлеба для рабочих. Закрывались фабрики и заводы, увеличивалась армия безработных. Буржуазия готовилась к открытому наступлению на рабочий класс. Она рассчитывала «костлявой рукой голода» задушить революцию. На это пролетариат ответил увеличением числа стачек на промышленных предприятиях с требованиями восьмичасового рабочего дня и улучшения экономического положения. В деревне нарастала аграрная революция. Крестьяне поднимались против помещиков, захватывали их землю, инвентарь, скот. Летом 1917 года крестьянскими волнениями была охвачена почти вся центральная Россия. Движение рабочих и крестьян оказывало огромное влияние и на армию. Атмосфера все накалялась.

В конце июня — начале июля в Петрограде стало известно о неудавшемся наступлении русских войск на фронте. Это сообщение всколыхнуло весь революционный Петер. Народ узнал о преступной аванюре Временного правительства, о том, что, прикрываясь разговорами о мире, оно продолжает империалистическую войну. На заводах и фабриках, в воинских частях Петроградского гарнизона проходили бурные собрания и митинги.

Третьего июля на Выборгской стороне начали стихийно возникать демонстрации возмущенных солдат и рабочих. Вскоре отдельные выступления слились в общую мощную демонстрацию под лозунгом «Вся власть Советам!». Она грозила превратиться в вооруженное выступление против Временного правительства.

Партия большевиков хорошо видела эту нарастающую революционность масс. Учитывая соотношение сил, партия указывала на преждевременность вооруженного выступления пролетариата — революционный кризис еще не назрел, армия и провинция не готовы поддержать восстание в столице, этим может воспользоваться буржуазия для организации расправы с силами революции. Поэтому Центральный Комитет и Петербургский комитет приняли решение воздержаться от выступления.

Однако, когда стало ясно, что предотвратить стихийное движение невозможно, ЦК постановил принять участие в демонстрации, возглавить ее и придать ей мирный и организованный характер.

Четвертого июля 1917 года в демонстрации петроградских рабочих и солдат, проходившей под лозунгами «Долой войну!», «Вся власть Советам!», участвовало около полумиллиона человек.

И снова меньшевистско-эсеровское руководство Советов пошло против народа, отвергло требование о взятии власти Советами. С ведома и согласия ЦИКа Временное правительство направило против революционных рабочих юнкерские и офицерские части, вызвав на помощь войска с фронта.

Мирная демонстрация рабочих и солдат была расстреляна.

Получив подкрепление фронтовых частей, контрреволюция перешла в наступление. Пятого июля в Петрограде было объявлено военное положение. Начались погромы, аресты большевиков и революционно настроенных рабочих. Подверглись разгрому помещения ЦК партии, редакции «Правды», типографии «Труд», брошены в тюрьмы многие руководящие партийные работники. Против В. И. Ленина было сфабриковано ложное обвинение и отдан приказ о его аресте. Ленин был вынужден уйти в подполье, партия укрыла своего вождя от преследования инсек Временного правительства.

Партия большевиков перешла на нелегальное положение. Контрреволюционная буржуазия полностью захватила власть в свои руки, превратив Советы в придаток Временного правительства. Двоевластие кончилось. Кончился мирный период развития революции.

В новой обстановке партии необходимо было выработать новую тактику, взять курс на вооруженное восстание против буржуазии для свержения ее власти и установления диктатуры пролетариата.

VI съезд РСДРП(б), состоявшийся 26 июля — 3 августа 1917 года, выдвинул в качестве непосредственной задачи борьбу за победу социалистической революции, за победу социализма в нашей стране. Съезд происходил в Петрограде нелегально. Его первое заседание состоялось на Выборгской стороне, последнее — у Нарвских ворот. В. И. Ленина на съезде не было. Он в это время скрывался в шалаше на станции Рязлив Финляндской железной дороги, однако через своих учеников и соратников руководил работой съезда.

На VI съезде делегаты от партийных организаций Петрограда, Москвы, Центрально-промышленного района, Урала и Поволжья, юга России и Донбасса, Кавказа и других мест представляли около 240 тысяч членов партии. Они рассказывали о росте влияния большевиков в массах, о дальнейшем развитии революции в провинции.

Съезд одобрил деятельность ЦК за период от Апрельской конференции до съезда, поддержал его курс на вооруженное восстание и полностью отверг попытки троцкистов и бухаринцев свернуть партию с этого пути.

Опираясь на решения VI съезда, партия развернула огромную работу по подготовке к грядущим боям, к штурму твердынь капитализма.

**П. ЗАЙЦЕВ,**

*член КПСС с 1918 года*

## В КРОНШТАДТЕ

**М**не шестьдесят лет, и большая часть жизни уже прожита; наверное, поэтому мне с каждым днем все дороже становится то, что дал нам Великий Октябрь, что сделано руками моих сверстников. Много интересного, невосполнимого никакими документами унесут годы вместе с живыми участниками событий. Сорок лет — большой срок, время затухало немало подробностей, но у каждого человека есть что-либо особенно запечатлевшееся, как бы врезавшееся в память. Таким является для меня Кронштадт в июле семнадцатого года. В те дни я был солдатом 3-го Кронштадтского крепостного пехотного полка.

### 1

Во второй половине дня третьего июля на остров Котлин к нам в Кронштадт приехали четыре делегата: три солдата от 1-го пулеметного полка и один матрос от морских частей Петрограда. Сообщив о настроении в Петрограде, они потребовали выступления кронштадтцев.



В пять часов вечера на Якорной площади открылся митинг. Один за другим выступали ораторы, предлагая двинуться с оружием в руках в Петроград на помощь питерским рабочим. Присутствовавшие здесь Семен Григорьевич Рошаль и другие представители Кронштадтского комитета большевиков пытались утихомирить бушующую массу. Недовольство Временным правительством было настолько велико, что, казалось, никакие призывы к спокойствию уже не помогут.

Ночью мы узнали о решении ЦК партии большевиков превратить стихийное выступление в мирную демонстрацию. Исполнительный комитет Кронштадтского Совета предложил утром собраться на Якорной площади и затем организованным порядком отправиться в Петроград, где совместно с войсками Петроградского гарнизона участвовать в демонстрации.

Был выработан порядок сбора. В шесть часов утра собираемся на Якорной площади, в семь часов — посадка на суда, в восемь — выход из Кронштадта, в десять — высадка в Петрограде. Маршрут в Питере следующий: Николаевский мост, Английская набережная, Адмиралтейский проспект, Невский проспект, Литейный проспект, Шпалерная улица, Таврический дворец.

Рано утром на Якорной площади собралось свыше десяти тысяч матросов, солдат и рабочих. Еще раз было подтверждено, что демонстрация должна быть мирной, что оружие берется только для самозащиты на случай нападения враждебных сил. У пристаней стояли суда «Зарница», «Котлин», «Луч», «Утро», «Русь» и «Луна» и другие с баржами на буксире. После разбивки на отряды мы с оркестрами и знаменами двинулись на пристань и погрузились. А около одиннадцати часов дня кронштадтцы уже были в Петрограде.

## 2

Наша демонстрация пришла к дворцу Кшесинской. На балконе стояли Свердлов, Луначарский и другие соратники Владимира Ильича. Они приветствовали нас. В ответ бурные аплодисменты, возгласы:

— Просим выступить товарища Ленина!

— Владимира Ильича!

И тут произошла моя первая и незабываемая встреча с В. И. Лениным. Представителей кронштадтцев пригласили к Ленину. Мы вошли во дворец, в большой зал, в котором стояло несколько столов и толпились люди.

Из глубины зала стремительной походкой навстречу нам шел, чуть занося вперед плечо, человек. Он заговорил, немного картавя, здороваясь с нами. И я уже знал, что это Ленин, хотя за секунду до этого представлял его совершенно другим. Но теперь я был уверен, что Ленин должен быть именно таким, каким я сейчас его видел, ни на кого из доселе встреченных мною людей не похожим. Когда я почувствовал руку Владимира Ильича в своей ладони, мне захотелось подольше удержать ее. Наверное, пожатие затянулось, потому что Владимир Ильич быстро посмотрел на меня, улыбнулся, словно обещая хранить в секрете то, что он прочел на моем лице.

К нему подходили люди, что-то спрашивали, он отвечал, разговаривал по телефону, но не терял нить беседы с нами. Только выражение его лица непрерывно менялось. Я утверждаю, что Ленин с каждым человеком разговаривал по-разному, как бы подбирая ключ к его сердцу. Иногда Владимир Ильич на мгновение задумывался, проводил пальцем по высокому лбу. Много, очень много забот, видимо, одолевало этого человека!

— Товарищ Ленин, — обратились мы к нему, — выступите, пожалуйста, перед кронштадтцами. Они ждут вас, хотят послушать.

— Ну что ж,— ответил Владимир Ильич,— надо выступить. Я давно хотел побывать у вас в Кронштадте, да все не удается.

Появление Ленина на балконе вызвало бурю восторга. Долго гремело «ура», затем воцарилась тишина.

Я стоял в комнате рядом с балконом, сюда отчетливо доносились ленинские слова. Помнится, он говорил кронштадтцам:

— Я счастлив видеть вас и еще более счастлив разговаривать с вами. Матросы и солдаты Кронштадта уже внесли свой вклад в дело революции, но предстоят еще более ожесточенные схватки с врагами. Революция продолжается!

Свою короткую пламенную речь Владимир Ильич закончил так:

— Кронштадт был и остается большевистской крепостью. Да здравствует социалистическая пролетарская революция! Долой правительство капиталистов и врагов рабочего класса! Долой войну!

Это было, кажется, единственное выступление Ленина перед народом в июльские дни.

### 3

Здесь же во дворце я узнал все подробности начавшегося движения. Солдаты 1-го пулеметного полка на митинге потребовали немедленного вооруженного выступления для свержения Временного правительства. Они с негодованием говорили о попытке Керенского под выкрики о войне «до победы» покончить с революцией. Раздались крики:

— На улицу!

Это была искра, брошенная в бочку с порохом. Наспех написали лозунги: «Да погибнет буржуазия от наших пулеметов!», «Долой десять министров-капиталистов!», погрузили пулеметы на автомашины и двинулись, несмотря на призывы большевиков не выступать, к Таврическому дворцу. Большевистская партия считала вооруженное выступление преждевременным, но рабочие, солдаты не могли больше ждать, контрреволюционный характер правительства стал им совершенно ясен. Стало очевидным, что удерживать массы от демонстрации невозможно. В десять часов вечера третьего июля Центральный Комитет совместно с Петроградским комитетом и Военной организацией решил, что партии следует принять участие в демонстрации, возглавить выступление трудящихся, придав ему мирный организованный характер.

От дворца Кшесинской мы пошли дальше, к центру города. Повсюду, куда хватает глаз, идут люди. Шагают рядом с мужьями жены; держась за отцовский палец, семят ребятишки, на руках у матерей младенцы. Идет рабочий Питер, идет матросский Кронштадт, идет солдатский гарнизон. И на всем пути слышно, как гремят, закрывая окна купеческих домов, массивные ставни — боится буржуй, за железом хочет спрятаться от революции.

На Садовой улице навстречу нам мчитя грузовик. Развернулся и медленно двинулся перед колонной. Передние невольно укоротили шаг, демонстрация пошла медленнее. И только когда на углу Невского проспекта и Литейного ударили не то с верхних этажей, не то с крыши выстрелы, мы поняли, для чего был сделан этот маневр с грузовиком. Но было уже поздно. Я видел, как падали на мостовую люди, слышал, как дико закричал, схватившись за перебитую, упавшую плетью руку ребенок...

В ночь с четвертого на пятое июля состоялось заседание ЦК РСДРП(б) с участием В. И. Ленина. Было принято воззвание о прекращении июльской демонстрации.

Контрреволюция перешла в наступление. Пятого июля были разгромлены редакция «Правды» и типография «Труд». Начались повальные аресты, обыски, погромы. Петроград принял вид осажденного города. Улицы наполнены патрулями юнкеров. Рабочие районы отрезаны от цен-

тра. Утром шестого июля Петропавловская крепость была занята самокатчиками, несколько позднее войска заняли и дворец Кшесинской, в котором учинили погром. На следующий день Временное правительство издало указ об аресте Ленина.

Последовательно, шаг за шагом, наступало Временное правительство и на революционный Кронштадт.

В июле кронштадтцы, не выдержав, взяли за оружие. И все же, идя в своем стихийном возмущении против призывов большевиков не выступать, Кронштадт в июле шел за большевиками.

## 4

Имя Павла Ефимовича Дыбенко, грузчика Рижского порта, затем матроса, участника восстания на линкоре «Император Павел I» в 1915 году, было довольно широко известно среди моряков. Но особенную популярность он приобрел после Февральской революции, когда его избрали председателем Центрального комитета Балтийского флота, сокращенно — Центробалта.

В качестве члена полкового комитета и депутата Кронштадтского Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов мне довольно часто приходилось встречаться с Дыбенко.

Без преувеличения можно сказать, что Павел Дыбенко был душой балтийских моряков. Этот украинец-хлебоборб из небольшого села Черниговской губернии обладал исключительным обаянием как оратор и организатор масс. Вот и сейчас будто живой стоит передо мной этот статный, рослый матрос лет двадцати восьми с живыми черными глазами и небольшой бородкой. Я слышу его голос, зычный и проникновенный, вижу его заразительную улыбку.

Летом 1917 года, после одного из заседаний Кронштадтского Совета, я обратился к нему:

— Товарищ Дыбенко, как быть? Солдаты и матросы требуют немедленного установления в Кронштадте Советской власти. Говорят: «Не хотим и не будем подчиняться Временному правительству. Керенского не признаем! Всю власть Советам!»

— Установления Советской власти, говоришь, требуют? А ты им растолкуй, что на этот счет Ленин объясняет. Наступит день, и мы установим Советскую власть не только в Кронштадте — во всей России! И день этот не за горами, так и скажи ребятам.

В те дни многое решало искусство оратора. У одних оно было врожденным, другие ему учились. Помню, как Дыбенко поучал меня:

— О словах и как их похитрее составить меньше всего думай. Слова сами придут, главное — чтобы тут было. — Дыбенко приложил ладонь к сердцу. — Нам нечего красивые сказки рассказывать. Наша правда простая, и говорить о ней надо просто, но так, чтобы твоя вера перешла к другому. А если не можешь другого убедить, значит и сам не веришь...

Вскоре после июльских событий Павел Дыбенко и ряд ведущих товарищей из кронштадтской партийной организации были арестованы правительством Керенского и заточены в Кресты. Когда балтийские матросы и солдаты узнали об этом, начались бурные протесты:

— Немедленно освободить большевиков-кронштадтцев! Вернуть нам Дыбенко!

Месяца за два до Октябрьского переворота П. Е. Дыбенко был освобожден из тюрьмы и вернулся на пост председателя Центробалта.

Большим авторитетом среди кронштадтцев пользовалась Александра Михайловна Коллонтай. Среднего роста, брюнетка, она обладала какой-то особенной задушевностью, была незаурядным оратором и вожакom

матросских и солдатских масс. По своему внешнему виду Коллонтай отличалась от многих партиек: не носила ни кожаных курток, ни сапог, ни оружейа. Она не терпела проявления малейшей грубости.

До сих пор помню увлекательные, полные глубокого смысла лекции Александры Михайловны. Она беседовала с нами на самые различные темы, помогала разобраться в событиях, знакомила с учением Маркса. Простые матросы и солдаты, относившиеся в первое время с недоверием и даже иронически к «столичной барышне», уже через несколько минут слушали ее с напряженным вниманием, а после лекции тесным кольцом окружали, забрасывая вопросами.

— Товарищ Коллонтай, — обращались к ней солдаты и моряки, — будь добра, расскажи нам, что такое Временное правительство и из кого оно состоит. И в чем разногласия между большевиками и меньшевиками?

— Александра Михайловна, — просили другие, — не смогли бы вы завтра выступить у нас? Очень хотим послушать про Французскую революцию.

Не помню случая, чтобы Коллонтай уклонилась или отказалась от выступления перед кронштадтцами. Она чутко прислушивалась к тому, как реагируют матросы на ее выступления и все ли ясно слушателям. На вопросы отвечала подробно. Нередко прямо на улице ее останавливали матросы в тельняшках с перекрещенными на груди пулеметными лентами, начиналась душевная беседа. Случалось, ей задавали вопросы враждебного или провокационного свойства; она не гневалась, не вспыхивала, а спокойно, точными словами, доходчивыми примерами вдребезги разбивала доводы противника.

Однажды Семен Григорьевич Рошаль вызвал меня к себе и сказал:

— Мы тут решили направить некоторых наших товарищей, кто из хлебобобов, на недельку-другую на родину, в деревню, как бы на побывку. Задача такая: наладить связь с крестьянством, содействовать его сплочению с рабочим классом, организовать крестьянские комитеты, большевистские ячейки, выступать на митингах. Ясно?.. Так вот, нужно, чтоб и ты поехал в свою Смоленскую губернию. Подскажи землякам, что надо делать. Помни, это задание Ленина!

## 5

В один из июльских дней я выехал на Смоленщину. В моем вещевом мешке было много брошюр и газет, а также постановления ЦК и Петроградского комитета партии.

В дороге, на станции Дно, я был задержан юнкерами, просидел несколько дней и был освобожден лишь после телеграммы из Кронштадта, удостоверившей мою личность. «Просьба срочно освободить нашего депутата», — гласила телеграмма. К счастью, мой груз не был исследован, и я доставил его благополучно к месту. Он очень пригодился мне в деревне.

Поезда тогда ходили нерегулярно, подолгу стояли. На каждой остановке собирались рабочие, солдаты, крестьяне, возникал летучий митинг. О чем только не говорилось! Немногие в те дни по речам умели определять, к какой партии принадлежит оратор. Слушали всех подряд охотно, тем, кто упоминал слово «свобода», кричали «ура». В лозунгах эсеров и анархистов кое-что казалось и действительно заманчивым. Но особенно тонко действовали меньшевики. Заберется куда-нибудь повыше этакий дядя интеллигентной наружности и давай расписывать будущую райскую жизнь. Он тебе и о матушке Руси напомним, и о русской удали, и о «патриотизме» (именно так, с мягким знаком, на простой манер). А потом, даже и не заметишь как, обязательно перекинется на войну до победного конца. Убаюканные его речью солдаты, едущие домой на побывку и пото-

му сердечно размягченные, крестьяне, собравшиеся к поезду в жажде нового слова, глядишь, и крикнут по привычке: «Ура-а!»

Трудно было мне, простому солдату, распутывать всю эту хитро сплетенную паутину демагогии. Трудно было противостоять образованным, увертливым сраторам.

Как-то остановились мы на одной из станций. Не успели вылезти из вагонов, слышим — с крыши вагона уже меньшевик «чешет» всюю. Кончил под восторженные крики собравшихся. Быстренько полез и я на крышу. Меньшевик уступил мне место, даже раскланялся с усмешечкой: куда тебе, дескать, солдатику, против нас! Конечно, уверенности в победе над ним у меня было не много, не умел я говорить подобно ему гладких, закругленных, хоть и пустозвонных фраз. Зато я всегда помнил наставление Дыбенко: «Если веришь сам, и другие поверят».

А в большевистскую правду я верил крепко. Говорил я, конечно, козяво, но держался фактов. И дошло. Удалось тогда проложить к сердцу людей еще одну тропку для простой и ясной программы большевиков.

Из себя вышел меньшевик, аж глаза побелели. Полез вниз. А я продолжаю. Встал меньшевик на лесенку, что на стене вагона, да как рванет меня за ногу. Тут уж я не выдержал, взял его за грудки, приподнял и — вниз. Ничего, цел остался. Отряхнулся — и бочком-бочком через толпу, потом, выбравшись, шагу прибавил.

Приехал я в родное село, разобрался поначалу что и как, а потом закрутились дела. Создали мы сперва крестьянский комитет, позднее — первую в волости ячейку РСДРП(б). Потом потянулись ниточки крепкой связи с рабочими, фронтовиками. Взяли помещичьи земли под наблюдение, народ ждал сигнала к восстанию, к захвату и национализации имущества богатей. Революционные силы в деревне нарастали. Перед отъездом, помню, был у меня разговор с земляками.

— Гремит, значит, Балтика-то? — спрашивают.

— Да, — отвечаю, — первый гром.

— Ты что? Ведь июль сейчас.

— Новый у нас календарь теперь, — смеюсь. — Как пролетарская революция начнется, так и новая весна для нас придет.

## Н. ТАНХИЛЕВИЧ-БОГОСЛОВСКАЯ,

*член КПСС с 1916 года*

# ЗНАМЯ

На июльскую демонстрацию работники Петроградского комитета большевистской партии вышли со своим знаменем. Это знамя имело свою историю, с которой мне и хочется начать настоящие заметки.

Вскоре после Февральской революции нас, нескольких курсисток, пригласили работать в Петроградский комитет партии.

Комната на самом верхнем этаже, около чердака. Люди приходят, спешно докладывают, быстро уходят выполнять новые задания. В таких условиях работал Петроградский комитет. Я и мои подруги делали все что могли: печатали на машинке, разносили деловые бумаги, агитировали на митингах. Сейчас и не вспомнишь всего того, чем нам приходилось тогда заниматься.

Приблизительно в середине марта Петроградский комитет перебрался во дворец Кшесинской, где помещался и Центральный Комитет нашей партии. Казалось, весь Петроград в те дни сосредоточился возле этого

особняка за Троицким мостом. Днем мимо него сновали любопытные, стараясь заглянуть в окна, к вечеру собирались толпы рабочих, чтобы послушать выступления большевиков. Это были дни величайшего подъема. Партия только что вышла из подполья.

На демонстрации мы ходили с самодельными плакатами. Лозунги были написаны от руки — по нужде художниками становились все. Тут-то и возникла мысль: нужно хорошее, настоящее знамя.

Но где достать материал — шелк, золотые нити? Купить все это было невозможно. Мы сбились с ног, разыскивая, но ничего не находили. Неутомимый, успевающий обо всем позаботиться Николай Ильич Подвойский по нескольку раз в день спрашивал нас, как дела со знаменем. Увы, ничего утешительного мы не могли сказать.

Как-то, когда мы — в который уже раз — молча пожали плечами в ответ на вопросы Подвойского, он укоризненно покачал головой:

— Эх вы, девушки! Посмотрите, что получится, если за это дело возьмется мужчина.

И действительно, на следующий день Николай Ильич привел золотошвейку, некогда расшивавшую придворные костюмы. Кажется, не было ни одного члена Петроградского комитета, который не зашел бы посмотреть, как движется работа. Дошло до того, что золотошвейка — в шутку, конечно, — пригрозила настаивать на карауле из матросов у ее дверей.

И вот родилось красное знамя. Выглядело оно роскошно. Большое полотнище, расшитое золотом. На одной стороне надпись: «Петербургский комитет Р.С.-Д.Р.П(б)», на другой — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Вдвойне замечательным оно было уже потому, что явилось первым легальным большевистским знаменем.

Наступил июль. Многие члены Петроградского комитета, я и мои подруги несколько дней безвыходно провели во дворце Кшесинской. Четвертого числа в ПК собралось много народу. На демонстрацию мы вышли с нашим знаменем. Как известно, демонстрация была разогнана войсками Временного правительства.

Начался небольшой дождь. Пока мы добирались до Каменноостровского проспекта, он успел основательно промочить нас. Чехла на знамени не было, и оно тоже сильно пострадало. Двое матросов, поставив табуретки на стол, повесили знамя на стену сушиться. Они поместили его как можно выше, чтобы никто не трогал руками.

Во второй половине дня нескольких товарищей на грузовике направили на Пороховые заводы, чтобы провести там митинг. Вместе с ними поехала и я. Тогда на этих заводах верховодили меньшевики. Они ни за что не хотели пустить нас на заводскую территорию.

— Вы приехали взорвать завод, — упрямо твердил, закрывая растопыренными пальцами въезд, какой-то жалкий и в то же время очень наглый представитель меньшевистского завкома.

Зачем бы нам это понадобилось, он никак не мог объяснить.

Но от проходной кто-то уже побежал в цехи: рабочие услышали о приезде большевиков. Собравшись с другой стороны ворот, они потребовали, чтобы нас впустили. Завком протестовал, завком кричал, завком не дал нам провести митинг на территории завода. В какой-то степени они были действительно правы: большевики — взрывная сила огромного радиуса действия.

Рабочим в конце концов надоело слушать доводы своих «деятелей».

— Пошли, ребята, — сказал пожилой человек, отирая паклей черные прсмасленные руки, и первым шагнул за ворота.

За ним на площадь поселка потянулись и все.

Это был хороший митинг. Говорили прямо с грузовика.

— Солнце в июле горячее, — сказал тот рабочий, за которым все

вышли на площадь.— Душно в июле. И жить душно. А раз душно, примета есть — грозе быть. Чуть было не началась нынче гроза, да, видно, не вовремя. Ладно, быть еще грому, великому грому!.. А насчет нас, — он указал рукой на завод,— насчет рабочего класса, скажите Ленину, что мы останемся верными революции.

Разве после таких слов надо было еще агитировать рабочих? Они сами прекрасно разбирались в происходящих событиях. На этом митинге мне как-то особенно стало ясно, что победа революции, победа большевиков неизбежна. И она не за горами.

Временное правительство решило более сурово расправиться с большевиками. Оно арестовало нескольких наших товарищей, к дворцу Кшесинской отправило войска. Постепенно, шаг за шагом, солдаты начали смыкать кольцо вокруг здания. Там находилась часть матросов.

Рано утром в Петроградский комитет приехал Свердлов. Оставив в столе свой пухлый красный портфель, Яков Михайлович вместе с Подвойским и секретарем Петроградского комитета Бокием уехал выяснять положение.

Шло время, а они не возвращались. Войска все туже и туже сжимали кольцо. Матросы, находившиеся во дворце, решили уходить в Петропавловскую крепость и там укрепиться. В Петроградском комитете оставалась одна я, а в редакции «Солдатской правды» — две девушки: Кокшарова и Лиза Пылаева. Матросы пришли к нам. Они настаивали, чтобы и мы уходили. Другого выхода не было. Оставалось забрать, что возможно, и уходить.

Матросы кричали нам снизу, торопили. С трудом удалось взломать стол. Забрав портфель Свердлова, деньги и несколько револьверов, мы побежали к дверям. И тут я спохватилась: знамя! Бросилась обратно в комнату, влезла на стол. Знамя висело слишком высоко. Подруги попытались мне помочь, но безуспешно... А времени уже не было.

Буквально через несколько минут во дворец Кшесинской ворвались самокатчики.

Во дворе крепости мы просидели целый день. Приезжали разные представители из Совета, уговаривали матросов сдать оружие и отправиться по частям. Матросы не слушали.

— Пришлите нам представителя большевиков,— говорили они,— вот с ним мы и будем разговаривать.

В крепость приехал Иосиф Виссарионович Сталин. Заложив руку за борт неизменного тогда синего френча, спокойный, уверенный, он говорил тихо, неторопливо, словно делился вслух своими мыслями:

— Центральный Комитет решил всеми силами избегать кровопролития. Центральный Комитет делегировал меня к вам, чтобы разъяснить, почему большевики решили не принимать боя. Положение повернулось таким образом, что мы можем оказаться против Советов... Военные эсеры хотели крови, чтобы дать «урок» рабочим, солдатам и матросам. Мы помешали им осуществить их вероломный план...

Матросы — горячие головы, не сразу они согласились с доводами Сталина. Но потом глубокая вера в правоту всех действий партии, ее Центрального Комитета сыграла свою роль.

— Тяжело, браток,— сказал один матрос другому.— Сейчас бы самое вроде время контру всю придушить. Однако большевики правильно говорят, очень правильно: нельзя нам против Советов идти.

Сталин уехал, и тут я вспомнила, что у меня в руках по-прежнему чужой портфель с документами. Их надо как можно скорее вернуть, Яков Михайлович, наверное, волнуется. Мы с подругами попытались выйти из крепости, но в воротах нас остановил грубый окрик:

— Куда претесь?

— Что?! — Какой-то матрос рванул вниз поднятую часовым винтовку. — А ну, долгой с дороги!

И сзади придвинулась к нам тяжело дышащая матросская толпа.

— А вы чего? — засуетился солдат. — Так бы и сказали, что девчат надо пропустить. Откуда я могу знать?.. Сестры ваши, что ль?

— Двигайте, сестренки, смелее, — напутствовал нас матрос. — Разыщите там кого надобно.

«Где же найти наших? — думала я, выйдя за ворота Петропавловки. — Надо посмотреть около дворца Кшесинской, наверное, кто-нибудь из работников ПК ходит там поблизости».

И действительно, на скамеечке бульвара, что напротив особняка, я не просидела и четверти часа. Рядом опустился кто-то, зашелестел «Новым временем». Выждав несколько секунд, шепнул:

— Все на Васильевском, адрес такой...

С огромной радостью увидел Яков Михайлович свой красный портфель у меня в руках.

— Ну, Нина, вот молодец! Спасибо большущее. Я уж было горевал, что бумаги пропали.

Наше первое легальное знамя так и не удалось сохранить. Лишь с первого января 1918 года у Петроградского комитета партии снова появилось свое знамя.

---

М. ЛАЦИС

## В ПЕТРОГРАДЕ

*(Из дневника агитатора)*

Мартын Иванович Лацис — Судрабс (1888—1938) вступил в партию большевиков в 1905 году.

Февральская революция 1917 года застала его в Петрограде. Агитатор, один из руководителей Выборгского райкома партии, М. И. Лацис являлся членом Петроградского комитета РСДРП(б). В Октябрьские дни входил в состав Военно-революционного комитета.

Дневник агитатора, который вел Лацис, был опубликован в № 5 журнала «Пролетарская революция» за 1923 год. Ниже мы помещаем с некоторыми сокращениями записи из этого дневника, относящиеся к июлю (ст. ст.) 1917 года.

### *Запись 1 июля.*

Общегородская конференция<sup>1</sup>. Что-то опять будет?.. Должно быть... Что-то должно случиться — это чувствуют все. Ведь не было же еще ни одной конференции, чтобы к этому моменту не разыгрались серьезные события.

Но день проходит спокойно в выслушивании отчетов [Петроградского] К[омитета] и Военной организации.

### *Запись 5 июля.*

Два дня подряд не писал. Не до этого было. Жизнь бьет ключом. В понедельник с самого утра настроение в районе [Выборгском] тревожное. Пулеметный полк волнуется.

<sup>1</sup> 1 июля 1917 года в Петрограде открылась II общегородская конференция большевиков.



Утреннее заседание конференции проходит напряженно. На вечернем заседании вдруг приносят известие, что Пулеметный полк выступает на улицу с требованием: «Вся власть Советам».

Конференция принимает решение удержать пулеметчиков от выступления во что бы то ни стало.

...Конференция поручила эту миссию мне и тов. Розену. Мы срочно отправляемся в Пулеметный полк, но, приближаясь к баракам, видим, что уже поздно: по улице выстроились грузовики с пулеметами. Солдаты возбужденно беседуют.

Мы с трудом разыскиваем Семашку, который пулеметчиками недавно избран командиром полка против воли правительства.

Но тут случается что-то неожиданное: нас задерживают и не хотят пропустить дальше. Меня это тем паче поражает, что я в Пулеметном полку свой человек... Семашку уговаривает солдат пропустить нас к нему. Но пулеметчики не успокаиваются: «Знаем их: четыре месяца сюда ходят и отговаривают от выступления... Не поверим».

Семашку, выслушав постановление конференции, заявляет, что он бесценен останавит начавшееся движение, а после выхода пулеметчиков на улицу он считает своим долгом быть с полком.

Мы уходим ни с чем, и когда мы приближаемся снова к Петроградскому Комитету, войска уже подходят к дворцу Кшесинской, и улица дает конференции ответ за нас.

Пулеметчики носятся по центральным улицам города. На Невском на них нападает вооруженный отряд, и начинается перестрелка. В результате допустившие к себе чересчур близко противника и не желавшие в толпе стрелять пулеметчики лишаются 10 пулеметов.

В это время конференция с участием районных представителей принимает решение устроить во вторник мирную демонстрацию...

С утра идет дождь. Поэтому демонстранты собираются только к 11 часам утра. Войсковые части двинулись только с часу дня.

Таврический дворец окружен народом. Улица хочет диктовать свою волю. От заводов избраны представители для составления делегации, направляемой в зал заседания ЦИК. К ним присоединяются и партийные представители. Я — представителем от Выборгского районного комитета большевиков.

Мы, представители петроградских масс, собрались в переднем зале Таврического дворца и через большевистских членов ЦИК требуем допуска в зал заседания.

Чхеидзе<sup>1</sup> в этом категорически отказывает. Но мы не унимаемся, мы лезем на скандал. Избрали из своей среды шесть человек, долженствующих выступить с речью, мы требуем себе слова...

Наконец нас впускают. Мы от лица рабочих предлагаем Советам взять власть в свои руки и общаем нашу поддержку.

На улице нажим толпы, здесь — категорические заявления представителей этих масс, но ЦИК не решается на это предприятие. Выступают оратор за оратором, мямлят, малодушествуют и затягивают собрание до полуночи.

Заводские представители все проникли в зал и уселись между членами ЦИК. Их присутствие дает поддержку большевистской фракции.

А вот и момент голосования.

И в эту минуту в передний зал вводятся солдаты Преображенского полка, и голосование происходит под давлением штыков.

ЦИК отказался взять власть в свои руки...

<sup>1</sup> Лидер меньшевиков Чхеидзе в то время был председателем Петроградского Совета.

Но он побоялся и прямо отказаться от власти. Он предоставил решение этого вопроса пленуму, который соберется через две недели.

Знаем эту тактику. Им нужно время, чтобы подготовиться к бою... с народом.

Так заканчивается 4-е июля.

А пятого утром контрреволюция переходит в наступление.

С раннего утра по распоряжению Половцева разводятся мосты Троицкий и Литейный. Ночью был налет полиции на Пека [Петроградский комитет РСДРП(б)]. Получаем предписание немедленно очистить дворец Кшесинской... Повсюду всоруженные приготовления...

...Заводы не работают. Город в напряженном состоянии.

Устраивается летучее заседание Пека, но кворум не собирается, часть арестована, часть не могла попасть через Неву. Стоит вопрос о выселении. Оказывается, что другого помещения Комитету не предоставляют, но обещают дать охрану нового, нами же найденного, помещения из любого полка, не предавать никого суду, освободить арестованных, только бы мы без сопротивления выехали оттуда. Большинство приняло это предложение, поверив обещанию. Но — что стоит обещание соглашателей! На утро помещение Пека окружено солдатами; все разгромлено и разграблено. Наши кто перешли в Петропавловскую крепость, кто куда, а часть была арестована.

Думали опереться на Петропавловскую крепость, но пришлось ее сдать. А там последовал разгром наших районных комитетов, разгром «Правды», типографии «Труд».

Разоружают Пулеметный полк.

Арестована делегация гельсингфорсских матросов, приехавшая с требованием передачи власти Советам.

Начинается разоружение рабочих.

Неужели Совет не чувствует, что военная клика забирает вожжи, что надо выбрать между большевиками и крайней реакцией? Ведь на Невском уже кричат: «Долой Чхендзе и Советы!»

Он это чувствует, но его природа не позволяет революционных действий, и Совет начинает военные действия против большевиков, против рабочих...

На сцену Половцевым выдвинуты «батальоны смерти».

### **Запись 9 июля.**

...Издан приказ Временного Правительства об аресте Ленина... Этот приказ подписан и «социалистами».

В городе разгромлены все наши типографии. Никто не осмеливается печатать наши газеты и листовки. Прибегаем к оборудованию подпольной типографии. У меня кое-что уцелело от последней типографии Бюро ЦК, кое-что нашли в Василеостровском районе, и вот в помещении Выборгской районной Думы приступаем к печати воззваний ЦК и Пека.

Выборгский район стал убежищем для всех. Сюда переехали и Пека и преследуемые члены ЦК. В сторожке завода Рено происходит совещание Исполнительного Комитета Пека с товарищем Лениным. Стоит вопрос о всеобщей забастовке. У нас в Пека голоса разделились. Я стоял за призыв к забастовке, товарищ Ленин, выяснив положение, предложил от этого отказаться. Но заводы все равно почти не работают...

### **Запись 12 июля.**

Контрреволюция побеждает. Советы безвластны. Расходившиеся юнкера стали громить уже и меньшевиков. Отогрели змею в своей пазухе. А для них все еще большевики виноваты.

Придется партии залезать в подполье. К этому уже готовимся. Но это нас не страшит. Большевики и эсеры погубили себя в июльские дни. Массы остались за нами. Время будет работать на нас. Ведь все причины, породившие революцию, остались в силе. Ни один основной вопрос не разрешен. Власть все еще в руках буржуазии, земля у помещиков, фабрики и заводы у капиталистов...

Нет, революция еще жива. Мы не можем проиграть!

Среди части партии неуверенность. Приостановился прилив членов. Только на заводе Ст. Барановский записалось 10 человек... Большевики и эсеры из рабочих уже раскаиваются...

Все еще нет своей типографии. Распространяем московские газеты.

Начались аресты в Пулеметном полку. Ищут «Дядю»<sup>1</sup>. Пулеметчики мне передают, чтобы я скрылся. Но разве можно теперь покинуть район. Отправляюсь к парикмахеру, снимаю бороду и волосы. Теперь я неузнаваем. Пусть порыщут и ищут «Дядю» в деревне, по показаниям пулеметчиков.

А я останусь на посту.

---

**Р. БОРИСОВА,**

*член КПСС с 1912 года*

## ДОНБАССКОЕ ЛЕТО

Лето 1917 года в Донбассе выдалось жаркое. Дело не в солнце, хотя и его было много, — политическая обстановка накалилась до предела. Зашевелилась контрреволюция, подняла голову. Донеслось до нас из Петрограда эхо выстрелов по рабочим, слышали и мы стон раненных на Невском мирных демонстрантов, увидели кровь и у себя в Донбассе.

В это лето вернулся из своей австралийской эмиграции на Украину Федор Андреевич Сергеев — Артем. Прожив долгое время вдали от родины, в незнакомой и чужой стране, он остался целиком русским, по-прежнему большим, деятельным революционером. Он быстро разобрался в обстановке, вошел в партийную жизнь Донбасса.

На первом же заседании нашего партийного комитета Федор Андреевич настаивал на немедленном вооружении и обучении военному делу рабочих.

— Июль — это начало поражения Временного правительства, поражения контрреволюции, — были чуть ли не первые слова Артема, когда мы встретились с ним в Макеевке в эти дни.

А надо сказать, что после 3—5 июля большевикам в Донбассе приходилось очень туго. В Макеевке бушевал есаул Чернецов. Макеево-Горловский комитет (его называли еще — Донецкий комитет) был разгромлен. Избиения, убийства из-за угла — все это было чуть ли не обыденным явлением. Большевики, забрав власть, распоясались. Чернецовская сотня бесчинствовала на всех прилегающих к Макеевке шахтах. Артемовский оптимизм в эти дни не был ни наигрышем, ни подбадриванием нас. Нет! Артем знал, всем своим огромным сердцем пламенного революционера-профессионала знал, что победа революции неизбежна. Его слова о начале поражения контрреволюции в июле не были бравадой, они явились плодом глубоких размышлений, анализа сложившейся обстановки.

По указанию Владимира Ильича Ленина в начале июня в Екатеринославе собралась Донецко-Криворожская областная конференция

<sup>1</sup> «Дядя» — партийная кличка М. И. Лациса.

РСДРП(б). На ней присутствовали делегаты Харькова, Донбасса, Екатеринослава, Кривого Рога. Артема на этой конференции избрали секретарем бюро областного комитета.

И начались после этого «дни странствий» Артема. Федор Андреевич решил пешком обойти Донбасс. Он хотел сам увидеть, как живут, чем дышат шахтеры и крестьяне, узнать их настроения, рассказать правду о большевистской партии, о Ленине, о революции. Артем был великолепным агитатором, находчивым, умным, смелым.

Помню, однажды он пришел с группой товарищей к солдатам 6-го артиллерийского парка, входившего в состав Харьковского гарнизона. Там должен был собраться солдатский митинг. Офицеры, увидев Артема, всполошились. Раздалась команда, и человек двадцать выстроились у ворот цепочкой, закрывая проход. Товарищи решили уходить, по всему видно, что митинг сорван. Однако Артем не растерялся. Он взобрался на подпорку телеграфного столба, стоявшего у двора казармы, и стал читать вслух популярную большевистскую брошюру, попутно громко разъясняя прочитанное. Собралась большая толпа. Артем читал очень громко, так, чтобы его было слышно в казармах артиллерийского парка. Смотрим, за воротами началось движение. Солдаты собрались позади офицерской цепочки, их все больше и больше. И вот, прорвав цепь, оттеснив офицеров, солдаты выбежали из казарм на улицу. Офицеры пытались было распорядиться, что-то командовали. Их не слушали. Кто-то из солдат, обернувшись, цыкнул:

— Да цыть, вы, благородия! Человек дело говорит.

А потом образовался митинг. Солдаты приняли в нем горячее участие. В результате была вынесена большевистская резолюция.

Партийная организация харьковских железнодорожников под руководством Федора Андреевича направляла группы агитаторов на улицы Харькова. Они несли с собой столы, скамейки; останавливались в каком-нибудь людном месте, и начинался разговор на большие, всех волнующие темы.

В «дни странствий» Артема мне поручили его сопровождать. Федор Андреевич решил испытать свои старые средства, вспомнились годы подполья, конспирации. Он преображался в старика, одевался в лохмотья, прихрамывал. Повсюду рыскали казаки, охотились за большевистскими агитаторами. Поймать Артема было бы для них, конечно, драгоценным призом.

И вот мы отправились по селам и поселкам Донбасса. Пыльные далекие шляхи. Знойное летнее марево. Долгий-долгий путь. Среднего роста пожилой крестьянин, темноволосый, с небольшими усами, в простом пиджаке, косоворотке, солдатском картузе, идет, прихрамывая, по донецким дорогам. Кто бы мог узнать в нем старого революционера Артема?

Коротая дорогу, Федор Андреевич рассказывал мне о своих путешествиях, о том, как бежал через тайгу в Китай, потом в Корею и в Австралию, как грузил многопудовые туши на пароходы, а это было нелегко — многие сильные, но без навыка люди навеки калечились на этой работе.

Однажды утречком подходили мы так к какому-то из сел. Навстречу патрульный казак. Заметил нас, придержал лошадь, присмотрелся. И вдруг:

— А ну, старый, пойдн до меня.

Артем подошел.

— Ты кто?

— Я-то?

— Ты, ты.

— Божий человек. По миру летаю, крохи собираю.

— Божий? А бумага есть?

— Какая бумага?

— Ага. Значит, нету. Ну, иди вперед.

Артем попытался что-то еще сказать, но казак не слушал.

— Иди!

У ближней хаты старушка всплеснула руками.

— Батюшки, никак нашего Хведора ведут.

И осеклась. Казак услышал.

— А ну стой! — обернулся, поигрывая нагайкой. — Ты что, бабуся, знаешь этого нищего?

— Да нет, милый, про внука я вспомнула.

— Про внука? Мозги темнишь, бабка?

Казак привстал в стременах, замахаясь нагайкой. Но от соседних домов уже бежали женщины, закрыли старушку, отогнали казака.

А «нищего» и след простыл.

Когда через несколько часов я нашла Артема в овраге за селом, он, довольный, потирал руки.

— Думаешь, старушка меня защищала? Партию! Ведь испугалась вначале, а потом: бей — не скажу. Неграмотная, темная женщина, а вот большевики и ей дороги оказались...

Артема любили. Как-то рабочие перенесли его больного на руках на другой конец города: ждали облавы. Был и такой случай. Шло собрание. В самый разгар вбегает дозорный, кричит:

— Окружили!

Что делать? Надо спасти Артема. На счастье, где-то по соседству обнаружили гроб. Положили Федора Андреевича в гроб, сами изобразили похоронную процессию и так, медленно, с постными лицами, прошли сквозь окружение. Никто и не подумал задерживать.

Самые крупные поселки были в Бахмутском уезде, и мы отправились туда. В одном из селений навстречу нам попался мальчишка. Разговорились с ним, узнали обстановку.

— Хлопец, — сказал Федор Андреевич в заключение, — скажи отцу, агитаторы пришли.

— Агитаторы? — Паренек презрительно присвистнул. — А на кой ляд моему батьке те агитаторы?

Артем улыбнулся, сразу потеряв весь свой старческий облик.

— Не нужны, думаешь? А все ж таки скажи, большевики, мол, зовут.

— Большевики? — Мальчишка даже припрыгнул. — Вот ты бы, дядько, так и сказал сразу.

И он вскачь умчался по улице.

Через несколько минут в поселке собрался митинг.

Я вспомнила об этом эпизоде не случайно. Так же было и по всему Донбассу — меньшевистские и эсеровские агитаторы не вызывали доверия у донецких горняков и хлеборобов, авторитет все больше завоевывали большевики. И не зря Горловско-Щербиновский комитет партии после возвращения Артема из его путешествия писал в Центральный Комитет: «После июльских событий авторитет товарища Ленина стал прямо-таки колоссальным. Рабочие массы исключительно тяготеют к нашей партии... В Совете рабочих депутатов из пятидесяти человек 42 большевика. Во всех профсоюзных, фабрично-заводских комитетах, кооперативах и т. д. — все наши».

Одиннадцатого июля собралась харьковская конференция большевиков. Выбирался делегат на VI съезд нашей партии.

— Поступило предложение, — сказал кто-то из президиума, — делегировать на съезд Федора Андреевича Сергеева — Артема.

Все как один делегаты конференции встали и долго, дружно аплодировали. А потом мы узнали, что Артем был избран на VI съезде членом Центрального Комитета.

Вернувшись со съезда, Артем каждый день, а то и по нескольку раз в день выступал с докладами. Его можно было видеть на станции Основа и в депо Южной железной дороги, на заводе Шиманского и на крупнейших предприятиях Харькова.

— Только нашим сплочением, решительным, организованным выступлением пролетариата революция может быть спасена, может развиваться дальше, — не уставал повторять Артем.

---

Н. РАСТОПЧИН,  
член КПСС с 1903 года

## НА ШЕСТОМ СЪЕЗДЕ

В конце июня — начале июля 1917 года в «Правде» стали появляться сообщения о подготовке партийного съезда — первого послереволюционного съезда РСДРП(б). Этого события мы, большевики, особенно в провинции, ждали с большим нетерпением.

В то время я был председателем Костромского городского комитета партии и редактором газеты «Северный рабочий». Нетрудно представить мою радость, когда меня избрали делегатом на VI съезд.

Петроград встретил нас неприветливо. Здесь подняла голову контрреволюция. Временное правительство арестовало ряд руководящих партийных товарищей, «Правда» была разгромлена, партия по существу находилась в подполье.

26 июля на Выборгской стороне в Народном доме по Большому Сампониевскому проспекту (ныне проспект К. Маркса) открылся VI съезд партии. Подобно многим другим делегатам, я пришел в этот день на съезд еще задолго до начала заседания. Как приятно было после стольких лет разлуки встретить старых товарищей по подпольной работе, по тюрьмам, ссылкам. Долгие рукопожатия, увлажненные глаза и вопросы, вопросы без конца... Вот ко мне подходит смуглый человек с тонкими чертами лица.

— Растопчин?

— Шаумян?!

Да, это был он, Степан Георгиевич Шаумян. Мы крепко обнялись. У обоих так много общих воспоминаний о партийной работе в Тифлисе в 1904 году, о заключении в Метехском замке!

Всех встреч и не упомнишь, но расскажу еще об одной. Мы уже усаживались на места в зале, когда вдруг сзади меня послышался низкий звучный голос:

— Кого вижу! «Друг» снова нашелся!

И Яков Михайлович Свердлов протягивает мне руку. Все такой же бодрый, веселый, приветливый, может быть только чуточку постарел за те тринадцать лет, что мы не виделись. В 1903 году в Нижнем Новгороде я под его руководством приобщился к революционной работе, у меня была партийная кличка «Друг», а Якова Михайловича мы называли тогда «Андреем» или «Кумом».

Но поговорить в тот момент нам не пришлось: Михаил Степанович Ольминский, открывавший съезд, уже стоял на своем месте и нетерпеливо поглядывал в зал.

В президиум вошли Свердлов, Сталин, Ольминский и другие. Предложение избрать почетным председателем съезда В. И. Ленина было встречено бурными аплодисментами.

Владимира Ильича на съезде не было, но он руководил им из подполья, через И. В. Сталина, Я. М. Свердлова, Г. К. Орджоникидзе и других. Преследуемый полицией, Ленин скрывался в это время на станции Разлив. Правительство Керенского, сфабриковав провокационное обвинение Ленина, развернуло гнусную кампанию травли и клеветы, которая должна была, по замыслу контрреволюционеров, создать благоприятную обстановку для физической расправы над вождем большевистской партии. На улицах Петрограда пестрели объявления Временного правительства, призывавшие население доставить Ленина властям живым или мертвым.

Судьба Ленина волновала всех делегатов. Поэтому на съезде сразу же встал вопрос о нем. Окончательное решение этого вопроса было вынесено на специальное заседание. После этого с докладом организационного бюро съезда выступил Свердлов. Указав на сложность обстановки, в которой собрался съезд, Яков Михайлович отметил, что «только благодаря энергии Выборгского красного района удалось осуществить созыв съезда здесь, в Петербурге», предложил выразить от имени съезда благодарность Выборгскому району за гостеприимство.

Первое заседание закончилось. Я подошел к Свердлову, который о чем-то оживленно разговаривал со Сталиным. Он познакомил нас.

— Из Костромы? — переспросил Иосиф Виссарионович. — Это интересно. Вам сейчас куда? На Петроградскую сторону? Пойдемте вместе.

К нам присоединились Ногин, которого я знал как «Макара» по работе в Московском окружном комитете в 1908 году, «Ломов» — Оппоков, знакомый мне по Саратову и Петербургу, и кто-то еще. Так небольшой группой мы и вышли на улицу. По дороге решили зайти в кофейню. Хотелось побить одним, поговорить без помех. Нам повезло: кроме хозяйина, сонно клевавшего за стойкой, в помещении никого не было.

Усевшись за отдельным столиком, мы заказали по стакану суррогатного кофе и, медленно прихлебывая по глоточку, говорили о своих делах. Яков Михайлович припомнил, как в Нижнем Новгороде выпускали листовки и воззвания, отпечатанные на усовершенствованном мною гектографе, как потом, уже пользуясь резиновым шрифтом, печатали «Манифест Коммунистической партии».

Долгое время мы размножали нашу литературу на обычном гектографе, но вдруг неожиданно разбогатели: «Кум» — Свердлов приобрел где-то каучуковый шрифт, и дело должно было пойти значительно лучше. Ведь с гектографа много оттисков не сделаешь, а теперь перед нами открывались неограниченные возможности.

Как-то ко мне на квартиру прибежала одна из подпольщиц.

— «Кума» взяли! Прячь все и беги отсюда, — запыхавшись, проговорила она.

Я решил спасти наборную кассу со шрифтом. Завернул ее в черный платок и выскочил на улицу.

Некоторое время побродил по городу, слежки за мной как будто не было. Тогда я направился к окраине, где хотел спрятать кассу. И только тут я заметил, что следом идет подозрительный человек. Неподалеку находилось кладбище. «Вот, — думаю, — сейчас сверну туда, за могилами и памятниками меня не сыщет». Не тут-то было! Незнакомец преградил мне дорогу.

— Что несешь?

— Да вот икону божию несу матери на могилку, — пытался я выкрутиться.

Шпик быстро выхватил у меня из рук сверток, увидел листовки и какой-то запертый ящик и потащил меня в участок. Там взломали ящик-кассу и обнаружили наш шрифт.

Охранке так и не удалось связать нас со Свердловым по одному делу. Держались мы крепко. Промариновав Свердлова несколько месяцев в тюрьме, полицейские вынуждены были выпустить его за отсутствием улик. А я и еще один товарищ были высланы на три года на Севёр.

Вот обо всем этом мы и вспомнили с Яковом Михайловичем за стаканом кофе. Потом разговор перешел на тему текущих событий. Свердлов и Сталина очень интересовало, что происходит у нас, в Костроме. Я постарался подробно нарисовать обстановку. Большевистское руководство укрепились в Костромском Совете рабочих депутатов и в профсоюзах уже вскоре после Февральской революции. Фабричные комитеты на предприятиях осуществляли рабочий контроль над выплатой заработной платы, следили за обеспечением предприятий топливом и сырьем. Повсюду на заводах и фабриках были созданы красногвардейские дружины, представлявшие собою реальную вооруженную силу рабочего класса.

Сталин внимательно слушал, время от времени кивал головой. Вдруг он спросил:

— А вот у вас, в Костроме, работает Данилов. Вы не знаете, откуда он к вам пришел?

Данилов был одним из видных наших работников. Я его хорошо знал, но ответить на заданный вопрос не смог. Иосиф Виссарионович стал меня подробно расспрашивать о его работе и, очевидно, остался доволен моим отзывом. Оказывается, он встречался с Даниловым в редакции «Правды» еще в 1912 году.

Так мы просидели в кофейне несколько часов.

На втором заседании съезда с политическим отчетом Центрального Комитета партии выступил И. В. Сталин. Излагая ленинскую тактику партии в борьбе за социалистическую революцию, он говорил о том, что революция, вопреки воле буржуазии, развивается, что пора ставить вопрос об осуществлении контроля над производством и распределением продуктов, о передаче земли крестьянам, передаче власти из рук буржуазии в руки рабочего класса и крестьянской бедноты. Кончилось двоевластие, Советы потеряли власть, они дискредитировали себя в глазах трудящихся. Лозунг «Вся власть Советам!» должен быть снят. Однако в отчете ЦК подчеркивалось, что речь идет не о Советах вообще, а лишь о тех Советах, работой которых руководили меньшевики и эсеры. «Мирный период революции кончился, наступил период не-мирный, период схваток и взрывов». Партия была нацелена на вооруженное восстание.

Съезд утвердил отчет Центрального Комитета и одобрил его работу «в деле руководства политической деятельностью РСДРП и политическими выступлениями рабочего класса».

Группа троцкистов попыталась было высказаться против линии партии на пролетарскую революцию. Они, видите ли, считали, что победа социализма в России невозможна. Съезд дал решительный отпор троцкистам.

Наша работа проходила в строго конспиративной обстановке, но это не нужно понимать узко. Мне пришлось где-то читать о нелегальном положении VI съезда. Автор писал, что делегаты слушали Сталина, сгруппировавшись вокруг него и опустив на окна занавески. Это не соответствует истине. Делегаты не прятались в буквальном смысле этого слова. Такие мастера конспирации, как Сталин, Свердлов и другие, которые руководили работой съезда, старались сделать так, чтобы его участники сливались с повседневной жизнью большого города, чтобы ничем не выделялись среди его жителей. И это удалось как нельзя лучше.



Делегаты собирались и расходились маленькими группами и в одиночку, в перерывах рассеивались в уличном движении, обедали в общественных столовых, а ночевали в разных местах. Нелегко было ищейкам Керенского разыскать нас — ведь на съезд собрались в основном революционеры-профессионалы, старые подпольщики.

На съезде был проведен сбор анкетных данных. На анкету ответил 171 делегат. Из них в революционном движении каждый участвовал в среднем не менее десяти лет. Сто десять делегатов отбыли в общем 245 лет тюремного заключения; 10 делегатов отбыли 41 год каторги; 150 человек подвергались аресту 549 раз. Интересна в анкете еще одна деталь: средний возраст делегатов составлял 29 лет, самому старшему было 47. Вот каких людей пытались разыскать шпики Керенского!

По вопросу о явке В. И. Ленина на суд выступил Серго Орджоникидзе. Он сообщил, что «социалист» Керенский поручил вести дело известному царскому тюремщику, прокурору Александрову. А это значило, что Ленина просто хотят убить.

— Мы ни в коем случае не должны выдавать товарища Ленина, — сказал Серго.

Кое-кто из делегатов высказался за то, что Ленин должен явиться на суд реакционеров с тем, чтобы превратить его в суд над правительством. Но Дзержинский и Сталин выступили против этих демагогических рассуждений.

— Мы должны ясно и определенно сказать, — говорил Ф. Э. Дзержинский, — что хорошо сделали те товарищи, которые посоветовали товарищу Ленину не арестовываться. Мы должны ясно ответить на травлю буржуазной прессы, которая хочет расстроить ряды рабочих.

Съезд полностью поддержал позицию ЦК партии по этому вопросу. Выразив протест революционного пролетариата, делегаты восторженно встретили предложение послать приветствие В. И. Ленину.

Вслед за отчетом ЦК партии на повестке дня съезда стояли доклады с мест. Были заслушаны доклады Московской, Петроградской, Уральской, Закавказской и других партийных организаций. Все выступавшие отмечали рост влияния большевиков. За три месяца — от Апрельской конференции до VI съезда — число партийных организаций выросло с 78 до 162, а количество членов партии возросло за это время втрое — с 80 тысяч до 240 тысяч.

Большевистская партия к этому времени имела свои организации во всех промышленных, сельскохозяйственных и национальных районах страны, а также и в армии. К VI съезду партия имела 42 печатных органа общим тиражом 320 тысяч экземпляров.

Гонения, которым подверглись большевики в июльские дни, не подорвали их престижа среди трудящихся, а, наоборот, еще больше подняли его. Презрительно называя меньшевиков и эсеров «социал-тюремщиками», рабочие и солдаты, как рассказывали делегаты с мест, уходили из соглашательских партий, пополняя ряды большевиков.

Правительство Керенского продолжало наступать на революцию. Двадцать девятого июля мы собрались утром. Когда уже все сидели на местах, председательствовавший на съезде неожиданно, не открывая заседания, объявил получасовой перерыв. Члены президиума и ЦК удалились на закрытое совещание. Оказывается, в тот день газеты опубликовали сообщение правительства о том, что военному министру и министру внутренних дел разрешается закрывать съезды и собрания. Это было направлено прямо против нас. Временное правительство, конечно, было информировано о съезде большевиков, но не могло дознаться, когда и где он состоится. Теперь в случае обнаружения съезда контрреволюционеры

получали возможность тотчас же с нами расправиться. Обстановка становилась все более напряженной. Впоследствии мы узнали, что по конспиративным соображениям на этом закрытом заседании был избран ЦК нашей партии.

В этот день мы заслушали только приветствие съезду от Американской социалистической рабочей партии и разошлись.

Очередное заседание состоялось на следующий день вечером. Боюсь утверждать наверное, но мне припоминается, что мы собрались тогда уже у Нарвских ворот, в здании школы, где проходила последние дни работа съезда. На этом заседании довелось выступить и мне.

Доклад о войне и международном положении сделал Бухарин. Не видя разницы между богатым и беднейшим крестьянством, он утверждал, что крестьяне настроены оборончески, что они находятся под влиянием буржуазии и не пойдут в революции за рабочим классом. Жонглируя фразами, он стремился «научно» подорвать ленинские принципы рассуждениями о бессилии пролетариата перед блоком буржуазии и крестьянства.

Его выступление возмутило меня, и я поделился своим мнением с сидевшим рядом Шаумяном.

— Вот выступи и прямо скажи, что ты думаешь,— предложил он.

Я заколебался, боялся, что у меня не выйдет так, как это нужно.

— Смелее, смелее,— подбодрил Шаумян.

Я попросил слова. Когда председательствующий назвал мою фамилию, я очень заволновался. Выступать мне приходилось немало, но тут... Шутка сказать! Но отступить было уже поздно. Помнится, я хотел тогда доказать, что Бухарин фактически стоит на троцкистских позициях. Я говорил, что при наличии союза пролетариата с крестьянством у нас имеется своя продовольственная, сырьевая, промышленная и топливная база, то есть все необходимые экономические условия для построения социализма.

VI съезд отверг капитулянтскую линию Бухарина и в своих резолюциях указал на необходимость самой решительной борьбы за создание и укрепление союза рабочего класса с беднейшим крестьянством как необходимого условия для победы социалистической революции. Исходя из ленинских установок, съезд поставил перед партийными организациями задачу — добиваться сплочения беднейших слоев крестьянства вокруг рабочего класса, организовать их и подготовить к борьбе за диктатуру пролетариата.

Соратники и ученики В. И. Ленина уверенно вели съезд. Руководящие указания Владимира Ильича легли в основу их докладов. Спокойствие, корректность, выдержка единомышленников великого Ленина произвели огромное впечатление на всех делегатов. Суетливый Бухарин, снисходительно-пренебрежительный Преображенский вызывали у нас чувство неприязни и недоверия.

Ни по одному вопросу съезд не поддержал оппортунистов, он твердо занял ленинскую позицию во всех решениях.

Несмотря на бушевавшее кругом пламя контрреволюции, VI съезд работал спокойно. Красногвардейцы Нарвского района организовали надежную охрану. Как потом вспоминали некоторые из них, созданием охраны занимался Ф. Э. Дзержинский. Вооруженные винтовками и пулеметами, рабочие круглосуточно дежурили вокруг школы, где проходил съезд. В интересах конспирации им не сообщили, какую службу они несут. В течение нескольких дней наблюдая непосредственно за улицей, куда сходилась ограда трехсот участников съезда, наша охрана так и не заметила никаких отклонений от нормальной жизни улицы. И лишь спустя

много лет, прочитав о времени и месте работы съезда, они узнали, какая ответственность была возложена на них партией.

Съезд принял резолюции о текущем моменте и войне, о политическом и экономическом положении, о задачах профессионального движения, о союзах молодежи и т. д. Эти решения имели величайшее историческое значение в подготовке и проведении пролетарской революции. VI съезд принял новый Устав партии, в котором указывалось, что все организации партии должны строиться на началах демократического централизма.

В состав ЦК съезд избрал В. И. Ленина, И. В. Сталина, Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинского, Ф. А. Сергеева (Артема), С. Г. Шаумина и других.

Третьего августа делегаты собрались на последнее — пятнадцатое по счету — заседание. При общем одобрении Серго Орджоникидзе попросил объявить делегатам имя члена ЦК партии, получившего при выборах в ЦК большинство голосов; в его лице съезд будет приветствовать вождя партии. Имя Ленина, которое назвал председательствующий Свердлов, делегаты встретили овацсией.

В заключение выступил один из старейших членов партии — Виктор Павлович Ногин. Он подчеркнул, что нашей партии выпала счастливая задача быть не только пропагандистом идей социализма, но и подойти вплотную к претворению в жизнь нового устройства общества.

Он сказал:

— Как бы ни была мрачна обстановка настоящего времени, но она искупается зато величием задач, стоящих теперь перед нами как партией пролетариата, который не может не победить и победит! А теперь за работу!..

Его слова тонут в буре аплодисментов. Делегаты поют «Интернационал». Величественному в своей простоте гимну пролетариата становится тесно в стенах помещения.

И долго мы еще не расходимся, делись впечатлениями, прощаясь с друзьями, обсуждая перспективы работы на местах.

---

## ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕХ ДНЕЙ

### *„На улицах.*

3 июля... на многих фабриках, заводах и во многих воинских частях поднялось возбуждение и стал вопрос о выходе на улицу с оружием и требовать ухода всех министров-капиталистов и передачи всей власти Совету Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

В 9-м часу вечера по Большому проспекту Петрогр. стороны промчалось несколько автомобилей с пулеметами. Обывательская публика испуганно смотрела на эти пулеметы и с изумлением спрашивала: «Что это значит?» Видимо, обыватели не были осведомлены о событиях. Только рабочие и солдаты, чутко прислушивающиеся к политическим событиям, были в курсе дела и оценили серьезность положения момента. Автомобили с пулеметами проезжали по Большому проспекту без всяких знамен, плакатов и без всяких возгласов. Вооруженные винтовками команды, охранявшие пулеметы и автомобили, были серьезно сосредоточены, даже винтовки наготове.

В одиннадцатом часу ночи везде на улицах были вооруженные команды солдат и значительные кучки народа, толковавшие о событиях. Многие из публики, по обыкновению, обвиняли во всем большевиков. Рабочие же элементы ставили вопросы: «Кто

зовет на улицу, по чьему зову выступают?» Ответить толком на эти вопросы никто не мог. Через некоторое время стал выясняться для всех стихийный характер движения. Многие стали звать к спокойствию и к выжиданию директив организаций, а многие указывали на необходимость придать стихийному движению организованность, добиваться смены правительства — передачи всей власти Совету, ибо четыре месяца, прошедшие со времени переворота, показали, что ни чисто буржуазное и ни коалиционное министерства не способны вывести страну из того тупика, в котором она находится; необходимо сейчас же добиться перехода власти в руки представителей действительно революционных и наиболее обширных групп населения. Многие обрадовались, когда стало известно, что Ц.К.Р.С.-Д.Р.П. решил поддержать движение и призывать к мирному высуплению с требованием передачи всей власти Совету. В это же время Большой пр[оспект] Петрогр. стор[оны] пересекала манифестация рабочих завода «Вулкан». Манифестанты шли стройными рядами со знаменами с надписями на них «Долой всех министров-капиталистов», «Вся власть Совету Раб., Солд. и Кр. Депутатов». Манифестация направилась по Введенской к Кронверкскому и к Троицкому мосту. На мосту встречались массы автомобилей с пулеметами, вооруженными командами солдат, приветствовавших манифестантов, когда прочитывали надписи на их знаменах.

Перейдя мост, манифестанты направились по набережной, намереваясь идти к Таврическому дворцу. В это время появился автомобиль, с которого один субъект в вольной одежде заявил, что на Невском обезоруживают рабочих и отбирают пулеметы у революционных солдат. На вопрос, кто обезоруживает, он ответил: «Да буржуазия».

После этого манифестация повернула на Марсово поле, направляясь к Невскому. Подходя к могилам жертв революции, манифестанты закричали: «Вы жертвою пали в борьбе роковой», и потребовали от всех снять шапки.

Невский проспект был заполнен солдатами и рабочими, и манифестанты завода «Вулкан» смешались с ними. Около 12 часов ночи, когда по Невскому проходил Гренадерский полк около Гостиного и Публичной Библиотеки, откуда-то была открыта стрельба, продолжавшаяся минут десять. Солдаты всех полков, находившихся на Невском, из предосторожности полегли, а вольная публика в паническом сграхе бросилась бежать в боковые улицы. Произошла давка. Были раненные и убитые. Я лично видел двух раненных... Стрельба прекратилась скоро, и паника прошла. Подошли рабочие Путиловского завода, вооруженные, и всей своей массой, организованностью и стройностью своего шествия окончательно рассеяли испуг публики. К пугильцам присоединились и публика и армия и всей массой направились к Таврическому дворцу с намерением предъявить там требования о переходе всей власти к Совету Раб[очих], Солдатских, Крестьянских Депутатов, об уходе всех министров-капиталистов.

4 июля, в двенадцатом часу, в Петроград пришли войска из Кронштадта. Огромной длинной лентой они прошли по городу в полном вооружении. Отряды матросов чередовались с огрядами солдат. За ними шли огромные манифестации рабочих Петроградского и Василеостровского районов. Впереди и сзади рабочих манифестантов — вооруженные рабочие дружины. По бокам находились броневые автомобили. На всех многочисленных знаменах — только две надписи: «Долой министров-капиталистов» и «Вся власть Совету Раб., Солд. и Кр. Депутатов».

На многих улицах города идет беспорядочная стрельба, наводящая панику на обывательскую публику, многие из этой публики спешат к вокзалам, покидая все и удирая из Питера. Среди тех немногочисленных кучек обывателей, которые где-либо соберутся толковать, замечается сильное озлобление против солдат и рабочих.

Б. Бреслав».

(«Правда» № 99 от 5 (18) июля 1917 года).

### *„Что происходит на улицах.*

Два дня на улицах Петрограда происходит сильное движение солдат и рабочих.

Выступление началось в войсковых частях. 3 июля вечером представители Военной организации призывали солдат, в первую голову Первый пулеметный полк, а затем и другие части прежде, чем выходить на улицу, выбрать делегацию и отправить ее в Совет Раб[очих] и Солд[атских] Депутатов.

Но войска и рабочие решительно требовали выступления на улице. Возбуждение масс дошло до крайнего предела. Солдаты и рабочие пошли массами к Таврическому дворцу, где и заявили свое требование: вся власть Советам Раб[очих], Солд[атских] и Крестьянских Депутатов.

Поздним вечером на Невском проспекте в толпе началась стрельба. Были убитые и раненые.

Ни одного выстрела со стороны революционных солдат не было до тех пор, пока они не были вынуждены обороняться.

Солдаты говорят, что в них стреляли и бросали бомбы.

Движение народных масс против невыносимого положения, в которое попала страна, началось вследствие политики министров-капиталистов.

При таком положении обязанностью нашей партии, как массовой партии рабочей и крестьянской бедноты, является взять на себя руководство революционным движением, так как в противном случае движение может превратиться в разрозненное выступление и вызвать нежелательные явления и столкновения.

Руководящие партии в Совете Раб[очих] и Солд[атских] Депутатов не могли или не хотели взять движение в руки. Во главе движения естественно стала наша партия, которая самым тесным образом связана с массами и является единственной выразительницей интересов рабочей и крестьянской бедноты. Только наша партия, стоя во главе рабочих и солдат, может решительно довести дело до конца — до передачи всей власти Советам Раб[очих], Солд[атских] и Крестьянских Депутатов».

(«Солдатская правда» № 60 от 5 (18) июля 1917 года).

### *„О демонстрации.*

Товарищи! В понедельник мы вышли на улицу. Во вторник вы решили продолжать демонстрацию. Мы звали вас вчера на мирную демонстрацию. Мы ставили ее целью показать всем массам трудящихся и эксплуатируемых силу наших лозунгов, их вес, их значение, их необходимость для освобождения народов от войны, от голода, от гибели.

Цель демонстрации достигнута. Лозунги передового отряда рабочего класса и армии показаны внушительно и достойно. Отдельные выстрелы в демонстрантов со стороны контрреволюционеров не могли нарушить общего характера демонстрации.

Товарищи! В течение данного политического кризиса наша цель достигнута. Мы постановили поэтому закончить демонстрацию. Пусть все и каждый мирно, организованно прекратят забастовку и демонстрацию.

Будем развития кризиса дальше. Будем продолжать готовить свои силы. Жизнь за нас, ход событий доказывает правильность наших лозунгов.

Центр. Ком. Р.С.-Д.Р.П.

Петерб. Ком. Р.С.-Д.Р.П.

Межрайонный Ком. Р.С.-Д.Р.П.

Воен. организ. при Центр. К.Р.С.-Д.Р.П.

Комиссия Рабоч. секции Совета Рабочих и Солдатских Депутатов».

(«Правда» № 99 от 5 (18) июля 1917 года).

*„Спокойствие и выдержка».*

Рабочие! Солдаты!

Демонстрация 3—4 июля закончилась.

Вы сказали правящим, каковы ваши цели.

Темные и преступные силы омрачили ваши выступления, вызвав пролитие крови. Вместе с вами и со всей революционной Россией мы скорбим о павших в эти дни сынах народа. Ответственность за жертвы падает на подпольных врагов революции. Но исказить смысл вашей демонстрации им не удалось и не удастся.

Теперь остается ждать, какой отклик найдет во всей стране ваш клич: «Вся власть Советам!» Демонстрация закончилась, начинаются снова дни упорной агитации, просвещения отсталых масс, привлечения на нашу сторону провинции.

Товарищи рабочие и солдаты! Мы призываем вас к спокойствию и выдержке! Не давайте злобствующей реакции никакого повода обвинять вас в насилиях. Не поддавайтесь на провокацию. Никаких выступлений на улицы, никаких столкновений.

Товарищи рабочие! Возвращайтесь мирно к станкам!

Товарищи солдаты! Оставляйтесь мирно в ваших частях!

Вся жизнь действует за нас. Победа будет за нами. Не нужно никаких необдуманных действий.

Стойкость, выдержка и спокойствие — таков наш пароль!

Центральный Комитет Росс. Соц.-Дем. Р. Партии  
 Петербургский Комитет Росс. Соц.-Дем. Р. Партии  
 Межрайонный Комитет объединенных социал-демократов интернационалистов».

(Листок «Правды» 6 (19) июля 1917 года).

*„Довольно крови».*

4-го июля мы призывали всюду на митингах рабочих и солдат выйти на улицу с плакатами: «Вся власть Советам Раб[очн]х, Солд[атских] и Крест[ьянских] деп[утатов]». Мы призывали их мирным шествием показать, что они поддерживают борьбу петроградских, кронштадтских, ораниенбаумских, гельсеннфорских и других рабочих и солдат за народную власть. И в ответ мы услышали призывы сидеть по домам.

Когда 18-го июня пролетариат и революционная армия Петрограда, Москвы и других городов вышли на улицы, чтобы заявить свою волю, свое стремление к миру, к власти народной, созданию царства тружеников на земле, — кто тогда призывал нас сидеть по домам? — Партия народной свободы, партия крупной и средней буржуазии.

Теперь мы слышим тот же призыв от партии социалсгов-революционеров и меньшевиков, и он прикрывается другим, лицемерным воплем: довольно крови!

Не вы ли поддерживали все время буржуазию, посылавшую и посылающую миллионы людей на убой во имя интересов царей и капиталистов всего мира, затеявших войну ради всемирного грабежа? Не вы ли подогревали те чувства, которые толкали людей на это чудовищное взаимоистребление?

Не вы ли поддерживали буржуазию в ее одурачивании народа?

Не вы ли поддержали призыв к наступлению и клялись в то же время устами Керенского и Церетели, что ни одна капля крови не прольется ради интересов империалистической буржуазии всего мира? А кровь льется ручьями, люди гибнут десятками тысяч. И в то время, как мы призываем неустанно: пролетарии всех стран, соединяйтесь, — вы так же неустанно призываете: пролетарии всех стран, расстреливайте друг друга.

И вы же лицемерно говорите нам: довольно крови!

Вы против наших митингов и демонстраций, но вы ничего не предпринимаете против открыто ведущейся конгрессуальной агитации.

Довольно крови! Но для этого необходимо, чтобы власть была вырвана из рук тех, кто три года заставляет ее проливать без конца, кто отнял миллионы жизней у народа, чтобы награть миллиарды рублей!

Довольно крови! Но для этого необходимо, чтобы вся власть была передана Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов.

Ярославский».

(«Социал-демократ» № 101 от 7 (20) июля 1917 года).

### **„Как разгромили редакция] газеты „Правда“.**

Как известно, выступление солдат и рабочих 3 июля с требованием перехода власти в руки Совета Раб[очих] и Солд[атских] Депутатов во многих местах закончилось кровавыми столкновениями с казаками и всеми теми, кто по сигналу провокаторских выстрелов с крыш и из окон бросался на ни в чем не повинных демонстрантов.

В связи с этими столкновениями по городу ходили слухи о готовящемся разгроме большевистских партийных учреждений, и поэтому во многих местах, где была подобная опасность, в том числе и в редакции газеты «Правда», были поставлены караулы для охраны помещения и имущества.

5 июля около 6 часов утра, когда выпускающий редактор «Правды» мирно спал, а караул солдат в 3 человека, утомленный бессонной ночью, также потерял значительную долю своей бдительности, к помещению редакции подъехал автомобиль, нагруженный особой командой солдат с пулеметом, который немедленно был наставлен на окна редакции. Вслед за тем находящиеся на автомобиле солдаты ворвались в помещение и, пользуясь растерянностью караула и численным перевесом, отобрали оружие у находящегося там караула. Офицер, предводительствовавший отрядом, заявил, что действует по приказанию командующего войсками округа ген. Половцева. Когда выпускающий редактор «Правды» потребовал ордер или какое-нибудь письменное приказание об обыске, то один из солдат, ни слова не говоря, приставил ему к груди дуло винтовки. Вслед за этим «вступлением» начался «обыск». Насколько «законно» и «правильно» совершался этот обыск, свидетельствует та картина, которую я увидел, придя в «Правду» через несколько часов после ухода непрошенных гостей.

Картина действительно была потрясающая. Ящики столов были взломаны, вытащены и валялись в куче в углу, весь пол был завален рукописями и другой бумагой, стулья свалены, один стол поломан, пишущая машинка сломана и брошена на кипу каких-то рукописей, телефоны оборваны и пр. другое.

Караульные и служащие редакции и конторы были приехавшей бандой арестованы, некоторые избиты и только после долгих мытарств и допроса в штабе отпущены.

Когда я, в качестве делегата от Военной организации при Центральном Комитете нашей партии, был у командующего войсками округа генерала Половцева и между прочим потребовал у него объяснений по поводу этого разгрома, воскрешающего самые мрачные времена старого режима, генерал ответил следующее: «В своих распоряжениях я действую в тесном контакте с Исполнительным комитетом Совета Раб. и Солд. Депутатов. Исполнительный комитет постановил разоружить те вооруженные группы, которые ходят по улицам, и я стараюсь проводить в жизнь это постановление. Мне сделалось известным, что в помещении редакции газеты «Правда» находится вооруженный, не мной поставленный караул, и потому я распорядился его разоружить. Ничего против самой редакции «Правды» я предпринимать не хотел и когда узнал, что отряд превысил свои полномочия, я его выругал».

На это генералу было указано, что им нарушены самые элементарные основы демократизма. Прежде всего он знал, что имеет дело не с частной квартирой, а с учреждением общественного характера — партийным учреждением, и поэтому должен был быть особенно осторожным; затем он знал, что в такие беспокойные дни караул в помещении редакции был безусловно необходим, так как редакция была в постоянной

опасности разгрома со стороны черносотенных шаек; бояться же каких-нибудь выступлений со стороны караула было бы нелепостью, вследствие его малочисленности.

На все это генерал Половцев только разводил руками.

Так было поступлено с партийным учреждением теми, кто называет себя защитниками свободы и порядка.

Прапорщик Ильин».

(«Рабочий и солдат» № 1 от 23 июля (5 августа) 1917 года).

### **„Путиловцы о моменте.**

Мы, рабочие Путиловского завода, в количестве 10 000 человек, обсудив на общем собрании 22 июля обстоятельства текущего политического момента, пришли к следующему заключению:

1) Задачи, вставшие перед рабочим классом и крестьянством с первого момента революции: а) ликвидация войны путем заключения демократического мира — без аннексий и контрбуций, с правом наций на самоопределение; б) устранение государственно-хозяйственной разрухи путем проведения ряда революционных мер, как то: введение контроля над производством и распределением, контроль над банками, переложение финансовых тягот с трудящихся масс на виновников войны и вызванной ею экономической разрухи — господ капиталистов и помещиков; в) последовательно, решительно до конца проведенная демократизация всех органов управления государством; г) улучшение социального положения рабочих; д) передача земли народу, — все эти великие задачи до сих пор не осуществлены.

2) Война продолжается во имя целей, диктуемых международными империалистами; государственно-хозяйственная разруха увеличивается; демократизации политического строя ставятся всяческие препятствия со стороны стоящей у власти буржуазии; земли и лесные богатства расхищаются помещиками; крестьянские организации на местах душатся центральными ведомствами и их ставленниками — комиссарами; все завоевания в области улучшения экономического положения рабочих сводятся на нет растущей экономической разрухой и дороговизной.

3) Стихийно назревший протест со стороны наиболее революционных рабочих и солдат против такого положения вещей, вылившийся в демонстрацию 3—4 июля, истолкован буржуазией и ведущими соглашательскую с буржуазией политику с.-р. и с.-д. м[сньшевиками] как вооруженный мятеж против Сов[ета] Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов] и использован ими для разгрома левого крыла российской социал-демократии — интернационалистов-большевиков.

4) Мы заявляем: всем завоеваниям революции грозит опасность. Спасти революцию можно только путем проведения в жизнь революционных мер, указанных в 1-м пункте настоящей резолюции. Единственной силой, способной выполнить эту великую задачу, являются пролетарии и полупролетарии города и деревни, и только такое правительство, которое будет опираться на рабочих, солдат и крестьян, явится действительно правительством спасения революции.

5) Путь репрессий против рабочих и солдат, на который вступило правительство, не есть путь спасения революции, — это путь к победе контрреволюции. А потому мы протестуем против арестов с.-д. большевиков и идейных вождей большевизма; против закрытия рабочих интернационалистических газет; против разгрома рабочих и солдатских организаций; против лишения товарищей солдат свободы слова и собраний; против введения смертной казни; против разоружения рабочих. Требуем немедленного роспуска Госуд. Думы и Госуд. Совета и ареста всех контрреволюционеров.

Председатель А. Васильев.

Секретарь Н. Григорьев».

(«Рабочий и солдат» № 2 от 24 июля (6 августа) 1917 года).



**„К партийному съезду в Петрограде.**

Всероссийский съезд нашей партии открылся.

Перед партией стоит ряд коренных вопросов, на которые съезду предстоит дать ясные, определенные ответы.

Перед нами первый съезд нашей партии на свободной почве свободной России, омраченной контрреволюционными арестами и стеснениями, разгромами и преследованиями, клеветой и ложью.

Поэтому первым словом съезда будет слово открытого протеста против контрреволюционной вакханалии, прогив лжи и клеветы.

Теперь, когда контрреволюция организовалась, укрепляясь в тылу и на фронте, когда меньшевики и эсеры, сдав позицию за позицией, повернулись спиной к революции, когда наша партия стоит одна перед лицом наступающей контрреволюции, между тем как война и разруха, обнажая противоречия капитализма, углубляют и убыстряют наличный кризис, — обязанность партии найти выход из кризиса, указать пути дальнейшего развития революции.

Поэтому первая задача съезда — поставить вопрос о моменте, дать на него ясный, определенный ответ.

Так называемый кризис власти с особенной ясностью вскрыл финансовые нити, связывающие русскую буржуазию с союзной. Поднявшая голову контрреволюция поставила русский пролетариат перед лицом организованного и могущественного врага в лице международного империализма, без поражения которого невозможна полная победа русской революции. Связь русской революции с революцией на Западе теперь более чем когда-либо ясна. Обязанность партии — укрепить эту связь, сделать ее нерушимой.

Поэтому вторая задача съезда — найти практические пути для создания единства действия пролетариатов всех стран, для создания революционного Интернационала.

Новая фаза капитализма создала новые условия борьбы пролетариата. Война и разруха, обострение противоречий и нарастание новой рабочей революции — все это результаты империалистической фазы капитализма.

Если не духовные условия, [то], во всяком случае, экономические условия социализма оказались во многих странах уже создавшимися.

Все это во многом изменяет условия борьбы пролетариата. Но изменившиеся условия требуют изменения старой программы. Это особенно необходимо теперь, когда единство понимания основных задач диктуется условиями исторического момента.

Поэтому третья задача съезда — дать новую, переработанную на новый лад программу.

Таковы основные задачи съезда.

Мы выражаем твердую уверенность, что съезд с честью выполнит возложенные на него задачи...

Мы приветствуем Всероссийский съезд Росс. Соц.-Дем. Рабочей Партии,

Редакция «Рабочего и Солдата».

(«Рабочий и солдат» № 4 от 27 июля (9 августа) 1917 года).

**„Приветствия съезду.**

Собрание заводских комитетов Василеостровского района кожевенного производства приветствует Всероссийский съезд Р.С.-Д.Р.П. большевиков и интернационалистов и желает плодотворно работать.

Вместе с тем собрание шлет чрез решетки привет вождям Интернационала, арестованным Временным правительством, и другим, вынужденным спастись от произвола и травли, направленной против них контрреволюцией, и верит в скорое возвращение их в ряды революционного пролетариата.

Принята 40 голосами при 1 воздержавшемся.

Мы, рабочие Путиловского завода, собравшиеся на общий митинг в количестве 6 000 человек... заявляем о том, что мы, как один, все становимся под знамена партии пролетариата (большевиков) для борьбы с контрреволюцией и изменнической политической руководящих верхов и вождей оборонческой партии (соц.-революционеров и меньшевиков) и все присоединяем свой пролетарский голос к приветствиям и резолюциям съезда по делу т. Ленина и других.

Мы приветствуем съезд, единственного верного, идейного и боевого вождя пролетарских масс в их борьбе с контрреволюцией за полное торжество революции.

Общее собрание раб[очих] зав[ода] Лангензиппена шлет горячий привет Всероссийскому съезду Р.С.-Д.Р.П. большевиков и интернационалистов. Выражает пожелание, что Всероссийский съезд революционной соц.-демократии, несмотря на гонения и преследования, не уйдет с пути борьбы и международной солидарности рабочих. При выработке программы партия будет руководствоваться современной эпохой развития империализма. Путь борьбы с империализмом только социализм».

(«Рабочий и солдат» № 8 от 1 (14) августа 1917 года).



## ПЕРВЫЕ КОМИССАРЫ

### ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА

Созданный накануне Октябрьской революции, 12 (25) октября 1917 года, по указанию ЦК партии большевиков Военно-революционный комитет (ВРК) при Петроградском Совете сыграл исключительную роль в Октябрьском перевороте.

По мысли В. И. Ленина, ВРК должен был быть тесно связан с самыми широкими слоями рабочих и солдат. В первые дни революции эта связь в значительной степени осуществлялась через комиссаров ВРК, практическая работа которых, к сожалению, почти не освещена в нашей исторической литературе.

Уже самый факт появления с 21 октября 1917 года первых комиссаров ВРК на фабриках, заводах, в учреждениях и воинских частях говорил о начале вооруженного восстания против контрреволюционного Временного правительства. Опираясь на рабочие и солдатские массы, комиссары брали под свой контроль действия администрации и командования, в результате чего была парализована вся деятельность Временного правительства.

В ВРК было создано Бюро комиссаров, на которое возлагалось организационное и оперативное руководство работой комиссаров. Заведующим бюро был член Петроградского ВРК М. И. Лацис, секретарями бюро работали С. И. Шульга и Т. В. Мешковский. Вначале комиссары назначались из представителей партийных организаций предприятий и воинских частей; в последующее время рабочие и солдаты сами выбирали комиссаров из своих рядов.

В Центральном государственном архиве Октябрьской революции сохранилось более трехсот донесений гражданских и военных комиссаров ВРК. Содержание донесений свидетельствует о том, насколько разнообразна и многогранна была работа комиссаров ВРК, имевшая большое значение для революции.

В настоящее время эти ценнейшие исторические документы систематизированы и подготовлены к опубликованию Главным архивным управлением МВД СССР и Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Работа над сборником донесений и личных воспоминаний комиссаров Петроградского ВРК проведена бригадой в составе С. И. Шульги (руководитель), А. А. Антонова, Ф. И. Мальской, Я. М. Рудника, А. Я. Чечковского и В. А. Вдовина.

Ниже впервые публикуются с некоторыми сокращениями отдельные донесения комиссаров Петроградского Военно-революционного комитета, расположенные в хронологическом порядке. Даты указаны по старому стилю. Орфография документов соблюдена в основном по подлинникам. Подготовка публикации и комментарии О. П. Здвижкова.

**О**дним из первых комиссаров ВРК был А. А. Антонов, рабочий, член партии с 1914 года. В сентябре 1917 года избран председателем исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов Обуховского завода.

В своем донесении ВРК он сообщает о положении на этом заводе в дни после Октябрьской революции:

«Настоящим довожу до сведения Военно-революционного комитета, что я вступил комиссаром Обуховского завода 21 октября с/г. Ввиду того, что наш завод выделяет орудия, я прежде всего довел до сведения заводоуправления, чтобы впредь из завода не вывозилось ни одно орудие без санкции Военно-революционного комитета. Заводоуправление на это согласилось...»

...Со стороны начальника завода пока препятствий ни в чем не встречаю; он заявил, что он признает за нами руководящее право и готов работать вместе, но ставит условия, чтобы он как исполнительная власть не был урезан, так как это может вредить и мешать делу.

Это он ответил на мое заявление, чтобы впредь ни одно распоряжение о каком-либо изменении в жизни завода не опубликовывалось без санкции Испол[нительного] Комит[ета] Сов[ета] раб[очих] деп[утатов] нашего завода и моего.

В настоящее время все важные дела присылаются на просмотр мне.

Среди рабочих в первое время наблюдалось недовольство действиями местного Военно-революционного комитета и Испол. комит. Сов. рабоч. деп. по поводу выдачи орудия ВРК, а также [отправкой] Красной гвардии на фронт, которая здесь была организована из более 1 000 чел. при бронированном автомобиле [и] нескольких пулеметах.

Недовольство это разжигалось местным заводским комитетом, большинство которого состоит из эс[е]р[ов]-оборонцев, выбранных уже более 6 месяцев тому назад. Ими был поднят вопрос об избрании недавно выбранного Испол. Комит. С[овета] р[абочих] д[епутатов] Обух[овского] района, который состоит из большевиков. Но произведенное тайное голосование дало доверие настоящему составу; но с укреплением Центр[альной] власти пропадали страхи масс и вновь со стороны замечается сочувствие происходящим событиям. Вызывает[ся] также недовольство нехваткой топлива, ввиду чего пришлось остановить несколько мастер[ских]. В настоящее время приняты меры к доставке угля; волнуется также рабочих нехватка денег к выплате, нами также приняты решительные меры к уничтожению этого явления, которое по-моему является или саботажем со стороны заводоуправления или же тем хаотическим порядком в ведении дела, где администрация не может учесть, сколько нужно денег для каждой полочки.

В силу указанных замечаний о местном рабочем комитете, который, конечно, должен входить во все хозяйственные стороны заводской жизни, и ввиду его нежелания работать в контакте с Испол. Комит. Сов. раб. деп. завода, мы назначаем целый ряд комиссаров по различным отраслям завода до переизбрания рабочего комитета, которое должно быть произведено в ближайшее время.

Красная гвардия теперь значительно уменьшена; все распушены по местам с винтовками. Прошу Вас сообщить: держать ли нам комиссаров и красногвардейцев, которые были поставлены в дни переворота на ст[анции] Обухово, почте и телеграфе. На последнем надобность [в] дежурстве есть, ввиду того, что учреждение позволило себе препровождать корреспонденцию, направленную в организации, взятые в наши руки, [корреспонденция] попадает не к нам, а к лицам, устраненным районными Сов[етами] от должности.

Ваше распоряжение об усилении охраны проведено в жизнь.

Комиссар и председатель  
Испол[нительного] Комит[ета]  
Антонов».

\* \* \*

Для сохранения музеев, художественных коллекций и других культурных ценностей Петроградский Военно-революционный комитет назначил своих специальных комиссаров. Как видно из приведенного ниже донесения, они приступили к работе в день Октябрьского переворота.

«25 [октября], получив назначение, мы направились в музей Александра III<sup>1</sup>, как более всего угрожаемый и требующий охраны со стороны прилегающей к музею территории. Нами созван был совет музея во главе с Главноуполномоченным Челноковым, на котором было вынесено решение о необходимости внешней охраны музея.

В виду этого мы снеслись с комиссаром Павловского полка, который предоставил нам наряд солдат для несения караульной службы при музее.

Караул сохранен до настоящего времени и в музее все благополучно.

Музей для посещения закрыт. Подробный доклад о состоянии музея будет сделан дополнительно.

<sup>1</sup> Ныне Государственный Русский музей.

26 [октября] мы обратились к А. Н. Бенуа<sup>1</sup>, вместе с которым выработали план действий по ограждению художественных сокровищ. Первым делом мы направились в Эрмитаж и Зимний дворец. При обследовании выяснилось, что Эрмитаж не пострадал, но убедилась, что внешняя охрана неудовлетворительная, нами была поставлена внешняя охрана, которая имеется до сих пор. Подробный доклад о состоянии Эрмитажа будет дополнительно.

26 [октября] утром мы прибыли в Зимний дворец, который нашли в состоянии полного разгрома. Всюду бродили солдаты и матросы, и принимаемые нами меры с целью удаления их из залов дворца не давали желаемых результатов, пока мы не настояли на том, чтобы солдаты, как внутренний караул, были удалены совершенно из помещения дворца. Против этого необходимого, по нашему мнению, средства протестовал бывший комендант пор[учик] Дзевалтовский, находя стратегической необходимостью держать во дворце команду около 800 солдат и пулеметчиков.

Караульная служба в настоящее время поставлена удовлетворительно, художественная комиссия приступила к работам 27 [октября], и подробный доклад... будет нами представлен после окончания предварительных работ этой комиссии.

Мандельбаум.

Ятманов».

\* \* \*

В те дни крайне важно было установить строжайший контроль над работой органов связи. С этой целью ВРК назначил главным техническим комиссаром И. Коросташевского. Ему было предписано осуществлять «надзор над всеми техническими учреждениями, аппаратами и службами радиотелеграфа г. Петрограда и его окрестностей», а также наладить все средства связи для нужд Военно-революционного комитета.

В своем донесении И. Коросташевский сообщает о передаче всех декретов и приказов Советской власти и об организации перехвата телеграмм Керенского:

«Комиссаром Военно-революц. комитета по надзору за всеми радиостанциями Петрограда и его окрестностей я был назначен 26 октября.

В течение первых двух дней мною были собраны сведения о всех станциях и последние мною были осмотрены. В результате осмотра выяснилось, что использованы технически могут быть лишь две станции:

- 1) ст[анция] Таврического дворца и
- 2) Морская, — остальные станции мною закрыты.

Станция Таврического Дв[орца] находилась в распоряжении ЦИК и тотчас же была использована; Морская станция находилась в распоряжении Центрфлота, в виду этого я обратился в вышеназванный Комитет с предложением о передаче станции в распоряжение Воен. Рев. к-та, что ими и было сделано 28 октября, о чем Морским Военно-революц. комитетом и было выдано удостоверение о передаче Морской станции в мое распоряжение.

28 октября были переданы все приказы и декреты Народных Комиссаров. В первые же дни был установлен перехват телеграмм Керенского, посылаемых с Царскосельской станции.

С момента разгрома войск Керенского Морская станция установила связь с Царскосельской, каковую аккуратно и поддерживает по сию пору.

Сейчас мною установлен следующий порядок: Таврическая станция работает исключительно на прием русских и иностранных телеграмм. Перехваченные телеграммы ежедневно лично мною передаются в Воен. Революц. комитет и в полевой штаб.

Передача производится лишь с Морской станции. Телеграммы на дальнейшее расстояние релетую[тся] Царскосельской станцией, которая и передает уже по назначению.

Комиссар по надзору за радиостанциями г. Петрограда  
И. Коросташевский».

<sup>1</sup> Александр Николаевич Бенуа — живописец, историк искусства, художественный критик.

\* \* \*

Ночью 28 октября 1917 года Царскосельская радиостанция была занята войсками Керенского и использована для передачи ряда провокационных воззваний, дезориентирующих фронт и тыл. Так, например, сообщалось о том, что якобы арестованы «все комиссары так называемого Военно-революционного комитета».

30 октября 1917 года Царское село перешло в руки революционных войск. Спустя несколько дней, на общем собрании команды Царскосельской радиостанции, комиссаром станции был избран солдат Н. Денисов.

В донесении ВРК он пишет:

«В последнюю революцию Царскосельская радиостанция имела несчастье попасть в руки контрреволюционера Керенского. Принимая во внимание: 1) большую мощность нашей радиостанции, рассчитанной для обслуживания радиотелеграфной связи с Англией, Францией, Италией и со своими станциями, как то: Николаевом и Ташкентом, 2) тревожность момента и вследствие этого за всякой передачей нашей радиостанции следят как союзные, так и фронтовые приемные станции, наша радиостанция хочет быть голосом народной воли, воплощенной в лице существующего револ[юционного] правительства. В дальнейшем наши солдаты не хотят быть игрушкой контрреволюционных офицеров и всю нетехническую власть взяли в свои руки, и в числе этого сочли нужным выбрать меня комиссаром радиостанции для живой связи с существующими революционными учреждениями: Советом Народных Комиссаров, Военно-рев. комитетом; следить за верностью радиостанции в общем револ[юционному] правительству; чтобы депеши передавались без замедлений и по приемке отсылались по адресам; устранить офицерский саботаж в этой области.

Наша радиостанция сейчас принимает депеши с фронта и отсылает их по адресам. Депеши большей частью адресуются в ЦИК Сов[етов] Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов]. Содержание их крайне важно. Замедление в доставке недопустимо.

Кроме работы с фронтовыми станциями наша радиостанция передает депеши в союзные страны, а также принимает оттуда. Депеши адресуются послам союзников, содержание их зашифровано. Также принимает газетные сведения Германии, Англии, Франции и Австрии и отсылает их по нижеуказанным адресам (на отд[ельной] бум[аге])<sup>1</sup>.

Но между радиостанцией и Петроградом существует проволочный телеграф, по которому полученные депеши направляются по адресам для доставления, но нам неизвестно, как быстро доставляются депеши по этому телеграфу в ген[еральный] штаб; было бы целесообразнее связаться проволоч[ным] телеграфом со Смольным институтом, как в свое время ЦИК Сов[етов] Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов] в бытность свою в Таврич[еском] дворце был связан телеграфно через Генер[альный] штаб. А доставка посыльным отнимает тоже немало времени. Затем, нам кажется, необходимо своей радиостанцией оповещать фронт и за границу газетными сведениями, так же как это делается в других странах, а фронт всегда будет иметь свежие газет[ные] св[е]дения, приказы и воззвания револ[юционн]ого правительства, а не будет питаться клеветнической сплетней полубурж[уазных] газет, приходящих через 2—3 дня на фронт.

Для проведения всех этих необходимостей я выбран командой радиостанции комиссаром; офицерский состав радиостанции неблагонадежен. Я не успел еще присмотреться ко всем подробностям, т. к. до сих пор состоял председателем команд[ного] комитета. О последующих работах радиостанции буду докладывать особо.

Выбор[ный] комиссар при радиостанции  
солдат Н. Денисов».

\* \* \*

Член Военной организации при ЦК РСДРП(б) Я. М. Рудник 21 октября 1917 года был назначен комиссаром гвардии Финляндского резервного полка. Этот полк участвовал в штурме Зимнего дворца, очищал Гатчин[у] от войск Керенского.

В донесении ВРК Я. Рудник рассказывает о настроении солдат:

<sup>1</sup> Списки адресов не сохранились.

«Настоящим сообщая, что Гв[ардии] Финляндский резервный полк весь реорганизован на новых началах. Полковой комитет выбран новый, в подавляющем большинстве там теперь большевики, оборонцев вовсе нет. К текущему моменту товарищи солдаты относятся вполне сознательно, они все стоят за безусловную поддержку не на словах, а на деле Военно-революционного комитета и Совета Народных Комиссаров и считают, что никаких сомнений не должно быть у народных комиссаров и никаких соглашений не должно быть с оборонческими партиями, ибо те не признают завоеваний революций 24—25 октября и не признают Советской власти, в то же время финляндцы требуют от левых [социалистов]-[революционеров] входить в состав народных комиссаров и делить ответственность совместно с т. т. большевиками. Я приведу несколько примеров самостоятельности финляндцев.

Когда мы узнали, что на ж[елезно]-д[орожных] станциях масса неразгруженных вагонов и продовольственный кризис стоит очень остро, мы обратились с воззванием к т. т. солдатам и рабочим, призывая их прийти на помощь голодающему населению, и одновременно отправили команду на Николаевский вокзал для разгрузки товарной станции и инструкторов для осмотра продуктов. На наше воззвание откликнулись десятки тысяч рабочих Трубочного, Обуховского и других заводов и прислали в Смольный свои старост для организации комиссии по разгрузке ж[елезно]-д[орожного] у[зда].

Когда 11 ноября на гарнизонном совещании представитель Семеновского полка хотел поставить на обсуждение гарнизона, должен ли караул Госуд[арственного] банка подчиняться во всем распоряжениям ВРК, представители Финляндского полка заявили от имени полка, что финляндцы безусловно исполняют все распоряжения ВРК и Совета Народных Комиссаров и, если караул семеновцев колеблется, тогда финляндцы их могут сменить и исполняют все требования народных комиссаров без колебания...

Полк разверстан в боевой порядок 16 рот, образованы 2 пулеметные команды, вся власть перешла к ротным и полковому комитетам. Канцелярия полка находится теперь в ведении полкового комитета. Провели в жизнь выборность командного состава и постановили, что все офицеры, которых мы не выбрали на какую-либо должность 20 с[е]м[е]с[я]ца, уже жалованья не получают, а будут нести службу наравне со всеми товарищами солдатами, а на эти деньги, что останутся от их жалования, мы отправим продовольств[енные] продукты в дейст[вующую] армию. Одним словом, мы разъяснили т. т. солдатам, что единственным хозяином является народ, и мы развиваем самостоятельность т. т. солдат и их инициативу, не дожидаясь приказов сверху...

Характерно отметить одну черту из жизни полкового комитета.

15 [ноября] в полковом комитете обсуждался вопрос о финансовом положении России и полковой комитет стал на ту точку зрения, что нужно все количество серебра, которое имеется в офицерском собрании (масса серебряных вещей, кубки, разные подарки, так как полк очень давно существует, серебра накопилось порядочно), сдать в Государственный банк, призвать другие гвардейские части так же поступить, и этим наличным фондом серебра можно поднять курс нашего рубля за границей.

Настроение в полку по-прежнему хорошее. Соглашение с 2-м съездом Советов крестьянских депутатов приветствуется...

Комиссар Рудник».

\* \* \*

Как известно, царское правительство в борьбе с революционным движением в значительной мере опиралось на казачество. С целью воспитания и укрепления духа «верноподданничества» царскому самодержавию казакам предоставлялся ряд привилегий, они наделялись землей, казачья верхушка подкупалась. Это привело к тому, что во время Октябрьской социалистической революции помещичье-кулацкие слои казачества перешли на сторону контрреволюции. Однако беднейшая часть казачества выступила за поддержку Советской власти.

В ноябре 1917 года в 1-й и 4-й казачьи полки Петроградским Военно-революционным комитетом был послан сперва агитатором, а затем комиссаром рабочий, член большевистской партии И. Зубков. В публикуемом ниже донесении он сообщает о на-

строении казачества в полку. Мы приводим также текст благодарности казаков за работу И. Зубкова.

«Доношу, что 23 сего ноября по приглашению полкового комитета я присутствовал на полковом празднике 1-го Донского каз[ачьего] полка. Моим присутствием на празднике казачество было довольно, что доказывал внешний вид последних. На празднике присутствовало два генерала, один из них, как мне сообщили, командующий упомянутым полком Троилин, а другой никому не известный...

26 ноября по положению полка было заседание полкового комитета. Обсуждались вопросы внутренней жизни полка.

По окончании упомянутого собрания мною было предложено полковому комитету собрать полк, что последним было исполнено. На полковом собрании мною было сказано: о текущем моменте, земле и воле, войне и работе Военно-революционного комитета в настоящее время. По окончании лекции мною было предложено казачеству вынести от полка резолюцию в пользу трудового народа, которую огласить в газетах, на что трудовое казачество согласилось с радостью и аплодировали. Офицерский состав во главе с полковником Грековым настаивали отрицательно. С этим мне собрание пришлось покинуть, так как я получил пакет с предписанием арестовать генерала Троилина. Арест упомянутого генерала не совершился, так как я в то время не имел при себе оружия и не осмелился идти к нему на квартиру, а заявил полковому комитету о назначении двух человек конвоиров. Полковой комитет сделал назначение и при этом сообщил председателю комитета подъесаулу Гуляеву. Последний сообщил полковнику Грекову. Полковник Греков собрал весь состав офицерства, которые настаивали против ареста генерала Троилина и [требовали] послать делегатов в Смольный институт с просьбой оставить последнего при полку до выяснения. За поздним временем и так как генерала Троилина не оказалось на квартире, то я решил отложить [его арест] до следующего дня. На следующий день, т. е. 27 ноября, я явился в полковой комитет в 8 час. утра, где встретил генерала Троилина и весь офицерский состав полка. Генерал Троилин заявил мне, что он ничего не пытался сделать против народа, и просил меня арест отменить, на что получил от меня отрицательный ответ. По настоянию полковника Грекова и других офицеров было устроено полковое собрание. На собрании агитировали, как полковник Греков, так и другие офицеры, в пользу генерала Троилина, но когда вышел на трибуну я и доказал казачеству, что обязан выполнить распоряжения Народной власти, то казаки все бурно аплодировали с криками: «Арестовать!» Мною было выполнено, и в 12 час. генерал Троилин был доставлен в Смольный институт...

Про 4-й полк я могу сказать, что казаки, как один, идут с трудовым народом...

В 1-м полку офицерство хотя и подавили за последние дни, но еще продолжают бессильно бороться. Но я думаю, что я поборю проклятых «холопов» Николая Последнего, и оба полка казачества не отдам в рабство хищникам, а приведу их к общему знаменателю.

Комиссар Ив. Зубков».

«Мы, казаки 6-й сотни 4-го Донского казачьего полка, собравшись в казачий круг 13 ноября 1917 года и выслушав доклад комиссара Ивана Зубкова, командированного к нам Военно-революционным комитетом С[овета] р[абочих], с[олдатских] и к[рестьянских] депутатов: 1) о текущем моменте, 2) о земле и воле, 3) работе ВРК в настоящее время, 4) об обязанностях воинских чинов и 5) об Учредительном собрании,— выразили сочувственную от души благодарность С.Р.С. и К. депутатов и выделенному Военно-революционному комитету. Кроме того, благодарим тов. комиссара Ивана Зубкова за его благодушительную речь, которая произвела на нас самое лучшее впечатление.

Председатель Сотенного комитета  
вахмистр Гордеев».





# ПУБЛИЦИСТИКА

Ф. АРИЕ

★

## ЗАПИСКИ ЛЕКТОРА

*Публикуемая ниже статья была прислана в редакцию «Нового мира» А. А. Фадеевым незадолго до его кончины.*

*В своей записке А. А. Фадеев писал: «Ф. М. Арие моя давняя корреспондентка, еще с той поры, когда она работала на Алтае. Я обратил внимание на то, что темы, избираемые ею, не избиты и решает их она по-своему. Это первый ее очерк, который я счел уже возможным рекомендовать в журнал».*

*Автор «Записок лектора» рассказала нам, что она с большим вниманием отнеслась к дружеским и ценным замечаниям писателя и в соответствии с ними работала над второй редакцией своей статьи.*

1

**Н**е так давно довелось мне прочесть лекцию в большой станице Кривянской, Новочеркасского района, Ростовской области.

Заведующий Домом культуры — молодой паренек, недавно демобилизовавшийся из армии, — привел меня в здание, расположенное возле старой каменной церкви. Дом был просторный, с высокими потолками, но запущенный и холодный. Таким же озябшим и неустроенным показался мне и сам заведующий, с виноватым видом сказавший, что лекции у них не особенно любят слушать:

— Почему же не любят? — спросила я.

Паренек недоуменно пожал плечами: откуда, мол, я могу это знать.

Вечером на крыше Дома культуры зажегся фонарь, оповещающая станичников, что в клубе что-то проводится. Сперва набежали ребятишки, потом понемногу стали сходиться взрослые. В одной из комнат заиграл баянист, ребята и девушки, как были — в стеганках и ушанках, пошли танцевать.

Но вот зазвенел колокольчик. Первые ряды зрительного зала с шумом заняла детвора, много собралось молодежи, были и среднего возраста люди и старики.

— О чем будет лекция? — спросили меня две девушки, обе в клетчатых платках, раскрасневшиеся от танцев.

— О Маяковском. Знаете о нем?

— Знаем, да только забыли, — засмеялись девушки, — в школе когда-то проходили.

Я поинтересовалась их образованием. Оказалось, что три года назад они окончили семь классов, сейчас работают в колхозе.

Заведующий клубом пытался выдворить из зала ребятишек, но они цепко держались за свои места, поминутно спрашивая: «А какое будет кино?»

Наблюдая за поведением собравшихся, всматриваясь в самые разнообразные лица, я почувствовала, что не так легко будет овладеть аудиторией. Опыт лектора подсказывал, что доклад нужно несколько перестроить, может быть даже сузить его, сократить, но обязательно найти нечто такое, на что непременно откликнутся сердца слушателей. Я решила о самом Маяковском рассказать не много, зато разобрать подробно одно из лучших его произведений.

Стала рассказывать о поэме «Владимир Ильич Ленин». Постаралась интонационно правильно передать проникновенные слова Маяковского о гениальном вожде и «самом

земном», «самом человеческом человеке». По возможности подробнее попыталась охарактеризовать отличительные черты В. И. Ленина, говорила о его тесной связи с народными массами и о едином, неделимом понятии — Ленин и Коммунистическая партия; о том, с какой исключительной силой удалось поэту передать безграничную любовь трудящихся к своему Ильичу.

В глубокой тишине зала, с трудом сдерживая волнение, читала я любимые скорбные строфы:

Знамен  
    плывающих  
                    склоняется шелк  
последней  
                    почестью отданной:  
«Прощай же, товарищ,  
                    ты честно прошел  
свой доблестный путь благородный».  
\* \* \* \* \*  
Знаменные  
    снова  
                    склоняются крылья,  
чтоб завтра  
                    опять  
                    подняться в бой:  
«Мы сами, родимый, закрыли  
орлиные очи твои»...

Со всех концов зала на меня смотрели взволнованные, вдохновенные, потеплевшие глаза. И хоть пришлось читать в промерзшем здании, не раздеваясь, сняв только платок с головы, хоть я и понимала, что лекция далека от совершенства, от полного, широкого обзора творчества Маяковского, — я уходила из клуба с мыслью, что как-то донесла до слушателей живое слово поэта.

В поезде, вспоминая лекцию, Дом культуры, беспомощного паренька — руководителя культурного центра большой станицы, я вновь задавала себе вопросы, которые не раз толкали меня взяться за эти заметки.

Это был целый поток мыслей, связанных с пропагандистской деятельностью и воспитанием наших людей, нашей молодежи. Почему неказист здешний Дом культуры? Почему до сих пор еще возможны разговоры о том, что лекции у нас «не любят слушать»? Почему мы все еще продолжаем встречаться с формальным, бездушным отношением к массовой лекционной работе — сильному и эффективному орудью воспитания?

Не знаю, удастся ли со всей ясностью передать в этих беглых заметках то, что волнует меня, но я постараюсь искренне и откровенно рассказать о своей работе лектора, о моих удачах и ошибках, о творческих поисках на этом нелегком и ответственном пути.

## 2

За несколько лет до войны я окончила филологический факультет педагогического института, увлекалась наукой, подумывала о научном поприще, была, в полном смысле слова, влюблена в литературу. Хорошая пора жизни! Дышалось радостно, мечталось легко. Наступила война, и я очутилась на суровом Алтае с маленьким ребенком на руках. В холодной, овечьей всеми ветрами степи срочно монтировался, возвращался в строй огромный завод, эвакуированный с запада. Труд людей был поистине героичен. Горячая, напряженная жизнь военного времени закипела в степи наперекор всем ветрам и бурнам. В этой жизни мне предстояло найти свое место.

Шел 1942 год. Строительные площадки, деревянные бараки, заселенные житейски неопытной молодежью, приехавшей из глубинных алтайских деревень на строительство завода. Здесь и начала я свою лекционную деятельность.

Теперь, вспоминая эти далекие дни, я понимаю, что моя работа была скорее агитационно-массовой, чем лекционной. Близкое знакомство с людьми, дружба с ними, особенно с молодежью, порождали огромное желание как можно доходчивее и проще рассказать им о событиях великой войны, идущей на нашей земле. Фронтные очерки,

и статьи писателей, сообщения радио, скупые газетные заметки в несколько строк — все, что удавалось найти, я старалась использовать для своих бесед.

Благодарные были у меня слушатели. Особенно запомнилась мне одна девушка — Маша Коптелова. Она впервые в жизни села в поезд, когда ехала сюда. Славная, добрая Маша, на редкость отзывчивая, никогда не унывающая, стала одной из лучших работниц завода. Я помню, как всегда поджидала она меня в коридоре барака с радостной и застенчивой улыбкой на круглом и чистом лице, помню ее взволнованность во время моих лекций, ее красные, потрескавшиеся руки, пальцы со сбитыми ногтями. Нелегко жилось тогда этим девушкам, нелегко работалось. В лютую стужу, на пронизывающем ветру делали они подчас непосильную, мужскую работу.

Война близилась к концу. Неузнаваемой стала степь, где обосновался завод. Настоящий социалистический город раскинулся здесь, на недавнем пустыре; появились школы, техникумы, библиотеки, вечерний филиал института сельскохозяйственного машиностроения и даже музыкальное училище. С алтайским городком Рубцовском завод связывает теперь вместо прежней утонувшей в грязи дороги с ямами, в которых буксовали машины, широкая асфальтированная улица.

Работая лектором заводского партийного комитета и внештатным лектором горкома КПСС, я обслуживала цехи завода, клубы, учебные заведения, библиотеки, рабочие и студенческие общежития.

На заводе, который стал мне родным, я знала почти всех. Лекторская работа крепко сдружила меня с людьми. В каждом цехе была своя, особенная аудитория. Помню, как в инструментальном цехе, куда я пришла на час провести беседу о А. М. Горьком, рабочие попросили прочесть более обстоятельную, подробную лекцию. И я читала им три дня подряд, три обеденных перерыва.

С особенной теплотой вспоминаю красный уголок ТЭЦ, всегда до отказа полный людьми, кузнечный цех... Всю свою жизнь буду я хранить букет аляповатых бумажных цветов, сделанный девушками в молодежном общежитии, обрызганный всеми духами, какие только были на тумбочках, и преподнесенный мне в день 8 Марта.

Теперь, размышляя над секретом такой обоюдной теплоты и дружеского расположения, я часто думаю: хорошо, если каждый из нас, лекторов, почувствует, какой же силой может стать его работа, если в нее вложены большой труд и душевное, любовное отношение к делу и к людям. И когда приходится слышать, что на лекцию не собрались, я знаю: виноват в этом организатор лекции или, что еще хуже, сам лектор.

В нашей печати все чаще встречаем мы резкое осуждение бездарных научных работ, диссертаций ради диссертаций. Не такого ли осуждения заслуживают и лекции ради лекций?

### 3

В студенческие годы я и мои сверстницы, восторженные, жадно воспринимавшие жизнь, нетерпеливо пробегали глазами афиши с названиями лекций и стремглаз бежали слушать те, в которых искали ответа на волнующие молодежь проблемы. Пожалуй, никогда не забыть мне одну из лекций — «О любви и дружбе».

Читалась она во Дворце культуры заводского района Днепронетровска. Далеко находился этот дворец от нашего института, мы ехали туда двумя трамваями, в сильный мороз — несколько студенток, плохо одетых, живущих на скудную стипендию, но полных молодого, радостного задора. Помню огромный зал, переполненный молодежью. Лектор, высокий, худой, уткнувшись в мелко испсанные листки бумаги, долго и скучно говорил что-то монотонным голосом. Раздражающим дробным дождем падали на нас серые, пустопорожние слова, общие фразы, цитаты... Помню, как тоскливо становилось мне, когда я слушала этого человека, смотрела на его фигуру, лицо и рот, равнодушно жующий словесную жвачку... В зале нарастал шум, никто уже не слушал лектора, а он, не глядя в зал, все бубнил, откладывая листок за листком, и я ловила себя на том, что с радостью отмечаю, как увеличивается стопка прочитанных страниц и тают непрочитанные.

— А еще профессор называется, стоило ездить к нему — приглашать! — громко, с досадой произнесла сидевшая рядом со мной девушка. Она была в рабочей замасленной блузе — видимо, пришла сюда прямо из цеха.

Много раз потом читала и я лекцию о любви и дружбе, и всякий раз, когда готовила ее, в глазах стоял этот лектор — «а еще профессор», я вспоминала шум в зале, разочарованных, раздосадованных слушателей.

Лекторов, подобных описанному, так обидевшему меня в юности, к сожалению, можно встретить еще и сейчас. Слушая их, невольно спрашиваешь себя: почему эти люди избрали именно лекторское дело? Любят ли, уважают его или считают своей задачей только прочитать скороговоркой, не слишком вдумываясь в произносимые слова, быть может не раз уже читанный, затрепанный конспект? Принесет ли пользу такая лекция, обогатит ли она слушателей новыми знаниями, сыграет ли мало-мальски значительную роль? Конечно, нет. Но вызвать предубеждение к лекциям вообще может.

#### 4

Работа лектора — это прежде всего творческий труд. Мне кажется, готовясь к лекции, лектор должен чувствовать себя так, как чувствует писатель, работая над своим произведением.

Настоящая, полноценная лекция требует длительной подготовки, всестороннего осмысления собранного материала, тщательной продуманности построения. Это, конечно, дело не одного дня и, может быть, даже не одного месяца. Когда лектор широко и полно владеет темой, только тогда он может ответить на любой вопрос и будет вести лекцию свободно и просто.

Я повторяю сейчас эту элементарную истину отнюдь не в назидательных целях. Просто хочется подчеркнуть значение добросовестности лектора. Нет ничего хуже, чем заметить в глазах слушателя досаду, почувствовать, что ты обманул его, мог дать и не дал того, что он ожидал.

В моей лекторской работе было много ошибок, впоследствии мучительно пережитых, когда внешне все как будто проходило хорошо. Одна из них — погоня за «красивостью» языка, не за образностью и выразительностью слова, а именно за той самой искусственной нарядностью, которой грешат мало талантливые и мало умные произведения и которая чужда подлинно художественным творениям. Мое увлечение внешним украшательством речи влекло за собой и вторую, еще более серьезную ошибку — недостаточно глубокое и всестороннее раскрытие темы. По неопытности, а может быть, и по легкомыслию молодости, я, готовясь к лекции, пользовалась только одним каким-нибудь источником, иногда даже и очень узким, и ограничивалась им, надеясь, что «вывезет» хорошее знание самих произведений писателей.

И вот однажды эти мои ошибки разом предстали передо мной во всей своей неприглядности.

Как-то в Днепропетровске я читала лекцию о Пушкине. В зале присутствовал представитель газеты, пожилой человек. Когда я, возбужденная и взволнованная, сошла с трибуны, он остановил меня и стал расспрашивать, как я готовлюсь к лекциям, каким пользуюсь материалом. А через два дня в городской газете появилась статья этого незнакомца, подвергшая мою лекцию резкой критике.

Автор тонко и правильно отметил все недостатки лекции, но как добрый человек он, видимо, пожалел молодого лектора. Он не назвал мою фамилию и весь свой гнев обрушил на поверхностные статьи, которыми приходится пользоваться пропагандисту. Но я-то прекрасно знала, в чей адрес идут его справедливые упреки, и читала статью с пылающим от стыда лицом.

Это был хороший урок. После него я начала поиски слова, которое определяло бы простоту, искренность и задушевность речи. Прошло легкомыслие, и навсегда поселились в душе тревога и ответственность, постоянная неудовлетворенность, заставляющая без конца пересматривать свои лекции. Каждый раз, анализируя уже прочитанную лекцию, убеждаюсь, что ее можно было сделать лучше, доходчивее, интереснее.

Особенно беспокоит меня, удалось ли достаточно глубоко раскрыть тему, тем более что не раз обнаруживались пробелы, которых слушатель порой и не замечал.

Но я-то всегда замечала их, и притом с мукой в сердце, потому что всего опаснее для лектора привыкнуть к легкому порханию вместо серьезной работы мысли.

В 1949 году исполнялось 125 лет со дня основания Малого театра. Мне предложили подготовить лекцию. Тема была новая, незнакомая, но взялась я за нее с большим желанием. Взялась и... буквально «заболела» Малым театром. Каждая прочитанная книга возбуждала во мне новый интерес, заставляла читать еще и еще, и чем больше я узнавала, тем сильнее и глубже захватывала меня работа над лекцией, тем ярче и отчетливее вставала передо мной история жизни замечательного русского театра, и живые образы актеров все плотнее обступали меня.

Нужно было подготовить небольшую лекцию, примерно на один час, но именно это и требовало от меня особенной работы. Подготовка шла по нескольким направлениям: история развития театра, его актеры (поочередно я грезила то Мочаловым, то Щепкиным, Ермоловой, Федотовой); приход А. Н. Островского в Малый театр; Великая Октябрьская революция и Малый театр; Малый театр в годы Великой Отечественной войны; Малый театр сегодня. По мере изучения литературы все больше появлялось направлений. Наконец я остановилась на отношении Белинского к Малому театру, в частности к игре Мочалова, и вот определилась новая тема — Белинский и Малый театр.

Составила план лекции, из всего накопленного материала тщательно отобрала наиболее нужное, продумала начало и конец лекции, забрала несколько вариантов. Известно, что удачное вступление, сразу вводящее в круг событий, захватывает, заинтересовывает аудиторию, а значительное по мысли и не шаблонное заключение подобно выразительной музыкальной ноте: она уже замолкла в воздухе, но еще звучит в сердцах слушателей.

Я очень волновалась, читая в первый раз эту лекцию. Но уже после первых минут меня приятно обрадовало внимание зала, и я поняла, что все идет хорошо.

Если хочешь добиться успеха, принести своей лекцией максимальную пользу, отнесись к ее подготовке со всей ответственностью и прежде всего уважай аудиторию, тех, кто пришел к тебе чему-нибудь поучиться. И еще одно правило, которому я всегда стараюсь следовать: никогда не позволяй себе «затрепать» лекцию, то есть по нескольку раз преподносить ее в одном и том же неизменном виде. Если к какой-нибудь лекции я возвращалась после годичного или полугодичного перерыва, то подвергала ее самой жестокой критике, освежала, «перетряхивала», а зачастую и создавала совершенно новый текст.

Несколько лет подряд в заводском клубе я читала доклад о Международном женском дне 8 марта. Это был фактически официальный доклад, сложность которого заключалась в том, чтобы каждый раз обновлять, разнообразить его содержание. Литературы приходилось читать уйму, выискивая зернышки нового, свежего, запоминающегося. Для меня бесспорно, что лектор должен обладать творческим воображением, уметь своим внутренним взором ярко представить себе события и героев, о которых он рассказывает слушателям. И когда я готовилась к докладу о 8 Марта, передо мной во весь рост, во всем своем обаянии вставали замечательные женские образы. То печальной струной звучала некрасовская «долюшка женская»; то, прекрасная и непобедимая, поднималась на защиту Родины женщина-патриотка, женщина-воин еще времен войны 1812 года; символом жизни, правды, борьбы за мир становилась для меня наша Зоя Космодемьянская; шли в бой за свободу и независимость корейские женщины; пламенно-страстным призывом горели слова Долорес Ибаррури...

## 5

Хочется еще сказать, может быть даже подискутировать, о том, как должен лектор передавать свои мысли аудитории — свободно ли, без всякого конспекта перед глазами, или отчасти пользуясь им, или же, не отрываясь от написанного, читать лист за листом подряд.

Последнее следует отвергнуть категорически; будь моя воля, я запретила бы это законодательным актом. Ведь даже если лекция интересна и содержательна, она наполовину проигрывает от такого метода передачи, не создает настоящего контакта

между лектором, спрятавшим глаза в бумагах, и аудиторией, ищущей его взгляда. Я стараюсь не пользоваться конспектом. Это не столь уж трудно. Все зависит от добросовестности лектора, степени его подготовки, такой, чтобы знать гораздо больше того, что будешь выкладывать. И когда видишь лектора, читающего написанное накануне, невольно думаешь: уважает ли он меня, слушателя, не казенное ли это, бездушное понимание благородных лекторских обязанностей?

На тему о том, как читать лекцию, не раз приходилось беседовать с товарищами по работе. Мне говорили: «Хорошо, если у лектора такая емкая память, что позволяет ему говорить без конспекта». Натренированная память — это, конечно, прекрасно, но не только в памяти дело. Если ты основательно поработал над лекцией, хорошо знаешь материал, тебе не обязательно держать в голове в определенной последовательности весь текст, достаточно только слегка, не прерывая контакта с аудиторией, следить за конспектом, иногда зачитывать из него нужные выдержки. С благодарностью вспоминаю лекторов горкома КПСС, работавших в те же годы на Алтае, — товарищей Крамаренко и Устиновщикова (Крамаренко читал лекции о международном положении, Устиновщиков — по философии). Слушать их лекции было удовольствием, так свободно, непринужденно они умели разговаривать со слушателями. Но зато какая большая тренировка мысли чувствовалась у них за этой непринужденностью!

В моей практике был случай, когда нашлись люди, которые метод чтения лекций без конспектов расценивали как непростительную вольность, отклонение от общих правил, щегольство и так далее в том же роде. Дошло до того, что мне категорически, в административном порядке, предложили читать лекции только по конспекту. Потребовалось немало времени, пока недоразумение уладилось. Если бы я вообще не писала текстов, это бы еще куда ни шло, но ведь по каждой теме приходится делать несколько разработок, гораздо больше того, чем это может пригодиться во время лекции. Вопрос лишь в формальном способе передачи материала.

О какой же радости творчества, о каком ответном горении в сердцах слушателей может идти речь, если то, что так живо в душе, ясно в мыслях, ты должен... прочесть по бумажке? О каком воспитательном значении лекций можно говорить, не имея возможности даже смотреть в глаза тем, кого воспитываешь?!

Как-то, помню, нужно было прочесть лекцию для молодежи в заводском клубе. Вхожу в большой, на полтысячи человек, зал. Все места заполнены. Но видно по всему, что ребята пришли сюда вовсе не потому, что их привлекла тема лекции. Собрались потому, что в клубе народ, музыка, а после лекции будут танцы.

В кресле первого ряда развалился парень. На вид ему лет шестнадцать, не больше, выражение лица подчеркнуто наплевательское — на всех и на всё. С пренебрежением посмотрел на меня, когда я появилась на сцене, и демонстративно защелкал семечками.

Передо мной было пятьсот человек, аудитория шумная, пестрая, неорганизованная, но видела я только этого паренька. В нем как бы сконцентрировалось то самое трудное, что нужно было преодолеть в этом многочисленном зале. Тема лекции — о Радищеве.

Я решила перестроиться на ходу, начать иначе, нежели задумала раньше, чтобы сразу заинтриговать паренька, согнать с его лица наглую ухмылку. Повела рассказ о дождливом сентябрьском вечере 1790 года, когда из ворот губернского правления в Петербурге, где только что окончилось судебное заседание, двое жандармов вывели осужденного. По лужам, по грязи они провели его к плохонькому возку, набросили на плечи рваный тулуп, и лошади тронулись. Осужденного увозили в Сибирь. (Щелканье семечек прекратилось.) Его везли быстро, нигде не задерживаясь. Мелькали станции, полустанки, в спешке меняли лошадей, и на вопросы любопытных, кого везут, следовал один ответ: «Государственного преступника». Сам осужденный мог бы дать другой ответ, гордый и непреклонный, вылившийся в страстные стихи ночной мглой, в тряской кибитке, под завывание ветра и толчки на ухабах:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?—  
Я тот же, что и был и буду весь мой век:  
Не скот, не дерево, не раб, но человек!

Кто же был этот человек, возбудивший такой страх у царского правительства, «опасный преступник», который, по словам Екатерины II, был страшнее Пугачева?.. (Паренек сел прямее, он внимательно слушал.)

Умышленно стараясь не повышать голоса, я рассказала о России XVIII века, о формировании взглядов и убеждений Радищева, о его оде «Вольность», о книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Говорила о глубокой вере Радищева в могучие силы народа и великое будущее России.

Время от времени я поглядывала на своего паренька. Он сидел, слегка подавшись вперед, приоткрыв рот, фуражка лежала у него на коленях — я и не заметила, когда он ее снял. Как никогда, я гордилась сейчас своей лекторской «должностью». Значит, можно же найти нечто такое, что привлекает внимание этого «отпетого» юноши, и он перестанет бравировать своим безразличием к тому, что зовется культурой, моралью. Значит, между Радищевым, жившим полтора столетия назад, и этим мальчишкой, которому нужно еще так много узнать, так многому учиться, можно протянуть живую связь и заронить в молодом сердце первую искорку, из которой потом вспыхнет неистребимая жажда знаний!

Не могу сказать, всем ли понравилась тогда моя лекция о Радищеве. Но, уходя из клуба, я уносила с собой удивленный и растерянный взгляд паренька.

Много лекций за несколько лет прочла я в этом клубе. Менялись мои слушатели — уходили старые, приходили новые, но прочное, постоянное ядро оставалось неизменным. Редко удавалось уйти домой сразу после лекции. Обычно ребята настойчиво приглашали к себе в общежитие, и о многом допоздна толковали мы в зимние и осенние вечера.

Стал моим постоянным слушателем, а потом и хорошим знакомым тот паренек, о котором я рассказала. Работал он на заводе слесарем, жил у матери, но в очень нездоровой обстановке. Мать — скандальная, шумная баба, отца он не знал, в доме постоянно были чужие, большей частью пьяные мужчины. В клуб он ходил часто, но все как-то держался в стороне. Сблизил нас один случай. Была назначена моя лекция о А. М. Горьком. В тот вечер я с трудом добралась до клуба. Ветер, непролазная грязь, того и гляди провалишься в какую-нибудь канаву или яму, вырытую строителями. Молодежный клуб находился во дворе общежития, поэтому непогода не помешала собраться всем.

Мне хотелось, чтобы Горький сразу же вошел в душу каждого слушателя. И я начала с передачи содержания рассказа «Вывод», рассказа о диком истязании женщины в одной из южнорусских деревень, узаконенном страшными традициями сельской жизни старой России. Я дополнила свой пересказ фактом, о котором в рассказе не было ни слова. В эту пьяную, гогочущую толпу на защиту исполосованной кнутом женщины бросился случайный прохожий, высокий, худой, в широкополой шляпе. Его зверски, до потери сознания, избили. Этот человек был Алексей Пешков, совершавший тогда свое знаменитое хождение по России.

Лекция затянулась, и когда я собиралась домой, кто-то вернувшийся со двора сообщил: «Дождь идет невозможный». Меня уговаривали переночевать в общежитии, но дома оставался ребенок, я не могла не уйти.

И вдруг в толпе появился тот самый паренек. Он протолкался ко мне и хрипло произнес:

— А чего, я там живу близко, вот и доведу, — и преувеличенно громко откашлялся.

Он оказался прекрасным провожатым, ловко ориентировался в темноте, обходил ямы и рытвины, не выпуская из своей цепкой шершавой руки мои пальцы. После этого вечера мы стали хорошими друзьями. Вскоре удалось добиться для него места в общежитии: уж очень плохо было ему дома. Уходя в армию, он пришел ко мне попрощаться и сказал грубоватым от смущения тоном: «Спасибо вам за все... И за лекции тоже...»

Воспитательную задачу я считаю основной в лекционной работе, поэтому стараюсь узнать заранее вкусы и запросы моих будущих слушателей.

Как-то меня пригласили прочесть лекцию о Горьком в одном из ремесленных училищ. Предупредили, что ребята «невозможные», дисциплина «ужасная», во время лекций хулиганят. Пришла и тотчас же убедилась: действительно, похоже, что так оно и есть, — беготня по лестницам и коридорам, пыль, взбиваемая ногами, в зале невероятный крик, шум, возня.

Необычным образом пришлось мне начать эту лекцию:

— Ребята, кто из вас слышал о колонии имени Горького, где воспитывались бывшие беспризорные? Читал кто-нибудь?

Шум постепенно затих, лица повернулись ко мне; те, что не расслышали вопроса, толкали в бок соседа: «Что она спрашивает?»

— Читал кто-нибудь из вас «Педагогическую поэму» Макаренко? А ну, поднимите руки, кто знает об этой колонии!

В зале стало совсем тихо, но рука не поднялась ни одна. Придав своему лицу и голосу величайшее удивление, я продолжала спрашивать:

— Неужели не слышали? Неужели не читали? Что же вы так отстааете! Просто удивительно.

Когда интерес был достаточно возбужден, я наконец спросила:

— Ну что ж, рассказать вам?

— Рассказать, рассказать, — откликнулся зал, с задних рядов стали поспешно подходить ближе, рассаживались прямо на пол под самой сценой.

Так началось вступление к лекции — сперва о замечательных горьковцах, об Антоне Семеновиче Макаренко, светлой души человеке, о перевоспитании колонистов Куряжа. Тепло посмеялись ребята над трогательно комичным, милым обликом Калины Ивановича, внимательно выслушали рассказ о переписке колонистов с Горьким и, наконец, о приезде к ним самого Горького.

Почва для лекции была основательно подготовлена, но о самом Горьком рассказывать было уже некогда — вступительная часть заняла полтора часа.

— Об Алексее Максимовиче, о его книгах придется, видно, нам поговорить в следующий раз, — объявила я.

— Завтра, обязательно завтра! — закричали со всех сторон.

— Хорошо, давайте завтра...

А на следующий день у дверей и на лестнице меня уже встречали ремесленники. Едва поздоровавшись, они помчались наверх, сообщая на бегу встречным:

— Пришла, пришла...

Еще до начала лекции посыпались вопросы, которые, видимо, заранее горячо обсуждались. Спрашивали, где теперь воспитанники Макаренко, жив ли он сам, написал ли что-нибудь Горький о колонистах.

Ничего удивительного в этом не было. Ведь я сделала только то, что мог сделать каждый, подойдя к этим «невозможным», «отъявленным», «отпетым» с простым и теплым человеческим словом. Уже на первой и особенно на второй лекции я увидела одухотворенные лица, живые, умные глаза и еще тогда подумала: неужели же такими никогда не видели своих питомцев воспитатели, не могут или не хотят по-настоящему заняться ими? А может быть, воспитатели в этом училище просто случайные люди?..

Бывала я и в других училищах, где чувствовалась совсем иная организация жизни воспитанников, иной была и дисциплина. Значит, дело тут не в ребятах. Я помню, как-то шла позади таких же подростков, только что поступивших в ФЗУ. Чисто вымытые, с бельем под мышкой, возвращались они из бани к себе в общежитие и с грустью говорили о том, что скучно им там, что в красном уголке нет ничего, кроме домино, и нечем заняться. Не от этой ли скуки начинает расцветать буйным цветом то плохое, что приносят с собой в училище некоторые из них?



Воспитание человека — чрезвычайно сложное дело, с разными, если можно так выразиться, слоями глубины.

Частенько в кино, театре я наблюдаю, как воспринимают фильм или пьесу сидящие рядом зрители. К горьким выводам приводят иногда такие наблюдения.

Помню, я смотрела «Неоконченную повесть» — фильм о больших человеческих чувствах. Смотрела я его дважды. Первый раз моими соседями оказались старая женщина и пожилой инвалид с костылями. На глазах женщины я видела слезы и в тяжелых и в радостных местах фильма. Она смеялась и плакала одновременно, глядя на деда Спирина, когда он трогательно угощает доктора. Зажегся свет, инвалид встал с места, крикнул и внушительно сказал: «Да, всегда были бы такие отношения между людьми, сколько бы горя в жизни поубавилось!..»

В другой раз рядом со мной сидели две девушки и юноша — судя по разговору, студенты. Половину сеанса они, не переставая, что-то жевали, громко переговаривались, отпускали свои замечания, довольно поверхностные, по поводу всего, что происходило на экране. На протяжении всего фильма по залу пробежал смех, как только на экране появлялся врач Аганин. Это был оправданный, презрительный смех, уничтожающий «героя» с его мелкой, эгоистичной душонкой. Но мои соседи разражались смехом совсем в иных местах. Они смеялись, когда плакал дед Спирин у постели Настеньки, смеялись, когда не спал всю ночь Юрий Сергеевич, придавленный тяжелым раздумьем. («Тот там ждет, а этот здесь... ха-ха-ха».)

Почему-то вызвали их смех слова Аганина: «Вы его любите... Любите этого получеловека», тогда как эти слова возмутили весь зал и вызвали чью-то громкую реплику, хоть и грубую, но вырвавшуюся из самой души: «Ах ты, сволочь такая... получеловека!»

Моим соседкам вообще импонировал Аганин (Е. Самойлов). «Какой интересный, правда?»

— Вам понравился фильм, девушки? — спросила я при выходе.

— Да, ничего, — протянула одна из них.

Больно и страшно становится, когда видишь обнаженную грубость души. Ведь им, этим девушкам, жить, строить, любить, растить детей. Как же воспринимают они жизнь, если тончайшие душевные проявления не вызывают у них ничего, кроме грубого и беспричинного смеха!

Что же воспитало их? Нездоровая обстановка в семье? Влияние пошлых людей? Танцплощадка? А где же были школа, комсомол, интересные лекции? Все оправдать молодостью, легким еще отношением к жизни никак нельзя. Я беседовала потом с молодежью, с группой студентов об этом фильме. Как глубоко был он понят и прочувствован многими, сколько затронул душевных струн!

Еще В. И. Ленин говорил об огромном воспитательном значении кино. Но одного, пусть даже широчайшего, показа кинокартин — мало, нужно еще помочь правильно понимать их. Проводятся ли у нас лекции — обсуждения кинофильмов, организуется ли предварительные пояснения перед началом сеанса, особенно в заводских районах, перед массами рабочей молодежи? Нет, к сожалению, это не практикуется. А ведь не все фильмы, в частности заграничные, идущие у нас, правильно воспринимаются каждым зрителем — некоторая часть молодежи выдергивает из этих фильмов именно то, что пойдет не на пользу им, а во вред.

Почему не было лекций о таких фильмах, как «Милый друг», «Пышка»? Не потому ли эти фильмы вызвали кое у кого циничное смакование, а не глубокое понимание всей отвратительной сущности буржуазного общества? Можем ли мы рассчитывать на то, что все наши люди начитанны и глубоко разбираются в литературе?

Серьезные вопросы. Над ними стоило бы задуматься. Мы растим строителей коммунизма, и каждый, даже незначительный, пробел в их воспитании — тяжкое наше преступление. Наши юноши и девушки должны быть не только честными, порядочными людьми, но также и людьми большой культуры и тонких движений души. Когда мы говорим о грубом, циничном человеке, к этим эпитетам стоило бы прибавить: и жалкий человек! Неведомы ему глубокие и сильные чувства, радость, доставленная

талантливой книгой, волнение души, вызванное музыкой, картиной. Со своими узкими, пошловатыми интересами серой тенью пройдет он по земле, мимо того большого, что дано человеку и создано им. Воспитывать в нашей молодежи настоящее понимание прекрасного, бороться с безвкусицей, с ложным представлением о красоте — это долг каждого из нас, взрослых. И прежде всего — долг лектора, беседчика, пропагандиста.

На Алтае я часто бывала в молодежных общежитиях. И если комнаты ребят поражали отсутствием какого бы то ни было стремления к уюту, то убранство комнат девушек отличалось безвкусицей. По стенам — бесчисленные веера открыток, изображающих целующихся голубков или пронзенные стрелой сердца, аляповатые бумажные розы, гитара, повязанная огромным алым бантом. Мягко, чтобы не обидеть, я стремилась объяснить, что истинная красота заключается совсем в другом. Девушки слушали внимательно, особенно не возражали, но мне казалось, что в глубине души они не могут согласиться с моими доводами, потому что эти мещанские украшения и есть, по их глубокому убеждению, одицоворение домашнего уюта.

Однажды ко мне в дом пришли две подружки из этого общежития. Стояла золотая осенняя пора — пора прозрачного воздуха, опадающих листьев, последней теплоты солнца. Несколько увядающих веточек, неповторимо окрашенных осенью, которые принес из рощи за рекой мой сыншшка, я воткнула в кувшин и поставила на стол. Девушки пришли под вечер. Я заметила, что они, разговаривая со мной, все время посматривали на стол. Так вот что привлекло их внимание! В мягком свете заходящего солнца увядающие листья приобрели особенную красоту. Багряные, зеленые, чуть тронутые желтизной, они светились и переливались множеством тончайших оттенков.

На другой день я зашла к этим девушкам перед началом лекции и... не увидела в их комнате привычных бумажных цветов. В банке стояли такие же веточки, как и у меня, но гораздо больше, пышнее и красивее. То ли сами они уронили на стол несколько своих листьев, или девушки разбросали их так изящно... Не знаю.

## 8

Много раз просили меня и в цехах завода и в молодежном общежитии прочесть лекцию о прошлом Рубцовска. Пришлось согласиться, хотя это требовало большой работы, тем более что нужных материалов достать было негде.

Удалось выяснить, что свое летосчисление Рубцовск ведет с 1888 года, когда на Алтай приехал Михаил Рубцов — крестьянин Самарской губернии. Измученных безземельем и голодом самарских крестьян привлекли просторные алтайские степи. Они и направили туда ходоком Рубцова, дельного, умного и надежного человека. Начальство разрешило ему обосноваться на берегу реки Алей, и на следующий год сюда приехала первая партия переселенцев.

Я собрала кое-какие сведения из истории Рубцовска, но все это были сухие факты, а мне хотелось насытить лекцию живыми событиями, рассказать о живых людях. Решила разыскать старожилов города. Мне повезло: шла подготовка к выборам в Верховный Совет, и на каждом избирательном участке можно было узнать фамилии старейших жителей Рубцовска и их адреса. Там познакомилась я с сыном Михаила Рубцова — Гаврилом Михайловичем, теперь уже слепым стариком, с Филиппом Петровичем Богатыревым, переселившимся на Алтай вскоре после Рубцова, со старыми партизанами гражданской войны Зиминим и Коршуновым.

Особенно много интересного рассказал мне Богатырев. Филиппу Петровичу давно уже перевалило за семьдесят лет. Был он высокий, богатырского сложения, но время погнуло могучие плечи, расслабило ноги. Покашливал, покряхтывал старик, но по-молодому светились на лице умные глаза. Несколько вечеров подряд провела я в его небольшом чистеньком домике, укрытом от ветров остроконечными снежными сугробами. Старик подшивал валенки, держа иглу в негнущихся пальцах, и медленно, обстоятельно рассказывал мне о давно прошедших годах.

Дремала на лежанке маленькая, сморщенная жена его, изредка сквозь зевоту вставляя свои замечания: «Да не летом это было, а осенью, в аккумулят мы картошку

копали», или: «Ох, господи, господи, отмучилась, сердечная» (разговор шел о Дуне — жене Михаила Рубцова, умершей после долгой и тяжелой болезни).

Рассказы всех этих людей я потом записывала дома, подолгу размышляла над записями, сравнивала с уже имеющимися сведениями. И постепенно в строгой последовательности вставало передо мной прошлое алтайского городка: упорный труд, жестокая борьба с суровой природой и кулачем, встретившим звериной ненавистью переселенцев; воля, упорство и настойчивость русского человека-труженика; народная борьба за Советскую власть, вылившаяся на Алтае в мощное партизанское движение.

Стоя на сцене в молодежном клубе, я как бы заново переживала все события, уже глубоко прочувствованные мной во время подготовки к лекции.

В заключение сообщила о желании Филиппа Петровича Богатырева побывать на заводе. Пойдем мы с ним завтра, но мне нужны помощники, поэтому и прошу задержаться в клубе по одному, по два человека от каждого цеха — разработать завтрашний «маршрут».

На следующее утро Филипп Петрович встретил меня слегка взволнованный, в вышитой рубаше, в высоких добротных валенках. Экскурсия по заводу прошла как нельзя лучше. Как только мы появлялись в каком-либо цехе, «прикрепленные» спешили к нам, почтительно приветствовали старика и старались все ему показать и рассказать.

Особенно поразили Филиппа Петровича чугунолитейный и кузнечный цехи, он даже насыпал себе в карман щепоть формовочной земли. Удивляло его, что так много молодежи работает на заводе, а девочки ловко справляются с мудренными станками. В сборочный цех мы попали уже к концу дня. Старика окружили со всех сторон. Он охотно беседовал с рабочими, польщенный таким вниманием, шутил, уснащая свою речь остроумными, к месту сказанными поговорками.

Только к вечеру Филипп Петрович, усталый, но переполненный новыми впечатлениями, вышел из ворот завода. Медленно шли мы с ним по поселку. Было на редкость тихо, падал мягкий снежок, ярко светились окна домов, горели на столбах фонари. Глубокая задумчивость была на лице старика. О чем он думал? О советской технике, которую видел сегодня, или, быть может, далеким, полузабытым видением предстало перед ним степное весеннее утро, когда он, брат его Михаил Рубцов и еще несколько односельчан выехали на тощих лошаденках пахать еще никем не тронутую землю?..

Окинув взглядом бескрайнюю целину, Филипп Петрович мечтательно произнес:

— Эх, побольше бы машин сюда!

И вот теперь колосится алтайская земля, ходят по полям ее тракторы, и тысячи новых машин рождаются здесь, на Алтае, в тех самых цехах, в которых успел побывать старик Богатырев, пионер и один из основателей нового города.

\*.\*.\*

...Десять лет моей жизни и работы на Алтае уже позади.

Но часто в воспоминаниях встает морозная снежная ночь. Из Западного поселка, выросшего за полотном железной дороги, возвращаюсь я домой после лекции в заводском общежитии. Группа юношей и девушек провожает меня. Мы пригибаемся от ветра, стегающего по нашим лицам колючим снегом, проваливаемся в сугробы. Морозный воздух перехватывает дыхание, но разговор не прекращается ни на минуту...

В душе поют полюбившиеся мне слова поэта Щипачева:

Пусть жизнь твоя не на виду,—  
Какое счастье жить и знать,  
Что не на ветер дни твои идут...  
Что не напрасно бьет дождями лето,  
Зимою вьюги обжигают лоб,  
Что есть в большой работе пятилесток  
Твоя работа, рук твоих тепло!



---

# Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ

★

## СЕРГО

**К**нига эта открывается письмом, которое в 1910 году из Решта, что в Северной Персии, было послано Ленину в Париж. Решт и Париж! Одного этого сопоставления достаточно, чтобы таким письмом начать историко-революционный роман об эпохе, наступившей после поражения революции 1905 года. Роман о подлинных революционерах, учениках Ленина, которые, где бы они ни находились, — Артем (Сергеев), например, оказался в то время в Австралии! — были по-прежнему исполнены революционной энергии и обрели у себя в душе неиссякаемый источник животворящих сил для продолжения борьбы.

Письмо подписано партийной кличкой «Серго» — именем, под которым все мы знаем и любим Г. К. Орджоникидзе. В этом письме мы сразу же видим перед собой работника, целиком поглощенного тем, что было тогда условием существования большевистской партии: укреплением связей с Лениным, получением литературы, добыванием денежных средств для партии. Тогда же Григорием Константиновичем написано несколько слов об известном повороте Плеханова в сторону борьбы с ликвидаторами, разлагающими партию. Эти слова свидетельствуют о партийной позиции автора письма — он хотя и «от души рад» повороту Плеханова к позиции Ленина, но в то же время насторожен. Несколько саркастических вопросов показывают, что прошлые грехи Плеханова перед партией Серго не забыл.

С волнением перелистываешь страницы книги. Это первый том «Статей и речей» Г. Орджоникидзе, подготовленный Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (Госполитиздат. М. 1956). На первых страницах — письма. В них — из Баку в Ростов — сообщается, что дела на Урале идут довольно удачно, и высказывается уверенность, что и «в Петербурге и Москве... также дело пойдет хорошо». Дело — это борьба за партию, борьба с ликвидаторами, дезорганизующими ее.

Листаем дальше, и снова перед нами как бы страницы романа...

Представитель Организационной комиссии, тот же неутомимый посланец партии Серго, деловито перечисляет города, которые он с поручением партии должен объехать и объезжает один за другим: здесь и Киев, и Екатеринослав, и Харьков, и Полтава, и Луганск, и Херсон, и Одесса, и Ростов-на-Дону, и Тифлис, и многие другие города России и Закавказья. Письмо написано, чтобы высказать недовольство отношением Организационной комиссии к делам своего представителя, — можно ли оставить без ответа три телеграммы, а также ряд писем? И в словах Серго слышен упрек: нельзя «гормозить великое дело создания всероссийского центра...».

Представьте себе Россию 1911 года, страну, в которой огромное количество народа еще не пробудилось к политической жизни, и вообразите себе этого молодого человека, который в цветущую пору своей юности самозабвенно (более точного слова не подберешь) отдает все свои силы поистине великому делу воссоздания единственной последовательно революционной партии, к которой он принадлежит! И если вы представите себе это, то, читая эту книгу, как бы услышите шелест страниц ненаписанного романа. Не словами, а поступками, неутомимыми разъездами из города в город, всегда рискованными розысками единомышленников, которых не знаешь в лицо, писанием пламенных прокламаций и зашифрованных писем создается этот роман. И все это

с постоянным ощущением опасности, которой грозит любой встреченный полицейский и дворник, шпик и провокатор.

Об этой жизни подпольщика рассказывают нам скупые строки отчетов о заседаниях Российской организационной комиссии в том же 1911 году, неутомимым работником которой был Серго. За сдержанными фразами о том, что «в Ростове-на-Дону дела организации сильно пошатнулись. Главной причиной этому — сильная боязнь провокации», мы угадываем целую трагедию, переживаемую большевиками-подпольщиками. А если учесть, что преследование революционера его исконными врагами — охранкой и жандармерией — дополнялось травлей и склокой со стороны всевозможных антиленинских течений, тогда еще присутствовавших в партии, то можно себе представить, каково приходилось Серго, раз он пишет: «Мне доставляет моральное мучение» то, что в результате подобного рода травли и склоки «один из наших товарищей очутился в тюрьме».

В 1912 году Серго арестовывают, и до самой революции 1917 года он пленен своими врагами.

Из биографии Серго, написанной З. Орджоникидзе, нам известно, что, будучи заточен в Шлиссельбургскую крепость и лишившись непосредственной связи с партией, Серго продолжал раздумывать над событиями текущей политической жизни. Когда началась первая мировая война, Серго самостоятельно и одновременно пришел к той же позиции, которую занял по отношению к этой войне Владимир Ильич Ленин. Это ли одно не свидетельство того, что в лице Г. К. Орджоникидзе мы имеем выдающегося деятеля большевистской партии.

С первых же дней революции Серго весь отдается революционной работе. Мы видим его на I съезде Советов Донской Советской республики. Из богатого хлебом Царицына он отправляет в пролетарский Баку десятки тысяч тонн хлеба.

Грозным летом 1918 года Серго в Екатеринодаре произносит замечательную речь на I Северокавказском съезде Советов, в которой он, как ученик Ленина, бросает ясный и пристальный взгляд на международную обстановку: «...капиталисты грызутся между собой, а мы должны воспользоваться этим, готовить свою рабочую и крестьянскую армию, зная, что от драки капиталистов война затягивается и до тех пор будет тянуться, пока рабочие не сбросят ее, а вместе с ней и виновников ее — хищников-капиталистов...»

Когда возник вопрос о заключении мира с немцами, Серго также стоял на ленинских позициях. «В силу международных отношений у нас есть возможность передышки... — говорит он. — Организуйте армию из рабочих и крестьян, которая будет защищать свои земли, свои заводы!» — так заканчивает он свою речь.

События приобретают все более грозный характер. Перевернем несколько страниц книги, и мы увидим, как Серго в эти же июльские дни 1918 года, из Екатеринодара приехав во Владикавказ, на заседании Терского народного Совета дает отпор наглым домогательствам грузинско-меньшевистского правительства. Оставаясь во Владикавказе, он сообщает Ленину и Чичерину в Москву и Сталину в Царицын об отчаянном положении в Баку. Телеграфный стиль придает необыкновенную выразительность сообщениям, которые чрезвычайный комиссар Юга Орджоникидзе посылает руководителю Советского правительства Ленину. Эти сообщения рисуют нам сложную и яркую картину политического положения на Кавказе. Такова, например, телеграмма от 12 октября 1918 года.

В этот же день, 12 октября 1918 года, в местечке Назрань под открытым небом, на полянке перед зданием Советов, происходит съезд ингушского трудового народа. Мы словно слышим чеканную речь Серго.

Представители ингушского народа отвечают бурными аплодисментами на призыв Серго мирно и спокойно продолжать работу съезда. Но вот с волнением читаем мы в газетном отчете о том, что «вдали слышна музыка бывшего Ингушского полка и дикие крики». Эти крики исходят от той части солдат-ингушей, которых провокационно натравливают на большевиков и, в частности, на Серго.

«Мы спрашиваем вас: почему не удовлетворяют наши справедливые требования?» — заносчиво обращается представитель полка к сидящему на лошади Серго. «Мы приеха-

ли сюда без всякой охраны, — отвечает Серго. — Здесь, когда мы говорили на съезде, вы устроили музыку и пляску. Вы стреляли, не жалея патронов. Знайте, я не боялся и тогда, когда в кандалах шел на каторгу. В вашем поведении я усматриваю неуважение к съезду, к личностям своих отцов... У нас нет тайн от народа. Пусть народ знает, кто прав. Для того только вы оторвались от своих работ... чтобы устроить эту дикую пляску? ...Я еще раз заявляю вам, что мы ваши требования исполним постольку, поскольку вы представители трудового народа, но как войско Николая II вы ничего не получите от нас».

Газетный отчет комментирует: «Сильный шум. Отдельные голоса: «Мы возьмем силой!» Товарищ Орджоникидзе слезает с лошади. В общем смятении всадников бывшего Ингушского полка он стоит с иронической усмешкой. Несутся угрожающие крики». Из газетной летописи мы узнаем и о дальнейшем бурном ходе событий, о том, как член ингушской фракции Терского Совета Альдиев пытается успокоить всадников и как представитель бунтующего полка выступает вновь, и в речи его угрозы переплетаются с оправданиями. И тут снова раздается голос Серго: «Я приехал сюда не для того, чтобы слушать ваши нахальные заявления, а на съезд ингушского народа...»

Неизвестно, чем бы кончились все эти драматические события, но тут, как сообщает газетный отчет, «участники съезда, только что узнавшие о действиях толпы, прибегают и, грозя расправой за оскорбление Орджоникидзе — гостя и представителя власти, предлагают немедленно разойтись. Полк быстро исчезает».

Скромный летописец этих замечательных событий, журналист, составлявший газетный отчет, отметил самое характерное в поведении чрезвычайного комиссара. Серго, сам кавказец, конечно, был уверен, что, как ни обозлены были ингуши-солдаты, они не тронут его — он гость. И все же какое самообладание, какая принципиальность и уверенность в каждом своем действии!

Спустя два года Серго опять прибыл на съезд ингушского трудового народа. Достаточно было ему появиться и сказать несколько бесстрашных слов упрека, как «съезд арестовал тотчас же и привел к автомобилю т. Орджоникидзе бывшего царского пристава...» — снова в бесстрастно спокойном стиле сообщает газетный отчет.

Подытоживая первый год гражданской войны на Северном Кавказе, Серго сообщает Ленину: «Надо указать, что в момент бомбардирования Екатеринодара там происходил съезд Советов. Съезд то продолжал под гром пушек свою работу, то сам всем своим составом становился в ряды борющихся».

Так в огне и громе рождалась Советская власть!

«Есть упоение в бою...» Но упивающийся грозovým воздухом революции, не знающий страха чрезвычайный комиссар всегда сохраняет ясность мысли, трезвость и принципиальность ученика Маркса и Ленина. О каком бы горском народе ни говорил Серго, он всегда исходит из исторических и экономических особенностей его положения и, определяя тактику партии в отношении того или иного народа, неизменно руководствуется классовым, марксистским подходом к проблеме. Объективно рассматривая причины, которые толкают казачество как привилегированную часть населения в сторону контрреволюции, он неизменно подчеркивает наличие классовой дифференциации среди казачества, поддерживает и одобряет героические выступления казачьей бедноты на поддержку Советской власти и говорит о том, что недопустимо «отождествлять всякое движение против казаков с революционным движением, руководители такого движения часто сами являются контрреволюционерами».

Писать о событиях гражданской войны на Северном Кавказе, не зная произведений Орджоникидзе, просто невозможно. Однако следует указать, что примечания, сопровождающие текст, даются неполно, и это затрудняет порой понимание терминов, употребляемых в статьях и письмах Серго. Так, например, дав правильное истолкование слову «корменисты», редакция первого тома не сделала этого же по отношению к такому термину, как «шариатская колонна». А ведь то, что шариатские войска, которые сторонники ислама создавали для своих целей, были использованы большевистской партией для борьбы за революцию и что в эти войска шли революционно настроенные русские солдаты, крестьяне и даже казаки, свидетельствует о политической гибкости большевистской тактики.

«Мы не являемся властью ни чеченцев, ни ингушей, ни русских или грузин: мы власть труда и бедноты без различия веры и национальности», — говорит Серго на V съезде трудовых народов Терской республики. И глубоко интернациональное чувство, пронизывающее эти слова, освещает всю деятельность Серго на Кавказе.

«Мы с гордостью можем констатировать, что весь мусульманский мир, весь Восток обращается не к Англии, не к Франции, а к Советской России, в Москву», — говорит он на этом же съезде, и громом аплодисментов отвечает ему весь съезд. Эту свою мысль он повторяет на II съезде Коммунистической партии Азербайджана в применении к этой, тогда еще только создающейся Советской республике. «Азербайджан — это наш аванпост на Востоке. По тому, как мы будем строить здесь Советскую власть, по тому, как будет относиться к Советской власти азербайджанское крестьянство, будет судить о Советской власти, о Коммунистической партии, о III Интернационале весь ближневосточный мусульманский мир».

Серго всегда полон благородной уверенности в том, что угнетенные народы Кавказа стоят за революцию и за Советскую власть. Даже в самое страшное время, когда в начале 1919 года положение наших войск резко изменилось к худшему, Серго в своей знаменитой телеграмме, оповещая Ленина: «...будьте уверены, что мы все погибнем в неравном бою, но честь своей партии не опозорим бегством», — не забывает добавить: «Симпатии горских народов на нашей стороне». И какое ликование слышится в другой телеграмме Ленину, от 2 апреля 1920 года, где сообщается об освобождении Северного Кавказа от белых и о том, что «Осетины, ингуши, кабардинцы, дагестанцы, балкарцы проникнуты полным сознанием могущественности Советской власти и безграничным доверием к ней... Население жаждет прибытия представителей центральной Советской власти, требуя распоряжений и инструкций от центра и только центра».

Всякому, кто ознакомится с трудами Орджоникидзе, станет ясно, что в этом триумфе Советской власти и разгроме белых — большая доля личного участия Серго. Сам он, скромный, как подлинный большевик, никогда и слова не говорит о своих заслугах — о них свидетельствует лишь та светлая радость, которая слышится в таких его словах, сказанных на торжественном заседании Бакинского Совета по поводу установления Советской власти в Армении: «Большого торжества мы не могли ждать. Всякий народ, который собирается высвободиться из-под векового гнета, отныне поднимает знамя Советской власти, потому что наше знамя — это знамя угнетенных». «Более счастливого зала, чем этот зал, едва ли можно найти где-либо», — восклицает Серго в начале своей речи.

Есть один мотив, который неизменно улавливает чуткое ухо Серго и на который неизменно откликается его благородное сердце. Это мотив интернациональной дружбы трудящихся. Он приветствует выступление председателя Сознаркома Азербайджана и видного азербайджанского писателя Наримана Нариманова, когда тот на этом же заседании Бакинского Совета выступает с великодушным отказом от спорных территорий в пользу Советской Армении. И какая гордость слышна в его словах, когда он сообщает, что во время переговоров закавказских республик с Турцией азербайджанские товарищи пренебрегли проiscaми турецкой дипломатии и потребовали от турок «определенных доказательств хорошего отношения к армянам и это являлось основным условием».

Где партия, «там нет места для национальной розни, там рабочие чувствуют себя родными братьями», — говорит он на съезде железнодорожников Закавказья. И, обращаясь к общекавказскому съезду коммунистической молодежи, он с отвращением напоминает о «проклятом трехлетии взаимной национальной вражды и травли» и приветствует молодежь рабоче-крестьянского Кавказа за то, что она, проникнутая чувством безграничной любви и преданности друг другу, собирается на своем съезде.

Можно было бы привести еще ряд подобного рода речей. Интернационализм Орджоникидзе не носит беспочвенно сентиментального характера, он зиждется на глубоком понимании реальных интересов трудящихся. Серго доказывает, что азербайджанские и армянские крестьяне накрепко связаны экономическими интересами совместного пользования пастбищами и водой и что их отношения братства и дружбы диктуются соображениями экономическими. Он не устает напоминать о том, что, только

объединив свои силы и только при могучей помощи Советской России, можно осуществить освоение Мугани, куда в то время пришли первые тракторы. «Нигде в России нет того, чтобы в одном месте сконцентрировано было полтораста тракторов».

Под его руководством соединяется всеедино железнодорожное хозяйство в Закавказье. С помощью Советской России построена первая электростанция в Закавказье — Земо-Авчальская, создаются первые текстильные фабрики и до невиданных размеров расширяется добыча и разработка бакинской нефти.

Встречая сопротивление со стороны всевозможного рода национал-шовинистов, Серго умело докапывается до классовых корней национализма, обнаруживая прекрасное знание национальных особенностей каждого из народов, проживающих в Закавказье, и прекрасно разбираясь во взаимоотношениях эксплуататорских классов. Прочтите данный Серго анализ отношений грузинского дворянства и армянской буржуазии, который ему нужен для того, чтобы разоблачить антинародные корни грузинского и армянского национализма, для того, чтобы доказать, что «на клочке земли, именуемой Закавказьем, поселены народы, интересы которых настолько переплетены между собой, что нет в мире силы, которая могла бы заставить эти интересы разъединить». Это Серго говорит уже в 1925 году, как бы подытоживая всю свою многолетнюю деятельность в Закавказье.

И, конечно, то, что сделано Г. К. Орджоникидзе для воспитания дружбы и братства между народами Закавказья и укрепления неразрывных связей с Россией, на века остается неизбежным памятником его деятельности.

Если в начале книги по материалам, отражающим эпоху гражданской войны, перед нами предстает Серго — чрезвычайный комиссар, Серго — посланец Советской власти, сплавивший разноязыкие народы Кавказа на борьбу против врагов Советской власти, то далее, от одного его доклада к другому, перед нами во весь рост встает большой партийный работник, ученик Ленина, в сложнейших и своеобразнейших условиях Закавказья осуществляющий заветы своего учителя, проводящий в жизнь принципы Советской власти.

Возрождение хлопководства и шелководства в Грузии, добыча марганца и меди, развитие нефтяного хозяйства в Азербайджане, проведение хлопкооросительных каналов в Армении — всем этим занимается Серго, и, наконец, помня о заветах Ленина, он снова и снова ставит задачу электрификации.

Впрочем, о заветах Ленина Г. К. Орджоникидзе не забывает ни на минуту. К Ленину обращено первое письмо, опубликованное в этой книге, ему он сообщает о ходе революционных событий на Кавказе, о сложных перипетиях национальных взаимоотношений. «Ничего так сильно не боялся Ленин, как того, что его ученики могут наделать ошибок в области крестьянского вопроса...» — напоминает Серго уже после смерти Владимира Ильича и, как верный ученик его, буквально каждое второе слово посвящает положению в деревне. Он подчеркивает важнейшую задачу помощи объединяющемуся в кооперацию сельскому хозяйству и в то же время предостерегает от перегибов при занесении в списки кулаков тех категорий крестьян, которые не могут расцениваться как кулачество.

Давая общее направление всему советскому строительству в Закавказье, неустанно полемизируя с иностранными врагами Советской власти и оппозиционерами, все сильнее поднимающими голос внутри партии, активно вмешиваясь в ход социалистического строительства и крепко поправляя там, где в построение здания социализма вносятся искажения, Серго восхищается и любит этим величественным зданием, и цифры статистических сводок буквально поют в его устах.

Иногда он приметит какую-нибудь характерную для нашего невиданно нового строя особенность и любозно показывает ее всему миру:

«Что касается рабочих поселков, то это действительно что-то сказочное. Шесть месяцев тому назад, 1 мая, был заложен фундамент рабочего поселка у горы Стеньки Разина, а сейчас там... построено 380 домов, имеется великолепный Кировский проспект, покрытый бетоном, с тротуарами по обеим сторонам. Там строятся



театр, клуб... Вся эта работа делается бакинским пролетариатом во главе с нашей партией».

Конечно, сейчас такие рабочие городки, одним из которых восхищался Серго, у нас на территории Советского Союза исчисляются тысячами. Но тогда, в 1925 году, это был один из первых поселков.

Так же как во времена подполья, в годы гражданской войны, для большевика Г. К. Орджоникидзе и в годы строительства нет ничего важнее партии, которой он отдал все свои могучие силы, всю свою жизнь. И чем сильнее делаются наскоки внутренних врагов партии, и в особенности троцкистов, на линию ЦК ВКП(б), тем более сокрушительный отпор дает им Серго. Его высказывания по вопросам жизни и деятельности партии не мешает напомнить, и особенно молодежи, которая с живым интересом вглядывается в прошлое нашей партии, чтобы усвоить ее бессмертный опыт.

«Все эти широкие разговоры относительно демократии, как ее понимали в то время (то есть во время внутрипартийной дискуссии 1923 года.—Ю. Л.), вопросы об аппарате и аппаратчиках — все эти разговоры были направлены к тому, чтобы нашу партию из партии стройной, сильной, централизованной, с колоссально сильным аппаратом, без которого наша партия не может жить, демократизм большевистский, а не расхлябанный меньшевистский демократизм, эту нашу организацию превратить в какую-то бесформенную массу».

К подобному поистине классическому определению структуры большевистской партии, пожалуй, ничего не добавишь. Такой нашу партию в огне классовой борьбы создал Владимир Ильич Ленин, такой она останется на весь исторический период своей деятельности, определяемый боевыми задачами сплочения народных масс под лозунгом борьбы за коммунизм и построения коммунистического общества. И тем неустойчивым элементам, которые, пользуясь сложной обстановкой сегодняшнего дня, пытаются, как это имеет место в некоторых странах народной демократии, подменить демократизм большевистский «расхлябанным меньшевистским демократизмом», не мешает вспомнить эти слова Серго Орджоникидзе, верного ученика Ленина.

Выступая за линию ЦК партии, Серго черпает свои аргументы из действительности. Для него успех ленинского призыва — массового вступления рабочих в партию, вызванного смертью Ленина, — является неоспоримым доказательством вздорности утверждения оппозиции о том, что «партия оторвалась от рабочего класса... что рабочие не доверяют партии, что рабочие в партию не идут».

Когда на страницах журнала «Большевик» появляется статья уклониста Богушевского, Серго проявляет острое большевистское чутье, и, делая политический отчет Закавказского краевого комитета РКП(б) IV съезду коммунистических организаций Закавказья 5 декабря 1925 года, он показывает антипартийный характер этого выступления. И спустя несколько месяцев, рассказывая на собрании партактива в Эривани об итогах апрельского Пленума ЦК партии, он начинает свой доклад с напоминания о том, что «Еще В. И. Ленин говорил, что главное воздействие на мировую революцию имеет и будет иметь наш хозяйственный рост».

Это утверждение верно и для нашего времени, оно обусловливает неизменную миролюбивую политику нашего правительства. Но особенно важно было оно для того времени, так как наголову разбивало бесплодную теорию перманентной революции, выдвигаемую троцкистами, которые, пессимистически оценивая перспективы нашего хозяйственного развития, целиком уповали на западноевропейскую революцию.

Ведя борьбу против дезорганизаторской деятельности оппозиции, требуя строжайшего соблюдения дисциплины, напоминая указания Владимира Ильича о том, что непоколебимое единство и железная дисциплина дали возможность нам преодолеть все трудности и совершить необыкновенно сложные маневры при крутых поворотах истории, Серго с фактами в руках показывает принципиальную несостоятельность оппозиции. Спор идет по всей линии хозяйственного строительства и экономики. Серго демонстрирует успехи социалистического сектора нашей экономики, побивает цифрами паникерские крики оппозиции. «Не паникерствовать, а мужественно преодолевать затруднения», — призывает он.

В этом же выступлении Серго против оппозиции мы найдем глубочайший марксистско-ленинский анализ положения хлебного рынка Советского Союза, анализ, который не только сводит на нет все высказывания оппозиции, но и дает истолкование теоретических корней ее ошибок.

Можно смело сказать, что, давая характеристику данному этапу истории советского общества, нельзя обойтись без этого высказывания Серго.

Замечательный теоретик-ленинец, борец за идейную линию партии, выдающийся советский деятель, Орджоникидзе жил в партии, как в большой семье; особенно это чувствуется, когда он говорит о главе этой великой семьи — о Владимире Ильиче Ленине. Серго был близким другом Ильича: прочтите очерк «Ильич в июльские дни» — какую глубокую любовь и уважение почувствуете вы в каждом слове!

Сожалея, что из-за своей болезни Владимир Ильич не принял участия в дискуссии 1923 года, Серго говорит: «У всех была маленькая надежда на то, авось да придет Ильич, авось да скажет что-нибудь», и какая скорбь — невольно — проступает в этих сдержанных словах!

Дружба сильнее смерти! Как о живых, говорит Серго о двадцати шести бакинских комиссарах, характеризуя каждого из вождей Бакинской коммуны. Степан Шаумян, Алеша Джапаридзе, Ваня Фиолетов, Мешади-бек...

На похоронах большевика Тер-Петросяна, партийного боевика, которого под легендарной кличкой Камо знало все Закавказье, выступил Серго. «Волнение мешает оратору, речь его прерывиста», — свидетельствует газетный отчет.

«Дорогой Камо! Встретился я с тобой 18 лет назад, — как с живым, говорит Серго со старшим своим товарищем, которого называет своим учителем. — Я был молод. Ты считал своим долгом разъяснить мне, как стать большевиком, как бороться за интересы пролетариата...» — и, произнеся еще несколько фраз, он умолкает, «волнение перехватывает голос оратора».

«Наша партия — это союз друзей, и если бы не было у нас дружеского отношения между собой, любви друг к другу, мы не сумели бы проделать Великую Октябрьскую революцию», — говорит Серго после смерти Фрунзе, коротко и ярко очерчивая замечательную фигуру выдающегося большевистского полководца, одного из замечательных деятелей ленинской плеяды. Такими были Свердлов и Дзержинский, Киров и Куйбышев — таким был и сам Серго.

И эти исторгнутые горем слова передают тот жаркий и чистый пламень, которым горела душа самого Серго, в них выразилось то чувство великой дружбы, которая, подобно цементу, должна скреплять воедино нашу партию.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ДНЕПРОВ

★ .

## ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ И ОБРАЗ ТИПИЧЕСКИЙ

*(О формах художественного обобщения)*

1

**В** среде буржуазных литераторов стало уже модой, чуть ли не хорошим тоном, приписывать социалистическому реализму тенденцию к идеализации и приукрашиванию жизни. Повторение на разные лады этого упрека составляет по существу всю аргументацию противников и критиков социалистического искусства. Они изображают социалистический реализм чем-то вроде неоклассицизма, сглаживающего противоречия жизни, стремящегося выдавать должное за сущее, желаемое за действительное.

«Стратегия», выработанная в буржуазном лагере, совершенно ясна: настолько извратить представление об искусстве социалистического реализма, чтобы читатель на Западе стал принимать реально-правдивые образы советского искусства за образы идеализированные; объявить социалистическое искусство жизненно недостоверным, чтобы ослабить этим его убеждающую силу.

К сожалению, и в нашей литературе имеются критики, которые смешивают положительные образы с идеальными, утверждающее искусство с идеализирующим. Эти критики относятся с опаской к полному художественному отражению величественной и суровой правды нашей жизни: им кажется, что многомиллионному советскому читателю идеализирующая диета необходима и полезна.

Вопрос о художественном значении идеализации получил не только теоретическую, но и злободневно практическую важность для современного искусства.

Ученый или критик, рассуждающий в духе просветительской эстетики, решит этот вопрос очень легко и просто: всегда существовало правильное искусство, которое обобщало посредством типизации, а идеализация во все времена была нарушением художественности и отклонением от правдивого жизненного искусства.

Сторонник материалистической диалектики не может согласиться с подобной антиисторической точкой зрения. На самом деле идеализация и типизация являются двумя главными и исторически самостоятельными формами художественного обобщения. На основе метода идеализации было в свое время создано искусство, поразительно гармоничное и обладающее громадной силой воздействия на жизнь, на характер и нравственность человека. Способы и приемы идеализации менялись в длительном процессе художественного развития, и в романтическом искусстве мы застаем идеализацию с другими видовыми определениями, чем в искусстве классическом. Лишь тогда, когда начинается эпоха реалистического искусства, типизация берет верх и последовательно вытесняет идеализацию из разных областей художественного содержания. Эту перемену фиксирует и закрепляет новый эстетический вкус; эстетический авторитет типического растет, а идеализация перестает нравиться и воспринимается как нечто противоречащее законам подлинного искусства, как отклонение от художественной правды и естественности.

Изучение этого перехода — дело интересное, сложное, не всегда свободное от ошибочных толкований.

Некоторые наши ученые стали незаконно употреблять понятие о реализме далеко за пределами его действительной применимости. Они старались представить смену всех великих эпох в искусстве как борьбу изначально существующих реализма и антиреализма.

Поступая так, ученые эти полагали, будто содействуют повышению авторитета и силы реалистического направления в искусстве. На самом же деле именно реализму принесла наибольший вред их чуждая марксистской диалектике точка зрения.

Теперь во многих книгах все лучшее в мировом искусстве приписывается реализму, но зато становится неясным, что же такое, собственно, реализм. Понятие реализма удерживает лишь свое философское содержание, но теряет эстетические признаки. Может ли идти речь о художественных определениях, если в рамки одного направления вмещают и первобытные пещерные изображения, и древнеиндийские фрески, и классическую греческую скульптуру, и Домье, и Репина?

Отвлеченность мысли о реализме мешает борьбе с декадентством, с буржуазными художественными влияниями, с явлениями искусства, искажающими, идеализирующими и схематизирующими картину жизни. Защитники подобных тенденций прикрываются именем реализма, как шапкой-невидимкой, используя антиисторическое отождествление реализма со всяким искусством вообще.

Подлинная защита реализма и борьба со всеми ложными нападками на искусство социалистического реализма будет тем успешнее, чем полнее мы восстановим историческую точку зрения, чем решительнее и энергичнее преодолеем догматизм.

Дело это не такое простое, как может показаться с первого взгляда. Некоторые догматические воззрения стали настолько привычными, настолько примелькались, что представляются чуть ли не самоочевидными эстетическими аксиомами.

К числу важных ошибок, укоренившихся и ставших незаметными, относится признание типизации единственным и универсальным способом обобщения, присущим всякому искусству.

Рассуждение, которое многие считают непоколебимым, выглядит примерно так: всякое искусство обобщает;

художественное обобщение есть типизация;

всякое искусство обобщает посредством создания типических образов.

Белинский был, несомненно, прав, утверждая, что искусство, заслуживающее этого имени, «идеализирует явления действительности, возводя их к общему значению».

Однако решительно неправильно считать возведение к типу единственным способом возведения явлений к их общему значению.

Так же неоспорима мысль Бальзака, обязывающего художника, «сливая воедино аналогичные факты, создавать общее изображение».

Но это не дает нам права утверждать, что типизация есть единственный метод сливать воедино аналогичные факты.

Существует и другой широчайшим образом использованный искусством способ обобщать посредством идеализации — возведением к образцу, возведением к красоте посредством очищения жизненного образа от всего, что не соответствует его идее, и путем добавления всего, что требуется для полного соответствия идеалу.

Разве продолжавшееся целыми столетиями обтачивание в народной фантазии мифологических образов, подобных Персею или Гераклу, не было обобщением посредством поэтической идеализации, не было созданием образа совершенного героя, высшим воплощением чаяний и желаний — великолепных возможностей человеческой силы, бесстрашия и удачи? Разве имеет хоть какое-нибудь научное содержание утверждение, что Персей является образом типическим?

Возвышенные жизненных явлений до совершенства и красоты заключает в себе важное обобщение, поскольку всякая красота заключает в себе предметное выражение того, что хочется и что нужно человеку.

Мы сравниваем всякую гармонично прекрасную женщину с Венерой Милосской — общее значение этого образа несомненно. Но столь же несомненно, что перед нами не типический, а идеальный образ, в котором изглажены влияния особых условий жизни, непременно входящих в содержание любого типического образа.

Сравнивая женщину строгой красоты с Венерой, мы не относим ее к типу, а как бы измеряем несовершенную гармонию

совершенной, находим степень приближения к образцу, к идеальной норме.

Типичский образ существенно связан с преобладанием познавательной функции, а идеальный — с преобладанием нормативной функции.

Недаром Софокл и Аристофан были вполне убеждены в том, что подлинно высокое трагическое искусство рисует людей не такими, каковы они есть, а такими, какими они должны быть.

Аристофан, который был не только великим поэтом, но и проницательнейшим критиком своего времени, противопоставил в «Лягушках» две эстетические позиции, выведя в комедии двух знаменитых трагиков древности — Еврипида и Эсхила.

Еврипид защищает свое искусство, указывая на его приближение к правде обычной современной жизни:

Заговорил я о простом, привычном и домашнем,

И дальше:

В поэзию науку ввел и здравый разум.

Именно это не нравится Аристофану: Он решительно становится на сторону Эсхила, художественную программу которого излагает с большой силой и сосредоточенным пафосом:

По заветам Гомера в трагедиях я сотворил величавых героев —

И Патроклов, и Тевкров с душой,

как у льва. Я до них хотел граждан возвысить,

Чтобы вровень с героями встали они, боевые слышавши трубы.

Но, свидетель мне Зевс, не выдумывал я Сфенебей или Федр-потаскушек

И не скажет никто, чтоб когда-нибудь я образ женщины создал влюбленной.

Возражая Эсхилу, Еврипид находит аргумент, который с необыкновенной ясностью формулирует главное различие двух художественных систем:

Или, скажешь, неправду и с жизнью вразрез рассказал я о Федре несчастной?

Соображение, которое показалось бы непреодолимо убедительным во времена реалистического искусства, нисколько не смущает Аристофана: он как раз и борется против права художника изображать все важные явления действительности, ограничивая содержание искусства героическим и прекрасным. Тем самым он защищает принцип классического искусства от угрожающих ему новых тенденций.

Устами Эсхила он говорит:

Зевс свидетель, всё — правда! Но должен скрывать эти подлые язвы художник,

Не описывать в драме, в театре толпе не показывать. Малых ребяток

Наставляет учитель добру и пути, а людей возмужавших — поэты.

О прекрасном должны мы всегда говорить.

Здесь с замечательной определенностью и твердостью указаны особые законы классического искусства. Что бы мы сказали о художнике эпохи господства реалистических вкусов, который провозгласил бы необходимость скрывать «подлые язвы» жизни, который захотел бы выбирать из действительности только прекрасные и героические образы? А в эпоху расцвета античности на основе этой эстетической программы было создано искусство огромной мощи и жизненности — самая идеализация была здесь еще, по верной мысли Дидро, правдивой идеализацией.

Классическое искусство не уклонялось от изображения самых мучительных противоречий действительности, оно бесстрашно шло навстречу самым глубоким конфликтам, оно столкнуло человека с таинственными «законами» бога и судьбы, изобразило борьбу новых отношений с тысячелетними традициями общины и рода. Но все эти проблемы брались только в сфере гражданской истории, в сфере общественно-нравственной, а вся область личных интересов и частной жизни была почти полностью исключена из трагических конфликтов.

В эту эпоху были очень сильны иллюзии, будто в общегражданской жизни можно полностью устранить влияние частных интересов, личного честолюбия и корысти. Подобными иллюзиями были захвачены не только художники, но и практические деятели. Трагическое искусство эпохи расцвета античности основано на ясном разделении сфер высокой и низменной действительности. Экономические отношения людей, обширная область материальных интересов, бешеная погоня за деньгами и ее разрушительное влияние на нравы — все эти важнейшие вопросы были почти целиком вытеснены из высокой поэзии.

Идеальные образы могли оказаться здесь правдивыми только потому, что искусство сознательно ограничивало себя и суживало поле своего зрения, сохраняя в нем лишь те высокие и поэтические момен-

ты действительности, которые подавались не фальшивой, а жизненно верной идеализации. Неполнота изображения жизни — предпосылка идеальных образов античного искусства.

Переход к общественному укладу, где корысть собственников господствует над гражданской жизнью, подрывает основу правдивой художественной идеализации. Новое отношение частной и общей жизни людей является одним из самых глубоких источников перемены в эстетических вкусах. Великой заслугой гигантов — писателей критического реализма было доказательство власти прозаических интересов не только над областью личных чувств и экономического быта, но и над религиозно освященными областями семьи, духовной, политической и общественно-национальной жизни. В той мере, в какой искусство это обнаруживало с очевидностью, не допускающей никаких сомнений, в этой мере разрушались иллюзии, касающиеся мотивов человеческой деятельности, и реалистические вкусы внедрялись и овладевали такими темами, жанрами, сферами художественного содержания, в которых раньше царили классицизм и романтизм.

## 2

Аристотель был до некоторой степени близок к изложенному выше взгляду Аристофана на пути художественного преобразования человеческих характеров: раз трагедия, полагал он, рисует лучших людей, значит она должна делать их прекраснее, благороднее и чище, чем они бывают в жизни. «Так как трагедия есть изображение людей лучших, — пишет он, — то должно подражать хорошим портретистам. Они именно, давая изображение какому-нибудь лицу и делая портреты похожими на оригинал, в то же время рисуют их лучше оригинала. Так и поэт, изображая сердитых, легкомысленных или имеющих другие подобные черты характера, должен представлять таких людей благородными».

Сохраняя сходство нарисованных образов с реальными людьми, художник обязан вместе с тем очищать характеры от таких реальных черт, которые противостоят благородному направлению их воли, — таков в действительности путь классического искусства Греции.

Не в меньшей степени выражает своеобразие классического искусства и требо-

вание Аристотеля, чтобы «характеры были подходящими». По его словам, женщине, например, не подходит быть грозной или мужественной.

Это определение Аристотеля следует понимать в духе античного, а не современного искусства.

Греческая скульптура избегала портретности, она свободно меняла, и управляла облик изображаемого лица в соответствии с его общим значением; идеальное значение она высказывала, опуская индивидуальные особенности внешности и непосредственно подчиняя черты лица и выражение основному смыслу выражаемого характера, устраняя какие бы то ни было несоответствия и противоречия. Если она изображала старого философа, она убирала черты усталости, дряблости, увядания — все то некрасивое, что свойственно этому печальному возрасту, все особенное, что свойственно данному индивиду, — она возвышала образ до выражения идеальной старости с ее идеальным содержанием: спокойной мудростью и уверенной духовной силой. Внутренней красоте должна здесь соответствовать и красота внешняя — гармонизированная внушительность старости, а присущие старости черты слабости и безобразия оставляются в стороне.

В отличие от идеального образа классического искусства типический образ искусства реалистического удерживает все богатство индивидуально особенного, всесторонне выражает влияние на личность особых условий — эпохи, социального положения, национальности, возраста, запечатленных случайностью обстоятельств и даже особого настроения. И все же это искусство мощно высказывает общий пафос, общее направление и необходимость данного характера.

Идеализирующее искусство по возможности устраняет противоречия особенного и общего в содержании личности, а искусство типизирующее, развивая эти противоречия, преодолевает их в высшем единстве типа.

Идеализирующее искусство выдвигает на передний план общее, по возможности стирая, смягчая, сокращая выражение особенного в изображении характера.

Типизирующее искусство достигает всеобщего содержания характера путем наибольшего развития, развертывания, вы-

явления его индивидуальных, социальных, исторических особенностей.

Перед нами разные способы обобщения, основанные на разном соотношении моментов всеобщего и особенного в структуре художественного образа.

Поставим рембрандтовские портреты стариков рядом с античными изображениями старости. Как далеко ушел Рембрандт от гармонизирующего образа! Набрякшие кисти со склеротическими, вздутыми сосудами, деформированными и негибкими суставами, с омертвевшей и покрытой пятнами кожей. Всюду черты умирания, всюду рубцы, оставленные временем и испытаниями, и горькое выражение накопившегося в трудной жизни страдания. Итог, не устраивший, а собравший в себе все прошлое, портрет-роман.

Но с какой потрясающей силой выражен (если выбрать только один пример из многих) в автопортрете 1669 года общий смысл, поэтически высокое содержание образа старости! Взгляд тусклый, но пронзительно-трезвый и живой — он ясно видит с помощью долгого опыта. Страсти отшумели, и на смену им пришли терпимость, соединенная с душевной твердостью, грусть, глубокое созерцание, доброе раздумье. И ко всему этому — выражение спокойного бесстрашия человека, испытывавшего тяжелые удары судьбы, перенесшего непереносимые потери и все же продолжающего жить.

Образ соткан из дисгармонии и насквозь пронизан многими противоречиями: общее проглядывает из особенного, внутренняя красота — из внешнего безобразия, цепкая жизнь — из умирающего тела, интерес к миру — из глубины старческой усталости.

### 3

Эстетическая наука давно отметила и стала изучать различие идеализации и типизации.

Дидро со свойственной ему глубиной мысли и чутьем подлинного художника ставит в своих сочинениях вопрос о формах художественного обобщения в античном и новом искусстве. Он резко отделяет идеальные правдивые образы, тайну которых знали греки, от образов «портретных», «индивидуальных». Идеальные воплощения, столь же прекрасные, сколько и истинные и несомненные, Дидро называет первобразами. По его мнению, путь созда-

ния прекрасного первообраза совершенно иной, чем создания образа индивидуализирующего, социально-типического, хотя и первый вырабатывается из жизненных наблюдений и фактов. «Через наблюдения, через длительный опыт, через сопоставление органов с естественными их функциями, — пишет Дидро о древних художниках, — пользуясь безошибочностью чувства, вкусом, инстинктом, через некое вдохновение, ниспосылаемое избранным гениям, быть может, благодаря присущему идолопоклоннику желанию поднять человека над условиями его существования и наделять его божественной природой, природой, чуждой тягот нашей жизни, брэнной, жалкой, мелочной и несчастной, — они стали постигать резкие изменения, грубейшие уродства, великие страдания». Так художники через бесчисленные опыты, «беспрерывно и с величайшей осмотрительностью стирая изменения и уродства природы, искаженные либо в источнике своем, либо вследствие неизбежных условий, удаляясь непрестанно от портрета, от неправильной линии», возвышались «до истинного, идеального образца красоты, до истинной линии».

Над этим же вопросом бьется Лессинг в своем «Лаокооне».

Античное изобразительное искусство, утверждает он, ставило узкие границы художественному содержанию: задача исчерпывалась изображением только прекрасных тел. «Греческий художник, — писал он, — не изображал ничего, кроме красоты; даже обычная красота, красота низшего порядка была для него лишь случайной темой, предметом упражнения и отдыха. В работах греческого художника должно было восхищать совершенство самого предмета» (разрядка моя. — В. Д.).

Последняя фраза указывает на важнейшее расхождение классического и критически-реалистического искусства. В классическом искусстве идеал воплощается в реально существующем совершенном явлении, он сливается с изображаемой действительностью. Напротив, реалистическая художественная критика жизни исследует современность в ее враждебной противоположности идеалу и вместе с тем с замечательной основательностью показывает, каким образом вырастает из самой действительности «тоска по идеалу».

Поэтому в античном искусстве в основе отбора явлений, достойных художественного изображения, лежит эстетическая оценка — отношение явлений к красоте и безобразию. «Кто захочет рисовать тебя, когда никто не хочет тебя видеть?» — сказал древний эпиграмматист о человеке омерзительной наружности. Лессинг ссылается на закон у финяи, запрещавший под страхом наказания подражать отвратительному. Все эти ограничения реалистического искусства умеет преодолеть: оно исходит при отборе материала для художественной обработки не из эстетической, а из познавательной оценки значения, жизненной важности и существенности тех или иных фактов действительности. Явления, необходимые для объяснения скрытого строения общественной жизни и понимания ее законов, должны быть подвергнуты художественному анализу независимо от того, прекрасны ли они или безобразны, привлекательны или отвратительны, поэтичны или прозаичны. Эстетика и поэтика критического реализма теснейшим образом связаны с решением трудной задачи: удержать прекрасное и поэтическое при господстве познавательных критериев выбора жизненного материала для искусства.

Особенно интересно для нас у Лессинга различение характеристики посредством олицетворения и посредством индивидуализации. В первом случае художник воплощает только «основной характер», устраняя все, что отклоняется от общего значения образа. Венера выражает стихию любви, и ей непозволительно иметь страсти, не соответствующие или непосредственно противоречащие главному ее характеру.

В образе же индивидуализирующем «Венера есть также любовь, но вместе с тем и богиня любви, имеющая, кроме этого своего основного характера, и свои собственные индивидуальные черты и, следовательно, способная поддаваться как отталкивающим, так и привлекательным страстям» (разрядка моя. — В. Д.).

С подлинным остроумием и глубокомыслием Лессинг нащупывает действительные особенности двух основных форм художественной характеристики. Однако у него отношение идеального и индивидуально-типического образа ошибочно рассматривается

лишь в связи со сравнительным анализом законов поэзии и живописи.

У Гегеля это основное различие получает историческое обоснование. Гегель объясняет господство идеальных образов в искусстве греков из особого положения личности, еще не выделившейся из коллективной жизни, не порвавшей еще пуповины, связывающей ее с общиной и родом, индивидуальности, получающей мотивы своей деятельности из общегосударственных или нравственных, а не узколичных целей. Отсюда же выводит Гегель и стремление греков оставаться в границах красоты, не зная «замкнутости субъективного внутреннего переживания в себе, разорванности, отсутствия опоры и вообще всего круга раздвоенный, которые влекут за собой как с чувственной, так и с духовной стороны некрасивое, безобразное, отвратительное. Классическое искусство не переступает чистой почвы подлинного идеала».

По превосходному выражению Гегеля, красота греков основана «на идеализации объективного образа». Однако, несмотря на цельность, последовательность и силу нарисованных античностью характеров, они, по мнению Гегеля, являются лишь абстрактными индивидуальностями: здесь личность изображается лишь постольку, поскольку она непосредственно является органом коллективности, определенного нравственного права. Поэтому «здесь не может полностью найти себе место многообразное изображение внутренних душевных переживаний и своеобразных характеров...»

Только у Шекспира развертывается все богатство и широта «самостоятельных характеров», развивается внутренняя жизнь индивидуальности и многообразие ее отношения к окружающему миру. Образы Шекспира, по меткому выражению Гегеля, — результат внутреннего углубления и уточнения человека.

Если в классическом искусстве образы являются «индивидуальным воплощением нравственных сил в живых лицах», то новое искусство основано на действиях лица, «являющегося однородным типом» и зависящего от силы внешних обстоятельств и условий.

Противопоставление идеальной и реальной поэзии играет весьма важную роль в эстетике Белинского. Исходя из этого противопоставления, Белинский рассматривает не только особые эпохи в искусстве, но и различия ее современных жанров. «Поэ-



ма,— пишет он,—рисует идеальную действительность и схватывает жизнь в ее высших моментах... Роман и повесть, напротив, изображают жизнь во всей ее прозаической действительности». В отличие от идеальной поэзии, ограничивающей круг художественного содержания только прекрасными и поэтическими объектами, реалистическая литература, по глубокой и важной мысли Белинского, в первые охватывает всю полноту действительности. Реалистическая литература берет «жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений... со всем холодом, со всею прозою и пошлостью».

Белинский неутомимо боролся против проникновения идеализации в современную литературу, он открыто признал неразрывную связь реалистического искусства с типизацией как формой художественного обобщения. Но он относил свое отрицание идеальных образов только к эпохе, которую называл новейшей, и не распространял его на предшествующие стадии художественного развития — Белинскому был свойственен подлинный историзм в определении эстетических законов.

## 4

Решающую важность для научного определения методов характеристики в классическом и реалистическом искусстве имеют мысли Энгельса, изложенные в письме к Лассалю по поводу «Франца фон Зикингена». Упрекнув Лассалю в чрезмерной абстрактности образа Зикингена, Энгельс добавляет: «Вы совершенно справедливо выступаете против господствующей ныне плохой индивидуализации, которая сводится к мелочному умничанию и составляет существенный признак выдыхающейся литературы эпигонов. Мне кажется, однако, что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает; и в этом отношении идейному содержанию драмы не повредило бы, по моему мнению, если бы отдельные характеры были несколько рзче разграничены и острее противопоставлены друг другу. Характеристика, как она давалась у древних авторов, в наше время уже недостаточна, и тут, по моему мнению, было бы не плохо, если бы Вы несколько больше учли значение Шекспира в истории развития драмы».

**Недостаточность** характеристики у дре-

них авторов Энгельс видит в том, что личность определяется лишь тем, что она делает, характеры не вполне разграничиваются, не получают развития хорошая индивидуализация, которой Лассалю следовало бы поучиться у Шекспира. Без индивидуализации, которую имеет в виду Энгельс, нет и не может быть художественно-типического характера — тем самым в противопоставлении древних и Шекспира получает решение вопрос об исторической эпохе, когда в искусстве укоренилась типизация как форма обобщения.

Мы лучше пойдем мысль Энгельса, если заглянем в трагедии Софокла, выразившего яснее всего — с чудесной красотой и благородным чувством меры — эпоху высшего расцвета классического искусства. Мы напрасно стали бы искать у Софокла типизации резко отличных между собой характеров, какую мы находим у Шекспира или Сервантеса. Характер Антигоны, несмотря на его простоту и естественность, является непосредственным воплощением героического идеала и показан лишь постольку, поскольку проявляется в подвиге. Мы так и не узнаем, какой у Антигоны личный характер, в чем индивидуальное своеобразие ее отношений с окружающими людьми.

Электра при других обстоятельствах и требованиях долга обнаруживает те же черты героизма: непоколебимую твердость, готовность умереть, деятельную решимость, верность себе, прямоту. Ее отношение к сестре, приспособившейся к злу, очень напоминает отношение Антигоны к Исмене — она так же, как Антигона, нетерпима к предательству по слабости, по трусости.

С первого взгляда может показаться, что поведение Электры во время убийства матери обнаруживает гораздо более мрачный и дикий характер, чем у Антигоны. Услышав крик гибнущей под ударами меча матери, Электра восклицает:

О, рази еще!

Дело здесь, однако, не в различии характеров, а в другой позиции Электры: Антигона совершает подвиг справедливой привязанности, а Электра — справедливой мести и ненависти. Лессинг совершенно прав, говоря: «Нравственное величие древних греков проявлялось настолько же в неизменной любви к своим друзьям, как и в непреклонной ненависти к врагам». Такая ненависть была принята в царство героической красоты,

Великолепный образ Деяниры в «Трахинянках» Софокла показывает нам существенно тот же склад героической души, то же героическое отношение к своим обязанностям. Правда, здесь иной «подходящий» характер — перед нами не девушка, а зрелая, полная величавого самообладания и властная женщина:

Ведь речь ведешь ты с женщиной не  
слабой, но знающей мужей.

Различие характеров имеет лишь второстепенное значение для смысла и хода трагических событий. Узнав об измене мужа, Деянира рассуждает совершенно в духе нравов и традиции:

Поистине была бы я безумной, вина  
супруга, впавшего в недуг...

Однако она пытается сопротивляться воле богов, пославших новую любовь-судьбу Гераклу. Софокл глубоко убежден в справедливости древней мудрости: дерзкое вторжение человеческих расчетов и поступков в область высших таинственных законов, скрыто управляющих ходом жизни, может принести только беду и гибель.

Так случается и на этот раз. Деянира хочет приворожить Геракла, а вместо этого губит любимого человека. Она все поняла, «когда уж нет возврата».

«Сраженная напастью», Деянира обнаруживает в беспредельной своей печали мужество и решимость подлинной героини:

...умру и я,  
Невыносимо жить с худой славой,  
Когда не знаешь за собою зла.

В этой последней фразе с очевидностью выражен дух классического искусства.

Антигона или Электра, выйдя замуж и прожив несколько лет на положении жены и хозяйки, могла бы говорить и действовать точно так же, как говорит и действует Деянира. Никакое личное своеобразие, или темперамент, или манера и форма поступков этому не препятствуют — эти особенности устраняются из области высокой поэзии. Личность неразличимо сливается с тем, что она делает, со своим общим пафосом и выступает как живое воплощение коллективной нравственности или тысячелетней «подземной» традиции.

В том же случае, если мы имеем дело не с идеальным образом, а с типом, общий пафос проявляется через особую индивидуальность с особой, формирующей характер

телесной организацией, темпераментом и страстями, с особыми условиями жизни, как бы отпечатавшимися в строении личного характера и форме поступков.

Сравнение трагических героев Софокла с образами классической скульптуры глубоко верно. Беломраморные лики героев-победителей по-разному представляют один и тот же образ — идеальный образ человека сильного и доблестного. Существенно сходство, а различие несущественно и почти не играет роли в эстетическом впечатлении. Идеал един, к нему как «первообразу» стремятся, тянутся и приближаются отдельные лики и прекрасные формы.

И в произведениях Софокла господствует, если употребить выражение Лессинга, «общий характер». До чего похожи друг на друга Антигона и Электра, и до чего непохожи трагические героини Шекспира — Джульетта и Дездемона! До чего похожи Аянт и Геракл, и до чего непохожи трагические герои Шекспира — Отелло и Макбет! Шекспир резко прорисовывает очерк индивидуальных характеров и создает противопоставлением характеров светотень не менее мощную, чем пластическая творящая светотень Рембрандта.

Когда дело идет о типичном характере, мы можем безошибочно предвидеть, как будет действовать этот особенный характер в совершенно разных жизненных ситуациях. Мы знаем, какие страсти соединились в характере Яго; мы знаем его злую силу, когда нужно разрушать и губить; мы знаем его бесплодие, когда нужно творить; мы знаем всеопределяющую страсть этого характера: зависть — ненависть; мы знаем форму его поступков и сразу же угадываем проявления этого типичного характера среди самых своеобразных и запутанных обстоятельств жизни. А вот относительно Эдипа мы уверены лишь в том, что он будет действовать разумно и хорошо, но не имеем понятия о том, как, в какой форме он будет поступать, нам не открыта своеобразная логика его поведения, присущая данному характеру реакция на условия жизни. Мы постоянно говорим: он ведет себя, как Отелло, как Дон-Кихот, как Гамлет, но нам не придет в голову сказать: он ведет себя, как Эдип или Антигона, ибо мы знаем лишь идеальное, а не особенное содержание этих характеров.

Ботаник, изучающий цветок в одной и той же природной среде и не подозревающий о видоизменениях формы, присущих

данному виду растений при перемене жизненной обстановки, не обратит внимания на значение окружающих условий и скорее всего даже не заметит, что здесь скрыта проблема, требующая решения. Напротив, исследователь, сопоставивший разные формы данного растения при разных условиях обитания, признает самым важным открытие законов изменчивости, вытекающих из особенной реакции данного организма на перемены в окружающей среде, определенные свойственной этому организму формы приспособления.

Сходным образом относятся между собой методы изучения человеческих характеров в классическом и реалистическом искусстве. Классическое искусство «измеряет человека» только одним — правда, необыкновенно важным — моментом: героическим выбором, героическим решением. Напротив, искусство реалистическое рассматривает человека по возможности во всех жизненных отношениях, испытывает его самыми разными обстоятельствами, устанавливает специфические ответы данной личности на всяческие условия. Благодаря этому характер развертывает такое многообразие свойств, о котором и не подозревала древность.

Через многообразие страстей, чувств, желаний, целей обнаруживается единство характера, его особая качественная определенность, устанавливаются страсть, идея или цель, господствующие над всеми прочими чертами и проявлениями личности.

Именно потому, что мы постигаем формулу изменчивости характера, улавливаем из творений художников, создавших всемирные типы, закон, связывающий формы поведения данной индивидуальности с разными социальными и историческими обстоятельствами, мы так легко узнаем среди обычного течения жизни специфические проявления данного типа. В «Дон-Кихоте» с энциклопедической обстоятельностью представлены все градации, все повороты, все стороны неповторимо индивидуального поведения рыцаря печального образа во всех возможных положениях. Обнаружив закономерность превращений этого удивительного характера, виды зависимости этих превращений от жизненных ситуаций, мы можем легко обобщить содержание данного типа за границы породивших его условий. Типические проявления характеров, подобных Дон-Ки-

хоту или Гамлету, мы каждодневно устанавливаем среди жизненных отношений, решительно чуждых тем, среди которых впервые возникли эти образы.

Идеальные характеры классического искусства лишены внутренней подвижности, они не соотнесены с изменчивостью жизненных условий и потому не могут функционировать среди современной жизни в качестве образов типических, не могут быть опорными пунктами при группировке жизненных наблюдений, при систематизации знаний о поведении людей разного склада. В отличие от идеальных характеров художественные типы — образы наиболее конкретные. Конкретное, по словам Маркса, потому и конкретно, что в нем соединяется множество определений. В типическом образе мы находим устойчиво повторяющиеся сочетания разнообразных индивидуальных свойств и страстей, устойчиво повторяющиеся соединения личных черт, зависящих от особенностей психофизической организации человека, с историческими характерами, складывающимися в процессе социальных отношений.

Полнота характеров, отмеченная Пушкиным у Шекспира, составляет один из важнейших признаков типического образа. Такие типы, как Анна Каренина или Григорий Мелехов, создают впечатление почти безграничного богатства характерных свойств.

Все сказанное приводит к ясному выводу: типизация требует высокой степени индивидуализации художественного образа, глубокой проникнутости искусства историзмом в анализе характеров. Эти требования осуществились только в искусстве эпохи Возрождения; только здесь типизация становится неотъемлемой частью художественного метода.

Однако и в эпоху Возрождения искусство, основанное на создании типических характеров, существует рядом с искусством, которому присущи особые способы обобщения. Недаром Маркс противопоставил суровый реализм Рембрандта идеализирующим изображениям Рафаэля.

Несомненно, что сами идеальные образы получили в это время черты переходной формы. Явления, художественно возведенные к идеалу прекрасного, как бы изнутри наливались плотью, радостью и жизненностью. Искусство, исполненное привязанности

к земному бытию, вместе с тем двигалось внутри идеализированной религиозной сферы. Для понимания этих противоречий нам особенно нужно иметь в виду слова Маркса, посвященные философии этой эпохи: «...философия сначала вырабатывается в пределах религиозной формы сознания и этим, с одной стороны, уничтожает религию как таковую, а с другой стороны, по своему положительному содержанию сама движется еще только в этой идеализированной, переведенной на язык мыслей религиозной сфере».

В течение столетий типизация и идеализация сосуществуют в искусстве; идеализация прочно удерживает целые большие области художественного содержания. Только во второй четверти XIX века методы типизации получают решительное преобладание.

Различные виды обобщения посредством идеализации и типизации важно не только для установления исторических художественных форм, но также для понимания системы искусств. Почти очевидно, что соотношение идеального и типического образа было в музыке XIX века совсем иным, чем в современной ей литературе, что соотношение это в лирическом стихотворении не таково, как в романе.

Особое теоретическое значение имеет для нас факт существования современного искусства, в котором принцип возведения к красоте, формулы правдивой идеализации остались преобладающим способом обобщения явлений жизни вплоть до настоящего времени. Это искусство — балет.

Благодаря особому положению среди других искусств, благодаря особой роли в человеческой жизни балет ограничил круг своего содержания явлениями пластически и нравственно прекрасными.

Некрасивое, буднично-прозаическое, пошлое и убого-низменное содержание, вторгшееся с непреодолимой силой в мир художественных образов вместе с образованием и развитием буржуазного общества, миновало искусство балета, мало затронув его. Злые феи в балете столь же прекрасны, как добрые, и узнать об их нравственном характере мы можем лишь по одежде черного цвета и оттенку дьявольского соблазна в движении и танце.

Балет стал привилегированным хранителем образа пластической красоты и пре-

лести (еще в XVIII веке прелесть определяли как красоту в движении) человека в то самое время, когда многочисленные и великие произведения искусства поставили в центре анализа жизни вопрос: до какой степени внутреннего и внешнего изуродования и извращения могут довести человеческую природу собственнические общественные отношения.

Балет изучал возможности красоты человека в гармонии со все более утонченно-гуманным душевным строем личности, а роман, стоявший на другом конце системы искусств, изучал возможности безобразия человека, растлеваемого расчетом и корыстью.

Именно поэтому балет не пережил той ломки и тех переворотов, которые были связаны с крушением форм классицизма в других искусствах. Он по праву называется классическим балетом. Все попытки сломать классическую форму балета оказались тщетными. Закон связи формы с содержанием еще раз подтвердил свою правоту: сохранив ограничение своего содержания кругом прекрасных объектов, сохранив нормативный характер образов, балет оказался единственным искусством, удержавшим существенные черты классического искусства идеальных образов.

Новые тенденции, стремления приблизиться к реальной жизни проявлялись внутри этой стойкой общей формы, — прогресс осуществлялся путем максимального развития потенций гибкости и богатства классической формы, развития ее способных к видоизменению сторон и оттенков, а не путем революции в законах формообразования, сопровождавшей переход от классицизма к романтизму или реализму.

В искусстве балета слабее и меньше, чем в любом другом искусстве, обнаруживалось индивидуально характерное, социально-типическое.

Но зато идеализация, ставшая фальшивой в таких художественных областях, как реалистическая живопись, драма или роман, смогла здесь не потерять своей жизненной правды.

Великолепное и вполне современное искусство Улановой заключает в себе «идеально правдивую линию», тайна которой уходит в глубь классической древности.

## 5

Очень легко найти примеры, непосредственно противоречащие историческому разграничению идеализации и типизации. В древнем искусстве — особенно комическом — мы найдем немало метких набросков для типических характеров, получивших полное развитие в художественных произведениях нового времени.

С другой стороны, момент идеализации вовсе не был исключен в творчестве величайших создателей социально-типических образов.

Жорж Санд в «Истории моей жизни» ссылается на сказанные ей слова Бальзака: «Пошлые существа интересуют меня больше, чем вас. Я их возвеличиваю, я идеализирую их в обратном направлении, в их безобразии или в их глупости. Я даю их уродствам ужасающие или смешные размеры. Но вы, вы не могли бы сделать этого. Идеализируйте в сторону милovidности и красоты, это дело женщины».

Мысль Бальзака абсолютно верна: идеализировать можно не только к прекрасному, но и к безобразному. Без учета этой возможности останется непонятной эстетика романтизма, основанная в значительной мере на контрастном противопоставлении двух видов идеализации. Романтический злодей создается по тем же художественным законам, как и благородный романтический герой.

Некоторые наши критики, нарушая диалектику, неправильно и отвлеченно отождествляют идеализацию с одним ее видом — приукрашиванием — и не замечают того, что идеализация бывает направлена не только в сторону хорошего, но и в сторону плохого.

Бывают исторические положения, когда художники реалистической правды готовы сознательно допустить — пусть в небольшой степени — идеализацию в сторону приукрашивания.

В предисловии 1919 года к сказкам об Италии Горький писал: «...Немного прикрасить человека — не велик грех; людям слишком часто и настойчиво говорят, что они плохи, почти совершенно забывая, что они, — при желании своем, — могут быть и лучше... Кроме огромных недостатков, в людях живут маленькие достоинства. И вот именно эти достоинства, выработанные человеком в себе самом очень медленно, с

великими страданиями, — эти достоинства необходимо — иногда — прикрасить, преувеличить, чтобы тем поднять их значение, расцветить красоту ростков добра, которые — будем верить! — со временем разрастутся пышно и ярко».

Очень интересно, что и в данном случае неуклонно проявляется изучаемый нами эстетический закон: сдвиг в сторону функции образа — быть нормой, быть захватывающим образом, включение цели — расцветить красоту ростков добра — влекут также и идеализацию как способ выразить идею автора.

Несомненно, исторические формы идеализации и типизации не осуществлялись в чистом виде. Нужно говорить лишь о преобладании и господстве идеализации в классическом искусстве, о преобладании и господстве типизации в искусстве реалистическом. Учет сложной переплетенности и пестроты явлений особенно обязателен, когда мы имеем дело с запутанной и богатой отношениями историей искусства. «Чистых» явлений ни в природе, ни в обществе нет и быть не может, — писал Ленин, — об этом учит именно диалектика Маркса, показывающая нам, что самое понятие чистоты есть некоторая узость, односторонность человеческого познания, не охватывающего предмет до конца во всей его сложности».

Исследователь должен отличать данное конкретное явление от всей суммы разнообразных явлений эпохи, поверхностное от коренного и существенного. «Эпоха потому и называется эпохой, — говорил Ленин, — что она обнимает сумму разнообразных явлений и войн, как типичных, так и нетипичных, как больших, так и малых, как свойственных передовым, так и свойственных отсталым странам».

Мы найдем кусочки нового в старом и кусочки старого в новом, но это не должно помешать установлению эпохи художественного развития. «Конечно, — писал Ленин, — в конкретной исторической обстановке переплетаются элементы прошлого и будущего. Смешиваются та и другая дорога. Наемный труд и его борьба против частной собственности есть и при самодержавии, он зарождается даже при крепостном праве. Но это несколько не мешает нам логически и исторически отделять крупные полосы развития».

Сама история искусства как бы производит обобщение, восстанавливая при-

определенных общественных условиях господство идеальных образов и обнажая тем самым корни и общие причины возникновения этой художественной формы. Восстановление эстетических прав идеализации неизменно связано с двумя основными фактами: 1) отбором для искусства предметно-прекрасных явлений и 2) особо выдающейся ролью нормативной функции художественного произведения.

Совершенно неоспоримо, что корнелевский Сид возникает как художественное обобщение на путях идеализации, несмотря на то, что в нем заметны черты и манеры современного дворянина. Корнель создал образцовый, нормативный характер, соединив «традиционные добродетели дворянина» с идеей служения абсолютистскому государству. Классицизм был серьезным искусством и решал важные идеологические задачи класса, еще пытавшегося в новых условиях отстаивать свое право на руководство нацией. Классицизм XVII века старался — и не без успеха — навязать складывающейся нации образ политически-деятельного дворянина как эстетический идеал, как предмет восхищения и подражания. Еще в XVIII веке такие люди, как Вольтер и Бомарше, старались проходить на дворян, а все французское просвещение, по справедливому замечанию Маркса, сохраняло аристократический тон.

Корнель, рассматривая в подлинно дворянском духе вопрос о трагическом герое, до некоторой степени отделяет нравственные достоинства личности от ее эстетических достоинств: злой человек может стать героем трагедии, если он обладает блеском, силой чувств, талантами, всем тем, что Гегель метко назвал «формальным величием души».

Искусство романтическое ближе к идеализации, чем к созданию социальных типов, если иметь в виду образы главных героев, а не, так сказать, периферно художественного произведения. Романтиков интересуют в первую очередь не типические, а исключительные личности; не люди среды, а одиночки-отщепенцы.

Как-то даже неловко читать в «Истории английской литературы», изданной нашей Академией наук, о том, что «и в художественной форме, как и в идейном замысле «Манфреда», романтическая «игра» воображения в конце концов все же (!) подчиняется логически ясному (?), типизирующему началу». Не меньше ошеломляет вывод

советского литературоведа, будто в образе Жана Вальжана (сосредоточившем в себе сентиментально-утопические, морально-утопические и социально-утопические тенденции романа) дан тип рабочего человека Франции.

В данном случае особенно очевидна бессмысленность и теоретическая неправильность отождествления всякого художественного обобщения с типичностью. Вышешенный романтизм образ гордого одиночки, порвавшего с обществом и замкнувшегося в себе, несомненно имел общее значение. Но суть в том, что это общее значение противопоставлено явлениям типическим, что романтическое искусство стремится нарисовать характер не предельно-массовый, а единственный в своем роде. Романтические герои, подобные Чайльд Гарольду, Демону или Манфреду, — это образы идеальные, образы-призывы, образы-программы, образы-рупоры.

Но разве не было «романтиков в жизни» (Белинский), разве нельзя передать в искусстве их типичность? — спрашивают люди, не желающие вдуматься в действительное содержание вопроса. Конечно, таких «романтиков в жизни» было немало, но не романтическая литература с ее идеализирующим принципом поэтизации и преувеличения, а литература реалистическая показала этих романтических героев в качестве жизненных типов; в последнем случае они называются не Чайльд Гарольдом, не Манфредом или Демоном, а Печориным и Жюльеном Сорелем, не Коринной, а госпожой Бовари.

Способы и приемы идеализации в романтическом искусстве иные, чем в искусстве классическом. Здесь конструирующим принципом идеализации является противоположность между свойствами среды и свойствами противопоставленного этой среде романтического героя.

В образе идеальной романтической личности среда отрицается: в противовес роевой жизни — одиночество, в противовес корысти — идеальные мотивы поведения, в противовес прозаичности — поэтическая напряженность, в противовес будничному равнодушию — неистовство страсти, в противовес покорности общественному мнению — романтическая строптивость и самостоятельность.

Напротив, типизирующее реалистическое обобщение рассматривает человека как

часть определенной среды, объясняет его процессом исторического воспитания, открывает закономерные формы связи между личным и социальным характером.

Романтическая форма изображения протестующей личности может быть прогрессивной до той поры, пока не появляется среда борцов против несправедливого строя. Теперь воля к борьбе укрепляется поддержкой революционной среды, высшая мораль — давлением общественного мнения, теперь идейная личность формируется во внутренней атмосфере революционной партии. Теперь можно говорить о типичном складе и характере русского революционера семидесятых годов и об отличающемся от него типе революционера-большевика.

Всякое искусство заключает в себе противоречивое единство познавательной и практической функции. Однако отношение моментов этого единства бывает различным. Место и значение познавательной функции оказывается величиной переменной в различных сменяющих друг друга художественных системах. Реализм отличается наибольшим развитием возможностей художественного познания жизни, а романтизм предоставляет гораздо меньше простора такому познанию, поскольку поиски, исследование реальных путей и условий для осуществления своих идеалов занимают романтиков меньше, чем утверждение идеалов. Несмотря на все различия, романтическое и классическое искусство сходны между собой в том отношении, что в них получает особое значение и развитие, выдвигается на передний план нормативная функция искусства.

В романтическом искусстве осуществляется также и другое условие идеализирующего обобщения: ограничение допустимой области художественного содержания, господство эстетических критериев при отборе материала для художественного изображения. В классическом искусстве основой ограничения является различие между прекрасным и безобразным, а в искусстве романтическом — различие между поэтическим и прозаическим. Романтическое искусство открывает двери безобразию и злу, но при том непременно условии, чтобы безобразное и злодейство были поэтическими. Живя среди мира буржуазной прозы и пошлости, романтический писатель стремится создать образ поэтической действительности. Только реализм

впервые включает всю полноту действительности в границы искусства — в этом состоит один из наиболее существенных признаков художественного реализма.

## 6

Даже в искусстве критического реализма путь идеализации не мог быть полностью устранен.

Дело в том, что писатели, анализировавшие буржуазное общество, вовсе не отказывались от изображения положительно-прекрасных явлений. Думать так — значит совершать тяжелую ошибку. Реалистические художники делали огромные усилия, чтобы нарисовать положительного героя.

Решить эту задачу только методом социальной типизации оказалось невозможным. Даже величайшим мастерам реалистического искусства приходилось наряду с положительными характерами, обрисованными в качестве жизненных типов, изображать методами идеализации добродетельных героев, брошенных в губительную сеть собственнических отношений.

У нас так много писали об идеализации и романтических преувеличениях, допускавшихся при создании положительных образов крупнейшими писателями критического реализма, что было бы делом бесполезным и излишним далее множить примеры. Упомянем лишь о том, что особенно значительное место среди идеализированных образов занимали невинно убитые девицы, как не без иронии называл их Бальзак, и вообще женщины, не в такой степени, как мужчины, запутавшиеся в грязно-практических буржуазных отношениях, не в такой степени поглощенные «делом» и действующие в узкой сфере быта и семьи. В предисловии ко второму изданию «Отца Горю» Бальзак, отвечая на упреки, перенумеровал всех добродетельных и грешных женщин из своих произведений и подвел итог: «Даже в нынешнем состоянии задуманной... картины жизни баланс выражается в тридцати восьми из шестидесяти в пользу добродетели».

Бальзак высказал очень важные мысли о тех особых трудностях, с которыми связано создание положительных образов среди буржуазной действительности.

Пороки интересны, а добродетели скучны, пороки многообразны, а добродетели однотонны. «Добродетель абсолютна, — писал Бальзак, — она едина

и неделима подобно Республике; порок же многообразен, многоцветен, неровен, причудлив». Эта точка зрения совершенно естественна в границах развитых капиталистических отношений: все социальные виды капиталистического человека, все лики специфически буржуазной деятельности — адвокаты, судьи, священники, кокетки, банкиры, журналисты и т. д. — неизменно и неизбежно оказываются характерами отрицательными. Но если мы перейдем в эпоху Возрождения, здесь точка зрения Бальзака окажется неверной: положительные образы у Шекспира не менее, а более яркие, разнообразны и увлекательно жизненны, чем его образы отрицательные. Яго однообразнее, чем Отелло, а характеры короля и Полония гораздо беднее гранями, чем характер Гамлета.

Положительные герои, по мнению Бальзака, не обладают теми сильными и неудержимыми страстями, которые необходимы для создания великих произведений: «Страсть — это крайность, это зло».

С большой пронизательностью Бальзак отмечает противоречия, которые заключает в себе личная добродетель среди общей безнравственности и лицемерия буржуазных отношений между людьми. Добродетель, но ради чего? Добродетель, но исходя из чего? «Если эта женщина-феникс верит в рай, то не будет ли она добродетельна из расчета?» — ядовито спрашивает Бальзак. Если женщина избегает соблазнительно-греховного наслаждения, чтобы не рисковать многолетним благодеянием, то «не похожа ли подобная добродетель на ростовщичество?».

А если добродетель совсем отделяет себя от страсти, желания и интереса, если она действует по кантовскому принципу: ты можешь потому, что ты должен, — она становится сухой и отвлеченно безжизненной. В этом случае художник «должен изобразить добродетель чистейшую, как золото в слитках, добродетель, клейменную чеканом ригоризма».

Здесь затрагивается подлинно глубокий вопрос: нравственность отдельного лица должна корениться в нравах общественной среды.

Писатели-реалисты объясняли человека из условий его жизни, из законов общественного строя. Поэтому биография стала генетической, раскрывая корни и происхождение характера.

Из отношений капитализма легко понять человека плохого, худшего. Но как найти здесь жизненное основание для положительного и благородного героя, как при изображении такого героя остаться верным социально-историческому пониманию, на котором покоился и реализм XIX века? Этот вопрос был разрешим вполне лишь для того, кто уяснил себе положение рабочего класса и его роль в борьбе против капиталистического порядка. Но как раз этот вопрос был менее всего ясен классикам реалистического романа.

Поэтому появляются богатые добряки Диккенса, которые перестают быть представителями определенной среды. Поэтому качества положительного образа получают основу в отвлеченной природе человека, противопоставленной социальным определениям буржуазного человека, в личном характере, в нравственной стойкости и порядочности — одним словом, в таких индивидуальных достоинствах, которые могут, не подвергаясь порче, выдерживать тлетворное влияние отношений собственников. Очень хорошо сказал об этом в своем романе «Дитте — дитя человеческое» Андерсен-Нексе: «Все их (людей.—В. Д.) дурные свойства легко объяснимы, если проследить до самой первопричины зло; откуда же брались добрые — установить не удалось, — очевидно, эти свойства заложены в них самую природою».

В обрисовке положительных образов, тесно связанных с понятиями художника о природе человека, неизбежно ослаблялись черты социальной типичности и выступали черты идеализированных характеров.

При всем этом было бы неправильно думать, будто идеально положительные образы составляют постороннюю и чужеродную примесь в художественной системе критического реализма. Нет, они скорее выступают в качестве момента художественного противоречия, присущего критическому реализму, — отрицать это могут только люди, которые не умеют понять, что единство формы и содержания в искусстве отнюдь не исключает некоторых противоречий внутри этого единства.

Реалисты открыли и доказали несомненными фактами страшный, но реальный закон буржуазной действительности: нравственные достоинства, самоуважение, всякое проявление подлинного чувства или наивного доверия к окружающим людям



являются здесь роковой слабостью, осуждающей героя на несчастье и гибель. В той свирепой борьбе, которая непрестанно ведется в обществе, где «каждый за себя», добродетель отнюдь не является защитным приспособлением. С подлинно научной добросозвестностью Бальзак показывает, что в жизненной схватке обязательно побеждает самый бесчеловечный, самый беззащитный и беспринципный.

Печальная судьба положительного героя оказывается еще одним ярким доказательством враждебности капитализма всякой красоте и человечности. Недаром трагедия красоты среди капиталистического зла стала одной из важных и повторяющихся тем реалистической литературы.

Таким образом, изображение архаического в действительности органически входит в структуру произведения, отрицающего действительность; оно не украшает буржуазную жизнь, но еще больше подчеркивает ее жестокость и безобразие.

Но есть и другая сторона вопроса, имеющая важное теоретическое значение. Стараясь — путем сопоставления отрицательных персонажей с положительными — провести различие между подлинной сущностью человека и извращенной формой ее проявления при капитализме, реалистические писатели не вступали в противоречие с жизненной правдой, а, наоборот, углублялись в эту правду. «Нелепо понимать эту, — писал Маркс, — чисто вещную связь как естественную, неотделимую от природы индивидуальности (в противоположность рефлексированному познанию и воле) и имманентную ей».

Поэтому писатель, ожививший личность человека с личностью собственника, принявший мотивы поведения капиталистического человека за выражение сущности человека вообще, совершал величайшую ошибку, хотя и мог привести бесчисленные факты подчинения людей и их психологии вещественной власти. Поэтому столь важны положительные образы, показывающие воочию, что власть расчуга «не имманентна» человеческой личности, что она является глубоким искажением человечности. Эти образы, несмотря на идеализацию и поэтизацию, помогли сделать общую картину жизни более верной и соответственной истине.

И в этом отношении положительные образы содействовали глубине и решительности отрицания и разоблаче-

ния буржуазной действительности, они были во внутренней связи с этим отрицанием.

Подлинно благородным и при этом жизненным героем в искусстве критического реализма может стать лишь борец против общественной несправедливости, воплощающий начала иной и лучшей жизни. И здесь положительно прекрасное сказывается в близости и родстве с «отрицательным» направлением художественной критики общества.

Положительный образ неизбежен в структуре содержания искусства критического реализма, если иметь в виду не отдельные произведения, а их совокупность.

Идеализация неизбежна в системе художественных средств критического реализма, если иметь в виду не провозглашение, а осуществление этой художественной системы.

Искусство социалистического реализма впервые может быть до конца реалистическим. Оно не нуждается больше в идеализации, чтобы изобразить положительного героя: оно впервые полностью включает положительно-прекрасные образы в область типических обобщений и распространяет обобщение посредством типизации на всю сферу художественного содержания.

В эпоху создания социалистического общества положительные герои становятся социально-типическими. Они формируются в тесной связи с жизнью и воздействием среды, с жизнью и борьбой массы рабочих и крестьян Советской страны. Они — со всей суммой своих черт — естественно объясняются из новых законов общества, где нет больше эксплуатации, где царствует не эгоизм собственников, а товарищеская связь и солидарность людей, совместно строящих коммунизм.

Всякая идеализация становится фальшивой и враждебной жизненным и эстетическим задачам искусства социалистического реализма. Люди, которые, не разобравшись или сознательно извращая дело, приписывают социалистическому реализму тенденцию к идеализирующему приукрашиванию действительности, говорят вопиющую неправду.

Всякое подлинное искусство в любой своей форме и в любое время не просто изображает действительность, но ставит вопрос об отношении существующей

щего к должному. Произведения, которые уклоняются от постановки этого великого вопроса, мы презрительно и справедливо называем натуралистическими.

Более того. Противоречие наличного и желаемого, действительности и идеала есть то специфическое жизненное противоречие, которое управляет областью эстетических явлений и определяет эстетические законы. В этом отношении особым образом суммируется историческое содержание каждой эпохи. Развитие этого противоречия в истории человечества, изменение его конкретно-исторических форм при различных общественных условиях и обстоятельствах классовой борьбы вызывает перемены в эстетических вкусах и принципах, обуславливает смену художественных направлений.

Вся история искусства и вся история науки об искусстве неуклонно приводят к этому выводу. Уже в магическом искусстве характер изображения находился в тесной зависимости от практической задачи — исполнения желаний. В народном сказочно-мифологическом искусстве то, что есть, взято в отношении к чаяниям людей, и характер этого отношения, жизненно-фантастическое решение этого вопроса самым глубоким образом определяет законы поэтического творчества на этой стадии художественного развития человечества.

Эстетика конца XVIII — начала XIX века неопровержимо доказала, что классическая форма греческого искусства покоилась на сближении и взаимопроникновении сущего и должного; идеал становится здесь нормой, по которой изображается действительность.

Изучение романтического искусства привело крупнейших представителей эстетической науки — от Гегеля до Белинского — к следующему общему результату: художественные законы романтического искусства могут быть поняты лишь в связи с тем, что романтизм выразил противоположность, разрыв между идеалами и действительностью. Романтики рассматривали эту противоположность, исходя из внутреннего мира субъекта, которого они признали носителем идеала и творцом «поэтической действительности».

Белинский считал основой и истоком всей эстетики критического реализма идею враждебного противоречия буржуазной действительности и гуманистического идеала. Но реализм — в отличие от романтиз-

ма — рассматривает это противоречие, исходя из действительности, а потому является критикой, «отрицанием во имя идеала».

Становится ли социалистический реализм самостоятельной исторической формой реалистического искусства, отражаются ли в его своеобразных художественных законах особые и новые соотношения между сущим и должным, между идеалом и действительностью? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы сразу стал очевидным ответ.

Превращение идеала в действительность, осуществление вековечных чаяний трудового человечества среди охватывающей целую эпоху гигантской борьбы, реализация коммунистического идеала усилиями, работой и опытом сотен миллионов людей — таково небывалое отношение действительности и идеала, которое становится почвой и формирующим началом эстетики социалистического реализма.

Проблема исторического обоснования художественных форм социалистического реализма очень важна, и мы надеемся к ней вернуться особо; сейчас мы касаемся этой проблемы только в связи с вопросом о несовместимости идеализации с жизненными и художественными принципами социалистического реализма.

Теперь, когда идеальная точка зрения — точка зрения интересов коммунизма — стала непосредственно практической точкой зрения, стала оперативной формулой каждодневных дел, теперь всякая идеализация может принести только вред.

Всем известны слова Ленина, требующие от коммуниста умения определить без тени «фальшивой идеализации» степень сознательности массы и силу влияния тех или иных предрассудков и пережитков старины.

Именно такой подход к явлениям жизни обязателен для революционера в эпоху великой переделки всех человеческих отношений. Этот ленинский подход к фактам действительности и лежит в основе эстетики социалистического реализма. Один из основных законов, специфически характеризующих социалистический реализм, состоит в художественной недопустимости идеализации.

Когда многие критики и редакторы под- сказывали Шолохову, хотели, требовали от

Шолохова благополучного конца — перехода Григория Мелехова от его мучительных шатаний и заблуждений к полному овладению правдой большевиков, — Шолохов не поддавался давлению, не отклонился в сторону идеализации образа и закончил роман нотой глубоко трагической. Он понимал, что метод нашего искусства не позволяет выравнять трудную и покрытую ухабами дорогу героя.

Это была победа социалистического реализма в столкновении с тенденциями к схематизации и упрощению жизни.

Но столь же несомненно, что уходят от социалистического реализма те писатели, которые не умеют видеть героизм и красоту в творческих усилиях рабочих и всех тружеников, создающих новый мир, не умеют видеть, что поэзия находится на нашей земле и шагает вместе с нашим народом. Ведь это чистейшая правда, что у нас среди многомиллионной массы трудовых людей обнаружилась поразительная способность к самопожертвованию, поразительная преданность высокой цели среди трудностей и лишений, поразительная неутомимость и упорство в борьбе и строительной работе. Приняв на свои плечи главную тяжесть создания нового строя жизни, советский народ совершил всемирно-исторический подвиг, — вспоминая об этом, человек и через тысячу лет снимет шапку.

В искусстве социалистического реализма по-новому складывается отношение познавательно-критической и нормативно-практической функций. По сравнению с эпохой критического реализма резко возрастает жизненное влияние художественно воссозданных положительных образов. Они получают небывалую организующе-призывную, действенно-заражающую силу, ибо в них отражены передовые люди, выразившие общее движение народа, ибо имеются или складываются условия, чтобы такими стали все. Картина движения отсталого колхоза к успеху и процветанию практически насущна для всех колхозов, ибо все они обладают объективными возможностями, чтобы достигнуть того же.

Отрицательные образы также получают новое оперативное жизненное значение. Художественное объяснение и оценка отрицательных явлений не только побуждают к размышлениям о законах и противоречиях действительности, но прямо зовут нас к немедленной борьбе за уничтожение этих яв-

лений; социалистические общественные отношения открывают широчайшие возможности для искоренения дурного в нашей жизни.

Ленин говорил о великом значении примера в эпоху социализма, о необходимости показывать и защищать ростки нового, созданного опытом, инициативой и творчеством массы.

Это ленинское внимание ко всякому — даже самому малому — продвижению вперед подлинно социалистических отношений является непрременной частью революционного мирозерцания, лежащего в основе эстетики социалистического реализма.

Но в социалистическом обществе идеализированный образ не обладает силой примера, о которой говорил Ленин, и не может оказывать действенного влияния на жизнь.

Поскольку критический реализм изображал мир народной жизни, противопоставленный миру буржуазной наживы, поскольку рисовал среду людей, ставших во враждебные отношения к официальному обществу или вступивших в борьбу с несправедливостью жизни, постольку ему удавалось создавать образы положительные и вместе с тем социально-типические. Именно русское искусство критического реализма, изучавшее жизненные характеры революционеров мысли и дела больше, чем любое другое национальное искусство XIX века, оказалось способным создать наиболее реалистические образы исторически типичных положительных героев. Однако, как мы видели, существовали глубокие причины, благодаря которым даже у величайших мастеров критического реализма рядом с подобными типическими образами стояли идеализированные фигуры. Даже у Толстого есть не только Пьер или Андрей Болконский, но и Платон Каратаев или Аким из «Власти тьмы».

В нашем искусстве показать, как должно быть, — это значит открыть из реального опыта путь к улучшению человека среди типичных обстоятельств действительности; для нас главный вопрос: каким образом человек стал лучше, каким образом преодолел внутренние и внешние препятствия, прорываясь вперед к высокой идейности, смелости и принципиальности; у нас художник, рисуя положительные образы, обязательно должен решать задачи, так сказать, технологии нравственного и идейного роста социалистического человека, не ограничиваясь

изображением результатов этого раз-  
вития. Всем известно, что должен делать  
и каким должен быть советский человек,  
вся проблема заключается в том, чтобы  
показать в действительном  
процессе жизни, как на самом  
деле становится человек таким,  
каким он должен быть.

В центр внимания нашего искусства ста-  
новится художественный анализ осуще-  
ствляющейся в действительности реали-  
зации идеала. Поэтому изображение по-  
ложительных характеров включает истори-  
ческое понимание и критику. Мало нарисо-  
вать прекрасную картинку с идеальным  
героем — ее никто не станет смотреть,  
мало знать, что подлинный положительный  
герой жизненно возможен, — в этом никто  
не сомневается. Теперь каждый хочет убе-  
диться в том, что такой герой есть, что  
он действительно существует, что в пове-  
дении такого человека найдены общезначи-  
мые решения жизненных вопросов, открыта  
общезначимая дорога и форма жизненной  
деятельности.

Вовсе не случайно, что многие поло-  
жительные образы, оказавшие особен-  
но длительное и глубокое влияние на це-  
лые поколения советских людей, были  
художественно портретны и  
появились в романах, в которых художе-  
ственный вымысел соединился с тем, что  
фактически случилось в действительности.  
Образы Чапаева у Фурманова и в незабы-  
ваемой кинокартине, Павла Корчагина у  
Островского, руководителя колонии у Ма-  
каренко, комсомольцев-краснодонцев у  
Фадеева, «настоящего» человека-летчика у  
Полевого прямо перенесены из жизни в  
искусство.

Эту склонность литературы социалисти-  
ческой эпохи художественно обобщать  
жизненную быль отмечает Б. Полевой в  
своем интересном очерке «30 000 ли по  
Китаю». «Удивительное это дело, — пишет  
Б. Полевой. — Литература существует ты-  
сячи лет, но лишь теперь, когда треть  
человечества живет уже свободно, герои  
нашего времени получили возможность  
входить в книгу, в кинофильм, на сцену  
театра прямо из жизни, под собственными  
именами и фамилиями. И авторам таких  
книг, как скульптору, подобравшему для  
осуществления своего замысла подходящий  
кусок прекрасного мрамора, остается лишь  
сколоть с него все лишнее, аморфное, за-  
темняющее образ, чтобы живой человек

стал литературным героем». Оказывается,  
в Китае получили широчайшую популяр-  
ность книги о реально существующих лю-  
дях — о простой и прекрасной жизни ди-  
ректора завода У Юнь-до, о девушке ге-  
роине Лю Ху-лунь, об истории батрака, а  
затем бойца Народно-освободительной ар-  
мии Гао Юй-бао. В Польше охотно чи-  
тается книга Игоря Неверли, рассказываю-  
щая о жизненно достоверной и героиче-  
ской борьбе партизана — русского врача  
Дергачева.

Конечно, произведения, где вымысел  
связан составом данного существую-  
щего в жизни явления, в такой же мере  
художественно обобщают, как и те  
произведения, где автор может «свободно»  
перекраивать и комбинировать жизненные  
случаи в соответствии с замыслом. Мы  
имеем здесь дело с углублением и закреп-  
лением жанрового различия, ко-  
торое уже наметилось в прошлом, но полу-  
чило особое значение в связи с потребно-  
стями развития литературы социалисти-  
ческого реализма. В живописи это жанровое  
различие установилось на несколько столе-  
тий раньше, когда неслыханное до того  
значение получил портрет, когда художни-  
ки научились вписывать в совершенно по-  
хожее изображение данного лица большое  
и глубокое историческое и типическое со-  
держание.

Работая над выяснением художественно-  
го характера Чапаева, Фурманов спраши-  
вал себя: «Дать ли Чапая действительно  
с мелочами, с грехами, со всей человече-  
ской требухой или, как обычно, дать фи-  
гуру фантастическую, то есть хотя и яркую,  
но во многом кастрированную? Склоняюсь  
больше к первому». Фурманов ясно видел  
классовую типичность всего душевного  
строения Чапаева, его обусловленность особой  
исторической стадией развития массы в  
революционной борьбе. «Чапаевы, — пишет  
Фурманов, — были только в те дни, в дру-  
гие дни Чапаевых не бывает и не может  
быть: его родила та масса, в тот момент  
и в том состоянии».

В Чапаеве воплотилось, так сказать,  
историческое детство человека социалисти-  
ческой эпохи. В нем живы детская наив-  
ность, свежесть и чистота, детское изумле-  
ние перед пробудившимися силами жизни,  
иногда даже детское восхищение самим  
собой и капризность, детская робость пе-  
ред необъятностью человеческой культуры

и грубоватая застенчивость по отношению к большевнику-интеллекту Клычкову.

И вместе с тем в Чапаеве — громадный размах бесстрашной энергии, присущей истинному вожаку революционной массы; глубокое доверие к внезапно открывшемуся будущему, в которое он и его товарищи прорубаются своими саблями; неугасимый огонь стремления к справедливой жизни, стремления, отразившего в себе чаяния людей, столетиями придавленных гнетом и страданиями. Эту красоту души подлинного социалиста, вышедшего из гущи народа, нам нисколько не мешают видеть черты крестьянской ограниченности в психологии Чапаева, его партизанские замашки, склонность к самоуправству и опрометчиво самоуверенным решениям и прочие слабости.

Целые поколения нашей молодежи мечтали быть такими, каким был Чапаев. Для них Чапаев — революционный боец, каким он должен быть.

Однако здесь функцию воплощения должного берет на себя образ социально-типический, жизненно достоверный, а не идеальный.

Здесь мы находим вечные черты человека будущего, но они заключены в живом облике, полном противоречий душевном складе, характерном для определенной исторической ступени революционной борьбы, для определенной стадии роста новых отношений.

Мы, люди, вошедшие в революцию подрастающими, не можем без волнения читать книгу Островского о Павле Корчагине. Она с такой замечательной ясностью воспроизводит атмосферу первых послеоктябрьских годов, она исполнена такой правдивой поэзией, что наверняка переживет многие книги, созданные более умелыми и опытными художниками. Тон и манера рассказа так органично сливаются с изображаемыми характерами, что создается подлинно художественное единство.

Везде мы узнаем до боли знакомое: именно так говорили, действовали, любили

и умирали сыны и дочери Октября — славные комсомольцы — в минуту напряженнейшей революционной борьбы. Только последний мешанин, представляющий себе людей по буржуазной мерке эгоизма и своекорыстия, может считать образ Павла Корчагина образом идеализированным. Мы видели много людей, подобных Павлу, и понимаем о быковенность его героизма, массовую типичность этого образа. Его разбудила революция — и огромные силы, веками подавлявшиеся, огромная жажда жизни, веками копившаяся в среде эксплуатированных, хлынули из этой юной души. Во всех своих проявлениях он отмечен чертами времени: душа, полная высоких стремлений и любви к людям («непредаваемо волнующее слово «товарищ»), облечена в грубоватую оболочку, глубокие чувства выражаются резко, а иногда и рассудочно, искренность нередко переходит в прямолинейность — не хватает гибкости, которая может появиться только с обогащением исторического опыта, ставшего единственной школой характера. Но через все несовершенства формы личности светится подлинно идеальное содержание, проступают главные черты человека великой новой эпохи: беспредельная преданность идее освобождения, беспредельная вера в созданный революцией порядок жизни, отсутствие каких бы то ни было расхождений между мыслью и делом, нравственная непреклонность и требовательность к себе, исполненный наивной скромности героизм.

Павел Корчагин для каждого нашего подрастающего поколения — молодой революционер, каким он должен быть. И вместе с тем Павел Корчагин в высшей степени исторический и типический образ, образ того, что на самом деле было в жизни.

Именно потому, что в эпоху социалистической революции идеальное содержание реализуется в действительности, именно поэтому идеальное художественное содержание должно и может воплотиться в жизненно типических образах.



ЕВГЕНИЙ ВОЛОШКО

★

## „ИСКРЫ СВОБОДНОГО ИСКУССТВА...“

СТИХИ И ПЕСНИ ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОГО ДОНБАССА

**П**ролетарский Донбасс боролся за победу революции не только штыком, но и песней, не только бомбой, но и стихом. Для донецких рудников и шахт поэт-рабочий не был исключением. Вплоть до 1917 года стихи и песни поэтов-рабочих печатались в «Правде» и в других большевистских изданиях. Однако многие из этих произведений никогда и нигде не были опубликованы. Их тексты приходится восстанавливать со слов старых коммунистов.

Среди большевиков-подпольщиков Екатеринославщины и Донбасса особым почетом пользовались песни, посвященные революционной доблести рабочих людей. Одной из самых популярных была песня «Речь Софьи Бардиной на суде».

Софья Илларионовна Бардина — соратница и боевой товарищ замечательного русского революционера Петра Алексеева. Вместе с Алексеевым, Фигнер и другими видными представителями революционного крыла «Земли и воли» она предстала перед особым судом сената (так называемый «процесс 50-ти»). Передовая Россия с неослабевающим вниманием следила за этим процессом. Особенно мужественно вели себя на суде Бардина и Алексеев.

Спустя несколько лет после смерти Бардиной было создано стихотворение-песня, являющаяся скорее всего коллективным произведением. Текст «Речи Софьи Бардиной на суде» воспроизводится по памяти видного деятеля большевистского подполья Екатеринославщины и Донбасса С. Я. Дальней. По ее утверждению, «Речь» была наиболее любимой песней местных революционеров и исполнялась ими вплоть до Октября 1917 года. Возможно, были и другие вари-

анты этой песни, но нами приводится текст, записанный от Дальней:

Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский...  
Суди меня, судья, но проще и скорей,  
Без мишуры, без маски фарисейской,  
Без защитительных речей!

Крестьянские вериги вместо платья  
Надела, снявши башмаки,  
Я шла туда, где стонут наши братья,  
Где голод — царь, а люди — бедняки.

Застигнута на месте преступленья  
И вот уже на суд приведена.  
Зачем же вам свидетели и пренья,  
Ведь я кругом уличена.

Оставь, судья, ненужные расспросы,  
Ты видишь: мне неведом страх.  
Крестьянская одежда, ноги босы,  
Мозоли, видишь, на руках.

Но ты, судья, победой не хвались!  
Ведь в глубине души моей, на дне,  
Тягчайшая из всех улик сокрыта —  
Любовь к родимой стороне.

Но знай, судья, что как я ни преступна,  
Но ты не властен надо мной, судья.  
Я буду жить, я казни недоступна,  
И победишь не ты, а я!

Популярны были не только политические гимны, но и лирические песни. Одну из таких песен автору этой статьи в свое время удалось записать от соратника К. Е. Ворошилова по Луганску — А. Паранича. Однако текст записи был утерян. Паранич умер. Пришлось обратиться к другим донецким революционерам, которые и восстановили полный текст песни. В ней выражена тоска по родине, по свободе:

Порою печальной, порою угрюмой  
В тюрьме за решеткой сижу.  
И, полон какою-то мрачною думой,  
На юг ненаглядный гляжу.

Друзей, и знакомых, и предков могилы  
Оставил на родине я.  
Там, полная прелести, девственной силы,  
Осталась коханка моя.

Глаза ее блещут лазурною далью,  
А грудь вся в рубинах горит,  
И поясом синим, как светлою сталью,  
Красавицы стан перевит.

Красавице этой, сказать вам—не тайна,  
Я душу отдать всю готов.  
Красавица эта — родная Украйна,  
А ей моя песнь и любовь.

С ростом пролетарской сознательности мужал и голос пролетарских поэтов-песенников. Шахтерские поэты составляли стихотворные листовки, которые печатались в подпольных типографиях.

В газете «Южный рабочий» № 7 за 1901 год было опубликовано стихотворение «Тяжко мне», подписанное псевдонимом «Донской рабочий». Чтобы победить угнетателей, говорит автор стихотворения, необходимо

Весь ваш мир возненавидеть,  
Весь ваш строй перевернуть!

Стихотворение направлено против царистских иллюзий той части рабочего класса, которая еще надеялась на реформы.

Бросьте ваши ожидания!  
Прочь скорей, оцепенение:  
Не придет конец страданию,  
Коли нет конца терпению!..

Январские события 1905 года в Петербурге открыли перед колебавшейся частью трудящихся завесу, которая скрывала подлинное лицо царя-убийцы, царя-палача. Даже наиболее отсталые слои крестьянства и те прокляли обagrившего себя невинной кровью «батюшку» государя.

Коммунисты Донецкого бассейна уделяли большое внимание разъяснительной работе среди крестьян; в донецкие села пошли лучшие пропагандисты. В подпольных большевистских типографиях печатались листовки, обращенные к крестьянам. Особую популярность среди крестьян нынешних Сталинской и Ворошиловградской областей приобрела «Крестьянская песня». Это боевое стихотворение было отпечатано в 1905 году Краматорской большевистской организацией. К 1917 году «Крестьянская песня» уже имела несколько вариантов. В стихо-

творении выражались надежды и думы бедняцкой деревни:

Ведь Россия — что волость большая,  
Мы в ней новый порядок введем,  
Старшину выбирать сами будем,  
Сами сход волостной соберем.

«Крестьянская песня» неизвестного нам автора заканчивается призывом к восстанию против самодержавия:

Так восстанем же, братья, дружнее!  
И опять у нас будет земля,  
И на горьких осинах повесим  
Мы попов, и дворян, и царя.

Представляет интерес и неопубликованное еще стихотворение революционного подполья «Но нет, свобода не умрет!». Оно было переложено безымянным революционным композитором на музыку и исполнялось как песня в 1905 году дружинниками Донбасса, а в 1917 году — красногвардейцами. Записано стихотворение членом КПСС и бывшим красногвардейцем И. Сударкиным из города Каменска-Шахтинского от коммунистов и соратников Артема (Сергеева) по Донбассу — Марка Максимовича Немальцева и Михаила Тимофеевича Антипова. Вот две первые строфы стихотворения:

Но нет, свобода не умрет,  
Не сгинет под штыком.  
Народ пробудится, поймет —  
Не станет жить рабом.

Не станет спину гнуть,  
Как гнул он сотни лет.  
Пред истинной падут  
И царский штык и плеть.

В стихотворении славятся погибшие борцы революции, звучит твердая вера в победу восставшего народа. Автор сумел удачно передать чувства и настроения революционной массы. В тех строфах, где говорится о погибших борцах, стихотворение приобретает оттенок траурной мелодии, а там, где речь идет о борьбе с угнетателями, звучат железные ритмы боевого пролетарского гимна.

Активной революционной деятельностью занимался в Донбассе горняцкий поэт Аркадий Коц, который работал на одном из рудников Донецкого бассейна. Он изучал жизнь шахтеров и в то же время внимательно следил за развитием отечественной литературы.

Преследуемый за свои революционные убеждения царским правительством, Коц

вынужден был эмигрировать за границу. Там он создал ряд революционных стихотворений и среди них «Песнь пролетариев», которая под заголовком «Пролетарская» была опубликована в журнале «Жизнь», издававшемся в Лондоне. Это стихотворение имело большой успех и неоднократно, особенно в 1905—1917 годах, перепечатывалось в революционных типографиях России. Оно написано было под сильным влиянием «Коммунистического Манифеста» и проникнуто пафосом великой книги:

Не устршит нас бой суровый...  
Нарушив ваш кровавый пир,  
Мы потеряем лишь оковы,  
Но завоюем целый мир!

В 1903 году Коц возвратился из эмиграции в Донбасс и сразу же окупился в самую гущу революционной жизни. Но в Донбасс он вернулся уже не начинающим поэтом, а автором русского текста «Интернационала».

Начало революции 1905 года Аркадий Коц встретил стихотворением «9 января», которое в списках распространялось не только в Донбассе, но и в других промышленных центрах России.

В Сталинском областном краеведческом музее экспонируется фотокопия стихотворной листовки «Клятва». Листовка эта издана мариупольской группой Донецкого союза РСДРП в июле 1905 года. По понятным причинам имя автора произведения не названо. Перед стихотворным текстом значится:

«Рос. Соц.-Дем. Раб. Партия.  
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Всего в стихотворении семьдесят две строчки. Начинается оно призывом к борьбе, к восстанию. И в ответ

...Прогудело по народу:  
«Все клянемся, все пойдем!  
Грудью ляжем за свободу!»

От имени угнетенных выступает старик крестьянин, у которого господа забрали «для тюрьмы и для войны сыновей». С протестующим голосом старого крестьянина сливается гнев кузнеца. Они вместе шлют проклятия на головы эксплуататоров и призывают революционный народ к бою с палачами. Заканчивается стихотворение клятвой верности делу революции:

И лишь только боевой  
Кликнут клич всему народу,  
Мы подыдем молот свой  
И скуем себе свободу!

Сейчас установлено, что автором стихотворения «Клятва» являлся Аркадий Коц. «Клятва» приобрела на Украине большую популярность. Стихотворение было опубликовано не только в Мариуполе, но и в Николаеве. Сейчас оно напечатано в сборнике документов и материалов «Донбасс в революции 1905—1907 годов», который был выпущен в 1955 году Сталинским областным книжно-газетным издательством.

Помимо стихотворной листовки «Клятва», в Сталинском краеведческом музее находятся и другие интересные материалы, связанные с героическими событиями 1905—1907 годов в Донбассе. Здесь хранится текст песни «Прохор», восстановленный по памяти М. Д. Хандогинной. В песне рассказывается о боях гришинской дружины в Горловке и о бесстрашном ее руководителе — Прохоре Дейнеге, отдавшем свою жизнь за торжество идей революции. Начинается она рассказом о гибели славного донбассовца:

На Горловке сражение зимою было,  
Там много в этом бою товарищей легло.  
Убит руководитель — Дейнега молодой,  
Он гришинский учитель с горячей головой.

Далее говорится о жизни Дейнеги. Вместе со своими товарищами (гришинскими шахтерами) он призывает к борьбе крестьянскую бедноту Донбасса. В схватку с врагами дружинники вступают с пением революционного гимна:

Дейнега наш угрозы кровавой не стерпел,  
С друзьями «Марсельезу» крестьянам он пропел.  
Пропел он про свободу, пропел он про  
И поднял дух в народе — правительству  
И поднял дух в народе — правительству  
вражду.  
Повел свою дружину с драгунами на бой,  
И там он поплатился горячей головой.

Стихотворный текст песни «Прохор», по утверждению Хандогинной, написан учениками Дейнеги под непосредственным руководством учителя пения — впоследствии известного украинского композитора Н. Д. Леонтовича, зверски убитого белогвардейцами во время гражданской войны. Музыка к «Прохору» также была написана Леонтовичем. С 1904 по 1909 год композитор проживал в Гришино и вместе со сво-



им другом Прохором Дейнегой принимал активное участие в революционных событиях.

Революция 1905 года закончилась поражением рабочего класса. Но большевики не сложили оружия. Борьба продолжалась. Вместе с партией продолжали борьбу и рабочие-литераторы. Уже в 1909 году юзовские большевики издали двенадцатитысячным тиражом политическую листовку, в которой было напечатано четырехстрочное стихотворение «Не оставим начатого дела». В стихотворении выражалась вера в то, что дело первой русской революции не пропало, что пролетариат не прекратил борьбы с угнетателями.

Не оставим начатого дела,  
Не боимся мы тяжких невзгод,  
Неустанно, и твердо, и смело  
Мы пойдем все вперед и вперед.

Пролетарский поэт, биографических данных о котором, к сожалению, не удалось найти, клеймит палачей рабочего класса. Он знает, что его товарищи вновь сплотятся «для совместной и дружной работы», несмотря на все усилия палачей пролетариата подавить революционное движение России.

О тяжелом положении углекопов Донбасса не раз писала «Правда». Так, в № 50 (254) газеты за 1 (14) марта 1913 года появилась статья члена Государственной думы Г. И. Петровского «На рудниках и шахтах», рассказывающая о каторжных условиях работы донецких горняков. Дополнением к статье явилась зарисовка «Жизнь шахтера», заканчивающаяся такими стихами:

Эх ты, шахта родная, сырая, холодная!  
Скучно-унылая, для хозяев лишь милая!  
Им одним даешь барыши ты огромные,  
А другие томятся весь век своей голодные.  
Время шахтерам, пора позадуматься!  
Долго ли будут они так горониться?  
Двенадцать часов день у нас рабочий —  
Не мешает, товарищи, нам добыть корочку.  
Без обеда, завтрака — прелью задыхаешься.  
Пылью, газом копотью только и питаешься.  
Каждое мгновение находясь в опасности,  
Не живем, а маемся, век не видим радости.

Под зарисовкой и стихотворением стоит псевдоним «Шахтер». Настоящее имя автора пока не установлено. Стихотворение, видимо, написано рабочим.

В 1915 году вышел первый и единственный номер газеты «Южная правда», издан-

ной областной организацией РСДРП(б) Южного горнопромышленного района. За передовой статьей «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», разоблачавшей мировую империалистическую войну, следовало стихотворение «Борцу». Автор стихотворения говорил о том времени, когда снова «загремит смертный бой, бой гражданской войны», направленный против «дворян-кровавиц, вампира-царя», против «жирных, сытых убийц».

Автором революционных стихотворений был также активный участник политических событий в Донбассе, руководитель знаменитой морозовской стачки в Орехово-Зуеве Петр Анисимович Моисеенко. Однако его стихотворения не дошли до наших дней.

Во время забастовки в апреле — мае 1916 года (одной из крупнейших в Донбассе) донецкие большевики издавали на гектографе революционную газету «Правда труда». В первом и втором номерах этой газеты публиковалось стихотворение «Знамя красное уж вьется», ставшее любимой пролетарской песней бастовавших шахтеров Донбасса.

Когда в Луганске и близлежащих к нему шахтерских поселках и железнодорожных станциях была установлена Советская власть, на улицах можно было встретить вооруженные отряды рабочих-красногвардейцев, с воодушевлением певших новые песни. Одна из них, начинающаяся словами «Пройдут года суровые...», запомнилась бывшему железнодорожнику, а ныне пенсионеру В. Р. Масюченко (Кадневка). От него она и записана. Текст песни в печати приводится впервые.

Пройдут года суровые,  
Настанет новый век.  
Идеи будут новые  
И новый человек.  
Исчезнет бесконечная  
Жестокая вражда.  
Настанет царство вечное  
Свободы и труда.

После октября 1917 года в одном из жандармских архивов старой Юзовки обнаружен «Сборник революционных песен», нелегально отпечатанный донецкими большевиками на гектографе. В этом сборнике были помещены и песни одного из ближайших друзей Ленина — Глеба Максимилиановича Кржижановского. В письме от 4 февраля 1956 года академик Кржижановский сообщал автору этой статьи, что отпечатанные в донецком сборнике его «...пес-

ни «Варшавянка» и «Беснуйтесь, тираны» Владимир Ильич очень любил и сам распевал их с большим воодушевлением, а печатались они не только в Донбассе, но и в других «различных подпольных типографиях в песенниках и листовках». «Мои ближайшие товарищи,— замечает Г. М. Кржижановский,— знали о моем авторстве, но широкий круг дореволюционных рабочих мог об этом и не знать». По конспиративным соображениям имя автора «Варшавянки» и «Беснуйтесь, тираны» в донецком «Сборнике революционных песен» также не было указано.

Оригинален как революционное стихотворение и «Марш красноармейцев» из листовки Центрального штаба Красной Армии Донецкого бассейна, хранящейся в фондах Сталинского краеведческого музея. Это своеобразная клятва трудящихся, готовых победить или умереть.

Честью отважных и павших могилами  
 Смело клянемся за право народное  
 Всем умереть или вернуться свободными...  
 С битвы решительной с черными силами  
 С честью отважных вернемся с победою.  
 Красная Армия, в бой за народ

смело вперед!

Интересны новые биографические данные об отдельных поэтах пролетарского Донбасса. Нам удалось обнаружить материалы о жизни и деятельности С. Дальней.

Софья Дальняя — это литературный псевдоним и партийная кличка Софьи Яковлевны Дерман, первой пролетарской поэтессы революционного Донбасса. Ее имя в течение долгих лет незаслуженно замалчивалось, и лишь письмо Г. И. Петровского, адресованное пишущему настоящие строки, помогло найти затерявшийся след профессиональной революционерки, верной дочери Коммунистической партии.

Софья Яковлевна Дальняя родилась в 1886 году в Луганске, в семье рабочего. В двенадцатилетнем возрасте начала работать у луганского кустаря-папиросника. Каторжный труд по десять — двенадцать часов, крайняя бедность — вот что осталось в памяти о тех страшных годах.

Желая найти ответ на мучительные вопросы жизни, Дальняя в 1902 году вступила в кружок РСДРП. А в 1903 году, преследуемая полицией, она уже вынуждена была бежать в Екатеринослав, где сблизилась с искровцами. В том же году Дальняя навсегда связала себя с большевиками, стала верным солдатом партии Ленина.

В 1904 году Дальняя возвратилась в Луганск и попала в самую гущу революционной борьбы. Здесь в 1905 году на общем собрании организаторов рабочих ячеек города она познакомилась с К. Е. Ворошиловым. Она выполняла ряд важных поручений руководящего революционного центра Луганска. На ее квартире Ворошилов часто проводил со своими соратниками тайные собрания. Немногом позже Дальняя познакомилась с Артемом и Н. М. Шверником. «В те тяжкие годы борьбы с царизмом,— вспоминает Дальняя,— мы мало уделяли внимания поэзии и были больше заняты практическими делами революции». Но поэтесса все же дала прочитать свои литературные произведения революционеру-профессионалу Ивану Насальскому, который прибыл в Луганск из Мариуполя. Он одобрил начинания Дальней, заявив: «Пиши как можно больше, у нас пролетарских поэтов мало».

В поэтической исповеди «На заре» (отрывок из поэмы впервые опубликован в альманахе «Литературный Донбасс» № 31 за 1956 год) Дальняя воспекает молодых донецких пролетариев, вступивших на тернистый путь революционной борьбы:

Тяжело было нам, еще юным птенцам,  
 Из гнезда вылетать на простор...  
 Мы рванулись в полет, зная все, что  
 нас ждет.

Мы из муки, из пытки пошли.  
 И в борьбе роковой путь нашли боевой,  
 Путь к свободе и счастью нашли!

В этом произведении упоминаются лучшие из лучших сыновей трудового Донбасса — Ворошилов, Григорий Ткаченко-Петренко, Цуповы и другие. В поэме о донецком подполье Дальняя рассказывает «нашей молодежной смене, чем жили их отцы и деды, какой ценой покупалась свобода». «Мне не хочется уходить из жизни,— писала она,— не рассказав о прошлом».

Итак, о прошлом. В 1911 году Софья Дальняя направила А. М. Горькому, находившемуся тогда на острове Капри, пьесу «На новый путь», рассказ и несколько стихотворений. Вскоре от писателя пришел ответ: «Способности есть — надо учиться». Через год после получения ответа от Горького Дальняя с помощью Г. И. Петровского направляет несколько стихотворений в «Правду», «Северную правду» и другие большевистские газеты.



ней он хочет завоевать всеобщее счастье трудящихся — коммунизм.

В 1920 году по текстам стихов Дальней было выпущено два плаката — «Паук» и «К молодежи», которые ныне хранятся в фондах Музея революции в Москве.

Но основной темой творчества Софьи Дальней оставался донецкий край. В 1926 году в Москве и Ленинграде выходит тридцатипяти тысячным тиражом ее книга «Первые шаги», посвященная революционным событиям в Донбассе. Н. К. Крупская, хорошо знавшая Дальнюю, написала к этой книге предисловие, подчеркивая, что «предлагаемые читателю воспоминания работницы-массовички правильно изображают настроения рабочей массы» в период революционной борьбы. Открывается книга стихотворением, написанным сразу же после провозглашения Советской власти. В стихотворении славятся донецкие революционеры Михаил Свободин и Яков Моргенштейн (из Луганска), люди безмерного мужества.

Их много, сгинувших так рано,  
Не счесть могил их, не найти.  
Их кровь целила наши раны —  
Звала вперед по их пути.

Их муки к мести призывали,  
Сильней рвались мы на бой.  
Что было сказкою вначале,  
То стало правдой мировой.

В книге «Первые шаги» Софья Дальняя упоминает о революционных литераторах Донбасса, находившихся до 1917 года в большевистском подполье. Вот, например, «Викентий — поэт-рабочий, стойкий боец, нежный и мягкий по натуре». Жаль, что, кроме партийной клички «Викентий», никаких сведений об одном из первых пролетарских поэтов Донецкого бассейна не сохранилось.

Здесь же Софья Дальняя говорит о наиболее популярных песнях большевистского подполья Донбасса. «Самая любимая наша песня, — замечает она, — начиналась так:

Низко мы шеи сгибали,  
Каторжный труд нас давил;  
Солнце для нас не сияло,  
Месяц для нас не светил.

Мы ждали защиты от неба —  
Холодно небо к мольбе.  
Братья, для счастья и хлеба  
Сами сплотимся в борьбе.

И дальше — посвященные погибшим строфы:

В сырой пыли они лежали.  
Их солнце жгло, их кровь текла.  
Нагайки с визгом пробивали  
Их беззащитные тела.

Глаза их, полны скорбной муки,  
Вслед убегающим глядят,  
И их простреленные руки  
И укоряют и грозят.

«Вы испугались барабанов,  
Вы под ярмо вернулись вновь,  
Вы осквернили наши раны,  
Вы растоптали нашу кровь!

Готовьте детям ту же долю —  
Позор невежества и тьму.  
Нагайку, пулю, стыд, неволю,  
Под старость посох да суму».

Еще мы любили петь «На смерть Чернышевского», «Красное Знамя», «Братья-рабочие» и другие революционные песни.

В семье товарищей, в звуках революционных песен находили мы страду, отдых от работ, от тревог и волнений, от мучительных дум».

Пятьдесят четыре года С. Я. Дальняя — член партии великого Ленина, в ряды которой она вступила еще семнадцатилетней девушкой. Ей, мудрой партии коммунистов, Дальняя посвятила свои лучшие произведения. Говоря о партии, поэтесса в одном стихотворении провозглашает:

Как ручейки из недр земли раздольной,  
Рванувшись на простор, сливаются рекой,  
Так большевистскими ячейками в подполье  
Борьбу мы начали, став силой мировой.

\* \* \*

Стихи и песни революционных певцов Донбасса были лишь первыми нотами той великой симфонии, которую слагал народ. Ленинская «Правда» в своем № 51 от 20 (7) мая 1917 года, обращаясь к пролетарским литераторам, указывала: «Полного расцвета пролетарское искусство достигнет, конечно, только в социалистическом строе. Но уже теперь... искры свободного искусства должны разгореться в яркое пламя. Этого властно требует момент. Этого требует революция».

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Н. Бабин.** Китайские записи Б. Полевого.—**А. Дирингерова.** Две повести о Фрунзе.—**М. Прилежаева.** Пришмантасы из Чикаго.—**И. Зыков.** Земля и хлеб.—**В. Разумный.** Эстетическая теория и практика искусства.—**В. Петров.** Книга о современной китайской литературе.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Г. Петровский.** Путь большевика.—**А. Литван.** Документы прошлого, обращенные в будущее.— Член-корреспондент Академии наук СССР **А. Ефимов.** Новые книги о Великой французской революции.—**Вал. Зорин.** Время американских трудящихся.— Кандидат философских наук **Ю. Семенов.** **М. Тульчинский.** Фундаментальный труд по истории науки.— Кандидаты географических наук **В. Преображенский, Л. Сетунская.** Туристские карты.

## Литература и искусство

### Китайские записи Б. Полевого

Не найдется, пожалуй, в нашей стране человека, который издавна не следил бы за жизнью китайского народа. Так было в годы, когда доходили до нас с Востока вести о слазной Кантонской коммуне, или докатывалось эхо классовых битв шанхайского пролетариата, или когда мы читали о первых освобожденных районах, где ковалось будущее нового Китая. Еще с большим интересом следим мы за братским народом теперь, когда великая страна рядом с нами строит социализм.

Однако сколько раз, читая очерки о Китае в толстых журналах, да нередко и в газетах, убеждались мы в том, что в значительной своей части они уже устарели, рассказывают о вчерашнем дне, ибо поистине стремителен бег событий в этой стране, где, говоря словами одного писателя, все «наполнено гулом и тресетом великого переворота».

И как первое достоинство очерков Б. Полевого о Китае хочется отметить их необычайную, прямо-таки фронтовую оперативность. В самом деле: автор вернулся из поездки в далекую страну в конце ноября

1956 года, а уже в первом, январском, номере «Октября» появилось начало очерков «30 000 ли по Китаю». В этом умении Б. Полевого работать быстро сказывается не только мастерство писателя, имеющего четкую позицию, с которой он художественно обобщает увиденное, но и его завидная трудоспособность журналиста. У автора в поездках за рубеж есть своя система, обязательное правило: как бы ты ни устал, обязательно в тот же день—вечером, ночью, но обязательно в тот же день—занеси в свои тетради подробнейшим образом все увиденное сегодня, ибо, как говорит мудрая китайская пословица, «даже самая хорошая память хуже выцветших чернил». Не раз, читая очерки, мы вместе с автором встречали за его письменным столом в номере гостиницы утреннюю зарю, когда «золотое, как яичный желток, солнце окрашивает черепицу крыш первыми лучами...»

Вряд ли можно сомневаться в том, что все это сыграло немаловажную роль в обогащении очерков точными подробностями китайской жизни, быта, пейзажа, подробностями, которые придают очеркам колорит достоверности. И в то же время за всеми этими локальными деталями

автор никогда не упускает из виду целое. Читая очерки Полевого, вы неизменно ощущаете всю масштабность великих перемен на «разбуженной грозой Освобождения» китайской земле.

Очерки Б. Полевого интересно и увлекательно раскрывают социальный и политический смысл событий в стране, где народ, поднятый Коммунистической партией на великие дела, перестраивает облик своей отчизны. Автор вводит нас в мир простых китайских труженников. Мы узнаем о том, как по-своему, по-китайски, решаются вопросы перевоспитания старой интеллигенции, капиталистов, помещиков. Писатель знакомит нас с учеными, которые покинули в свое время родину, а теперь вновь обрели ее, но уже обнужденную, свободную. Мы узнаем о строителях грандиозного моста через Янцзы и об уличных рассказчиках-шошудах, о рабочих-землекопах, бережно собирающих обнаруженные ими археологические находки. Узнаем и о судьбах людей, которые еще вчера вредили народной власти, а сегодня логикой борьбы, всем ходом жизни превратились в строителей нового Китая.

Широко использует автор эффект контрастности, сопоставляя факты, когда «тысячелетние храмы соседствуют с гигантскими новостройками, а рабочие с корзиночками на коромысле не без успеха соревнуются на строительстве плотин с самыми совершенными экскаваторами». Эта манера ненавязчиво, без нажима ставить рядом старое и новое, оживляющее и растущее помогает осмысливать наиболее существенные, типичные явления в жизни народного Китая, глубже вникать в их смысл и значение.

Обращает на себя внимание еще одно ценное качество, присущее очеркам Полевого. Как подчеркивает сам автор, сейчас, когда определилось национальное своеобразие в развитии социалистических стран и они, как, например, Китай, сами уже накопили богатый опыт, мы должны не только щедро отдавать братьям лучшее из того, что изобрели за тридцать девять лет, но и учиться у них тому передовому, чего они достигают.

К этому полезному и поучительному Полевой возвращается не раз. Это и поливное хозяйство, с которого на юге Китая собирают два и даже три урожая, и великолепное овощеводство, и многое, многое другое.

Находясь в городе Чунцине, советские делегаты (посадку по Китаю Б. Полевой совершал вместе с Б. Галиным и С. Залыгиным) решили встретиться с местными писателями. Но, к их удивлению, оказалось, что многих литераторов нет на месте. Где же они? Они «на работе», то есть там, «где кипит жизнь, где в труде, борьбе, становлении, в преодолении трудностей и противоречий рождаются новые люди Китая». Одни писатели находились на стройке Шицзиганской ГЭС; другие — на трассе дороги Баоцзи — Чэнду, в горах; третьи целой группой отправились в плавание на пароходе по Янцзы, с командой, освоившей новые методы судоходства; четвертые поднялись в горы Тибета; пятые уехали в леса, где живет национальность мяо.

У китайских писателей не приняты так называемые творческие командировки. Нет. Они выезжают на места как журналисты с путевками от газет, ведут там культурную или политрабоду и за это получают зарплату. И Полевой приходит к выводу: «Думается, что именно то, что молодая китайская литература, усвоившая лучшие традиции Лу Синя и других революционных демократов, постоянно находится в гуще жизни, что много писателей, в том числе и известных, не порывают со своими прежними профессиями, а на заводе, в деревне, на стройке появляются не в качестве «человека с блокнотом», а как культурные или политические работники, это и сосредоточивает внимание китайских писателей на главных темах, на решении важнейших задач, поставленных Коммунистической партией, обеспечивает быстрый и живой отклик литераторов на все, что волнует народ».

Или вот еще показательный пример. Рассказывая о торжественном вечере, посвященном Лу Синю, автор обращает внимание на то, что выступавшие китайские товарищи предельно точны, кратки, хотя их доклады весьма содержательны. Здесь явно озабочены не тем, как сказать, и не тем, какой эффект произведет в зале та или иная фраза, а тем, что сказать, тем, чтобы понятнее и проще донести до слушателей свою мысль в чистом виде.

Полевой не раз подчеркивает очень понравившуюся ему скромную, как-то органически слитую с внутренним достоинством простоту китайцев. «Это, — пишет он, —

должно быть, даже не стиль, а какая-то национальная черта китайцев».

Поднимает автор и другие интересные вопросы. И вы все время ощущаете, что он не просто смотрит, наслаждается и удивляется, хотя многое здесь действительно поражает даже такого бывалого человека, как Полевой, но и старается глубже, сердцем друга, осмыслить увиденное, примерить, сопоставить с нашей жизнью, переписать все хорошее.

Ведущая тема очерков — дружба китайского и советского народов. Вспомним хотя бы встречу советских гостей с китайскими писателями в ресторанчике «Каожоуци» (что, между прочим, означает «Жареное мясо по способу фамилии Ци») или встречу годовщины Великого Октября в Ухани вместе со строителями моста через Янцзы. За год до этого Полевой и еще несколько советских журналистов встречали праздник Октября на другом конце земного шара, в Северной Америке, в городе Фениксе. Тогда советские люди чувствовали себя папанинцами на крохотной льдинке, носимой течениями в огромном холодном океане. Иное дело здесь, среди китайских братьев, в родной семье, в кругу друзей. Пересыпанные блестками теплого, задушевного юмора, очерки содержат немало взволнованных рассказов о дружбе и любви китайских людей к советскому народу.

Очерки дышат горячей публицистикой, когда автор обличает американских «цивилизованных» варваров, всех этих Эронов Полисов, разрушивших или похитивших бесценные памятники тысячелетней китайской культуры из Лунмыньских пещер. Эта острая публицистичность звучит и тогда, когда Полевой сопоставляет свои китайские впечатления с увиденным в дни поездки по Соединенным Штатам.

Но есть у нас и претензии к очеркам. Если уж ссылаться на китайские пословицы, каких немало рассыпано у Полевого, то мы не можем не привести еще такую: «И на стремнинах бывает обратная волна». И эти оперативные, умные очерки страдают некоторой растянутостью. Хотя подобный упрек стал банальным, но его, к сожалению, приходится повторить: не всегда автор отбирает наиболее существенное, важное, не всегда сосредоточивает внимание читателя на значительном, главном.

Немало повторов. Так, десятки раз встречается понравившееся азтуру слово «чжи-фу», частенько мелькают «огромные соломенные шляпы». Пожалуй, можно сказать, что писатель Полевой, вдумчиво отбирающий нужные слова, не всегда вовремя останавливал перо журналиста Полевого, стремящегося запечатлеть из увиденного как можно больше.

Есть и другие изъяны. Иногда автор делает слишком скороспелые выводы из фактов, с которыми сталкивается. Так, попробовав вести коляску велорикши, он заключает, что это-де не такое уж сложное и трудное дело, упуская из виду, что велорикша должен возить грузы и пассажиров в течение всего дня. Известно, что в Китае этот труд считается тяжелым и изнурительным. Принимаются все возможные в нынешних условиях меры, чтобы заменить рикш другими видами транспорта.

Есть в очерках и неточности. Приведем такой пример. Рассказывая о новом методе возведения опор моста через Янцзы, Полевой пишет, что применяемые для этого бетонные трубы опускаются в песчаный грунт на дне реки вплоть до скального основания, а затем с помощью буров загоняются и в самую скалу. Это неверно. В действительности бетонные трубы упираются в скальное основание, а затем через полости этих труб в скале бурятся отверстия-колодцы глубиной в три метра. В них опускается железная арматура, после чего она заливается бетоном. Бетон заполняет и самые трубы до верхнего края. Тридцать таких труб вместе и составляют фундамент мостовой опоры. Они соединены с дном реки, словно бетонными пробками.

И другие неточности — их, пожалуй, в первую очередь надо отнести за счет редактуры. Так, в Китае нет провинции Хобэй, а есть провинция Хэбэй; нет Совета народных представителей, а есть Собрание народных представителей, и т. д. и т. п. Все это легко может быть устранено при издании «30000 ли по Китаю» отдельной книгой. А очерки, на наш взгляд, заслуживают этого, ибо они умно, живо, эмоционально отвечают на интересующий всех вопрос о том, как живет сегодня замечательный китайский народ.

**Н. БАБИН.**

## Две повести о Фрунзе

Три русские революции первой четверти XX века дали миру людей, вызывающих восхищение и преклонение перед их героизмом. В русском освободительном движении родился не известный доселе в истории тип революционера, для которого борьба за свободу стала его профессией. Ни пытки в застенках царской охранки, ни полная опасностей жизнь подпольщика не могли заставить профессионального революционера отказаться от борьбы за идею, которой он посвятил всего себя. Страстная любовь к жизни и в то же время способность отказаться от нее во имя победы революции — вот что характеризовало этих людей. В памяти народа они запечатлелись как люди, преисполненные доброты и человеческого обаяния, хорошо разбирающиеся в характерах других, чем и объясняется эффективность их деятельности как агитаторов, воспитателей и организаторов масс.

Перед нами две повести о Михаиле Васильевиче Фрунзе. Автор одной из них, Николай Вигилянский, участник трех революций, был другом и соратником Фрунзе не только в ивановский период его жизни, но и в те времена, когда Фрунзе руководил военными операциями на Уральском фронте против Колчака. Повесть Вигилянского ценна той достоверностью, которую могут дать только личные наблюдения. Перед читателем книги встает образ Фрунзе, мужественного и человеческого, стойкого и чуткого, внимательно прислушивающегося к тому новому, что рождалось в людях. Трудно сейчас без волнения читать о тяжелых днях семнадцатого года, когда в стране царили голод, холод, разруха, а простая женщина — закройщица говорила: «Жила бы Советская республика, а мы не пропадем».

Фрунзе подмечал эти ростки нового и всячески старался поощрять их. К людям, не оправдавшим доверия народа, Фрунзе был непримирим. О растратчике, мошеннике он говорил, что такой человек ворует не только материальное добро, «он раскрадывает доверие народа к партии».

Тепло, непосредственно написанные воспоминания Вигилянского воссоздают образ че-

ловека, который начал политическую деятельность в семнадцатилетнем возрасте в качестве подпольного агитатора среди ивановских ткачей и вырос в крупнейшего государственного деятеля Советской страны.

Несколько иную задачу поставил перед собой Аркадий Васильев в повести «Смело, товарищи, в ногу...». Как и в воспоминаниях Н. Вигилянского, Фрунзе здесь является центральной фигурой произведения. Однако автор не только рисует образ революционера, но и широко показывает историческую роль большевистской партии в революции 1905 года.

В книге А. Васильева описаны события, имевшие место в Иваново-Вознесенске и соседних городках с весны 1905 года и до осени 1907 года. Фрунзе работал в Иваново под кличкой «Трифоныч», а затем «Арсений». Автор показывает нам жизнь Фрунзе в первый период его деятельности в Иваново, рисует опасности, которым он подвергался, его стойкость перед лицом царских палачей. «Как с вами скучно, полковник!» — говорит Фрунзе жандарму, который настойчиво уговаривает его подать царю просьбу о помиловании. Цель царских прислужников ясна: они хотя бы морально сломить человека, пользующегося огромным авторитетом у рабочих, но это им не удается. Фрунзе многократно вели к виселице, инсценировали сцену казни, держали месяцами в камере смертников, но все эти меры не давали желаемого результата.

Автор изображает Фрунзе в окружении его тогдашних друзей и соратников. Это известные в истории ивановские большевики-подпольщики — Федор Афанасьев (партийная кличка «Отец»), Иван Уткин («Станко»), Оля Генкина и другие. Их жизнь тесно связана с такими событиями, как всеобщая забастовка в Иваново, которая разнесла клич борьбы по всей стране, как вооруженная борьба московских рабочих на Красной Пресне, где участвовали также и ивановские ткачи. Васильеву удалось художественными средствами показать историческую роль борьбы ивановских текстильщиков-большевиков, ее значение в ходе революции 1905 года.

В ткань грозных исторических событий умело вплетена сюжетная линия, героями которой являются вымышленные персонажи. Рядовой кавалергард Степан Важеватов подозревается в покушении на члена

**Н. Вигилянский. Повесть о Фрунзе.** Редактор Д. В. Юферов. 192 стр. «Советский писатель». М. 1957.

**А. Васильев. Смело, товарищи, в ногу...** Редактор С. Пономарева. 495 стр. Детгиз. М. 1956.



царской семьи. Улики против него. Степан с разрешения фельдшера удалился из воинского лазарета в ночь под Новый год, как раз в ту ночь, когда, по свидетельству великого князя, в него стреляли на набережной Невы. Важеватов провел новогодний вечер в доме любимой девушки, вся семья которой участвует в подпольном движении. Там простой деревенский парень, попавший в кавалергарды, читает впервые брошюру Ленина, знакомится с лозунгами большевиков. Арестованный Степан Важеватов не может доказать своего алиби, так как этим он подведет любимую девушку и ее близких.

При помощи добрых людей Степан бежит из тюрьмы и, по совету товарищей, уезжает в Иваново. Таким образом, автор объединяет две сюжетные линии своей повести. Дальнейшая судьба Важеватого связана с деятельностью Фрунзе и революционной борьбой ивановских ткачей. Он выполняет разные партийные поручения, завоевывает доверие подпольщиков, вступает в партию.

Приключения Степана Важеватова, его трогательная любовь к Наташе и ее приезд в Иваново, арест Степана, его двукратное бегство из тюрьмы написаны интересно, увлекательно. Однако Важеватов не просто человек с бурной жизнью, он борется за великую идею. Автор сумел показать, как в атмосфере царского насилия иногда даже самые равнодушные к политике люди включались в революционную борьбу. Ведь Важеватову и не снилась нелегальная деятельность, когда он поступал в кавалергардский полк. Он дозрел до нее, почувствовав на собственной коже, что несет царская власть простому народу. Путь развития Степана Важеватова нарисован убедительно.

Хотелось бы, однако, упрекнуть автора в том, что он не везде глубоко раскрывает психологию своих героев. Это особенно относится к историческим лицам. Одна лишь Оля Генкина, гимназистка-рево-

люционерка, остается в памяти читателя как живой волнующий образ. Балашов, Уткин растворяются в массе других действующих лиц. Впрочем, насчет действующих лиц: часто принято авторов упрекать в «перенаселенности» их произведений. Иногда эти упреки правильны, иногда и нет, и бывает, что и в самом большом количестве действующих лиц читатель разбирается без труда, как среди хороших знакомых. Вопрос, конечно, решает не арифметика, а талант писателя. Кажется, однако, что особенно в книгах, предназначенных для молодежи, уместно вводить только необходимые для развития сюжета лица, не рассеивать внимание юных читателей ненужными фамилиями, за которыми не видно характера.

И еще одно замечание, относящееся к обоим книгам.

Как в воспоминаниях Н. Вигилянского, так и в повести А. Васильева семнадцатилетний Фрунзе, направленный в Иваново агитатором, ведет себя так, будто он видит свое будущее, осознает историческую значимость своих слов и поступков. Так получается потому, что авторы не сумели вжиться в душу юноши, начинающего деятельность, показать постепенность его развития.

Этот художественный просчет авторов, как нам кажется, не случаен. Он связан с вопросом исторической правды в художественной литературе. А эта правда не только в точности описаний, а в психологической правдивости образов, в достоверности атмосферы времени. К сожалению, во многих произведениях, посвященных прошлому, именно это неповторимое дыхание времени передается недостаточно ощутимо.

Эти вопросы, как нам кажется, особенно актуальны сейчас, накануне сорокалетия Советской власти, которое, безусловно, ознаменуется созданием многих художественных произведений, посвященных событиям Великого Октября.

**А. ДИРИНГЕРОВА.**



## Пришмантасы из Чикаго

Не так часты случаи, когда рецензент дважды выступает в печати по поводу одного и того же произведения.

Г. Корсаkene. Первый год. Перевод Л. Славина. Редактор Н. Бузикашвили. 210 стр. «Советский писатель». М. 1956.

Опубликовав в свое время на страницах «Литературной газеты» положительный отзыв на повесть литовской писательницы Г. Корсаkene, я вновь возвращаюсь к ней. Не оттого, что ее повесть «Первый год» кажется мне произведением исключительным.

Поводом к новому отклику на недавно выпущенную издательством «Советский писатель» книгу Г. Корсаkene в значительной степени послужила статья, опубликованная в декабре прошлого года на страницах литературного приложения к клерикально-патристической газете «Драугас» (выходит на литовском языке в Чикаго).

О чем же рассказывает книга Г. Корсаkene, использованная чикагской газетой для того, чтобы лишний раз поднять голос против советского уклада жизни?

Героиня повести — молодой врач, литовская девушка Эляна Оринтайте. Эляна только что закончила Вильнюсский университет, ей предстоит работа в провинции. Девушке не очень хочется ехать в провинцию, но она все же едет в далекое местечко Шилгалая на севере Литвы, местечко, где в буржуазные времена и в помине не было больницы (на десятки километров вокруг единственный врач, добрый старый Петрулис); не было ни водопровода, ни клуба, зато над всей округой господствовал воздвигнутый на главной площади угрюмый монастырь. Теперь в монастырских стенах расположилась больница. Трудно работать в Шилгалайской больнице: как ни стараются врачи утеплить и украсить монастырские своды, они темны и мрачны. Тесны палаты, неудобна приемная, больница мается без водопровода (не дошел черед: слишком много разрушений после войны, слишком много таких неблагоустроенных местечек осталось в наследство от старой Литвы), но больных принимают, лечат, выхаживают, ставят на ноги.

Здесь, в Шилгалая, Эляну встретят открытия, радости, разочарования, беды. На руках умирает больной. Жесточайшей ценой оплачено понимание той огромной ответственности, которую налагает профессия врача. Здесь Эляна научится отличать друзей от врагов. Здесь она поймет счастье труда для народа. Здесь, на первой своей работе, станет она настоящим советским человеком.

Тысячи, десятки тысяч раз встречающийся в нашей жизни «сюжет»!

Вольно же некоторым критикам в столь типичной жизненной ситуации усматривать схему! (См., например, статью В. Ревича в «Литературной газете» № 33 за этот год). Она становится схемой только в том случае, если писатель не увидит в ней ничего индивидуального, не раскроет в каждом отдельном случае отличительность ее от всех других подобных ей ситуаций.

Читая повесть о молодом литовском враче, узнаешь многое, уже известное из жизни, но открываешь и новое, что сказала впервые эта имени: книга.

Для меня, читателя, полюбившего умную и одновременно наивную, тщеславную и застенчивую, очень естественную, обыкновенную милую девушку Эляну, особенно интересным и важным в книге Г. Корсаkene представляется столкновение этого юного существа, характер которого едва начинает определяться, с человеком другого мира, доктором Пришмантасом. Доктор Пришмантас — весь в прошлом. Его взгляды, привычки, вкусы сложились в буржуазной Литве. Несложные взгляды, примитивные вкусы! Комфорт, «красивый» быт, житейские удобства — вершина идеалов Пришмантаса, его святая святых. Он не служит народу. Он зарабатывает на сервировку, автомобиль, мебель, особняк, туалеты супруги. Как бесконечно далек от нашего представления о народном враче этот человек!

Пришмантас — искусный врач, но еще более искусный, беззащитный и наглый стяжатель.

Когда-то, в буржуазной Литве, с целью привлечения в докторский карман гонораров он пускал в ход рекламу, солидно обставленный кабинет, дорогую шубу в бобрах, щегольской котелок — весь набор приемов, способных поразить воображение обывателей, создать ему славу «модного» доктора.

Как же чувствует себя такой Пришмантас в Советской Литве, коль скоро ему не удалось удрать за границу? Приспосабливается, лжет, хитрит, изворачивается. Но жизненная задача остается прежней — любыми средствами загребать гонорары, удобно, «красиво», благоустроенно жить.

Сталкивая в ходе событий этих двух людей — Эляну, которую трудности не сломят, а, наоборот, закалят, и матерого мещанина Пришмантаса, — автор с гневом отвергает буржуазную мораль, обывательский строй взглядов и чувствований. Больше того, Г. Корсаkene клеймит пришмантасовщину как явление антинародное, отчетливо видя его корни, уходящие в прошлое.

Оттого, может быть, эмигрантская критика и ополчилась на книгу Г. Корсаkene. Мне кажется, молодому советскому читателю бесполезно узнать суждение заокеанского Пришмантаса о Пришмантасе — герое советской книги. Вы думаете, заокеан-

ского Пришмантаса смутила «деятельность» этого доктора, который крадет медикаменты, берет у больных взятки, делает тайно аборт и, уложив в могилу молодую цветущую женщину, требует от Эяны хранить «врачебную тайну» во имя соблюдения профессиональной чести? Ничуть не бывало! В буржуазном представлении Пришмантас и есть истинный герой. Зарубежный критик говорит о нем с восхищением: «Он настоящий врач независимой (читай, буржуазной.— М. П.) Литвы. Окончил Каунасский университет, два года совершенствовался в Мюнхене, прекрасный специалист—хирург и гинеколог, Пришмантас подлинный интеллигент: любит роскошь, живет в красиво обставленной квартире... Но он «политически неблагонадежен», агитирует против коммунистических порядков, тайно принимает дома больных, за что берет гонорар деньгами и натурой,— и, понятно, живет в хороших условиях, имеет коньяк, играет в преферанс с ветеринарным врачом и настоятелем костела и пр.»

Итак, «подлинная интеллигентность» — это роскошь, хорошо обставленная квартира, а «красивая» жизнь — преферанс и ксньак на гонорары, полученные с заднего крыльца. Автору статьи невдомек, сколь убогий портрет «независимой» Литвы, ее морали и нравов он начертал, споря против «коммунистических порядков», изображенных в скромной, далеко не во всем художественно совершенной, но прямой и честной книге Г. Корсаkene.

Каковы же эти коммунистические порядки Советской Литвы, что в них немилы Пришмантасам из зарубежной газетки «Драугас»? Против чего они спорят, беря под защиту врача-спекулянта? Что отвергают?

Трудно поверить — Пришмантасы отвергают бесплатную медицинскую помощь. Навероятно, но так.

«Большевики ввели в Литве такой же порядок, как и у себя: если человек заболевает, он должен обратиться в ближайшую амбулаторию или поликлинику...» Не должен, поправим мы, а может. И, представьте, охотно идет в поликлинику, когда нуждается в помощи, ибо при любом заболевании бесплатно получает лечение. Неужели это плохо? Для кого, собственно, плохо?

Пришмантасы негодуют, что в Советской Литве Шилгалаяский монастырь занят под больницу. Но что же делать, если больницы недостаток? Уж очень мало строили их для

народа в буржуазной Литве, и так много приходится советским людям восстанавливать разрушенных войной зданий, так много заново строить!

Пришмантасы льют лицемерные слезы: ах, в Шилгалаяйской больнице нет водопровода!

Бедные больные!

Но ведь у монашек тоже не было водопровода.

Ясно одно: все, что в Советской стране направлено на благо народа, подвергается Пришмантасами брани, осмеиваются идеалы, чистота которых для нормального человека бесспорна.

Только воинствующая пошлость, только откровенный цинизм способны подвергнуть насмешкам высокие стремления юности, душевное бескорыстие, чувство долга перед народом и родиной — те черты, какие улавливает Г. Корсаkene в характере своей героини и в меру таланта и сил старается открыть читателю.

Если бы чикагский критик подверг сомнениям художественную силу выражения чувств — нет! — он издевается над самыми чувствами. Без возмущения нельзя читать следующий иронический пассаж: «Г. Корсаkene взялась агитировать молодых врачей Литвы, чтобы они были хорошими специалистами своего дела, идеалистами, чтобы охотно, даже с энтузиазмом, выполняли свой долг, беспрекословно шли туда, где нужен их труд, куда их направляют власти, чтобы пренебрегали плохими условиями жизни, не стремились делать карьеру».

Несложен, однако, моральный кодекс зарубежных Пришмантасов! Идеализм, бескорыстие, честь, чувство долга, стремление к подвигу — это все для них смешно, таких понятий в их сознании нет. Дороже всего им девиз обывателя: делай карьеру!

А в итоге вся критическая статья газеты «Драугас» о книге Г. Корсаkene «Первый год» есть открытая, беззастенчивая проповедь антинародности.

Книга Г. Корсаkene от такой критики не пострадает. Напротив. Если Пришмантасы отвергают ее направленье, значит писательница что-то зорко увидела в жизни, что-то верно подметила, что-то точно уловила в борьбе нового со старым. Значит, книга ее — на благо народа.

Может быть, теперь мне следовало бы заняться анализом художественных достоинств и недостатков повести «Первый год», указать на ее удачи и слабости, разобрать

обстоятельно всех ее героев, среди которых есть живые лица, как Агне Меркене или иезуитка Филомена Класчоте, и есть бледные тени, как добродетельный юноша Игнас. Мне не хочется этого делать.

Думается, сейчас следует сказать писательнице главное. Она на верном пути. И пожелать, чтобы на этом пути перо ее оттачивалось.

М. ПРИЛЕЖАЕВА.



## Земля и хлеб

В статье «Мой очерк» М. М. Пришвин пишет, что основой очерка он считает обостренный интерес к действительности, когда подлинный факт жизни становится для человека настолько значительным сам по себе, что кажется излишней его «переплавка в художественном горне».

Такой интерес делается особенно активным в решающие минуты истории. Пережить его с наибольшей силой привелось людям нашего века. Они хорошо помнят время, когда начиналась перестройка «избяной дремучей Руси» в страну передовой индустрии. Был выдвинут лозунг: «Даешь тяжелую индустрию!», и страна отправлялась в поход за техникой.

Сейчас невозможно не только заново пережить тогдашний восторг перед машиной, но даже представить и понять всю его глубину. В наши дни даже атомный синхрофазотрон на миллиарды электроновольт вызывает спокойные отклики. Но тогда, в преддверии первой пятилетки, часто можно было наблюдать на московских улицах чрезвычайные скопления публики, словно происходила встреча какого-то знатного гостя. Люди стояли подолгу, смотрели и не расходились. Да тогда и на самом деле происходила волнующая встреча! Невиданным до той поры гостем был... обыкновенный дорожный каток, бесшумно утюживший асфальт. А рядом грохотали по старомосковскому булыжнику колеса старомосковских извозчиков — «живейных» и ломовых. Теперь то каток всем примелькался и порядком надоел, а тогда появился на московских улицах впервые.

Первые пятилетки давали много пищи восприятию, и многим тогда жизненный факт казался значительнее художественного образа. Перегиб это или не перегиб — другой вопрос. Но так было, и такие умонастроения соответствовали задачам эпохи, требовавшей

от людей сосредоточить внимание на главных целях. Отсюда понятно развитие очерковой литературы в период довоенных пятилеток. И нет ничего особо удивительного в том, что, начав как поэт и беллетрист, Г. Фиш, послушный зову времени, делается очеркистом и популяризатором науки. Ведь А. М. Горький писал в ту пору: «Наука, становясь все более чудесной и мощной силой, сама, во всем ее объеме, становится все более величественной и победоносной поэзией познания».

На всем протяжении своей двадцатилетней очерковой работы Г. Фиш остался верен одному кругу тем — показу проблем и достижений нашей сельскохозяйственной науки. В своих очерках писатель почти не отводит места отображению человека с его переживаниями. Его интересуют научные проблемы сами по себе: выведение новых видов растений, новая агротехника, большие урожаи и т. д.

Есть ли смысл в такой неблагодарной для автора работе? Разве мало у нас издается специальных сельскохозяйственных книг, газет, журналов, трактующих об агротехнике и больших урожаях? Стоит ли заниматься теми же вопросами еще и литератору?

Оказывается, стоит. Вот, например, всем ныне известный колхозный ученый Терентий Мальцев с двадцатых годов ведет научную работу, с тридцатых годов печатает свои труды, но мы, советские люди, составляющие так называемые «широкие читательские круги», впервые узнали о Терентии Мальцеве из газетных очерков Геннадия Фиша. И произошло это не после, а лет за пять до известного всесоюзного совещания на родине Мальцева, то есть за пять лет до всеобщего признания открытой Мальцевым новой системы земледелия. Стало быть, писатель в данном случае оказался не простым информатором. И, стало быть, дело не только в популяризаторском умении автора просто и понятно изложить сложное и трудное, а в чем-то более важном — в чувстве нового.

Г. Фиш писал о Мальцеве много раз,

Геннадий Фиш. Земля и хлеб. Очерки. Редактор Б. Соловьев. 398 стр. «Советский писатель». М. 1956.

Большим очерком «Открытие Терентия Мальцева» начинается и рецензируемая книга «Земля и хлеб». Этот очерк написан уже после того, как метод колхозного новатора получил всеобщее признание. Все же есть смысл прочесть этот очерк читателям, даже знакомым с предыдущими публикациями, и тем больше смысла прочесть не знакомым.

Дело в том, что знание достижений колхозного ученого нужно не только земледельцам. Оно важно и для устоев нашего мировоззрения. Открытие Мальцева — осиновый кол в бесславную могилу вредной лжетеории убывающего плодородия земли и оскудения природы в результате хозяйственной деятельности человека.

Колхозный новатор неопровержимо доказал, что все растения, в том числе и хлебные злаки, не истощают почву, а повышают ее плодородие, накапливая органическое вещество. Жизнь не есть расходование, жизнь есть накопление. Чем быстрее развивается жизнь, тем больше накапливает она материала для дальнейшей жизни.

Предложенный Мальцевым метод обработки земли заключается в том, чтобы не прерывать пахотой происходящий в земле процесс накопления, чтобы не мешать оставшимся в почве корням сжатой пшеницы продолжать свое полезное дело. А для этого не следует слишком часто и без нужды ворошить землю и совсем уж нецелесообразно переворачивать почвенный слой вверх тормашками.

Новый метод оправдал себя на практике и дал большие урожаи.

Характерная черта очерков Геннадия Фиша — оптимизм. Но тут совершенно неприменимы какие-нибудь там понятия лакировки или бесконфликтности. Оптимистичен самый излагаемый материал. Что, например, может быть отраднее такого факта, как открытие Терентия Мальцева?

Тема книги — законы агробиологии, а не вопросы экономики и организации труда в колхозном производстве. И потому, думается, были бы неуместны упреки автору в том, что он не показывает организационных трудностей, встречающихся в нашем сельском хозяйстве.

Второй очерк, «Живые звенья», посвящен центральному вопросу биологии — происхождению видов — и тому новому, что вносят наши ученые в решение этого вопроса, имеющего помимо огромной теоретической важности широчайшие практические перспективы.

В третьем очерке, «Народная академия», завершающем книгу, рассказано, «как наука помогает колхозникам двигать вперед хозяйство и как колхозники помогают двигать вперед науку».

Главное для Геннадия Фиша — стремление глубоко проникнуть в изучаемый предмет. Сам автор в очерке «Живые звенья» характеризует свою задачу так: «Мне дорого... наблюдать самый процесс становления нового в науке, удачу, которая возникает, как на первый взгляд показалось, из неудачи, и мысль, пробирющуюся через лабиринт противоречий... Но одно это наблюдение, похожее на исследование самого процесса исследования, не приносило бы радости, если бы не мысль, что я могу поделиться ей, ввести тысячи читателей в споры, в круг идей, которые сейчас волнуют исследователей, и этим самым, может быть, ускорить познание самой истины».

И действительно, книга «Земля и хлеб» убеждает, что писатель не ограничивается дневной поверхностью науки, куда изучаемые вопросы выходят окончательно ясными, в готовом для учебников виде, нет, он не боится погружаться в толщу дискуссионных проблем, спорных вопросов, способствуя тем самым во многом их разрешению.

И. ЗЫКОВ.



## Эстетическая теория и практика искусства

Традиционное начало наших статей по эстетике — сетования на неразработанность ее проблем, на малочисленность публикаций, на узость круга специалистов,

работающих у нас в этой области. И, по-видимому, для подобных «лирических вступлений» еще недавно были весьма веские основания и причины. Однако теперь многое изменилось к лучшему: опубликован ряд монографий и сборников по эстетике, значительное число статей, расширился круг их авторов, и — что на наш взгляд яв-

В. Ванслов. Содержание и форма в искусстве. Редактор Л. Тамашин. 372 стр. «Искусство». М. 1956.

ляется главным — на поприще эстетики все более активно начинают выступать искусствоведы и критики. Лед тронулся, и теперь мы уже можем говорить не только о количественном, но и о качественном изменении на эстетическом фронте.

Одно из свидетельств этого — книга кандидата искусствоведения В. Ванслова «Содержание и форма в искусстве». Нам представляется, что она хорошо отражает нынешнее состояние эстетической теории и может явиться серьезной основой для разговора о ее дальнейших путях.

В. Ванслов не только суммирует общеизвестные положения материалистической эстетики о взаимоотношении содержания и формы, но и стремится дать марксистское решение тех проблем, которые выдвигаются ныне на первый план практикой искусства социалистического реализма. В частности, он посвящает значительную часть своего исследования анализу своеобразия содержания искусства, на что наша эстетическая наука вынуждена была в последнее время обратить особое внимание, борясь с внеэстетической сущностью иллюстративности.

Напомним, что вульгаризаторы эстетики (типа справедливо критикуемого в книге И. Астахова) пытались все качественные особенности искусства объяснить специфической художественной формой; при подобном понимании искусство отождествлялось с иллюстрацией в образной форме любых важных идей. Но ведь еще Аристотель мудро подметил, что исторический трактат, изложенный стихами, не перестает быть историческим трактатом и не становится фактом искусства. Эта мысль Аристотеля в дальнейшем развитии эстетики стала аксиоматической. Однако вопрос о существенных признаках, определяющих художественность содержания, до сих пор является дискуссионным. Спорят о путях его решения и наши советские эстетики.

Автор считает, что «исследование содержания искусства должно начинаться с рассмотрения вопроса о предмете искусства, ибо, характеризуя содержание искусства в самых общих чертах, можно сказать, что оно прежде всего представляет собой специфически отраженный в искусстве предмет его, то есть объект искусства, переработанный сознанием художника и воплощенный в образной форме. Очевидно поэтому, что специфические черты содержания искусства,

отличающие его от содержания других форм общественного сознания, должны во многом зависеть от особенностей его предмета».

Не вдаваясь в анализ приведенной формулировки (ниже мы выскажем свою точку зрения на этот счет, несколько отличающуюся от позиции автора), отметим, что она правильно характеризует одно из условий объяснения эстетической природы содержания искусства.

Справедливо полагая, что от верного определения предмета искусства зависит многое в творческих исканиях художников, автор закономерно останавливается на критике ряда представлений о специфическом предмете искусства, имеющих хождение в нашей эстетической литературе. В частности, он убедительно показывает теоретическую несостоятельность позиции А. Бурова, утверждающего, что специфическим предметом искусства является человек, и ограничивающего на этом основании сферу искусства (по его формулировке — «собственно искусства») отражением жизни человека. Изъяны этой позиции, по мнению автора, выражаются, во-первых, в ограничении области жизни, подвластной искусству, способному рассказать не только о жизни человека, но и о красоте природы, более того — сделать эстетически совершенным окружающий нас вещный мир, и, во-вторых, в том, что как раз специфика предмета искусства ею не раскрывается, ибо человек — предмет целого ряда форм общественного сознания, а не только искусства.

Все это бесспорно. Но, солидаризируясь с В. Вансловым в критике ошибочных взглядов А. Бурова, отметим, что нас не удовлетворяет абстрактно-академический характер этой критики. Ведь дело не только в том, что А. Буров считает предметом искусства человека, а в том, как он понимает самого человека. Специфический предмет искусства, по Бурову, — абсолютная человеческая сущность. Но ведь ее-то и не существует в природе! Как замечательно писал в этой связи Мао Цзэ-дун: «Возьмем, например, «теорию человеческой сущности». Есть ли на свете такая вещь, как человеческая сущность? Конечно, есть. Но в мире существует лишь конкретная человеческая сущность и нет абстрактной человеческой сущности. В классом же обществе существует лишь человеческая сущность, носящая определенный классовый характер, и нет внеклассовой человеческой

сущности. Мы стоим за пролетарскую человеческую сущность, за человеческую сущность широких масс народа, а помещики и буржуазия стоят за помещичью и буржуазную человеческую сущность, хотя на словах они этого и не говорят, а выдают ее за единственную человеческую сущность. Человеческая сущность, о которой трубят некоторые мелкобуржуазные интеллигенты, тоже оторвана от народных масс или даже носит антинародный характер».

Какую человеческую сущность призывает отражать А. Буров — вот вопрос, на который автору следовало бы дать ответ для правильного понимания значения партийности содержания искусства. К сожалению, такого ответа в книге мы не находим. А жаль! Ведь именно теперь, когда враги социалистического реализма обрушиваются на его основополагающий принцип — на принцип партийности, он был бы особенно необходим.

Определяя предмет искусства, В. Ванслов пишет: «Эстетическая сторона явлений действительности, или действительность, взятая с ее эстетической стороны, или действительность в ее эстетическом своеобразии — это и есть специфический предмет искусства». Такая формулировка хороша тем, что не ставит искусственных границ творчеству художника, не ограничивает его задачу обязательным отражением жизни человека. Но нам кажется, что и эта формулировка неудовлетворительна. Она, во-первых, недостаточна, ибо автор прибегает к неопределенному понятию «эстетическое». Ведь художник, которому для достижения истинной художественности его творений вы посоветуете отражать «действительность в ее эстетическом своеобразии», вправе спросить: а что это значит? И, не получив ответа, он пройдет мимо такой формулировки. Во-вторых, при подобном взгляде на предмет искусства абсолютизируется объективный момент художественного содержания и недооценивается значение момента субъективного (идеального, оценочного) для эстетического качества этого содержания. С нашей точки зрения, эстетическое своеобразие содержания искусства обусловлено не только тем (а может быть, и не столько тем!), что отражает художник, а тем, как он это делает. Иными словами говоря, мы считаем, что художественность содержания искусства обусловлена особым характером обобщения жизни художником.

Автор, конечно, вправе не согласиться с нашей точкой зрения, но он должен подумать о более убедительной теоретической аргументации в защиту своих исходных позиций.

Пожалуй, с наибольшим интересом читается второй раздел книги — «Выразительные средства и форма в искусстве». Прежде чем ответить на крайне важный теоретический вопрос: какова функция формы в искусстве, чем определяется ее эстетическое качество, автор останавливается на взаимосвязи формы и выразительных средств, необходимых для ее создания. Он показывает, что реальная форма художественного произведения создается при помощи языка искусства и что поэтому художник должен мастерски владеть всеми компонентами формы, в совокупности и в органической взаимосвязи создающими эту форму, всеми изобразительными и выразительными ресурсами своего искусства, без чего невозможно полноценное эстетическое воплощение прекрасного замысла. Кстати, именно в этом разделе автору удается тонкий анализ явлений советского искусства.

Богатство художественной формы предполагает использование всех выразительных средств искусства, всех возможностей его «языка». Мы имеем право говорить об этом, более того — обязаны изучать все эти возможности. Так, характеризуя колорит, художники нередко употребляют термины «теплый», «холодный», «напряженный», «спокойный». Ясно, что здесь речь идет о каких-то элементарных качествах эстетической выразительности, реально существующих в языке искусства. Именно поэтому можно говорить художнику о необходимости узкопрофессиональной работы над ним. Эту выразительную силу языка искусства мы до сих пор изучали плохо. И то, что автор привлекает наше внимание к этой задаче, заслуживает всяческого одобрения. Автор стремится показать, что форма в искусстве есть органическое, целостное единство, выражающее содержание, и что поэтому отдельные компоненты формы, взятые в единстве и во взаимосвязи друг с другом, оказываются по-новому содержательными. Примеры, приведенные им, подтверждают общие теоретические положения книги.

Автор ставит перед собой и следующую крайне важную задачу: раскрыть общие принципы, определяющие не только худо-

жественное мастерство использования языка искусства, но и закономерности художественной формы вообще, такие, как ее содержательность, целостность, многогранность. И вполне понятно, что он переходит от языка искусства к следующему «слою» формы — к композиции, сюжету, жанру. Но вот здесь-то новое слово может быть сказано лишь при углубленном исследовании материала искусства во всем его многообразии. Только такое исследование позволит не просто констатировать некоторые принципы композиции, но и выявить ее общеэстетический смысл. Оно же может подвести к ответу на вопрос, поставленный практикой самого искусства наших дней: что такое реализм формы, каков общеэстетический смысл условности как принципа художественной формы, короче—каковы выразительные возможности реалистического искусства? Более того, обобщение художественной практики позволит нашей эстетике найти новые проблемы, пойти по пути настоящих эстетических от-

крытий, по пути того приращения эстетических знаний, о котором мы говорили в начале рецензии.

Автор сделал лишь первый шаг в этом направлении. Его книга в известной мере грешит недостатками, которые вообще характерны для эстетических работ: не везде преодоленной абстрактностью изложения материала, в ряде мест—повторением общеизвестного, наличием непродуманных формулировок и т. д. Она не дает еще того сближения теории и практики, о котором все мы мечтаем. Однако значение книги в том новом, что «добывает» В. Ванслов в процессе обобщения живого материала искусства. Книга будит мысль, порождает целый ряд новых вопросов, ждущих своего решения. Она, конечно, станет предметом оживленной дискуссии. Прочитайте ее — и, быть может, вы захотите включиться в споры эстетиков, которые, к сожалению, все еще носят узкоцеховой характер.

**В. РАЗУМНЫЙ.**



### Книга о современной китайской литературе

**В** борьбе за овладение методом социалистического реализма развивается современная литература Китая. Изучение и обобщение писательского опыта, накопленного в процессе этой борьбы, — важнейшая задача исследователей. Книга советского литературоведа и переводчика Л. Эйдлина «О китайской литературе наших дней» во многом помогает осуществлению этой серьезной задачи. Цель книги, подчеркивает автор, состоит в том, чтобы «показать на примере некоторых произведений 1942—1955 годов основное направление в развитии китайской литературы», то есть направление социалистического реализма. Внимание Л. Эйдлина сосредоточено на том наиболее существенном, что определяет характер современной китайской прозы и драматургии.

Первый раздел книги, которому предпослана краткая характеристика китайской литературы в период после «движения 4 мая» 1919 года, посвящен выступлению товарища Мао Цзэ-дуна на яньаньском

совещании писателей и работников искусства в 1942 году. В этом разделе показана руководящая роль Коммунистической партии Китая в развитии революционной китайской литературы, в определении ее основных задач. Значение яньаньского совещания огромно. Задачи литературы, сформулированные в речи товарища Мао Цзэ-дуна (служение литературы народу, жизнь и борьба народных масс как главная тема литературно-художественного творчества, взаимоотношения искусства и политики, принцип идейности в литературе, политический и художественный критерий в критике и т. д.), явились развернутой программой творческой деятельности передовых писателей Китая.

Автор прослеживает, как на протяжении многовековой истории китайской литературы складывались ее лучшие традиции: реализм и народность, патриотизм и любовь к человеку.

Опираясь на богатый фактический материал — от «Шицзина», древнейшего памятника китайской поэзии, до классического романа эпохи Цин, — Л. Эйдлину раскрывает тенденции, характерные для древней и средневековой литературы.

Л. Эй д л и н. О китайской литературе наших дней. Редактор Е. Книпович. 298 стр. «Советский писатель».



В книге дано четкое определение творческого метода Лу Синя, произведения которого, в частности знаменитая «Подлинная история А-кью», открыли новый этап в развитии реализма в Китае.

Советская литература, как говорил известный писатель и общественный деятель Мао Дунь, превратилась в неотъемлемую часть культурной жизни китайского народа. Воздействие ее носит творческий характер, ибо китайские писатели рассматривают советскую литературу не как шаблон для механического копирования, а как школу революционного искусства.

Анализируя конкретные факты литературного процесса, Л. Эйдлин показывает общественно-преобразующую роль современной китайской литературы ее активное воздействие социалистическому переустройству страны, воспитанию многомиллионных масс в коммунистическом духе. Овладение методом социалистического реализма неотделимо от последовательной борьбы с проявлениями буржуазной идеологии, с вульгаризаторством, с попытками подменить марксистскую теорию литературы идеалистическими концепциями. Это особенно важно для Китая, где позиции социалистического реализма укрепились в обстановке острой классовой борьбы. Именно поэтому одной из характерных особенностей китайской литературы 1942—1955 годов является решительное и последовательное наступление против буржуазной идеологии во всех ее проявлениях. Это наступление ведется под руководством Коммунистической партии. Важную роль в упрочении принципа партийности в современной китайской литературе сыграли разоблачение неверных концепций Ван Ши-вэя и Сяо Цзюня, критика произведений писателя Сяо Е-му, широкое обсуждение идейно ошибочного кинофильма «Жизнь У Сюня». В 1954—1955 годах китайские писатели, выступая в защиту социалистического реализма, дали решительный бой рецидивам антимарксистских взглядов Ху Ши, разгромили антипартийную, антинародную программу Ху Фына, тщетно стремившегося столкнуть китайскую литературу с пути, указанного ей Коммунистической партией. Эти жгучие проблемы идеологической борьбы обстоятельно рассматриваются в специальном разделе, одном из самых интересных в книге Л. Эйдлина.

Огромных успехов в осуществлении задачи, поставленных Коммунистической пар-

тией и товарищем Мао Цзэ-дуном перед работниками литературы и искусства, добились писатели Освобожденных районов в 1942—1949 годах. Рассказы и повести Чжао Шу-ли, романы «Солнце над рекой Сангань» писательницы Дин Лин и «Ураган» Чжоу Ли-бо, повесть «Движущая сила» писательницы Цао Мин, музыкальная драма «Седая девушка» Хэ Цзин-чжи и Дин И — замечательное свидетельство этих достижений.

Анализ наиболее значительных произведений, на примере которых Эйдлин прослеживает развитие социалистического реализма в китайской литературе, умело сочетается в его книге с краткими творческими биографиями авторов (Чжао Шу-ли, Дин Лин, Чжоу Ли-бо, Цао Мин и др.). В книгу введены сжатые исторические экскурсы, которые помогают читателю ясно представить себе жизненную обстановку, в которой развиваются литературные процессы.

До недавнего времени о некоторых, даже наиболее примечательных произведениях литературы современного Китая, например о романе «Солнце над рекой Сангань», писали, как правило, в духе трескучей парадности. А это не только вызывало недоумение читателей, прекрасно видевших и достоинства и недостатки книги, но и оказывало плохую услугу авторам. В книге Эйдлина нет этой «парадности», — есть справедливый, деловой разговор о литературе.

Народные массы Китая активно участвуют в строительстве новой культуры. Об этом наглядно свидетельствует широчайший размах литературно-художественной самодеятельности рабочих, крестьян и солдат. Расцвет народного творчества благоприятствует появлению новых дарований. Произведения молодых писателей — блестящее подтверждение того, что литература и искусство в Китае стали подлинно народным достоянием. Молодым писателям — выходцам из народа: Чэнь Дэн-кэ и Гао Юй-бао — был посвящен раздел книги, в котором Л. Эйдлин подробно рассказывает об их творческом пути и дает оценку их произведений.

Л. Эйдлин — опытный исследователь и знаток китайской литературы. Книга его написана живо, доступно, без наукообразных штампов, которыми так часто грешат литературоведческие работы. После прочтения этой книги у читателя складывается

ясное представление о том, какими путями идет современная китайская литература, почему побеждает в ней социалистический реализм — самый передовой творческий метод. Но, как и во всякой книге, по-новому решающей сложные вопросы, в работе Л. Эйдлина есть положения спорные, по поводу которых хотелось бы вступить в полемику с автором.

Автор справедливо отмечает, что реалистическое направление после эпохи Сун ярче всего запечатлено в прозе и драматургии. Он объясняет это социально-историческими причинами (различие городов, начало широкого общения между всеми областями страны). Далее он пишет: «Поэзия, как господствующий литературный жанр, окончательно стала достоянием феодальной верхушки, культивирующей старину, встающей против вторжения литературы в жизнь».

Этот правильный по существу тезис требует уточнений. Ведь поэзия (исключая, разумеется, фольклор) всегда была достоянием феодальной верхушки. Разве Цюй Юань, Ли Бо, Бо Цзюй-и, Лу Ю и другие поэты, о которых автор говорит как о представителях реалистических и народно-патриотических традиций, не принадлежали к господствующему классу феодалов? Действительно, тормозом, мешавшим движению поэзии вперед, стали в послесунское время формализм, схоластика и эпигонство, закрепленные в канонах ортодоксальной поэтики. Но не менее существенным было и другое обстоятельство. Феодальная поэзия в значительной мере утратила живую связь с народной жизнью и народным песенным творчеством, которые на протяжении веков служили источником вдохновения для лучших представителей феодальной поэзии, начиная с бессмертного Цюй Юаня. Безоговорочное же распространение этого тезиса Эйдлина на всю китайскую поэзию после эпохи Сун представляется необоснованным. Реалистические и патриотические традиции в поэзии не умерли: их продолжение можно найти в стихах просветителя и патриота Гу Янь-у (1613—1682), поэта и драматурга Кун Шанжэня (1648—1718); с поэзией в жанре «саньчжюй» связано рождение юаньской

драмы, в частности творчество великих драматургов XIII века Гуань Хань-цина и Ма Чжи-юаня. Эйдлин прав, когда говорит о том, что поэзия утратила роль ведущего литературного жанра, но, к сожалению, в книге ничего не сказано о сохранении в феодальной поэзии прогрессивного направления и в послесунское время.

Указывая на «родственную близость» Лу Синя с творчеством Гоголя, автор делает из этого очень верного наблюдения следующий вывод: «Недаром же во всем блеске своего зрелого и великолепного таланта писатель оставил собственные произведения и стал переводить дорогие ему «Мертвые души» Гоголя». Лу Синь действительно не случайно выбрал для перевода именно Гоголя, а не другого писателя. Но разве, обратившись к переводу, Лу Синь «оставил собственные произведения»? Нет, это не соответствует фактам. В 1935—1936 годах он очень напряженно работал над «Мертвыми душами», что позволило ему, уже в ноябре 1935 года издать перевод первого тома. Но в ноябре—декабре 1935 года он написал четыре великолепных сатирических рассказа («Покорение стихии», «За папоротником», «За заставу», «Воскрешение из мертвых»). А с какой огромной силой проявилась зрелость таланта Лу Синя в публицистике! Статьи, написанные Лу Синем в 1935—1936 годах, то есть в то самое время, когда он перевел «Мертвые души», составили два самостоятельных сборника.

Нельзя согласиться и с замечанием о языке Лу Синя. Думается, что одна из величайших заслуг его как раз состоит в том, что он не просто «обогатил и освежил «байхуа» народных романов», как пишет Эйдлин, — первоосновой созданного Лу Синем литературного языка явилась прежде всего живая, народно-разговорная речь. Можно было бы высказать и ряд других частных замечаний по поводу книги. Однако перейдем к общему выводу: книгу с большой пользой прочтет и специалист, занимающийся историей китайской литературы, и читатель, который интересуется литературной жизнью Китая.

В. ПЕТРОВ.

## Политика и наука

### Путь большевика

**В**есной 1899 года в Екатеринославе на собрании подпольного кружка социал-демократов я впервые встретил Сергея Яковлевича Аллилуева. Он сразу обратил на себя внимание товарищей. Это был очень активный молодой рабочий с живыми блестящими глазами. Нас всех объединяла тогда революционная борьба с царизмом, объединяли идеи борьбы за дело рабочего класса, которыми мы жили и за которые готовы были отдать жизнь.

Воспоминания обо всем этом нахлынули на меня, когда я прочитал книгу С. Аллилуева «Пройденный путь».

В свое время М. И. Калинин писал о воспоминаниях С. Я. Аллилуева: «Хотя автор и редко выходит из сферы событий, участником которых он являлся, но вся его жизнь, умонастроение и переживания столь наполнены идеалами рабочего класса, что книга невольно приобретает глубокий социальный смысл».

В книге С. Я. Аллилуева рассказывается о рабочем движении в Закавказье и в некоторых других местах России. С. Я. Аллилуев был участником многих узловых событий трех русских революций. Он был связан с многими крупными деятелями партии, у него скрывались от репрессий царского правительства В. И. Ленин и И. В. Сталин.

Всю жизнь свою и семью С. Я. Аллилуев подчинил и посвятил революционной борьбе за лучшую долю трудящихся. Его отличительными чертами всегда были беззаветная преданность делу рабочего класса, смелость и отвага.

В книге описывается кавказский период жизни С. Я. Аллилуева, 1890—1907 годы. Книга написана хорошим литературным языком, и это делает ее доступной для широких масс читателей.

Сергей Яковлевич Аллилуев родился в 1866 году в селе Рамежье, Воронежской губернии, в семье бедняка крестьянина,

бывшего крепостного. Мальчиком, а затем юношей он изведал всю тяжесть нищеты, работы на побегушках у чужих людей.

В 1882 году шестнадцатилетний Аллилуев начал работать учеником слесаря в борисоглебских мастерских Юго-Восточной железной дороги. Сначала он получал три рубля в месяц. На жизнь не хватало. Только через пять лет он начал зарабатывать рубль в день. Жить стало легче, но жизнь кругом была гнусная, скучная, грязная.

Как знакомы мне эти ступеньки передвижения от ученика к слесарю, от десяти копеек до рубля! Это были тяжелые ступени, и шагать по ним было очень нелегко.

Любознательный и подвижной, Аллилуев не мог оставаться долго на одном месте и рано начал путешествовать по матушке России. Наконец он очутился в Тифлисе. С большим трудом ему удалось устроиться в Тифлиских железнодорожных мастерских. Вот как он описывает условия работы в те годы:

«Токарный цех находился в старом, низком и тесном помещении. По всему цеху были тесно расставлены станки, приводившиеся в движение общим трансмиссионным валом при помощи ремней и шкивов. Вдоль всех стен стояли верстаки. Здесь работали слесари.

Цех никогда не отапливался. Зимой в нем было холодно, повсюду гуляли сквозняки. Освещался цех висячими керосиновыми лампами; ветер врвался в помещение, и лампы всегда коптели. У каждого станка также находилась керосиновая копилка с трубочатой горелкой. Копоть наполнила цех душливым смрадом».

В таких условиях трудились рабочие царской России.

«Бунтарь», как сам себя называл С. Я. Аллилуев, не мог мириться с грубостью и произволом мастеров. И, конечно, вскоре у него возник конфликт с мастером. В результате ему пришлось оставить Тифлис и перебраться в Батум.

Но и здесь его отношения с мастерами вскоре обострились из-за того, что он отка-

зался заменить у станка бастующих рабочих. Когда С. Я. Аллилуев вернулся в Тифлис, он познакомился с рабочим Федором Афанасьевым, который сыграл большую роль в формировании его как революционера-подпольщика.

С. Я. Аллилуев так описывает свое первое приобщение к идеям социализма:

«Знакомство с Федором Афанасьевым и его друзьями начало пробуждать у меня интерес к общественной жизни. Я потянулся к книге, стал прислушиваться к спорам и сам начал принимать в них участие. Это было время, когда в Тифлисе, как и по всей стране, начиналась острая борьба между народниками и марксистами».

Интересно описана в книге встреча автора с А. Пешковым:

«Однажды на собрании кружка — помню, читалась тогда брошюрка Свицерского «Труд и капитал» — в комнату вошел Афанасьев и с ним незнакомый мне высокий, слегка сутулящийся молодой человек. Оба они присели к столу и вместе с нами стали слушать лектора, к слову сказать, читавшего довольно вяло, — многие из присутствующих явно дремали. Вдруг неожиданно — лектор еще не закончил чтения — вошедший с Афанасьевым молодой человек негромко, сильно напирая на «о», заговорил:

— Это очень хорошо, товарищи, что вот вы слушаете о том, что такое прибавочная стоимость. Но надо все это сделать как-то поживее, не так отвлеченно. Прочитанное следует увязывать с вашими личными наблюдениями. Вот, например, эту прибавочную стоимость вы ощущаете ведь на собственных спинах!..

Слова молодого человека оживили собрание, присутствующие подняли головы, прислушиваясь к его словам. А незнакомец продолжал развивать свою мысль дальше.

— Еще лучше, товарищи, — говорил он, — если вы будете записывать то, что вас особенно взволнует или возмутит на работе. Пишите на злобу дня, записывайте факты, а записанное передайте одному, другому товарищу — пусть прочтут. Такие коротенькие записки-обращения можно даже переписать в нескольких экземплярах, раздать товарищам... Этими листовками можно достигнуть многого».

От кружков перешли к агитационной работе. С. Я. Аллилуев рассказывает, как у него возникла мысль нарисовать карикатуру на мастера. Так в цехе появился жур-

нал, пользовавшийся необыкновенной популярностью у рабочих. Затем появились прокламации-листовки.

Страница за страницей развертывается перед читателем идейный и духовный рост рабочего-революционера. Первое знакомство с жандармами. Обыск. Усиление конспирации. Вступление в марксистский кружок. Чтение «Капитала». И, наконец, в 1896 году вступление в социал-демократическую организацию и первая партийная работа.

Весной 1899 года С. Я. Аллилуев заболел малярией и вынужден был на время уехать в Екатеринослав. Недолго был у нас Сергей Яковлевич, но такие знакомства оставляли всегда глубокую полосу в памяти. Мы делились с ним опытом приобретения знаний марксизма в кружках, разговаривали о прочитанном, говорили о росте сознания у рабочих, о борьбе с народниками, об организации забастовок, о методах борьбы с полицией и шпионами. Овладение конспирацией было тогда высокой наукой. Надо было, проводя революционную подпольную работу, притворяться незнайкой, не подавать повода к подозрениям.

В то время Закавказская социал-демократическая организация была довольно солидной. Мы часто встречали социал-демократов — грузин и армян. Конечно, по условиям конспирации настоящие фамилии не назывались. Во главе молодых социал-демократов тифлисской организации «Месамедаси» стояли Цулукидзе, Кецохели и Джугашвили. Это была основная тройка в Грузии, боровшаяся с оппортунистами «Месамедаси».

С. Я. Аллилуев находился в гуще агитационно-пропагандистской работы. Ему приходилось много общаться с русскими рабочими-революционерами, высланными в Тифлис. Вот описание одной такой встречи:

«У Назарова я застал однажды незнакомого мне невысокого человека, лет двадцати пяти, с приятным лицом, с глазами, умно и лукаво смотревшими из-под густых бровей.

— Калинин, — назвал он себя, протягивая мне руку.

О питерском рабочем Михаиле Ивановиче Калинин, сосланном в Тифлис за участие в петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», я слышал от Лузина и Франчески. Калинин начал работать в железнодорожных мастерских в том же токарем цехе, где работал я».

Первая маевка! Это было огромным событием в жизни рабочих царской России. Тайными тропами пробирались мы к месту маевки, взволнованно произносили заветный пароль. На маевках рабочие впервые во весь голос пели революционные песни.

«Маевка не кружок,— пишет Аллилуев.— Если в кружке занимались десять человек, то на маевку, предполагалось вывести несколько сот рабочих. Дело большое, новое и необычайно сложное...

Подобно птицам, вырвавшимся из тесных клеток на простор и звонко запевшим, пятьсот человек, устремившись в горы, тоже громко и мощно запели».

Первая забастовка. Первый арест. Одиночная камера. Нельзя без волнения читать об этом, так все понятно, близко и необычайно интересно. Сильные натуры, остро переживая ужасную несправедливость — человека ни в чем не повинного арестовали и держат в тюрьме, творят насилие,— еще больше закалялись в ненависти к режиму насилия и эксплуатации. Слабые же натуры под гнетом тюремного заключения отказывались от политической борьбы, становились обывателями. Морально низких людей охранка сминала в шпионы. Но таких было очень мало.

Красочно описаны в книге жандармские и прокурорские допросы, применявшиеся коварные способы с целью выпытать у рабочих-революционеров сведения о товарищах и руководителях, сделать из честного человека подлеца и предателя. Прекрасно показал автор стойкость революционеров, их преданность революционной борьбе, верность товарищам. В книге приводятся тексты интересных архивных материалов —

донесения жандармов о деятельности революционеров.

Большое влияние на С. Я. Аллилуева оказало знакомство с учением В. И. Ленина, о котором он узнал от В. К. Курнатовского.

Работая в Батуми, Аллилуев знакомится с видным грузинским революционером Ладом Кецховели. Ему он посвящает одни из наиболее интересных страниц книги.

С. Я. Аллилуев по заданию социал-демократической организации длительное время работал в подпольных типографиях. Высланный по требованию наместника Кавказа Воронцова-Дашкова из Тифлиса в центральную Россию, Аллилуев работает в Серпухове, в Москве и в других городах. Периоды работы сменялись безработицей или тюрьмой.

Много места в книге уделено революции 1905 года на Кавказе и наступившей затем реакции. Опять аресты, тюрьма, ссылка.

Все эти события, как лакмусовая бумажка, выявляли моральные качества людей. С. Я. Аллилуев упоминает много имен революционеров, от которых он, подобно пчелке, собирающей с цветов чудесный нектар, воспринимал учение социализма и все больше укреплялся в идеях ленинизма.

После революции мне часто приходилось встречаться с С. Я. Аллилуевым. И он и его семья были глубоко преданы идеям Ленина, делу Коммунистической партии.

Книгу С. Я. Аллилуева «Пройденный путь» должен прочитать каждый советский читатель.

**Г. ПЕТРОВСКИЙ.**



## Документы прошлого, обращенные в будущее

«Силы растут в процессе борьбы...» Слова эти принадлежат Владимиру Ильичу Ленину. 26 мая 1918 года на Первом

Вопросы экономического районирования. Сборник материалов и статей (1917—1929 гг.) под общей редакцией академика Г. М. Крижановского. 344 стр. Госполитиздат. М. 1957.

Советы народного хозяйства и плановые органы в центре и на местах (1917—1932). Сборник документов. Редактор К. Новожилов. 232 стр. Госполитиздат. М. 1957.

съезде Советов народного хозяйства Ленин выступил с речью. Он сказал, что «...чем прочнее будут закладываться основы завоеваний социалистической революции и упрочение социалистического строя, тем больше, тем выше будет становиться роль советов народного хозяйства, которым предстоит одним только из всех государственных учреждений сохранить за собой прочное место, которое будет тем более прочно, чем ближе мы будем к установлению социалистического порядка, чем меньше будет

надобности в аппарате чисто административном, в аппарате, ведающем собственно только управлением». Тогда же Ленин и произнес слова о силах, растущих в процессе борьбы, с ростом революции.

Две книги, о которых пойдет речь, — «Вопросы экономического районирования» и «Советы народного хозяйства и плановые органы в центре и на местах (1917—1932)» — были выпущены Госполитиздатом как раз в то время, когда внимание всей страны приковали вопросы перестройки управления промышленностью и строительством и создания советов народного хозяйства. Мы имеем возможность через много лет познакомиться с докладами на сессиях ВЦИК начала двадцатых годов, со статьями, опубликованными в то время в экономической печати, с выступлениями на специальных съездах, с выдержками из первого пятилетнего плана, с декретами о советах народного хозяйства, начиная с первого — от 2 декабря 1917 года, — с положениями об этих советах, а также и многими другими материалами, показывающими, как росли наши силы, наше умение, наши знания, наш опыт.

В 1921 году, за три недели до очередной годовщины Советской власти, Ленин выступил в «Правде» со статьей, которая началась словами:

«Наступает четырехлетняя годовщина 25-го октября (7 ноября).

Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее становится значение пролетарской революции в России, тем глубже мы вдумываемся также в практический опыт нашей работы, взятый в целом». Опыт, взятый в целом, о котором писал Ленин тридцать шесть лет назад, привлекает внимание не только советских людей, но и наших друзей за рубежом.

Выход в нынешнем году таких книг, как «Вопросы экономического районирования» и сборник документов, посвященных организации, а также работе советов народного хозяйства и плановых органов в центре и на местах, нельзя поэтому и расценивать иначе, как вклад в дело изучения многообразной практики советского народа. Такое изучение особенно ценно в год сорокалетия Октябрьской революции, когда подводятся итоги периода, насыщенного огромными событиями, когда страна находится на пути дальнейшего развития ленинского принципа демократического централизма в хозяйственном строительстве.

Книги, о которых мы говорим, показывают, какое важное значение для планирования народного хозяйства, для развития его важнейших отраслей имела разработка проблем экономического районирования. Эти вопросы были во всей широте поставлены еще в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции и всегда связывались с очередными задачами партийного, советского строительства и управления народным хозяйством.

На XI съезде партии 27 марта 1922 года В. И. Ленин с удовлетворением отметил проведенную Госпланом работу по экономическому районированию страны: «У нас теперь деление России на областные районы произведено по научным основаниям, при учете хозяйственных условий, климатических, бытовых, условий получения топлива, местной промышленности и т. д.».

Небезынтересно отметить, что еще до октября 1917 года были попытки деления старой России на такие хозяйственные районы, которые можно было бы рассматривать как однородные по своим особенностям. Но попытки терпели одну неудачу за другой. В условиях капиталистического хаоса с его противоречивыми интересами никак нельзя было добиться районирования, построенного на началах разумного использования экономических возможностей.

Чем было прежде, дореволюционное деление старой России? Это деление, произведенное после пугачевщины, в основном было рассчитано на облегчение борьбы с крестьянскими восстаниями. Приведенный в книге «Вопросы экономического районирования» доклад М. Ф. Владимирского на второй сессии ВЦИК в марте 1921 года красноречиво говорит об этом.

Революция, открывшая сорок лет назад новую эру в истории России, не могла мириться с дореволюционным районированием. Жизнь по-новому поставила вопросы хозяйственного строительства. Социалистическая экономика вызвала коренную ломку старого, требовала районирования по принципу сосредоточения промышленности, технического сырья, тяготения населения к очагам промышленности и т. д.

В. И. Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России» еще задолго до Великой Октябрьской социалистической революции применил марксистский метод к вопросам экономического районирования, а после победы Октября с величайшим вниманием относился к мероприятиям наших

ученых, экономистов, статистиков в этом направлении. Практика работы глубоко интересовала Ленина. Г. М. Кржижановский в введении к книге «Вопросы экономического районирования» приводит новые штрихи, которые, несомненно, будут восприняты нашим читателем с интересом:

«Я вспоминаю свои неоднократные беседы с Владимиром Ильичем по вопросам экономического районирования и не помню никаких его возражений по существу этой темы. Он считал, что проведение экономического районирования непременно должно быть связано с большой предварительной пропагандой этой идеи и должно быть построено так, чтобы воля к нему шла в значительной степени с самих мест.

При создании областных и краевых центров требовались более квалифицированные кадры для руководства областью (краем). В связи с этим Владимир Ильич сильно был озабочен одним вопросом: найдутся ли у нас в достаточном количестве соответствующие кадры».

Эти строки воспоминаний Г. М. Кржижановского еще и еще раз подчеркивают, как в ленинском духе было выдержано на сороковом году новой эры обсуждение вопросов перестройки народного хозяйства. Большую предварительную пропаганду идей экономического районирования Ленин считал необходимой,— и как осуществилось это нынешней весной! Ленин считал необходимым, чтобы воля к этому шла в значительной степени с самих мест,— и мы убедились, как воля мест отразилась в миллионах выступлений на собраниях, в десятках тысяч писем и предложений, полученных редакциями газет и журналов! В Советской стране имеется теперь более шести миллионов специалистов с высшим и средним специальным образованием, в то время как

в дореволюционной России таких специалистов насчитывалось менее двухсот тысяч. Есть теперь у нас в достаточном количестве соответствующие кадры!

Покойный И. Г. Александров — один из крупнейших наших ученых, специалист по вопросам экономического районирования,— высказывал в первые годы революции правильную мысль о том, что районирование тесно связано с повседневным опытом мест, с созданием новых высших форм организации труда. В статье «О районировании» он писал: «...работа теоретической мысли должна быть теснейшим образом связана с практикой самих трудящихся, и притом таким образом, чтобы каждый камень укладывался как часть нового здания, каждый поворот машины воспринимался как этап творчества».

Творчеством новых форм пронизаны помещенные в сборнике «Вопросы экономического районирования» материалы плана ГОЭЛРО, страницы плана первой пятилетки, статьи первых лет Советской власти, доклады Г. М. Кржижановского, М. Ф. Владимирского, И. Г. Александрова, К. Д. Егорова. На сороковом году революции читатель найдет в них тот большой опыт работы, который потребуется не только в пору непосредственного осуществления перестройки организации управления промышленностью. Он потребуется и в дальнейшем — в период налаживания и совершенствования деятельности советов народного хозяйства в экономических районах страны.

Бьющая ключом инициатива народа, его ученых, инженеров, экономистов отражена в этих двух книгах, посвященных практическому опыту прошлого и в то же время обращенных в будущее.

А. ЛИТВАК.



### Новые книги о Великой французской революции

В 1793 году, в разгар французской революции и ожесточенной борьбы с иностранными интервентами и внутренней контр-

**А. З. Манфред.** Великая французская буржуазная революция XVIII века. 1789 — 1794. Редакторы И. Седов и Г. Нерсесов. 288 стр. Госполитиздат. М. 1956.

**Жан Поль Марат.** Избранные произведения. Перевод с французского. Ответственный редактор академик В. П. Волгин. Том первый. 360 стр. Том второй. 316 стр. Том третий. 420 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1956.

революцией, народный трибун Максимилиен Робеспьер говорил: «Погибни свобода во Франции, и природа покроется погребальным покрывалом, а человеческий разум отойдет назад ко временам невежества и варварства. Деспотизм, подобно безбрежному морю, зальет земной шар... Мы боремся... за людей, живущих ныне, и за тех, которые будут жить». В этих словах Робеспьера — вдохновенный пафос, героика революционной борьбы и глубокая вера в народ, в его победу, в его будущее.

Французская буржуазная революция XVIII века была одним из значительнейших событий в истории. «Она недаром называется великой,— писал В. И. Ленин.—...весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии...».

А между тем о французской революции у нас мало исследований и сводных популярных трудов. Лучшей работой на русском языке является книга «Французская буржуазная революция XVIII века», созданная коллективом советских историков под редакцией академиков В. П. Волгинз и Е. В. Тарле. Она вышла в свет в 1942 году.

Рассматриваемый в этой заметке популярный очерк А. Манфреда написан обстоятельно, на высоком научном уровне. Автор привлек новые данные, удачно справился с освещением сложных исторических проблем; ряд их он самостоятельно ставит и решает.

Французская революция была направлена против феодально-крепостнического строя, хотя крепостного права во Франции уже не было, если не считать немногих монастырских владений по преимуществу на севере страны. Все же крестьян отягчали десятки различных повинностей за пользование землей сеньора и десятина (обычно много больше одной десятой доходов)—повинность в пользу церкви, одного из крупнейших феодальных землевладельцев Франции. Кроме того, крестьянин выполнял повинности по требованию сеньоров и платил налоги в пользу государства — абсолютной монархии во главе с всевластным королем, опирающимся на первое сословие—дворянство, второе—духовенство и на богатую верхушку пестрого по своему классовому составу третьего сословия, куда входили и буржуазия, и крестьяне, и ремесленники, и рабочие.

А. Манфред избежал ошибки многих историков, которые не учитывают того, что главным вопросом революции был аграрно-крестьянский вопрос, и основное внимание уделяют положению и борьбе городского населения.

Правильно характеризует автор и другие проблемы французской революции, а также ее основные этапы.

Чтобы ответить на сложный вопрос о том, как называлась революция и как она совершилась, А. Манфреду пришлось не только обрисовать экономику предреволюционной Франции, но и показать, как очень сильное, но еще политически неосознанное недовольство крестьян и городских «низов» вылилось в политическую борьбу. Для того чтобы они вступили в революцию, нужно было, чтобы существовал класс, который мог бы руководить революцией. Буржуазия, недовольная «старым порядком», долго не могла решиться присоединиться к народу. Ее основные слои примкнули к революции лишь под напором революционной волны, которая грозила смести и самую буржуазию. Это сказалось и в дальнейшем, когда одни за другими группы буржуазии стали отпадать от революции и переходить на сторону королевского лагеря.

Четко освещена в книге идеологическая борьба во Франции перед революцией. Выступления Бугаильбера, Сен-Симона, Лабрюйера, Фенелона, Лесажа и других представителей литературы перекликались с идеями «просветителей», стремившихся к реформе мира на новых, хотя и разных началах,—Монтескье, Вольтера, Руссо, Мелье, Морелли, Мабли, философов-энциклопедистов, физиократов.

Роль этих выступлений шире, чем иной раз представлялось их авторам: это была идеологическая подготовка революции. Исключая Мелье, идеи которого (изложенные в «Завещании») до революции почти не дошли не только до народа, но и до образованного общества, произведений «просветителей» и прогрессивных писателей мобилизовали передовых людей, а в конечном счете и народ на революцию.

А. Манфред хорошо обрисовал значение взятия Бастилии (14 июля 1789 года), первого политического выступления народных масс и в то же время начала революции. В книге показано, какой сильный резонанс сразу же получила французская революция во всех странах Европы. Однако можно было бы более обстоятельно описать, как распространилась революция в самой Франции.

На основании новых исследований виднейшего историка французской революции Лефевра можно утверждать, что в одних случаях в период между июлем и августом 1789 года революционное движение, начавшееся в Париже, перебрасывалось в города,



где свергались власти и учреждения «старого порядка».

В других случаях восставали непосредственно крестьяне, а затем уже из деревни пламя революции перебрасывалось в города. Кстати, автор совершенно правильно пишет о так называемой «ночи чудес», ночи 4 августа, когда Учредительное собрание при свете зарева горящих замков и факелов крестьянских шествий отменило некоторые, правда второстепенные, феодальные повинности крестьян. Но на той же 89-й странице автор не исправил ошибки французского историка Саньяка, который вместо ночи 4 августа пишет «ночь на 4 августа». Можно было бы отметить еще, что эти весьма ограниченные послабления крестьянских тягот не были утверждены Людовиком XVI.

Особенно удался А. Манфреду раздел о наибольшем подъеме революционного творчества народных масс, о кульминации восходящей линии революции — о якобинской диктатуре.

Большой патриотизм, подлинную, действительную любовь к родине проявили французские ремесленники, рабочие мануфактур, крестьяне, защищая революцию от контрреволюционных дворян, от лишившегося своих земель и феодальных привилегий духовенства, от иностранной интервенции, в том числе душителя революции — английской буржуазной олигархии. Французские патриоты заслужили бессмертную славу своей самоотверженной борьбой в тягчайших условиях голода, при недостатке оружия и боевых припасов, в условиях измены и предательства аристократов и крупной буржуазии.

Крайне сложен вопрос о противоречиях среди якобинцев. Союз передовой буржуазии и революционного народа мог быть только временным, до тех пор, пока не была разбита контрреволюция. Но затем сказались классовая ограниченность буржуазных революционеров. Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон, Дантон не пошли на дальнейшее углубление революции, например на конфискацию земель всех дворян, а не только эмигрантов или участников контрреволюционных мятежей; они даже издали закон о смертной казни для тех, кто предложит «аграрный закон» — конфискацию и раздел всех крупных земельных владений. Якобинцы не решились также уничтожить «максимум» на заработную плату. Более того, эти буржуазные революционеры расправились с

«ярыми» или «бешеными», которые выразили стремления народных масс к коренному улучшению их положения. И это явилось одной из причин разрыва якобинцев с широкими народными массами.

Несколько спорной в книге является трактовка эбертистов (левое крыло якобинцев). В общем она правильна, но следовало сильнее подчеркнуть преемственность между эбертистами и «бешеными» и отделить некоторые антиреволюционные элементы, затесавшиеся в среду эбертистов, от основного ядра этого хотя и пестрого по составу, но в целом революционного течения.

Почти одновременно с книгой «Великая французская революция» вышли в свет избранные произведения Жана Поля Марата — человека, которого называли «другом народа» и который отдал революции жизнь. Публикацию о трибуне французской революции открывает содержательная статья А. Манфреда.

Сочинения Марата изданы в трех томах. Первый охватывает период до революции, второй — от начала революции до вареннского кризиса, третий — от бегства короля до падения монархии.

Опубликованные материалы показывают Марата как теоретика революции и как одного из ее виднейших вождей, руководителя революционных восстаний народа против монархии и против правления жирондистской буржуазии.

«Едиственной законной целью всякой политической ассоциации является общее счастье. Каковы бы ни были притязания власть имущих, любое соображение должно отступить перед этим высшим законом» — вот исходная позиция Марата, теоретика революции. При этом Марат не идеализирует народ, он даже резко критикует его за недостаточное или неумелое использование своего права на восстание против угнетателей-тиранов.

Марат не сразу стал республиканцем — он полагал, что можно двигать революцию вперед и в условиях конституционной монархии. Однако в дальнейшем он одним из первых разгадал врага в примкнувшей к революции крупной либеральной буржуазии и либеральном дворянстве и разоблачил перед народом контрреволюционное большинство Законодательного собрания. Позиция Марата не является принципиально отличной от политической платформы Робеспьера и его сторонников. Но тем больший интерес, тем

большее значение имеют произведения Марата для понимания сущности французской буржуазной революции XVIII века.

Выход в свет обоих изданий нужно считать весьма положительным фактом. Они,

несомненно, расширят и уточнят представление читателей о Великой французской революции.

*Член-корреспондент Академии наук СССР*  
А. ЕФИМОВ.



## Время американских трудящихся

Недавно в Соединенных Штатах Америки произошло событие, привлекшее к себе немалое внимание американской общественности. Крупнейшие бизнесмены страны, предприниматели и финансисты, биржевые дельцы и председатели правлений ведущих промышленных компаний, собравшись в Нью-Йорке, решили провозгласить... пятилетний план. Правда, пятилетка эта особая, так сказать типично бизнесменская. Состоявшийся несколько месяцев назад 61-й ежегодный съезд Национальной ассоциации американских промышленников—этой ведущей организации финансово-промышленных воротил США—провозгласил необходимость оградить американских предпринимателей от налогообложения и выдвинул широко задуманный «пятилетний план снижения налогов с корпораций». Известно, что повышение или понижение налогов является прерогативой правительства, и то, что съезд предпринимателей позволяет себе планировать политику в этом вопросе, лишний раз свидетельствует о том, кто в действительности распоряжается в Вашингтоне!

Чем же вызваны подобные действия заправил американского большого бизнеса? Может быть, промышленники и финансисты Соединенных Штатов задыхаются под тяжестью налогов, может быть, налогообложение поставило их на грань разорения? Ничуть не бывало, отвечает на этот вопрос Прогрессивная исследовательская ассоциация по вопросам труда в США, издавшая книгу, озаглавленную «Время налогов».

Еще никогда, говорится в этой небольшой по объему, но значительной по содержанию книге, не были так высоки прибыли крупнейших американских корпораций. Налоги в Соединенных Штатах всей тяжестью легли на плечи трудящихся, отни-

мая у них пропорционально значительно большую часть денег, заработанных тяжким трудом, чем отдают капиталисты из своих огромных барышей.

Обширный и неопровержимо убедительный фактический материал книги дает ясный ответ на вопрос, кому приходится расплачиваться за политику лихорадочной гонки вооружений, проводимую агрессивными кругами США. Не говоря уже о том, что основная часть средств, поступающих в американскую казну в виде налогов, попадает в конце концов в бездонные сейфы пушечных королей, политика американских властей направлена на то, чтобы всемерно ограждать крупный капитал от тягот налогообложения.

Несколько лет назад правительство демократической партии, опасаясь возмущения народных масс, в явно демагогических целях ввело в стране так называемый «налог на сверхприбыль». Несмотря на огромную рекламную шумиху, поднятую прессой вокруг этого закона, он явно не оправдывал своего названия. Уже тогда видный американский экономист и специалист по финансовым вопросам Сильвия Ф. Портер писала, что «закон о налогах на сверхприбыль имеет столько исключений, поблажек и лазеек, что фактически не является действенным».

Однако даже и этот закон не устраивал американский крупный капитал. Весьма влиятельный и близкий к кругам большого бизнеса журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд репорт» вскоре после прихода к власти правительства республиканской партии опубликовал статью под весьма красноречивым заголовком: «Как высокие налоги наносят ущерб американскому капитализму». «Для того, чтобы частный капитал в Соединенных Штатах мог свободно действовать, — говорилось в этой статье, — требуется решительное снижение налогов на предпринимателей и пересмотр всей налоговой системы... Налогообложение, направ-

ленное против корпораций и частных капиталистов с доходами, превышающими средние, отбивает у частных лиц охоту к предпринимательской деятельности».

Результат этой кампании не замедлил сказаться. Налог на сверхприбыли был отменен, быстро закончив свое бесславное существование.

Но монополисты этим не ограничились. Они продолжают свое наступление. И вот Национальная ассоциация промышленников выдвигает свой пятилетний план снижения налогов на крупный капитал.

Налоги на доходы корпораций снижаются. А между тем военные расходы США растут год от году. Откуда же американские власти черпают средства на финансирование безудержной гонки вооружения? Авторы книги «Бремя налогов» отвечают на этот вопрос прямо и убедительно: «При каждой получке из заработной платы рабочего и жалованья служащего изымается значительная сумма, составляющая около трети заработка. Сумма, вычитаемая в виде налога, резко возросла в годы «горячей» и «холодной» войны. Это было достигнуто главным образом посредством повышения ставок налогов... Нынешняя основная ставка налога на доходы отдельных лиц создает нищету». Не случайно американская газета «Нью-Йорк телеграм энд сан» недавно горько шутила, что в день уплаты налогов отцы семейств по всей Америке возвращаются домой обшипанными, как цыплята, и говорят своим женам: «Дорогая, у меня для тебя ничего не осталось, кроме любви».

Однако общенациональными налогами дело не ограничивается. Американские трудящиеся платят еще налоги властям штатов и местным властям. При этом местные налоги также имеют тенденцию к быстрому увеличению. «Тот факт, что с 1949 года Вашингтон поглощен наращиванием военной мощи, — говорится в книге, — имел самое серьезное влияние на расходы штатов и местных властей США. Если раньше такие жизненно важные программы, как строительство дорог, школ и т. д., финансировались в значительной мере федеральной казной, то в последние годы большая часть бремени переложена на местные власти и власти штатов, которые и пустились в безудержное массовое налогообложение. Они стремятся к увеличению доходов фактически повсеместно, за исключением одного источника, где лучше всего можно было бы

получить средства, — повышения подоходного налога на лиц с высоким доходом и на прибыли концернов». Вместо этого местные власти придумывают все новые налоги и сборы, исчисляемые десятками. Американцы именуют их «надоедливими поборами». Специальные пошлины взимаются за пользование дорогами, мостами, туннелями, парками и т. д.

В последние годы американские монополии, стремясь возможно туже завинтить налоговый пресс, все шире прибегают и к так называемым косвенным налогам. Наиболее распространенным из них является налог на покупки. Фактически он входит в стоимость всех товаров, и, таким образом, американцам приходится значительно переплачивать, приобретая самые необходимые вещи. Покупая сигареты, бензин или уголь для отопления, американец платит косвенный налог, превышающий половину цены товара. Покупая костюм, он, помимо трехпроцентного налога штата, который приплюсовывается к номинальной стоимости товара, платит, не ведая того, еще сто пятнадцать различных налогов, уже включенных в номинальную стоимость на различных стадиях превращения сырья в готовую продукцию.

Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» недавно подсчитала, что такое же положение имеет место и с продовольствием. Свыше двадцати процентов цены основных продуктов питания приходится на долю налога. Косвенные налоги растут в США особенно быстро, поскольку они, скрытые в цене товара, не столь заметны для населения. Так американские власти все шире используют косвенное налогообложение для ограбления трудящихся.

Налоговая политика правящих кругов США целиком и полностью определяется ведущими монополиями страны. «Реформа налоговой системы, осуществляемая в Соединенных Штатах, — весьма откровенно писала газета «Нью-Йорк таймс», — служит, по-видимому, лучшим доказательством того, что нынешнее правительство является правительством предпринимателей». Авторы книги «Бремя налогов» показывают, что такие могущественные организации американских предпринимателей, как Национальная ассоциация промышленников, Американская торговая палата и другие, оказывают давление на правительство, диктуя

ему мероприятия, выгодные крупному капиталу.

«Большинство из тех, кто входит сейчас в правительство, — говорится в книге, — хорошо обеспеченные дельцы, стремящиеся свести к минимуму свои собственные налоговые платежи. Часто ведущими членами финансовых комиссий конгресса, где берут свое начало федеральные налоговые законы, являются миллионеры, которые лично заинтересованы в том или ином предложении, выгодном для капиталистов. Представители Белого дома, занимающиеся налоговыми вопросами, также относятся к этому классу... Имеется множество примеров, когда

конгрессмены и другие высокопоставленные лица действуют непосредственно в интересах миллиардеров. И фактическое отсутствие каких-либо представителей народа в правительственных органах приводит к тому, что их деятельность определяется не интересами трудящихся, а интересами богатей».

Политика правящих кругов США — это политика крупных монополий и для крупных монополий. С такой мыслью переворачивает читатель последнюю страницу книги «Бремя налогов», написанную прогрессивными экономистами Америки.

Вал. ЗОРИН.



### Фундаментальный труд по истории науки

„Какую поддержку надо оказать науке, чтобы она процветала и росла? Каким образом можно использовать результаты науки в наилучших целях на благо человечества?» — вот задачи, решению которых посвящен новый труд известного прогрессивного английского ученого и общественного деятеля Дж. Бернала «Наука в истории общества».

Огромное и кропотливое исследование проделал автор, изучая историю взаимоотношений науки с другими элементами общественного развития от зарождения науки и до наших дней. Но Бернал меньше всего походит на бесстрастного летописца. Глубоко убежденный в решающем влиянии науки на цивилизацию, он стремится сделать это влияние благотворным, отсечаящим чаяниям простых людей во всем мире.

Выдающиеся ученые, содействовавшие прогрессу науки и глубоко проникавшие в тайны природы, на протяжении столетий были лишены возможности контролировать результаты своей работы, нередко становившиеся причиной многочисленных бедствий и несчастий для людей. Теперь же, пишет Бернал, когда «наука все более непосредственно вовлекается в весьма неприятные сферы подготовки войны», такое положение не может больше удовлетворять ученых, «которым трудно избежать моральной ответственности». И хотя, по мнению Бернала, процесс превращения науки в ответственную силу только начинается, он становится

одним из наиболее важных преобразований, происшедших за всю историю человечества.

В связи с этим Берналу приходится вести борьбу против распространенного среди буржуазных ученых нигилистического отношения к истории науки. «К счастью, все большее количество ученых, — пишет он во введении к своей книге, — в наше время начинают осознавать последствия такого пренебрежительного отношения к истории и вместе с тем, что неизбежно, последствия пренебрежительного отношения и к осмысленной оценке места науки в обществе. Только такое знание истории может предохранить ученых — ради того престижа, которым они пользуются, — от роли слепых и беспомощных пешек в великой современной драме использования и злоупотребления наукой».

Развитие человеческого общества характеризуется прочной взаимозавязанностью различных составляющих его элементов. Ни одна сторона общественной жизни не может быть изучена и правильно изложена без связи со всеми остальными сторонами.

Такая диалектическая постановка проблемы — несомненная заслуга автора. «Эта книга, — пишет он, — не претендует на то, чтобы быть историей науки. Ее темой, по существу, является взаимодействие науки и общества». И это взаимодействие прослеживается автором на богатейшем историческом материале, начиная от первобытного строя и кончая современностью.

Тот факт, что в течение значительного времени техническая традиция, дающая импульс развитию научных исследований, развивалась в отрыве от науки, а наука и техника долгое время были разделены сте-

Дж. Бернал. Наука в истории общества. Перевод с английского. Общая редакция Б. М. Кедрова, И. В. Кузнецова. 736 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1956.

ной классовой обособленности, Бернал считает важнейшим условием, приведшим в прошлом к отставанию и неравномерному развитию как техники, так и науки.

Одной из основных причин, мешающей прогрессу науки и техники, Бернал совершенно правильно считает разделение общества на антагонистические классы. На многочисленных примерах он показывает, что наличие классовых интересов препятствует развитию науки и приводит к недостаточному использованию «огромных ресурсов действительного знания» из-за игнорирования тех открытий, применение которых не обещает максимальной прибыли. Результатом этого были, например, задержки в развитии моторостроительной, строительной и электротехнической промышленности, где отдельные изобретения не находили себе практического применения по многу лет.

В число других факторов, тормозящих развитие научных знаний, Бернал включает консервативную идеологию господствующих классов. Буржуазия устами своих идеологов стремится увековечить эмпиризм, обособленность науки от философии, позитивизм. Такая тенденция на деле сводится к возрождению худших видов идеализма и агностицизма давно прошедших времен. Задача науки, отмечает Бернал, состоит в создании такой философии, которая явилась бы надежной методологической основой для развития научного знания и которая развивалась бы и обогащалась в свою очередь на основе опыта науки в связи с ее общественными задачами. Первые шаги в такой философии были сделаны Марксом и Энгельсом много лет тому назад. Последующий опыт углубил и расширил их выводы.

Посвятив значительную часть своего труда описанию положения науки в наше время, Бернал отмечает огромные успехи научного исследования в познании природы живой и неживой материи. «Мы можем,— пишет он,— с полным основанием говорить о второй научной революции в XX веке».

Раскрывая содержание научной революции, автор прослеживает значение таких великих, принципиальных достижений современной науки и техники, как теория относительности (Эйнштейн), квантовая теория (Планк, де Бройль, Гейзенберг, Дирак и Шредингер)— в области математической физики; теория ядра и его расщепление (Резерфорд, Бор, Жолио-Кюри, Ган, Чад-

вик и другие), приведшие к использованию внутриатомной и термоядерной энергии,— в области ядерной физики; открытие рентгеновских лучей и их свойств, радиовещание (Попов), телевидение, радиолокация, электронные счетные машины, кибернетика и полупроводниковая техника — в области электроники; создание новых синтетических материалов, в особенности полимеризация,— в области органической химии; открытие витаминов, гормонов и антибиотиков (Гопкинс, Брантинг, Флеминг), механизма условных рефлексов (Павлов) и наследственности (Де Фриз, Мичурин, Морган и другие) — в области биологии и медицины; развитие современной транспортной техники (изобретение и совершенствование автомобиля, аэроплана, реактивных самолетов и ракет).

Но, перечисляя огромные успехи научного познания действительности, английский ученый не скрывает того факта, что наиболее характерными чертами развития науки в капиталистических странах является концентрация научных исследований в руках отдельных монополий, а также милитаризация науки. Он с горечью указывает на тот факт, что в США — крупнейшей капиталистической стране — университеты попали в руки монополий, представители которых контролируют всю их жизнь: дают средства на научные исследования, занимаются распределением правительственных дотаций, предоставляют работу оканчивающим высшее учебное заведение и т. д. Одновременно с этим Бернал отмечает проникновение в науку современного капиталистического духа стяжательства и погони за максимальной прибылью. Так, пишет он, «практически применение научных исследований является формой капиталовложений». Именно требование максимальной прибыли способствовало военизации науки и техники. В области военного производства прибыли отличаются большим размером, и капиталистическая пропаганда работает для увеличения спроса на эти товары.

Эгоистические интересы капиталистов, опутавших сетями свободное научное исследование, вызывают резкое осуждение со стороны Бернала. Он пишет: «Когда как ученые, так и широкие слои народа поймут общественное значение науки, они не смогут больше жить по-старому и не допустят, чтобы наука и техника развивались от случая к случаю под действием сдерживающих

и извращающих их развитие частных интересов».

Полную противоположность капиталистическому миру представляет положение науки в социалистических странах. Общее благосостояние, а не максимальная прибыль, является здесь критерием экономического развития и соответственно критерием развития наук. Автор отмечает успехи, достигнутые Советским Союзом в деле воспитания научных кадров. В нашей стране выпускается в два раза больше специалистов, чем в США. Он отмечает также продуманную и все улучшающуюся систему распределения средств между отдельными отраслями науки и все увеличивающую роль женщин в научных исследованиях, проводимых в социалистических странах. Особенно подчеркивает Бернал плановый характер науки в СССР и в странах народной демократии и ее огромную роль в руководстве экономическим и техническим строительством.

На страницах книги Бернала упоминаются имена таких выдающихся русских и советских ученых, как И. И. Мечников, Д. И. Менделеев, Н. Е. Жуковский, И. П. Павлов, Л. И. Мандельштам, Н. Н. Семенов, Д. В. Скобельцын и другие, которые внесли большой вклад в сокровищницу мировой науки. Среди «гигантов старшего поколения физиков-теоретиков» Бернал наряду с Эйнштейном, де Бройлем и Дираком упоминает выдающегося советского физика Я. И. Френкеля.

Страстной верой в силу научного знания проникнуты заключительные страницы книги Бернала.

«Преобразование общества и создание общества, свободного от эксплуатации, — пишет он, — может быть осуществлено с помощью науки и только науки. На протяжении длительного периода господства классовых обществ наличная техника никогда не была настолько высоко развита, чтобы обеспечить более чем небольшой избыток продукции над средствами существования, который присваивался господствующим классом. Теперь благодаря науке мы можем сделать этот избыток настолько большим, насколько захотим, однако нищета и угроза войны останутся участью человека до тех пор, пока нельзя будет свобод-

но использовать науку и пока она будет извращаться ради дурных и разрушительных целей. В ходе всех предшествующих классовых битв один класс просто занимал место другого, а эксплуатация продолжалась в иной форме. При переходе от капитализма через социализм к коммунизму эта необходимость наконец исчезнет, производство будет достаточно обильным, чтобы устранить всякую потребность в пролетариате или крепостных. Однако останется потребность в науке, которая теперь не ограничивается немногими специалистами, а является частью жизни всего народа».

Советский читатель с большим интересом прочтет книгу Бернала, хотя, быть может, не со всеми ее выводами согласится. Ряд спорных мыслей можно встретить при попытках автора проследить влияние естественнонаучных идей на экономику, политику и идеологию общества. Весьма спорным представляется также тезис о происхождении науки из религии. Однако в целом среди переведенных на русский язык трудов по истории науки едва ли найдется другая столь концентрированная и содержательная работа. Написанная с методологически правильных, марксистских позиций, книга Бернала принесет большую пользу широкому слою советской интеллигенции.

Издательство иностранной литературы выпустило книгу в хорошем оформлении. Она снабжена многочисленными схемами и рисунками, а также библиографией и обширными предметным и именовым указателями.

К сожалению, справочный аппарат составлен крайне небрежно и изобилует опечатками, что затрудняет пользование им. В именовом указателе перспутаны инициалы и даже фамилии некоторых советских ученых. Иногда страницы именового указателя не соответствуют тексту. С другой стороны, фамилии ученых, встречающихся в тексте, не всегда можно разыскать в именовом указателе.

При переиздании книги — а оно несомненно потребует — издательству нужно более внимательно и ответственно отнестись к работе по составлению необходимого читателям справочного аппарата.

*Кандидат философских наук*

**Ю. СЕМЕНОВ, М. ТУЛЬЧИНСКИЙ.**



## Туристские карты

**В**елико у нас число любителей туризма. С каким удовольствием многие проводят свой летний отпуск в увлекательных походах и поездках по родной стране! Некоторые устремляются на юг, на побережье Черного моря, совершают переходы через хребты Кавказа. Других манят к себе суровый Алтай и Забайкалье. Третьи утверждают, что ничего нет лучше природы нашей средней полосы.

Туристско-экскурсионное управление ВЦСПС разработало маршруты, по которым туристы путешествуют группами в сопровождении экскурсовода. Но еще больше любителей туризма самостоятельно путешествует по привлекающим их местам. А как выросло за последние годы число туристов-автомобилистов! Тысячи их в летние месяцы на собственных машинах пересекают просторы нашей Родины.

За последние годы наши газеты и журналы не раз писали о необходимости помогать туристам. Речь идет не только о расширении сети гостиниц, строянок автомашин, но также и о выпуске различных путеводителей и справочников.

Если текстовые путеводители по отдельным районам, рекам, городам у нас все же выпускаются, то с картами — этими необходимыми спутниками туриста и экскурсанта — дело обстоит плохо. До 1956 года их по существу не было совсем. Поэтому выпуск в прошлом году Главным управлением геодезии и картографии десяти туристских карт по Кавказу, Карпатам, Подмосковию, Украине, Крыму и других нужно расценить как хорошее, полезное начинание.

Нет сомнения, что эти карты помогут многочисленным отрядам туристов и краев-

ведов познать многообразную природу, хозяйство и историю нашей Родины.

Вышедшие карты можно разделить на два типа: обзорные и маршрутные. Первые предназначены в основном для туристов-автомобилистов и экскурсантов, передвигающихся на парохде и поезде, вторые — для пешеходов, велосипедистов, байдарочников, лыжников.

подавляющую часть объектов, с которыми рекомендуется познакомиться туристам, составляют исторические памятники и памятники архитектуры. Большую и нужную работу проделали составители карт, собрав сведения о местах, где утвердилась слава русского оружия, о местах революционных боев, о полях сражений гражданской и Великой Отечественной войн. Сделать это было трудно, потому что еще о многих и многих областях и городах мы не имеем ни краеведческих, ни исторических очерков.

Вместе с тем, судя по содержанию обзорных карт, составители очень узко понимают задачи туризма. Из их поля зрения почти совсем выпали природа и творческий труд советских людей.

Если на карте «Подмосковье» изредка обращается внимание на те или иные интересные детали подмосковной природы, то на обзорных картах Крыма, Украинской ССР и Молдавской ССР этого нет. Крым, например, судя по списку туристских объектов, представляет интерес в основном своими историческими памятниками. А ведь ясно, что большинство людей, отправляющихся в Крым, хочет прежде всего воспользоваться его благодатными климатическими условиями, морем, красотами необычной для Русской равнины природы.

Хочется поделиться некоторыми соображениями о специфических особенностях обзорных и маршрутных карт.

При отборе содержания обзорных карт не было единого подхода. Правильно поступили авторы карты «Крым», поместив адреса гостиниц, заправочных пунктов и ремонтных мастерских. А вот карта «Подмосковье», к сожалению, лишена этих сведений. В то же время на ней показаны буквально все усадьбы, а на карте «Крым» не показан даже Воронцовский дворец в Алушке.

**Подмосковье.** Масштаб 1:600 000. Составлена и оформлена Научно-редакционной картосоставительской частью ГУГК.

**Крым.** Масштаб 1:600 000. Составлена Киевской картографической фабрикой ГУГК.

**Украинская ССР и Молдавская ССР.** Масштаб 1:1 500 000. Составлена Киевской картографической фабрикой ГУГК.

**Сходня — Лисичкий Бор.** Масштаб 1:150 000. Составлена и оформлена Научно-редакционной картосоставительской частью ГУГК.

**По лесистым Карпатам.** Масштаб 1:130 000. Составлена и оформлена Научно-редакционной картосоставительской частью ГУГК, и другие карты.

Туристские карты перегружены сведениями, составляющими содержание обычных карт, например множеством населенных пунктов, расположенных в стороне от дорог и не имеющих интересных объектов. В оформлении карт мало инициативы, выдумки.

Уже указывалось, что маршрутные карты предназначены в основном для туриста-пешехода. В соответствии с этим масштаб их крупнее и требования к ним несколько иные, чем к обзорным картам для автомобилистов. Помимо экскурсионных объектов, здесь должны быть выделены и объекты собственно туризма как вида спорта: трудные перевалы, сложные и опасные переправы, крутые подъемы и т. д. Желательно, чтобы на картах были показаны и хорошие места для ночлегов, дневок, места для купаний. К сожалению, таких сведений на картах, как правило, не найдешь. Правда, на них показаны туристские базы, альпинистские лагеря, на некоторых картах даны места привалов, но все это рассчитано на туристов, идущих группой по путевкам, с инструктором.

Недостатком ряда маршрутных карт является то, что их текст не знакомит туриста с особенностями природы. Известно, например, что живописный район озера Селигер привлекает ежегодно тысячи любителей природы, водного спорта, рыболовства. Однако на карте мы найдем лишь памятники архитектуры, краеведческие му-

зеи и т. п. Безусловно, все это представляет интерес, но не только ради них отправляются туристы к Селигеру.

Раскроем карту «По лесистым Карпатам». После ознакомления с ее содержанием слово «лесистые» вызывает недоумение. Ведь о своеобразной природе Карпат и об их лесах турист ничего не узнает ни из самой карты, ни из пояснительного текста.

На других маршрутных картах объекты природного ландшафта в большей или меньшей степени нашли свое отражение.

Три маршрутные карты — «Сходня — Лисицкий Бор», «Через Рокский перевал» и «Красноярский заповедник «Столбы» — сопровождаются текстовыми описаниями района по маршруту. Это обогащает карты и облегчает пользование ими.

Нельзя обойти молчанием оформление карт. Они складываются в виде книжек. Но формат их не всегда удачен. Это относится особенно к маршрутным картам, которыми пользуются в походе. Желательно, чтобы они помещались в кармане. Наиболее удачен формат карт «Красноярский заповедник «Столбы» и «Через Рокский перевал».

Жаль, что не все карты отпечатаны на достаточно прочной бумаге. Ведь ими приходится пользоваться в полевых условиях.

*Кандидаты географических наук*

**В. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,  
Л. СЕТУНСКАЯ.**





# ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

## НОВООТКРЫТЫЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК

Мы, историки русского искусства XIX века, все еще мало знаем выдающихся наших художников середины этого столетия. Так, например, до сих пор даже в кругу специалистов был почти не известен замечательный художник-портретист Николай Александрович Бестужев. Причина этого незнания кроется в том, что не была разыскана его знаменитая галерея портретов декабристов, распылившаяся по многочисленным частным коллекциям и государственным хранилищам. Открытие основного собрания этих портретов и сведение воедино всех данных о других художественных произведениях Бестужева принадлежат И. Зильберштейну, потратившему на это несколько лет упорного исследовательского труда и выпустившего недавно книгу «Николай Бестужев и его живописное наследие» («Литературное наследство», т. 60, кн. II, Издательство Академии наук СССР. М. 1956).

Уже самый замысел создания подобной художественной галереи в условиях капитального труда, в кандалах, под неусыпным надзором шпионов расценивался русской общественностью шестидесятых годов XIX века как второй революционный подвиг Бестужева. Исследуя шаг за шагом все стадии его художественного творчества с двадцатилетнего возраста до смерти, автор книги внес серьезный вклад в историю русского искусства.

Перед нами впервые во весь рост встал неведомый до сих пор большой художник. Из нескольких сот исполненных Бестужевым в Сибири портретов декабристов сейчас разысканы подлинные жемчужины живописи, которые убедительно доказывают профессиональное мастерство художника.

Из книги И. Зильберштейна читатель узнает и об отце Николая Бестужева — Александре Федосеевиче, жизнь которого также весьма интересна и значительна.

Окончив в 1779 году Артиллерийско-инженерный кадетский корпус, А. Ф. Бесту-

жев был оставлен там в качестве преподавателя.

В 1789—1790 годах он принимал участие в войне со шведами и был тяжело ранен в бою. Это лишило его возможности активно

продолжать военную службу, и он вплотную занялся литературной работой. Еще во время службы в артиллерии Бестужев трудился над трактатом «О воспитании». Он убедил своего друга и соратника по шведскому походу И. П. Пнина основать вместе с ним печатный орган под названием «С.-Петербургский журнал». Издателем и редактором журнала стал Пнин, так как это было невозможно для военнослужащего Бестужева. В этом журнале в течение всего 1798 года, из номера в номер, печатался трактат «О воспитании». Благодаря статьям Бестужева и Пнина журналу удалось завоевать славу вольнодумного и антикрепостнического печатного органа.

И. Зильберштейн в своей книге подробно знакомит читателя с содержанием трактата «О воспитании». Через весь этот объемистый труд, проникнутый идеями гуманизма, красной нитью проходит мысль об утверждении «во всей силе гражданственного равенства». Воспитание, по мысли Бестужева, «должно предупредить пустую гордость породы, величающейся родословною своих предков и уверяющей благородных, что крозь их чище прочих сограждан».

Непонятно, почему до сих пор об этом трактате нет никаких упоминаний в педагогических исследованиях.

Сто пятьдесят лет тому назад, после смерти Павла I, когда трактат был издан отдельной книгой, И. Пнин очень высоко оценил его в своем выдающемся публицистическом труде «Опыт о просвещении относительно к России».

Идеи, изложенные в трактате, А. Ф. Бестужев стремился реализовать в своей семье.

Истари в русских дворянских семьях водилось направлять старшего сына по служебному поприщу родителя. Поэтому Николай Бестужев был определен в тот же кадетский корпус, где обучался его отец. Огромное значение Бестужев-отец придавал художественному воспитанию подрастающего поколения, считал необхо-

димым уже в раннем возрасте воспитывать вкус к искусству, к рисованию, к живописи, скульптуре, архитектуре. Отец водил сына в музеи, показывал ему иллюстрированные издания, объяснял значение гравюр. Николай Бестужев в автобиографической повести «Русский в Париже» писал, явно имея в виду самого себя: «Я с юности назначен был для живописи: учился; с пламенной душой искал разгадки для тайны искусства...»

Благодаря дружеским связям Александра Федосеевича с известными «любителями художеств» — А. И. Корсаковым, Ф. П. Толстым, А. С. Строгановым, А. Н. Олениным и П. А. Кикиным — его сын уже в десятилетнем возрасте был вхож в их дома и картинные галереи, особенно после того, как в 1800 году его отец занял должность правителя канцелярии при президенте Академии художеств А. С. Строганове. Вслед за тем он стал конференц-секретарем, то есть первым лицом после президента.

А. Ф. Бестужев был человеком редкой обаятельности и высокой духовной культуры, об этом красноречиво свидетельствует и его прекрасный портрет, написанный Боровиковским в 1806 году. Николай Бестужев, вспоминая свою юность, сообщает, что Боровиковский писал и портрет его матери, до сих пор не разысканный. Он рассказывает об этих сеансах: «Я помню ее если не красавицей, то, по крайней мере, очень, очень приятной женщиной, что доказывает и ее портрет, сделанный тогда уже, когда ей было за тридцать лет, Боровиковским. Я как теперь вижу старика живописца, пишущего левой рукою». Неожиданно в искусствоведческую литературу попадают сведения о том, что Боровиковский был «левшой».

В книге И. Зильберштейна сообщается множество фактов, рисующих жизнь художников того времени, обстановку занятий в академии, характер и быт ее профессоров. Все эти попутно раскрывающиеся жизненные детали обогащают общую ткань повествования, читающегося как занимательный роман об одном из самых замечательных людей той эпохи.

Есть сведения, исходящие из нескольких источников, в том числе и лично от Николая Бестужева, что он в юные годы посещал классы Академии художеств, хотя в списках учеников и не значился. Тогда в академию поступали в шести- и десяти-

летнем возрасте. Все близкие к Бестужеву лица единодушно свидетельствуют, что он много и успешно занимался рисованием и живописью, по общему признанию считался художником-профессионалом.

В самый разгар подготовки вооруженного декабрьского восстания создатель и фактический руководитель основанного в 1821 году «Общества поощрения художников», высококультурный ценитель искусства П. А. Кикин 22 октября 1825 года предложил комитету общества принять в члены капитан-лейтенанта Н. А. Бестужева. Семнадцатого декабря, за несколько дней до восстания, Бестужев написал благодарственное письмо секретарю общества В. И. Григоровичу в связи с этим почетным и лестным избранием.

Но значение Бестужева как русского художника первой половины XIX века оставалось до сих пор неясным из-за отсутствия фактических материалов. Труд извлечь их из забвения и организовать в стройный ряд взял на себя И. Зильберштейн. Гигантские залежи вскрытых им документальных материалов, разбросанных по всем государственным и частным архивам Советского Союза, и тысячи писем показывают, какой это был труд, приведший к созданию лежащей перед нами книги. Достаточно сказать, что только цифра архивных и библиографических сносок в книге доходит до семисот тридцати.

В результате настойчивых розысков выяснилось, что Бестужев с десятилетнего возраста каждодневно занимался рисованием и живописью под руководством опытных педагогов академии. Более всего увлекала его работа над портретом, но до недавнего времени не был известен ни один портрет, исполненный Николаем Бестужевым до декабрьского восстания, хотя, по неоднократному свидетельству его младшего брата Михаила, он в те годы часто копировал или писал с натуры акварельные портреты в единственной распространенной тогда технике XVIII и начала XIX веков — гуашью.

И. Зильберштейну удалось установить наличие по крайней мере трех бестужевских портретов, исполненных гуашью, между 1814 и 1825 годами. Наиболее ранний из них — автопортрет Бестужева, относящийся, судя по всем данным, к 1814—1815 годам, когда ему было около двадцати трех лет. Как этот портрет, так и следующий по

времени, писанный с брата А. А. Бестужева, сделанный в 1823 или 1824 году, еще не представляли собой образцов высокого искусства.

Гораздо интереснее в художественном отношении третье произведение, исполненное в той же технике,— автопортрет 1825 года, в котором художником проявлено уже немалое мастерство. Насколько к этому времени вырос художественный вкус Бестужева, видно из того углубленного интереса ко всем явлениям искусства, которым проникнуты его мысли, занесенные в «журнал плавания» во время большого морского похода, проделанного в 1824 году на фрегате «Проворный». Подробно описывая города, в которых останавливался фрегат, он находит время в течение трехдневного пребывания в Копенгагене посетить тамошнюю Академию художеств и восхищается произведениями Торвальдсена.

В записках, заметках, рассуждениях, озаглавленных «Всякий вздор» и впервые разысканных Зильберштейном, попадают мысли, встречающиеся только у людей незаурядных. Так, увидев в оригинале «Венеры Медицейскую», он записывает: «Венера Медицейская есть совершеннейший идеал красоты, даже не столько изящностью наружных форм, сколько выражением высоконравственной идеи. Художник был философ: он знал, что стыд есть главный атрибут красоты. Посмотрите!.. Она стыдится: он знал, что самая совершеннейшая красота не должна вся отдаваться взорам, но всегда оставлять место воображению,— посмотрите, она закрывается». В путевых записках он с восхищением рассказывает о «Ночном дозоре» Рембрандта, считая его высшим достижением портретной живописи. Это не многие тогда понимали.

А какой решительности и отваги был этот человек, показывает известный эпизод с письмом-доносом Ростовцева Николаю I. Когда в руки Рылеева за два дня до восстания попала копия этого гнусного доноса, он спросил Бестужева: «Что же, ты полагаешь, нужно делать?» Тот ответил: «Не показывать этого письма никому и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели на постели». Так он и поступил, повернув обратно к площади колебавшихся солдат гвардейского морского экипажа. Убедившись в явном провале

вооруженного восстания, Бестужев решил идти пешком по льду в Кронштадт, чтобы оттуда добраться до Швеции. Бежал он, побуждаемый жаждой продолжать революционную деятельность в эмиграции. Сохранилась следующая краткая, но яркая характеристика Рылеева, принадлежащая Бестужеву: «Все действия жизни Рылеева озаменованы были печатью любви к отечеству, она проявлялась в разных видах: сперва сыновною привязанностью к родине, потом негодованием к злоупотреблениям и, наконец, развернулась созершено в желании ему свободы». Приводя эти слова, И. Зильберштейн пишет: «То же можно сказать о самом Бестужеве». В Кронштадте Бестужев был опознан, выдан и арестован. Чрезвычайно характерно для него то, что единственным предметом, который он хотел взять с собой в ледовый поход в Кронштадт, был ящик с красками. В эти грозные дни бесстрашный революционер находил время думать об искусстве. 13 декабря 1827 года, накануне второй годовщины восстания, братьев Николая и Михаила Бестужевых доставили в Читинский острог закованными в железо. После пятаерых, осужденных на казнь, они были признаны государственными преступниками второго разряда и оказались единственными, осужденными на вечные каторжные работы.

Здесь, в Сибири, Бестужев делал все, что было в его силах, чтобы продолжать свою художественную деятельность. Искусство акварели в то время не имело уже ничего общего со старыми петербургскими миниатюрами на слоновой кости. В самом конце XVIII века и в начале XIX до Петербурга стали доходить образцы новой акварельной техники, дотоле в России не известной и завезенной из Англии. Новизна ее заключалась в том, что вместо работы на кости при помощи гуаши, то есть акварельной краски, смешанной с белилами, передовые западноевропейские художники начали писать на бумаге чистой акварелью, не разбеленной гуашью. Впитываясь в бумагу, акварель требовала особой сноровки, но зато при этом новым способом достигались чарующие живописные эффекты и особая прозрачность цвета. Бестужев, вероятно, уже видел в Петербурге образцы новой техники в акварелях Ф. Я. Алексеева, М. М. Иванова, а позднее у П. Ф. Соколова, где он бывал. Свободно

владели этой новой техникой и братья Брюлловы, но основательно ознакомиться с нею Бестужеву довелось только в Сибири. К счастью, к его услугам здесь было пять неплохих образцов подобной живописи самого Петра Соколова, привезенных добровольными узниками, последовавшими в Сибирь за своими мужьями. Один портрет — М. Н. Волконской с десятимесячным ребенком — был специально заказан ею Соколову после ареста мужа в 1826 году. Портрет не совсем удался. Мария Николаевна торопила художника, да и мальчик не желал сидеть на коленях матери. Другой портрет она заказала Соколову со своего отца, героя Бородинского сражения, Н. Н. Раевского, и оба портрета привезла в Сибирь. Портрет Раевского отличается исключительной силой выразительности и жизненности. Это один из подлинных шедевров Петра Соколова. Открытие третьего соколовского портрета — жены декабриста Никиты Муравьева — также принадлежит И. Зильберштейну, опознавшему подлинного автора этого произведения искусства в 1953 году. Отклеив картон оборота, он нашел под двумя заклеенными бумагой кольцами рамы собственноручную французскую надпись жены Никиты Муравьева: «*Portrait pour cher Nikita*». Портрет этот был передан Н. М. Муравьеву с разрешения Николая I в Петропавловскую крепость и затем увезен декабристом в Сибирь. По высокому мастерству и тонкости характеристики этот сохранившийся до наших дней портрет — второй шедевр Соколова, попавший в Сибирь. Глядя на этот обаятельный женский облик, понимаешь, почему в среде декабристов Читинского острога Александра Григорьевна Муравьева именовалась «ангелом-хранителем».

Изучение новой техники Бестужев начал с копирования соколовских оригиналов, прежде всего, по-видимому, с портрета Н. Н. Раевского, поразившего его своим мастерством. На первых порах Бестужева постигла неудача — копия получилась несколько деревянной по форме, неточной по рисунку, лишенной жизненности. Бестужев не раз копировал и понемногу начал осваивать новую технику. Он сделал по всем стилистическим признакам близкую к оригиналу копию головки Г. Н. Бальмена, сестры декабриста П. Н. Свистунова. Найдется когда-нибудь и хорошая копия портрета Раевского.

Покончив с копированием акварелей Соколова, Бестужев стал писать в Читинском остроге портреты с натуры. Все они датированы, но те, которые художник считал, видимо, наиболее удачными, он не без гордости подписывал. Недатированные портреты 1828 года еще слабы, определение же недатированных акварелей трудно и спорно.

Наиболее удачные портреты начинаются с конца 1830-х годов и продолжаются в 1840-х. Это погрудные портреты С. Г. Волконского, Артамона Муравьева и Михаила Бестужева. Великолепно нарисована и вылеплена голова Волконского, хорошо найдено гармоническое соотношение общего цветового решения лица, волос и одежды.

Артамон Муравьев дан крупным планом, смелыми мазками написаны волосы, жилет, рубашка. Свидетельством большого движения художника вперед служит блик на волосах, сделанный не белилами, а приемом сохранения белизны бумаги.

Однообразные вначале позы приобретают индивидуальный характер. Великолепна фигура облокотившегося о стол брата художника — его революционного сподвижника и боевого друга Михаила Бестужева.

А как метко схвачено главное в портрете Щепина-Ростовского (1839) — портрете, не уступающем ни одному из крупных тогдашних столичных мастеров!

Просматривая эту портретную галерею, невольно задаешь себе вопрос, оправдали ли себя двадцатипятилетние упорные усилия художника Бестужева? Чтобы ответить на него, надо вспомнить, что же представляла собой русская акварельная живопись в те времена, когда закованный в кандалы художник-революционер десятилетиями искал наилучшие средства художественной выразительности.

Кроме П. Ф. Соколова и двух братьев Брюлловых, в России тридцатых—сороковых годов XIX века не было выдающегося художника-акварелиста, который мог равняться с акварелистами англичанами, французами и немцами. Эти три даровитых человека были, конечно, выше по мастерству, нежели Бестужев. И все же последний как художник-портретист, бесспорно, значительнее тех многочисленных акварелистов, которые сотнями оставляли свои портретные упражнения в альбомах помещичьих усадеб. Да и общепризнанные тогда художники, такие, как Горбунов, Рудольф Жу-

ковский, Бабаев, Рейтерн, И. Скотти, Крендовский, по своему художественному уровню ниже Николая Бестужева. До нас дошли сделанные Бестужевым портреты чрезвычайно высокого художественного совершенства. Один из них — портрет Марии Казимировны Юшневской, жены декабриста А. П. Юшневского. Портрет относится к концу тридцатых годов. Вы видите, с каким артистическим мастерством распределены на нем валеры темных волос, легкой материи платья и не тронутая цветом, только слегка очерченная контуром косынка. А как сделана голова! Всмотревшись в приемы живописи, просто не понимаешь, каким образом мог возникнуть задолго до рождения Врубеля этот столь близкий ему образ.

А вот другой портрет тех же сороковых годов — Никита Яковлевич Бичурин, гордость русской и мировой науки востоковедения. Сын дьячка, окончив духовную академию, он пошел в монахи, чтобы попасть в русскую миссию в Пекине. Его давней мечтой было узнать народ, создавший культуру, насчитывающую свыше пяти тысяч лет. Здесь он жил и работал четырнадцать лет, написал десятки научных трудов, за которые был избран членом-корреспондентом Академии наук. Когда же, вернувшись в Петербург, он захотел снять с себя рясу, его отправили в вечную ссылку. Пушкин и Крылов были почитателями Бичурина.

Занятый только созданием портретов, Бестужев оторвался от живописи пейзажа, которая в Петербурге и Москве, недостижимых для него, совершала свою эволюцию в ином направлении, нежели она протекала в портретной живописи. В Академии художеств в 1820-х годах уже бывали на выставках изумительные образцы русской пейзажной живописи — Федора Алексеева, Сильвестра Щедрина, Максима Воробьева, не уступавшие прославленным пейзажам Западной Европы. Их не мог не видеть Бестужев. Но почему же в его «картографических упражнениях» не отразилось ничего из новейших достижений в изображении русского пейзажа? И все же И. Зильберштейн мог выбрать побольше таких поэтических вещей, как акварель с крестом неизвестного солдата и всадника или вид Петровского завода. Они бы выполнили необходимую документальную функцию.

Это единственный упрек, который я решаюсь сделать исследователю. Очень хочется пожелать И. С. Зильберштейну еще и еще поискать неведомо где пропадающие портреты Бестужева, сделанные в конце тридцатых—сороковых годов. А Бестужев, по собственному признанию, в одном только Иркутске за девять месяцев 1842 года сделал семьдесят два портрета.

Появление книги И. Зильберштейна — событие серьезного культурного значения.

Игорь ГРАБАРЬ.



# РЕШЛИКИ

## О ТЕАТРЕ, КОТОРОГО НЕТ...

Разные бывают юбилейные даты. Эта дата особого рода: десять лет тому назад в Москве, на улице Горького, 5, скончался Государственный театр миниатюр.

О покойнике плохо не говорят. Не будем нарушать этой хорошей традиции. Нам приходит сейчас на память не печальный конец, а трудная, но интересная жизнь этого маленького театра.

Во-первых, это был несомненно один из самых популярных театров столицы. В его труппе были актеры, имена которых до сих пор украшают лучшие эстрадные программы. Этот театр имел немалый авторский актив, имел своего зрителя, имел и последователей: театры миниатюр в Ленинграде, Харькове, Одессе и других городах не всегда повторяли репертуар московского театра, но, конечно же, именно Московский театр миниатюр был заповалой в этом жанре.

Как же так получилось, что сейчас, за исключением одного только Ленинградского театра миниатюр под руководством талантливого Аркадия Райкина, во всей нашей стране, столь богатой всеми жанрами сценического искусства, нельзя назвать ни одного театра миниатюр?

Может быть, драматургия малых форм потеряла свое

значение? Стала ненужной? Выродилась? Перестала интересовать зрителя?

Казалось бы, наоборот.

Потребность в театре маленьких острых сценических шуток, пародий, злободневных сатирических сценок, веселых диалогов и песен сейчас особенно очевидна.

Может быть, именно поэтому так много возникло в последнее время самодеятельных театриков миниатюр при различных учреждениях и институтах.

Некоторые программы этих коллективов передавались по телевидению, и московские зрители уже успели узнать и полюбить самодеятельные коллективы Медицинского института, Моспросекта, Архитектурного института, Московского авиационного и другие.

Программы эти пользовались неизменным успехом главным образом потому, что они живо откликались на злободневные темы, а остроумная и изобретательная форма сценического воплощения, свойственная жанру театра миниатюр, несомненно является доходчивой.

Нам кажется, что давно уже назрела необходимость воскресить в Москве незаслуженно забытый жанр.

Существующий Государственный театр эстрады, к сожалению, по существу не является театром. Это прокатная площадка, на которой время от времени показывают москвичам свои работы различные коллективы Всероссийского гастрольно-концертного объединения. Театр эстрады не имеет

своей труппы, а следовательно, какой же это театр?

Театр миниатюр с постоянной, небольшой, но очень разносторонней труппой не нуждается в каком-либо особом помещении. В Москве давно уже пустуют помещения, вполне пригодные для этой цели.

Совсем недавно в связи с переездом в новое здание цыганского театра «Ромэн», освободилось помещение, в котором родился и завоевал широкую известность театр «Летучая мышь». Там же играл «Кривой Джимми», гастролировало «Кривое зеркало».

Там же начинал свою деятельность Московский театр сатиры. В годы Великой Отечественной войны здесь работал театр миниатюр «Ястребок». А сейчас...

Вот об этом, собственно, мы и хотим подать свою реплику: в Москве, в Гнездиновском переулке, следовало бы открыть новый Московский театр миниатюр, под названием... Неважно, как он будет называться! Интерес московского зрителя к этому театру обеспечен.

Вл. МАСС,  
Мих. ЧЕРВИНСКИЙ.

★

## О ДОМАХ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИК

Было это в 1947 году, во время Первого Всесоюзного совещания молодых писателей.

Мы, армянские поэты, тогда еще молодые, с гордостью рассказывали своим товарищам из других рес-

публик о том, как побывали в московском Доме культуры Армении. Да, наши друзья понимали, что значит такой Дом культуры в Москве. Они знали, что этот дом, который в 1921 году специальным постановлением ВЦИК был передан правительству Армянской республики, внес большой вклад в дело культурного роста Армении. Ведь только за несколько дней до этого разговора с моими грузинскими друзьями в этом доме состоялся литературный вечер, посвященный творчеству молодых армянских поэтов, участников совещания.

И в самом деле, старинный особняк в Армянском переулке в Москве имеет свою замечательную историю.

Начиная с 1921 года там работало несколько художественных студий, которыми руководили выдающиеся режиссеры и артисты столицы. Учились там молодые талантливые посланцы Армении—композиторы, художники, режиссеры и артисты, работники балета, а в последние годы и писатели.

Я как питомица литературной студии, которой очень помогали Литературный институт имени А. М. Горького, Союз писателей СССР, могу многое рассказать о том, что дало мне это двухгодичное пребывание в Москве. Но, мне

кажется, гораздо красноречивее о значении Дома культуры Армении свидетельствует хотя бы краткий перечень людей, известных не только в Армении, но и далеко за ее пределами, людей, получивших первоначальное художественное воспитание в этом доме: Арам Хачатурян, архитектор Каро Алабян, Сурен Кочарян, народная артистка Советского Союза Т. Сазандарян, режиссер В. Аджемян и многие другие.

Но не только в этом заключалась деятельность Дома культуры Армении. Там часто бывали концерты, вечера армянской литературы, выставки художников Армении, армянской книги, графики, миниатюры и т. д. С большим удовольствием ходили на эти вечера москвичи. Там армянские композиторы исполняли свои новые произведения, ученые рассказывали об успехах науки в Армении, поэты читали стихи. Были встречи с представителями других народов, отмечались юбилейные даты классиков армянской литературы и искусства. И во всем этом принимали усердное участие деятели русской культуры—писатели, композиторы, музыканты, помогая нам в наших творческих исканиях, являя собой яркий пример дружбы народов.

Да, претворение в жизнь

ленинской национальной политики в нашей стране нашло самые многообразные формы. Мне думается, что одной из этих форм являлась и деятельность Дома культуры Армении, которая сейчас прервалась.

Было бы очень полезно возобновить работу в Доме культуры Армении. Более того, хорошо, если все наши республики будут иметь в Москве такие дома. Они очень способствовали бы культурному росту наших народов, давали бы возможность показывать достижения литературы и искусства не только от декады к декаде, а повседневно. А как часто можно было бы организовывать вечера дружбы, обмен опытом и т. д.

Нет никаких сомнений в том, что эти дома культуры не менее, а даже более нужны, нежели многочисленные национальные рестораны и магазины в Москве. Конечно, речь идет не о том, чтобы их закрыть. Но мне лично было бы очень приятно пригласить в «Арагат» моих друзей после интересного, скажем, литературного вечера в Доме культуры Армении и поднять тост за этот вечер, за это очень живое и очень конкретное олицетворение идеи дружбы народов.

Право, об этом стоит подумать!

**Сильва КАПУТИКЯН.**



# МЕЖДУ ПРОЧИМ...

## ЗЛЫЕ МАЧЕХИ ИЗ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В сказках часто бывает так. Злая мачеха, чтобы вызвать отвращение отца к дочери, натирает ее соком грецкого ореха до черноты, мажет лицо девочки едкой мазью и взлохмачивает ей волосы. И родной отец, не узнав ее, выгоняет из дому.

Но это случается не только в сказках. Такая аналогия возникает, когда знакомишься с деятельностью иных издательств, обращающихся, подобно злой мачехе, с произведениями—детницами умерших писателей.

Около двадцати лет назад умер известный детский писатель Борис Житков. Недавно минский Учпедгиз выпустил книгу его «Рассказов». Однако, поместив в разделе «Рассказы о технике» два очерка писателя: «Свет без огня» и «Телеграмма», работники издательства обошлись с ними очень своеобразно: они выбросили произвольно ряд страниц, фраз, выражений Житкова и вписали отсебятину «покрасивее», то есть изо всех сил «вздохмачили волосы» детищам писателя, чтобы читатели не узнали когда-то любимых произведений.

И вот в книге оказалось вместо «работает»—«приводится в действие», вместо «образуется» — «возбуждается», вместо «заводится электричество» — «возникает электрический ток»

и т. д. Вылетели из текста абзацы, вроде следующего: «Случалось кому-нибудь отбить у лампочки этот острый хвостик, что торчит внизу? Лампа ведь моментально гаснет. Это воздух в нее попал, и сгорели волокнишки. Когда вы отбили хвостик—в лампе получилась маленькая дырочка, через нее ворвался внутрь воздух. А это гибель».

Зато вместо отрезанных фраз и страниц в произведениях Житкова оказались совершенно чуждые и манере писателя и его композиционному замыслу нравоучительные кусочки типа приписанной неизвестно кем концовки в очерке «Свет без огня»:

«Когда-то электричеством пользовались только для освещения. А теперь это покорный слуга на фабриках и заводах, в шахтах и больницах, на радиостанциях и железных дорогах. Электрические моторы движут станки, насосы, троллейбусы. Электрическим током плавят и режут металлы, питают телеграфные аппараты».

Какой художественный или логический смысл имеют все эти операции? Техника ушла вперед? Но ведь есть у нас милая и скромная форма поправок — сноски, примечания,— почему нельзя было бы прибегнуть к ней?

Вызывает удивление и еще одно обстоятельство: в этом оригинальном издании объединены произведения писателя, никогда, нигде и никем (в том числе и автором) до сих пор не объединявшиеся. Повести о матросской смекалке и мужестве, относящиеся ко временам первой русской революции («Вага», «Компас»), стоят

рядом с полустраничными рассказами о храбром утенке Алеше и вороватой галке, печатавшимися в «Чиже» и «Сверчке».

Фамилии составителя этого сборника нигде не видно. По-видимому, работники издательства, совершившие все это, пожелали остаться неизвестными. Остается за все проделанные процедуры над произведениями Житкова «поблагодарить» лишь одного человека, ибо только его фамилия стоит на титульном листе, — редактора М. Е. Шербун, оказавшего поистине злой мачехой редактируемой им книги.

Л. ИСАРОВА.



## ЮВЕНАЛ, ОБВИНЕННЫЙ В НАИВНОСТИ...

Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом) недавно выпустил пятый том сборника ученых исследований «Вопросы советской литературы». Сборник открывает статья А. С. Бушмина «К вопросу о гиперболе и гротеске в сатире Щедрина».

А. С. Бушмин пишет: «Пословица «в здоровом теле — здоровый дух» понималась на... ранней стадии народного поэтического мышления в том наивно-реалистическом смысле, что богатырство считалось уже достаточно исчерпывающей характеристикой положительного героя» (стр. 31). Развивая это положение, автор сообщает читателю, что «новорожденный Гаргантюа у Рабле ежедневно



выпивает молока от 17 913 коров. Свифт изображает великанов и лилипутов, из которых первые в 12 раз больше, а вторые в 12 раз меньше нормальных людей», и делает строго научный вывод: «Гиперболизм у Рабле и Свифта, достигающий фантастических размеров, сродни гигантизму раннего народного богатирского эпоса» (стр. 32), замечая при этом, что подобный «гиперболизм» современному читателю покажется неуместным, грубым, непозитивным» (стр. 32).

Охотно допускаем, что А. С. Бушмину прегит гипербола, может быть даже метафора, иносказание, ирония. Вот взять, например, приведенную им «народную поговорку» — «В здоровом теле — здоровый дух». А. С. Бушмин дал ей совершенно новое толкование. Раньше даже считалось, что это вообще не поговорка, а изречение, почерпнутое из десятой сатиры Ювенала, гласившее по латыни: «Mens sana in corpore sano».

Ни Ювенал, ни древние римляне, по примитивности своего мышления, разумеется, не предполагали, что это изречение может быть истолковано таким образом, что во всяком здоровом теле непременно пребывает здоровый дух. Римляне почему-то полагали, что со здоровым телом может ужиться незаурядная глупость. А посему при рождении ребенка смиренно просили Юпитера: «В здоровом теле да будет здоровый дух». Из любви к лаконизму, также присущему римлянам, «да будет» опускалось, ибо в те далекие времена казалось очевид-

ным, что далеко не всякий здоровяк силен духом...

А. С. Бушмин опроверг это примитивное, первобытное представление, признав, что это изречение могло быть пригодным для «исчерпывающей характеристики положительного героя...» Поистине, как говорит все тот же Ювенал: «Difficile est satiram non scribere». (Трудно (иной раз) не писать сатиру).

А. М.



## ВАЖНЕЕ ВСЕГО ИСТИНА

С 1930 года в примечаниях ко всем изданиям «Истории моего современника» В. Г. Короленко публикуется протокол заседания совета Петровской академии от 20 марта 1876 года. В этом заседании обсуждался вопрос о коллективном заявлении, поданном студентами Короленко, Григорьевым и Вернером.

Недавно в Детгизе вышла документальная повесть Б. Могилевского «Жизнь Тимирязева», в которой есть глава «Тимирязев и Короленко», где описан этот же эпизод. Автору известен названный нами и легко доступный документ, но в каком неузнаваемом виде он преподнесен читателям!

«Климент Аркадьевич выступил с пламенной речью в защиту студентов» (стр. 95). Но в протоколе это не зафиксировано, а другими источниками о содержании речи Тимирязева мы не располагаем.

«В журнал заседания совета академии было занесено особое мнение профессора Тимирязева о невиновности трех лучших студентов академии».

Такой записи нет. Есть запись о том, что Тимирязев был избран в комиссию для отобрания от студентов подписок с отказом от заявления, то есть занимал противоположную позицию.

Далее (стр. 96) автор сообщает, что через год совет академии вынес решение о восстановлении Короленко в академии и сделал это по предложению Тимирязева. Это тоже неверно. На заседании от 11 мая 1877 года, где было принято решение о Короленко, Тимирязев не присутствовал.

Автор пишет, что студенты вручили свое заявление директору академии, «престарелому Арнольдлу». На самом деле директором академии в это время был Королев. Князь Ливен не требовал от совета исключения трех студентов, а сообщил о состоявшемся уже исключении их министром. Поэтому сочиненная автором речь Ливена, изобиловавшая, по его словам, «истерическими выкриками и угрозами», не могла иметь места.

«В истории важнее всего истина. Иначе какая же это история! Да и вообще истина в печати — дело самое важное», — писал В. Г. Короленко. Знал ли об этом Б. Могилевский?

А. ХРАБРОВИЦКИЙ.



**ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ  
СЛУЧАЙ!**

История искусства знает немало случаев необычайно раннего развития творческих способностей. Многие известные композиторы и художники уже в раннем детстве удивляли самостоятельными произведениями. Но даже самые выдающиеся

примеры из биографий этих деятелей искусства бледнеют перед фактом, приведенным в недавно изданной книге о Рембрандте (Тейн де Фрис. «Рембрандт». Редактор И. Горкуна. Издательство иностранной литературы. М. 1956). Если верить подписи под репродукцией картины «Автопорт-

рет с Саскией на коленях», помещенной между страницами 48 и 49 книги, то придется признать, что великий художник изобразил себя в зрелом возрасте, с женой на коленях, в 1559 году, то есть за 47 лет до... своего рождения (?).  
Феноменальный случай!

**Я. КОЛОМИНСКИЙ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**Ф. ТЮСИН.** Военная деятельность большевиков в революции 1905—1907 годов. Воениздат. М. 1956. 80 стр. Цена 2 р. 35 к.

Опыт большевиков по созданию боевых рабочих дружин в революции 1905 года имел огромное значение. В одном из своих докладов К. Е. Ворошилов говорил: «Подобно тому как политическая форма рабочего государства имеет своим прообразом советы рабочих депутатов 1905 г., наша Рабоче-крестьянская Красная Армия своими корнями уходит в боевые рабочие дружины и отряды (тройки и пятерки) первой российской революции».

В начале книги излагаются основные положения марксизма-ленинизма о вооруженном восстании и задачах революционной армии пролетариата. Отдельная глава посвящена III съезду РСДРП, признавшему главной и неотложной задачей того момента организацию пролетариата для непосредственной борьбы с самодержавием путем вооруженного восстания.

**В. А. ЧАШИН.** В суровые годы. Воспоминания старого большевика. Свердловское книжное издательство. 1957. 232 стр. Цена 5 р. 45 к.

В эту книгу вместились почти сорок лет большой и славной жизни старого большевика. Свою деятельность в революционном движении В. А. Чашин начал девятнадцатилетним юношей, в 1906 году вступил в партию большевиков. Депутат II Государственной думы от рабочей курии Пермской губернии, он по заданиям Петербургского комитета РСДРП и лично В. И. Ленина вел партийную работу среди питерских рабочих. Затем — арест, ссылка на каторгу, а потом и на вечное поселение в Забайкальскую область.

Автор живо и образно рассказывает о работе большевиков в Государственной думе, о встречах с В. И. Лениным, об ужасах царской каторги.

В советское время В. А. Чашин работал в ВСНХ и на Первом шарикоподшипниковом заводе. В возрасте пятидесяти трех лет окончил Промышленную академию. Сейчас он инженер в научно-исследовательском институте.

**М. Н. КОКОВИХИН.** Миньярское подполье. Челябинское книжное издательство. 1957. 208 стр. Цена 3 р. 60 к.

Более полувека назад, в 1903 году, М. Коковихин связал свою судьбу с Ком-

мунистической партией. Стойкий революционер-подпольщик, борец против самодержавия, он занимал ряд ответственных постов при Советской власти и не раз избирался членом Президиума ЦКК. Его книга — драгоценное свидетельство старого большевика, начавшего свой путь на заре революционного движения в России.

Рассказ начинается с истории создания на Миньярском заводе большевистской партийной группы в 1902 году. Миньярская организация была одной из передовых, боеспособных большевистских организаций Урала. Она черпала свои силы в тесной связи с широкими рабочими массами, что помогало ей уберечься от царских охранников и полиции. Через множество испытаний прошла Миньярская организация, всегда оставаясь последовательно большевистской.

В заключение автор рассказывает об успехах трудящихся Миньяра в советские годы.

**ДРУЖБА.** Статьи, очерки, исследования, воспоминания, письма об армяно-русских культурных связях. Гослитиздат. М. 1957. 719 стр. Цена 16 р.

Многовековую давность имеет дружба русского и армянского народов. Не раз сражались плечом к плечу с общими врагами русские и армяне. Самое тесное общение на протяжении сотен лет происходило между культурами этих двух народов. За годы Советской власти дружба эта еще более окрепла и приобрела поистине братский характер. Многочисленные материалы, собранные в аннотируемом сборнике, показывают, как благоприятно отражается эта дружба на развитии культуры народов нашей страны.

В сборнике два раздела. В первом из них — статьи, очерки, исследования, воспоминания, письма, принадлежащие перу крупнейших деятелей культуры, где затрагиваются главным образом общие вопросы культурных связей русского и армянского народов. Читатель найдет здесь отрывки из произведений Пушкина, Хачатура Абовяна, письма Огарева, Герцена, Бакунина, Брюсова, статьи С. Шаумяна, М. Горького, С. Спандаряна, А. Н. Толстого, Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна, А. И. Хачатуряна и других.

Во втором разделе помещены выступления видных русских писателей, ученых,

художников, композиторов, артистов о своих друзьях армянах.

Составитель сборника «Дружба» — Ашот Арзуманян. Его же вступительным очерком «Из истории культурных связей русского и армянского народов» открывается этот сборник.

**Д. Н. АЙДИТ.** Краткая история Коммунистической партии Индонезии. Издательство иностранной литературы. М. 1956. 56 стр. Цена 90 к.

Коммунистическая партия Индонезии имеет уже солидный возраст — она была основана в мае 1920 года. О славном пути КПИ через многие испытания и опасности, горечи ошибок и радости успехов рассказывается в своей брошюре генеральный секретарь компартии Д. Н. Айдит.

Советские читатели с интересом ознакомятся с документами V Национального съезда Коммунистической партии Индонезии, который имел для партии историческое значение. V съезд поставил важнейшую задачу — создание единого фронта всех национальных сил революции. «Широкий единый фронт», — говорил Д. Н. Айдит, — неперемное условие для образования в Индонезии народного правительства, для победы над врагами революции — иностранными империалистами, классом помещиков и компрадорской буржуазией».

**ЦИН ЖУ-ЦЗИ.** История американской агрессии на Тайвань. Издательство иностранной литературы. М. 1956. 144 стр. Цена 2 р. 80 к.

Книга китайского историка Цин Жу-цзи написана в развитие его статьи «Сто лет интриг и преступлений американских аггессоров на Тайване», опубликованной в газете «Гуаньшэньжибао» в 1954 году. Особенно подробно автор рассказывает о происках США против Тайваня после образования КНР. На основе неопровержимых фактов убедительно показывается, как американские империалисты, не раз признавая на словах, что они не претендуют на Тайвань, в действительности создали на китайском острове свою военную базу.

Одна из глав этой богато аргументированной книги, написанной живым, публицистическим языком, носит выразительное название: «Девять лет американско-чанкайшиских варварских преступлений, эксплуатации и ограбления наших соотечественников на Тайване».

**В СОЛДАТСКОМ СТРОЮ.** Стихи. Политическое управление Прибалтийского военного округа. Рига. 1957. 142 стр. Цена 3 р. 25 к.

«Авторы настоящего сборника стихов не профессиональные поэты, а воины-прибалтийцы — вооруженные защитники славных завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. Большинство из них — отличники боевой и политической подготовки. Они умело водят боевые самолеты и танки, метко стреляют, бдительно несут караульную службу, настойчиво учатся тому, что необходимо для победы

в современном бою» — этими словами открывается сборник «В солдатском строю».

В книге есть стихи и рядовых воинов — А. Израсова, Н. Малышева, И. Дроздова, А. Епанешникова — и произведений сержантов и офицеров. Любовь к Родине, верность солдатскому долгу, войсковое товарищество и дружба, заслуженный отдых после учений — вот тема стихов.

Многие авторы книги — члены литературного объединения редакции газеты «За Родину». Сборник этот впервые знакомит читателя с поэтическим творчеством воинов-прибалтийцев.

**МИХАИЛ ЗЛАТОГОРОВ.** Море слабых не любит. Повесть. «Молодая гвардия». М. 1956. 206 стр. Цена 2 р. 90 к.

Уже самый заголовок этой книги как бы воплощает основную идею повести. М. Златогоров пишет в ней о людях сильной воли, упорно и настойчиво осваивающих «морскую целину». Обращение к теме, связанной с трудом советских рыбаков, для М. Златогорова не случайно. Повести «Море слабых не любит» предшествовали два очерка о моряках — «Фальшивая традиция» и «Пахари моря», поездка автора к промысловикам Мурманского порта, а затем на один из рыболовных траулеров. Здесь писателю удалось познакомиться с двумя интересными людьми — молодоженами.

«Девушка — наша активистка с рыбокомбината, — говорил писателю знакомый товарищ из горкома. — Смелая, инициативная... Такие здесь очень нужны. А парень... буйная головешка... Она его полюбила, когда парня чуть не выгнали с корабля. Интересная человеческая история...»

История этих молодоженов, а также указанные выше очерки и легли в основу сюжета повести, посвященной труду и быту советских промысловиков Крайнего Севера. События, описываемые в повести, относятся к недавнему времени.

**ОЛЕГ ВОЛКОВ.** Последний мелкотравчатый. «Советский писатель». М. 1957. 192 стр. Цена 3 р. 75 к.

Книга содержит ряд рассказов — записей старого охотника. В них автор делится своими наблюдениями, рассказывает о встречах и приключениях во время охотничьих скитаний по бескрайним просторам нашего Севера («На Енисее», «В лесах Коми», «По тайге с ружьем», «За лосем» и другие).

Читатель знакомится с суровой северной природой, с ее девственными лесами, стремительными реками, лесными озерами. Автор живо чувствует и передает великое обаяние сибирской тайги.

Большой интерес представляют наблюдения автора над дикими животными и птицами, описание их повадок.

В рассказе «Егерь Никита» показано, как революция вторглась в быт охотников, как рухнули прежние порядки, отношения между людьми и как выросло сознание простого человека — егеря Никиты, изменились его взгляды, мысли и чувства.

Книга написана живым, образным языком. Ее с интересом будут читать и дети и взрослые.

**ЯНКО ЕСЕНСКИЙ. Демократы. Роман. Перевод со словацкого. Государственное издательство художественной литературы. М. 1957. 518 стр. Цена 9 р. 95 к.**

Читая этот сатирический роман, не только смеешься, но и негодуешь: до чего же отвратительно надругалась современная буржуазия над великолепным и благородным значением слова «демократия»! Остроумно и зло высмеивает Янко Есенский (1874—1945) — крупнейший словацкий писатель — весь уклад жизни буржуазной Чехословацкой республики и ее столпов, именовавших себя «демократами». Они ловко прикрывались демократией во имя собственных эгоистических интересов — так было удобнее скрывать обман, подкуп, грязное политиканство, крупное и мелкое. Так легче было обманывать и омещанивать трудящихся, дробить их усилия в борьбе за свои права.

Есенский горячо любил свою родину и народ. Он писал, что в «Демократах» он хотел изобразить пошлость и человеческие недостатки. Он считал, что пошлость и недостатки надо бичевать с любовью к человеку, а не с ненавистью, по русской поговорке «Кого люблю, того и бью».

Советский читатель найдет в этой книге сочно написанные картины жизни и нравов буржуазной Чехословакии, сдобренные чудесным народным юмором.

**СУАД ДЕРВИШ. Фосфорическая Джеврие. Роман. Перевод с турецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1957. 200 стр. Цена 5 р. 15 к.**

Сюжет этого романа не выдуман автором. В основе его лежит действительная история из жизни стамбульского «дна». Героиня романа — Джеврие — молодая девушка, сирота, выросшая под Галацким мостом. Она становится «звездой стамбульских улиц». Окружающий ее мир — злой, бездушный — делает ее циничной, льстивой, легкомысленной, хотя в душе она остается

по-своему чистой и наивной. Достаточно ей встретить по-настоящему хорошего человека, как многое меняется в ней. Но обстоятельства жизни складываются так, что уже первая попытка Джеврие вырваться из тягостной атмосферы заканчивается для нее трагично.

Автор романа — известная турецкая писательница и общественная деятельница — еще в двадцатых годах выступила с гневным протестом против порабощения и униженного положения турецкой женщины. И с тех пор она упорно и неуклонно борется за ее освобождение.

**АЛЕКСАНДР АНИКСТ. Даниель Дефо. Очерк жизни и творчества. Детгиз. М. 1957. 136 стр. Цена 4 р. 55 к.**

Автор говорит, что его очерк написан «для читателей, а не для специалистов, для тех, кому интересны роман «Робинзон Крузо» и его автор и кто хотел бы узнать о них самое главное».

В книге показаны основные вехи биографии Дефо, жизнь которого во многих отношениях не менее примечательна, чем жизнь героев его произведений.

**М. В. ЯКОВЛЕВ. Мирозозрение Н. П. Огарева. Издательство Академии наук СССР. М. 1957. 300 стр. Цена 14 р. 80 к.**

Подводя итоги своей совместной работы с Н. П. Огаревым, Герцен писал: «Семена, которые достались в наследство небольшому числу наших друзей и нам от наших великих предшественников, мы бросили в новые борозды, и ничто не погибло».

На основе анализа различных сторон деятельности Огарева автор прослеживает его роль в подготовке почвы для распространения в России идей марксизма, его влияние на последующее поколение революционных борцов.

Основные главы исследования посвящены формированию мирозозрения Н. П. Огарева, его общественно-политическим и философским взглядам, социологическим и эстетическим воззрениям.

★

## СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Среди большого количества книг и журналов, выпускаемых издательством Академии наук СССР (их общий объем в нынешнем году превысит тридцать две тысячи авторских листов), особое место занимают издания, посвященные сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции. Несколько капитальных трудов, составленных коллективами научных работников Института истории Академии наук СССР, Главного архивного управления и Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, познакомят широкие круги нашей общественности со многими материалами, выявленными за последнее время

в центральных и местных государственных и партийных архивах. Эти материалы, введенные в научный оборот, позволят более полно осветить некоторые события Октября.

Издание «Великая Октябрьская социалистическая революция (документы и материалы)» состоит из десяти томов и охватывает период с февраля 1917 года по февраль 1918 года. Материалы всесторонне раскрывают важнейшие этапы подготовки и проведения Октябрьской революции, показывают историческую роль Коммунистической партии как вождя и организатора борьбы трудящихся масс за со-

циалистическое преобразование страны, революционное творчество рабочего класса, трудящегося крестьянства, солдат и матросов.

К юбилейной дате выйдут два тома этой серии: «Революционное движение в стране после свержения самодержавия» и «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде».

В первом томе содержатся материалы, относящиеся к периоду от начала Февральской революции до возвращения в Россию В. И. Ленина 3 апреля 1917 года.

Документы показывают руководящую роль Коммунистической партии в буржуазно-демократической революции. Ряд впервые публикуемых протоколов Бюро ЦК РСДРП уточняет представление о деятельности руководящих органов партии в тот период. В том включены также материалы из прессы 1917 года. В связи с тем, что многие газеты того времени сохранились в единственном экземпляре, содержащиеся в них документы представляют не меньший интерес, чем архивные.

В томе «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде» освещены следующие этапы революции: подготовка к вооруженному восстанию; победа вооруженного восстания; II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов; закрепление победы вооруженного восстания; первые мероприятия Советской власти; разгром контрреволюционных мятежей. В сборнике свыше полутора тысяч документов, треть которых публикуется впервые.

За истекшие сорок лет у нас издано большое количество монографий, документальных сборников. Огромную роль для исторической науки играют хроникальные описания событий. Однако многие из них стали библиографической редкостью. Кроме того, освещаемый в них круг событий сравнительно неширок. Важное значение приобретает поэтому четырехтомное издание «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий». Первый том, который выпускается к юбилею, охватывает период от Февральской буржуазно-демократической революции до первого кризиса Временного правительства (27 февраля — 6 мая 1917 года).

Составители сборника большое внимание уделили показу конкретных форм проявления революционного творчества народ-

ных масс — организации Советов, фабзавкомов, профсоюзов. Ряд документов раскрывает антинародную политику Временного правительства, а также буржуазных и мелкобуржуазных партий.

Данное издание является наиболее полным по сравнению со всеми предыдущими публикациями и составлено по определенному, строго научному плану, в основу которого положен хронологический принцип. Хроника рассчитана на пропагандистов и на самые широкие читательские круги.

К этим изданиям примыкает труд «Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции». Это первая оригинальная подборка ранее в подавляющем большинстве не опубликованных документов, характеризующих положение в промышленности и на транспорте, продовольственное снабжение и финансы России в феврале — октябре 1917 года. Документы первой части показывают развитие монополистического капитала в России, экономическую программу и политику русской империалистической буржуазии и Временного правительства, финансовое положение в стране. Документы второй части рисуют разруху в промышленности, развал на транспорте, продовольственный кризис, а также взаимоотношения России со странами Антанты. Общий объем издания — около ста листов.

Выйдет из печати том «Истории русского искусства», посвященный искусству советской эпохи. Он охватывает период с 1917 по 1934 год. В книге найдут отражение успехи живописи, графики, плаката, скульптуры, архитектуры, художественной промышленности. Коллектив авторов Института истории искусств Академии наук СССР предпринял первый опыт систематизации огромных, ранее не исследованных материалов. «Приступая к обобщению фактов и явлений русского советского искусства, — говорится в предисловии, — авторский коллектив стремился показать, как формировалась и развивалась основа тенденции социалистической художественной культуры, как советские художники под влиянием жизни различными путями шли к правдивому и глубокому познанию и отображению действительности». Издание обильно иллюстрировано. Репродукции (частью цветные) воспроизводят наиболее выдающиеся произведения живописи и графики.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Н. С. Хрушев.** О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством. Доклад и заключительное слово на VII сессии Верховного Совета СССР 7 и 10 мая 1957 г.

**Закон о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством.** 80 стр. Цена 1 р.

**Н. С. Хрушев.** В ближайшие годы догнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, масла и молока на душу населения. 32 стр. Цена 30 к.

**В. В. Ванслов.** Проблема прекрасного. 264 стр. Цена 4 р. 70 к.

**Вопросы экономического районирования СССР.** 344 стр. Цена 6 р. 50 к.

**В. Гуревич.** Как делают стенную газету. 120 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Б. С. Итенберг, А. Я. Черняк.** Александр Ульянов. 72 стр. Цена 85 к.

**В. Карпинский.** Беседы о коммунизме. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

**И. Лаврецкий.** Ватикан. 336 стр. Цена 5 р. 65 к.

**Ленин о подборе и воспитании кадров.** 648 стр. Цена 9 р. 50 к.

**М. Б. Митин.** Историческая роль Г. В. Плеханова в русском и международном рабочем движении. 32 стр. Цена 30 к.

**И. К. Михайлов.** Четверть века подпольщика. 272 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Д. И. Попов.** Финляндия. 216 стр. Цена 2 р. 75 к.

**Русская периодическая печать 1835—1917 гг.** Справочник. 352 стр. 6 р. 25 к.

**Советский Союз.** 224 стр. Цена 6 р.

**Н. Сунцов.** Экономические взгляды Н. В. Шелгунова. 224 стр. Цена 4 р.

**Я. Темкин.** Большевики в борьбе за демократический мир. 436 стр. Цена 7 р.

**П. Трошин.** Второй год пятилетки. 64 стр. Цена 70 к.

**А. С. Шаповалов.** В борьбе за социализм. 312 стр. Цена 5 р. 75 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**И. Антонов.** На переднем крае. Очерки. Перевод с мордовского. 167 стр. Цена 3 р. 40 к.

**Р. Бикмухаметов.** Муса Джалиль. Критико-биографический очерк. 160 стр. Цена 2 р. 80 к.

**И. Бражнин.** Голубые листки. Роман. 400 стр. Цена 6 р. 65 к.

**А. Горелов.** Подвиг русской литературы. 716 стр. Цена 16 р. 60 к.

**Е. Журбина.** Искусство очерка. 223 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Т. Игуменова.** Устюшка и я. Повесть. 248 стр. Цена 4 р. 20 к.

**В. Казанский.** Сквозь грозы. Роман в стихах. 512 стр. Цена 11 р. 75 к.

**А. Кантесмир.** Собрание стихотворений. 547 стр. Цена 10 р. 75 к.

**В. Кокляев.** Стихи. 56 стр. Цена 75 к.

**М. Кольцов.** Испанский дневник. 615 стр. 10 р. 75 к.

**Н. Кутов.** Весенние зори. Стихи. 116 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Г. Леберехт.** Солдаты идут домой. Роман. 436 стр. Цена 7 р. 50 к.

**О. Маркова.** Рассказы. 404 стр. Цена 6 р. 80 к.

**Э. Миндлин.** Дорога к дому. Повесть. 464 стр. Цена 8 р. 35 к.

**Л. Мочалов.** Глядя в глаза. Стихи. 96 стр. Цена 2 р. 5 к.

**М. Никулин.** Полая вода. Повесть. 224 стр. Цена 4 р. 25 к.

**С. Рагимов.** Шамо. Роман. Перевод с азербайджанского. 608 стр. Цена 10 р. 85 к.

**М. Сазонов.** Четвертая встреча. Стихи. 116 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Л. Стеклольников.** Компас. Стихи. 176 стр. Цена 3 р.

**Татарские рассказы.** Перевод с татарского. 404 стр. Цена 6 р. 65 к.

**И. Фояков.** Именем любви. Стихи. 91 стр. Цена 1 р. 66 к.

**А. Шамов.** Рассказы. Перевод с татарского. 184 стр. Цена 3 р. 65 к.

**М. Шехтер.** Доброе слово. Стихи. 120 стр. Цена 1 р. 40 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Арагон.** Литература и искусство. Избранные статьи и речи. Перевод с французского. 343 стр. Цена 7 р. 15 к.

**Натаньель Готори.** Алая буква. Роман. Перевод с английского. 246 стр. Цена 5 р.

**Н. Заболоцкий.** Стихотворения. 199 стр. Цена 4 р. 30 к.

**Шариф Камал.** Рассказы. Перевод с татарского. 215 стр. Цена 2 р. 15 к.

**Ленин о литературе.** 135 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Константин Лордкипанидзе.** Заря Колхиды. Роман. Авторизованный перевод с грузинского. 271 стр. Цена 5 р. 75 к.

**Кави Наджми.** Повести и рассказы. Перевод с татарского. 171 стр. Цена 4 р. 15 к.

**Михаил Светлов.** Стихи и пьесы. 479 стр. Цена 6 р. 80 к.

**Омер Сейфеддин.** Рассказы. Перевод с турецкого. 375 стр. Цена 7 р. 20 к.

**Генрик Сенкевич.** Повести и рассказы. Перевод с польского. 536 стр. Цена 10 р.

**Семен Скляренко.** Путь на Киев. Роман. Авторизованный перевод с украинского. 584 стр. Цена 10 р. 80 к.

**В. А. Слепцов.** Сочинения. В двух томах. Том I. 391 стр. Цена 7 р. 60 к. Том 2. 420 стр. Цена 8 р.

**Исикава Такубоку.** Стихи. Перевод с японского. 279 стр. Цена 2 р. 15 к.

**Габдулла Тукай.** Избранное. Перевод с татарского. 319 стр. Цена 2 р. 95 к.

**Кришан Чандар.** Мать ветров. Рассказы. Перевод с урду. 351 стр. Цена 6 р. 90 к.

**Шицин.** Избранные песни. Перевод с китайского. 299 стр. Цена 6 р.

**Али Шогенцуков.** Избранное. Перевод с кабардинского. 311 стр. Цена 8 р. 90 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**М. Алексеев.** Наследники. Повесть. 203 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Хисам Камалов.** Алое утро. Стихи. 56 стр. Цена 2 р. 15 к.

**А. Коробинин.** Жизнь в рассрочку. Повести и рассказы. 160 стр. Цена 2 р. 25 к.

**А. Котов.** Записки шахматиста. 336 стр. Цена 6 р. 50 к.

**КПСС о комсомоле и молодежи.** Сборник резолюций и решений съездов, конференций и постановлений ЦК 1917—1956. 384 стр. Цена 6 р. 95 к.

**Владимир Красильщиков.** Это они зажигают свет. Повесть. 360 стр. Цена 6 р. 75 к.

**Георгий Кублицкий.** В Югославии. 80 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Андрей Меркулов.** Крылья земли. Рассказы. 240 стр. Цена 5 р.

**И. Осипов.** Приморская весна. Очерки. 72 стр. Цена 1 р.

**Б. Панкин.** Племя молодое, беспокойное. Очерк. 86 стр. Цена 1 р. 45 к.

**И. Пешкин.** Стальной поток. Научно-художественный очерк. 56 стр. Цена 70 к.

**А. Рыбасов.** И. А. Гончаров. 1812—1891. Научно-художественная биография. 376 стр. Цена 7 р. 40 к.

**А. Соловьев.** Себестоимость и пути ее снижения. 32 стр. Цена 45 к.

**Вопросы по существу.** Сборник. 203 стр. Цена 4 р.

**В. Тухватуллин.** В летний зной. Рассказы. 48 стр. Цена 65 к.

**Фатых Хусни.** Любовь под звездами. Повесть. 240 стр. Цена 5 р. 5 к.

#### ДЕТГИЗ

**К. Бадигин.** Покорители студеных морей. Историческая повесть. 232 стр. Цена 5 р. 25 к.

**Боб, который умел петь песни.** Китайская народная сказка. 16 стр. Цена 1 р. 55 к.

**Т. Готье.** Капитан Фракасс. Сокращенный перевод с французского. 320 стр. Цена 6 р. 25 к.

**Г. Гулна.** Рассказы о наших друзьях. 112 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Б. Житков.** Избранное. 384 стр. Цена 9 р. 85 к.

**Ф. Зальтен.** Бемби. Лесная сказка. Пересказ с немецкого Ю. Нагибина. 184 стр. Цена 5 р. 65 к.

**М. Ивановский.** Законы движения. 128 стр. Цена 2 р. 85 к.

**Н. Калинин.** Удивительные камни. Рассказы. 64 стр. Цена 4 р.

**А. Кардашова.** Строитель Громов. Стихи. 32 стр. Цена 2 р. 75 к.

**В. Катаев.** Повести. 736 стр. Цена 15 р. 45 к.

**М. Коршунов.** Рассказы старого шахтера. 64 стр. Цена 2 р. 45 к.

**А. Маркуша.** Ученик орла. Рассказы старого летчика. 80 стр. Цена 2 р.

**С. Писарев.** Повесть о Манко-Смелом — охотнике из племени Береговых Людей. 200 стр. Цена 3 р. 90 к.

**Р. Погодин.** Муравьиное масло. Рассказы. 104 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Р. Сабатини.** Одиссея капитана Блада. Перевод с английского. 360 стр. Цена 8 р. 45 к.

**Синяя свита наизнанку сшита.** Белорусские народные сказки. Пересказ А. Якимовича. Перевод с белорусского. 264 стр. Цена 6 р. 30 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Г. Д. Бакулев.** Экономический анализ подземной газификации углей. 133 стр. Цена 7 р. 30 к.

**Л. А. Бах и А. И. Опарин.** Алексей Николаевич Бах (биографический очерк). 175 стр. Цена 5 р.

**Л. М. Бреховских.** Волны в слоистых средах. 502 стр. Цена 26 р. 10 к.

**М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг.** Материалы, воспоминания, исследования. 407 стр. Цена 16 р. 80 к.

**Т. Ливанова.** Музыка в произведениях М. Горького. 337 стр. Цена 21 р. 10 к.

**И. С. Мелехов.** Очерк развития науки о лесе в России. 207 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Б. Б. Родендорф.** Палеоэнтомологические исследования в СССР. 102 стр. Цена 6 р. 45 к.

#### ГЕОГРАФИЗ

**И. К. Мясин.** Москва. Краткий путеводитель. 93 стр. Цена 2 р. 45 к.

**Путешествия в восточные страны** Плано Карпини и Рубрука. 272 стр. Цена 7 р. 40 к.

**Страны Америки.** Венесуэла. Колумбия. Эквадор. Гвиана. 32 стр. Цена 50 к.



### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Иво Андрич.** Избранное. Перевод с сербско-хорватского. 388 стр. Цена 12 р.

**О. Брэдли.** Записки солдата. Перевод с английского. 607 стр. Цена 24 р. 90 к.

**Ж. и К. Виллар.** Формирование французской нации. Перевод с французского. Цена 12 р. 55 к.

**Вольфганг Ганс барон Цу Путлиц.** По пути в Германию. Воспоминания бывшего дипломата. Перевод с немецкого. 359 стр. Цена 8 р. 45 к.

**Ахмад Налим Касми.** Золотая печатка и другие рассказы. Перевод с урду. 169 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Марсель Прело.** Конституционное право Франции. Перевод с французского. 671 стр. Цена 22 р. 70 к.

**Рассказы скандинавских писателей.** 419 стр. Цена 12 р. 15 к.

**Джордж Харди.** Те бурные годы. Воспоминания о борьбе за свободу на пяти континентах. Перевод с английского. 317 стр. Цена 12 р. 20 к.

### МЕДГИЗ

**В. А. Баташов.** Острые заболевания брюшной полости. Ошибки и трудности распознавания. 148 стр. Цена 5 р. 65 к.

**К. В. Бунин.** Клиника и терапия нарушений сердечно-сосудистой системы при инфекционных болезнях. 263 стр. Цена 7 р. 40 к.

**М. Д. Емельянов.** Воспаление среднего уха. 224 стр. Цена 7 р. 55 к.

**В. В. Зодиев.** Рентгенодиагностика заболеваний сердца и сосудов (руководство для врачей). 292 стр. Цена 14 р. 70 к.

**О механизмах действия микробов на нервную систему.** 224 стр. Цена 7 р. 15 к.

**С. С. Поздняков.** Медицинская техника. 172 стр. Цена 5 р. 20 к.

**А. Е. Рабухин.** Эпидемиология и профилактика туберкулеза. 268 стр. Цена 10 р. 40 к.

**Руководство для врачей по санаторно-курортному отбору.** 344 стр. Цена 12 р. 80 к.

**Труды Всесоюзной конференции по медицинской радиологии.** 296 стр. Цена 13 р. 55 к.

**Л. И. Фогельсон.** Клиническая электрокардиография. 460 стр. Цена 23 р. 70 к.

### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**Двинцы.** Сборник воспоминаний участников Октябрьских боев 1917 г. в Москве и документы. 180 стр. Цена 2 р. 10 к.

**А. Макаренко.** Педагогическая поэма. 647 стр. Цена 12 р.

**Ю. Малыгин, Н. Афанасьев.** Спутник апробатора полевых культур. 214 стр. Цена 2 р. 50 к.

**П. Мартынов.** Применение гипса в сельском строительстве. 100 стр. Цена 1 р. 90 к.

**А. Мищенко.** Новый порядок лакирования колхозного производства. 106 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Русские народные сказки.** 399 стр. Цена 9 р. 70 к.

**Я. Фоменко.** От стен Кремля. 241 стр. Цена 2 р. 50 к.

**И. Шуков.** Вместе с новаторами. Опыт новаторов московских предприятий. 48 стр. Цена 75 к.

### ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Н. П. Кучерявый.** Ответственность за взяточничество по советскому уголовному праву. 188 стр. Цена 5 р. 10 к.

**З. А. Подопригора.** Гражданско-правовая защита колхозной собственности. 92 стр. Цена 2 р. 40 к.

**А. В. Смирнов.** Порядок отвода земельных участков рабочим и служащим в сельской местности. 56 стр. Цена 65 к.

**А. Н. Трайнин.** Общее учение о составе преступления. 364 стр. Цена 10 р. 45 к.



Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

**Б. Н. Агапов** (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,  
**А. Ю. Кривицкий** (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв**,  
**М. К. Луконин**, **А. М. Марьямов**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 5/VI-57 г.  
А 05157. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.—24,66 печ. л.

Подписано к печати 1/VII-57 г.  
Тираж 140.000. Зак. № 1452.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.